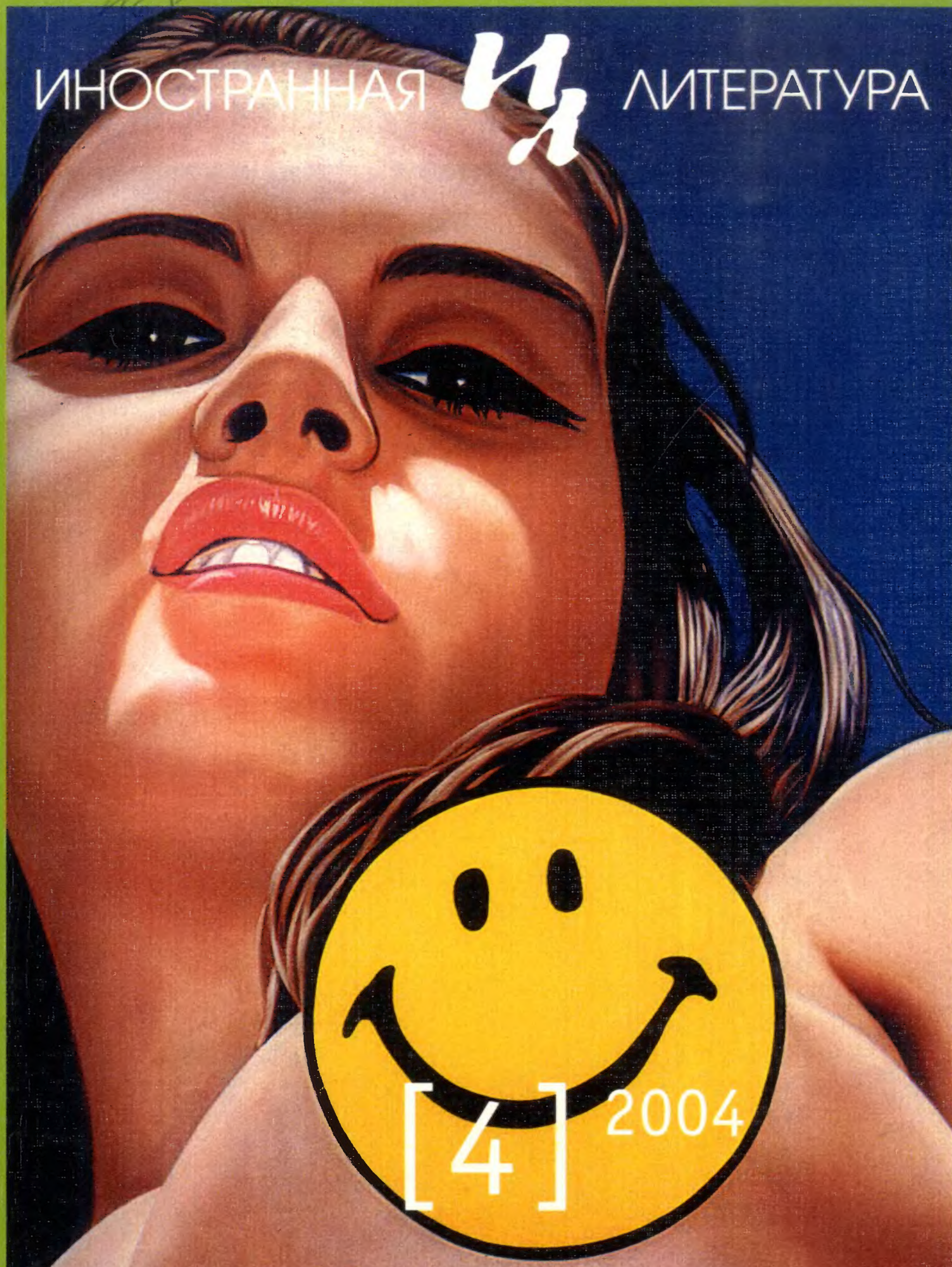
95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



[4] 2004

РОМАН ФИЛИПА РОТА "ЛЮДСКОЕ КЛЕЙМО" / СТИХИ ЛУИЗЫ ГЛИК И АЛАНА ДАГЕНА / ПОВЕСТИ ДЖИМА ГАРРИСОНА "ГЕЙ, НА ЗАПАД!" И "Я ЗАБЫЛ ПОЕХАТЬ В ИСПАНИЮ" / РАССКАЗЫ МАЙКЛА ЧЕЙБОНА И БЕНА МАРКУСА / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА ТЕДА КОНОВЕРА "НОВИЧОК, ИЛИ КАК Я ОХРАНЯЛ СИНГ-СИНГ" / ЭССЕ ПАТРИЦИИ ХЭМПЛ И АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Согласно Душеньке" – последний роман знаменитой английской писательницы БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ, воссоздающий на основе подлинных документов эпохи и силой авторского воображения историю любви великого человека своего времени Сэмюэля Джонсона.

"Windows on the world" – новый роман автора "99 франков" Фредерика Бегбедера о трагедии 11 сентября.

"Свет дня" – новый роман одного из самых известных современных английских прозаиков ГРЭМА СВИФТА.

"Антихри́ста" – роман молодой, но уже успевшей прославиться бельгийки АМЕЛИ НОТОМБ.

"О времени и о реке" – фрагменты романа-эпопеи классика американской литературы Томаса Вулфа, трагическая история любви и дружбы, разворачивающаяся на фоне широкой панорамы европейской и американской жизни 20-х годов прошлого века.

"Между актов" – последнее, возможно, самое лирическое произведение "королевы модернистского романа", классика мировой литературы XX века ВИРДЖИНИИ ВУЛФ.

"Шкура" – одно из самых ярких произведений о Второй мировой войне, в центре повествования – события, связанные с высадкой в 1943 году союзных войск в Неаполе, свидетелем и участником которых был автор, итальянский писатель КУРЦИО МАЛАПАРТЕ.

"Страсти по Эвите" – документальный роман аргентинца Абеля Поссе, воссоздающий одну из самых поразительных биографий XX века – историю жизни легендарной ЭВЫ ПЕРОН.

"Дали глазами Аманды" – главы из книги известной певицы, актрисы, художницы АМАНДЫ ЛИР, которая долгие годы входила в круг самых близких друзей Сальвадора Дали и в своих воспоминаниях воссоздает многие малоизвестные эпизоды жизни великого художника.

"Осада храма Рождества Христова" – фрагменты из документальной книги итальянских журналистов ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТА и МАРКА ИННАРО, которые стали свидетелями и участниками событий, развернувшихся в Вифлееме в апреле 2002 г.

"Герман Гессе" – книга уже известной читателям "ИЛ" немецкой исследовательницы ЛАХАНН БИРГИТ, посвященная жизни великого писателя.

Специальные номера: "Терроризм", "Литературная сказка".

Современная зарубежная поэзия, творчество П. Коэльо – круглые столы.

[4]

2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Американские литературные премии XXI века

Премия ПЕН/Фолкнер [2001]

3 Филип Рот. *Людское клеймо.* Роман. Перевод Л. Мотылева

Поэт-лауреат [2003]

92 Луиза Глик. *Стихи.* Переводы В. Черешни, И. Мизрахи, Г. Стариковского, А. Нестерова

Пулицеровская премия [2001]

99 Майкл Чейбон. *На прибрежной полосе.* Рассказ. Перевод Олеси Качановой. Майкл Чейбон. *"И родился сюжет..."* Фрагменты интервью. Перевод С. Силаковой

Пушкартовская премия [2001]

106 Бен Маркус. *Женская пантомима.* Рассказ. Перевод Вадима Михайлина. Бен Маркус. *"Я хочу испробовать альтернативные варианты..."* Перевод С. Силаковой

Национальная книжная премия [2001]

115 Алан Даген. *Стихи.* Переводы Дмитрия Веденяпина и Антона Нестерова. Алан Даген. *Вместо послесловия.* Из интервью разных лет. Составление и перевод С. Силаковой

Премия Либерти за перевод [2003]

121 Джим Гаррисон. *Повести.* Перевод Виктора Голышева

Документальная проза

Национальная книжная премия общества критиков [2001]

218 Тед Коновер. *Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг".* Фрагменты книги. Перевод Антона Ильинского

Статьи, эссе

Пушкартовская премия [2001]

241 Патриция Хэмпл. *Чужие секреты.* Перевод Анастасии Власовой

250 Алексей Цветков. *На долгом перекрестке.* Эссе

Пулицеровская премия [2002]

255 Луис Менанд. *"Я стараюсь писать занимательно..."* Из интервью. Перевод С. Силаковой

257 Александра Борисенко, Виктор Сонькин. *Литературные премии США – XXI век*

Письма из-за рубежа

263 Александр Генис. *Две выставки*

Среди книг

268 Ирина Ковалева. *Пейзаж с блаженным Иеронимом (о переводах современной американской поэзии).* Виктор Сонькин. *"Есть целомудренные чары..."* Виктор Сонькин. *Простые люди.* Александра Борисенко. *Старые песни о главном*

БиблиофИЛ

279 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

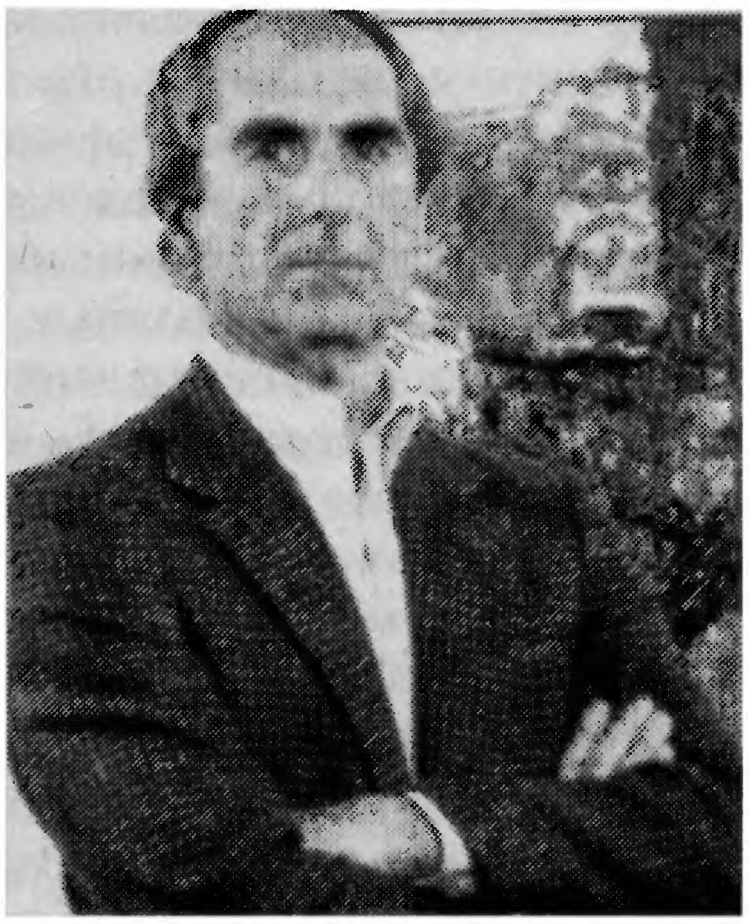
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Филип Рот



Людское клеймо

Роман

Перевод Л. Мотылева

Посвящается Р. М.

Эдип
Каким же очищеньем? Чем помочь?
Креонт
Изгнанием иль кровь пролив за кровь...

Софокл. *Царь Эдип*[1]

1
Всем известно

ЛЕТОМ 1998 года – вот когда мой сосед Коулмен Силк, два года как пенсионер, а до того сначала двадцать с чем-то лет профессор античной словесности в близлежащем Афина-колледже, затем еще шестнадцать лет декан этого учебного заведения, признался мне, что в свои семьдесят один вступил в связь с тридцатичетырехлетней уборщицей, работающей в колледже. Дважды в неделю она, кроме того, убиралась на нашей захолустной почте – в обшитом досками сером домике, который выглядит так, словно какая-нибудь горемычная семья еще в тридцатые годы укрывалась в нем от пыльных бурь Оклахомы, и который в унылой заброшенности "коммерческого центра" нашего лежащего среди холмов городишки держит над собой американский флаг

© Philip Roth 2000
© Л. Мотылев. Перевод, 2004
1. Перев. С. Шервинского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

у перекрестка дорог напротив бензоколонки и торгующего всем подряд магазина.

В первый раз они встретились вот как: Коулмен за несколько минут до закрытия приехал на почту забрать корреспонденцию, а она мыла там пол — высокая, худая, угловатая женщина со светлыми седеющими волосами, собранными в "конский хвост", и с жесткими, будто изваянными чертами лица, которые обычно ассоциируются с типом набожной, трудящейся от зари до зари новоанглийской домохозяйки, прошедшей через суровые испытания ранних колониальных лет, запертой внутри господствующей морали и послушной ее требованиям. Ее звали Фауни Фарли, и все беды, какие ей выпали, она прятала, прикрывая их одним из тех невыразительных костлявых лиц, что, кажется, не таят в себе ровно ничего и говорят лишь о безграничном одиночестве. Обитала Фауни на молочной ферме поблизости, где расплачивалась за проживание дойкой коров. Образование — начальная школа и два класса средней.

Лето, когда Коулмен поведал мне о Фауни Фарли и их общей тайне, было, что знаменательно, тем самым летом, когда тайна Билла Клинтона сделалась явной во всех деталях — деталях *правдоподобных* и вместе с тем *невероятных*, чье правдоподобие, как и невероятность, обеспечивалось пикантностью конкретных обстоятельств. Ничего похожего мы не переживали с тех самых пор, как некто натолкнулся на снимки новоиспеченной Мисс Америка голышом в старом номере "Пентхауса", где она была сфотографирована в элегантных позах и на коленях, и на спине, — после чего пристыженная девица отказалась от короны и заделалась поп-звездой первой величины. Лето девяносто восьмого в Новой Англии было на редкость теплым и солнечным, в бейсболе оно было летом эпического противостояния двух богов биты — белого и коричневого, а в Америке — летом мощнейшего разгула добропорядочности, когда терроризм, пришедший было на смену коммунизму в качестве главной угрозы безопасности страны, уступил место оральному сексу, когда цветущий моложавый президент средних лет и увлекшаяся им беззастенчивая особа двадцати одного года, самозабвенно, как парочка подростков на автостоянке, занятые друг другом в Овальном кабинете, оживили старейшую общественную страсть Америки — исторически, возможно, ее самую вредоносную, самую предательскую радость — экстаз ханжества. В Конгрессе, в печати, на телевидении — всюду с развернутыми знаменами пошла в атаку высоконравственная актерствующая сволочь, жаждущая обвинить и стереть в порошок, морализирующая на всю катушку, охваченная рассчитанно праведным гневом, обуянная тем самым "духом гонений", о котором еще в шестидесятые годы XIX века писал Готорн, живший не так далеко от моего здешнего дома; посредством некоего вяжуще-очистительного ритуала эти люди вознамерились избавиться от эрекции в органах исполнительной власти, придать всему вид уютного благолепия и вновь дать возможность десятилетней дочке сенатора Либермана без опаски смотреть телевизор вместе с потрясенным до глубины души папочкой. Нет, если вы не жили здесь в 1998 году — вы не знаете, что такое ханжество. Уильям Бакли, который ведет колонку в ряде консервативных газет, писал: "Когда подобным образом поступил Абеляр, нашелся способ сделать так, чтобы это не повторялось", — намекая, что наказанием за президентский проступок, продиктованный тем, что в другом месте Бакли назвал "разнузданной похотью" Клинтона, должна быть отнюдь не столь бескровная процеду-

ра, как импичмент, а ни больше ни меньше — телесное увечье, какое нанесли в XII веке канонику Абеляру вооруженные ножами подручные каноника Фюльбера в отместку за тайную связь и брак с племянницей Фюльбера девицей Элоизой. В отличие от Хомейни, приговорившего своей фетвой к смерти Салмана Рушди, Бакли, мечтая о воздаянии посредством кастрации, не позаботился о денежном вознаграждении для потенциального исполнителя — однако он был столь же требователен, как и аятолла, и вдохновлялся столь же возвышенными идеалами.

Для Америки то было лето, когда вновь сделалось тошно, когда не иссякали шуточки, когда не иссякали домыслы, теоретизирование и преувеличения, когда нравственную необходимость разъяснять детям взрослую жизнь оттеснила в сторону нравственная необходимость поддержания в них всевозможных иллюзий насчет взрослой жизни, когда ничтожество людское было просто убийственно, когда в народ вселился некий демон, когда люди по обе стороны разделительной черты удивлялись: "Спятили мы все, что ли?", когда мужчины и женщины, проснувшись утром, обнаруживали, что ночью, унесенные сном из царства зависти и отвращения, они грезили о наглости Билла Клинтона. Что до меня, я мечтал об исполинском, дадаистически окутывающем весь Белый дом на манер затей Христо[1] полотнище с надписью: ЗДЕСЬ ОБИТАЕТ ЧЕЛОВЕК. То было лето, когда в миллиардный, наверное, раз оказалось, что людская сумятица, свалка, заваруха потрудней для понимания, чем чья-то идейная позиция и чей-то моральный облик. То было лето, когда у всех на уме был президентский член и когда жизнь, во всем ее бесстыжем несовершенстве, опять сбила Америку с панталыку.

Коулмен Силк иногда звонил мне по субботам и приглашал после обеда приехать к нему с другого склона холма, где я жил, послушать музыку, поиграть в кункен по центу за очко или просто посидеть пару часов у него в гостиной за рюмкой коньяку и помочь ему скоротать вечер, который всегда был для него худшим на неделе. В большом старом белом обшитом доской доме, где они с женой Айрис вырастили четверых детей, он к тому лету уже почти два года жил один — с тех пор как Айрис скоропостижно умерла от инсульта в разгар его битвы с колледжем, разгоревшейся из-за обвинения в расизме, выдвинутого против него двумя его студентками.

Коулмен провел в Афине почти всю свою преподавательскую жизнь — общительный, остроумный человек, полный спокойной силы и столичного обаяния, наполовину боец, наполовину ловкач, ничего общего с привычным типом педанта, втолковывающего студентам греческий и латынь (одно из свидетельств тому — "греко-латинский клуб разговорного языка", который он, вопреки всем канонам, учредил, будучи еще молодым преподавателем низшего ранга). Именно его неакадемическая прямота, раскованность и уверенность в себе сделали его прославленный обзорный курс древнегреческой литературы в переводах (в обиходе — БГМ, то есть "Боги, герои, мифы") таким популярным у студентов. "Знаете, с чего началась европейская литература? — спрашивал он на первом занятии после переклички. — Со ссоры. Вся европейская словесность родилась из драки". Затем открывал том "Илиады" и читал вслух начало: "Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына... / С оного

1. Христо Явачев (р. 1935) — американский скульптор, известный своими "пакетами" — строениями, обернутыми в синтетические ткани.

дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою / Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный"[1]. Из-за чего же поссорились эти две мощные, неистовые личности? Это так же просто, как мордобой в пивнушке. Из-за бабы, конечно. Точнее – из-за девчонки, которую увели от отца. Которая была военным трофеем. *Миа корэ* – вот как называет ее Гомер. *Миа*, то есть "одна", в новогреческом превратилось в неопределенный артикль *мня*; *корэ*, то есть "девушка", превратилось в современном языке в *кори* – "дочь". Агамемнон, как выясняется, предпочитает эту девицу своей жене Клитемнестре. "Ее Хрисеида не хуже, – говорит он, – прелестью вида, приятством своим, и умом, и делами!" Вот он и не хочет ее отпускать – все, как видите, яснее ясного. Когда Ахилл потребовал, чтобы Агамемнон вернул девушку отцу и умилостивил этим бога Аполлона, который был страшно разгневан, Агамемнон отказался – мол, верну, если только Ахилл даст мне взамен *свою* девушку. Ахилл снова в ярости. Буйный наш Ахилл – самый вспыльчивый из отъявленных головорезов, каких литераторы имели удовольствие живописать; самая гиперчувствительная, особенно если затронуты престиж и похоть, убойная машина в истории войн. Прославленный наш Ахилл – отчужденный, отдалившийся из-за щелчка, который ему дали. Великий наш герой Ахилл, гневно омраченный из-за оскорбления – из-за отказа выдать девушку, – самоизолируется, вызывающе помещает себя вне того самого сообщества, чьим победоносным защитником он является и чья нужда в нем огромна. Вот она, ссора – свирепая ссора из-за девицы, из-за ее юного тела и бешеных плотских радостей. Вот где – судите сами, к худу или к добру, – вот в каком посягательстве на фаллическую собственность, на фаллическое *достоинство* могучего военного вождя берет начало вся великая, ослепительная европейская литература и вот почему сегодня, спустя почти три тысячи лет, мы начинаем именно с этого..."

Поступив в Афина-колледж, Коулмен стал одним из горстки работающих там евреев и, пожалуй, одним из первых евреев во всей Америке, допущенных к преподаванию античной словесности. Несколькими годами раньше единственным евреем Афины был Е. И. Лонофф, почти позабытый ныне автор рассказов, которому я, впервые опубликовавшийся новичок, находясь в трудном положении и отчаянно нуждаясь в одобрении мастера, нанес здесь во время оно памятный для меня визит. В восьмидесятые и в начале девяностых Коулмен был, кроме того, первым и единственным евреем, занимавшим в Афине должность декана; затем, в 1995 году, уйдя с административной должности, чтобы в завершение карьеры вернуться к работе в аудитории, он возобновил чтение двух своих курсов на объединенной кафедре языков и литературы, которая поглотила кафедру античной словесности и которой заведовала профессор Дельфина Ру. На посту декана, ощущая полную поддержку честолюбивого нового ректора, Коулмен взялся за обветшалый, затхлый, сонный колледж и не без силовых приемов положил конец всему, что делало это место уютным гнездышком для, так сказать, фермерствующих господ. Он безжалостно принудил сухостой из "старой гвардии" к раннему уходу на пенсию, нанял амбициозных молодых преподавателей, революционизировал учебные программы. Можно не сомневаться, что, уйди он сам на пенсию без скандала, в его честь издали бы сборник, учредили бы цикл лекций и кафедру античных исследований имени Коулмена Силка, а может быть, отдавая должное его роли в возрождении и оживлении Афины к концу

1. Здесь и ниже цитаты из "Илиады" даны в переводе Н. Гнедича.

XX века, его имя посмертно присвоили бы гуманитарному корпусу или даже Норт-холлу – самому приметному строению колледжа. В том академическом мирке, где Коулмен провел бóльшую часть жизни, он бы очень быстро перестал быть спорной, не для всех удобной и даже внушающей страх фигурой и его вечным официальным уделом стал бы почет.

Но примерно в середине второго семестра после своего возвращения на должность штатного профессора Коулмен произнес то роковое слово, из-за которого ему пришлось добровольно разорвать все связи с колледжем, – единственное губительное для него слово из многих миллионов произнесенных им за годы преподавательской и административной работы в Афине; слово, ставшее, по мнению Коулмена, непосредственной причиной смерти его жены.

В группе числилось четырнадцать человек. Перед несколькими первыми лекциями Коулмен проводил перекличку, чтобы запомнить их имена и фамилии. Поскольку две студентки из списка за пять недель не откликнулись ни разу, на шестой Коулмен спросил: "Знает их кто-нибудь из вас? Существуют они во плоти – или они духи?"

В тот же день он был вызван к новой деканше, его преемнице, и, к своему изумлению, проинформирован, что две студентки, которые оказались чернокожими и которым отсутствие на занятиях не помешало мгновенно узнать про использованное профессором выражение, обвинили его в расизме. Коулмен сказал ей: "Я имел в виду их, возможно, призрачную природу – неужели не ясно? Эта парочка не была на занятиях ни разу. Больше мне ничего о них не было известно. Я употребил слово 'духи' в его обычном и первичном значении – 'привидения, призраки'. Я понятия не имел об их цвете кожи. Лет пятьдесят назад я, может быть, и знал, что духами иногда уничижительно называют черных, – но с тех пор начисто об этом забыл. Иначе, поскольку я стараюсь ничем не ущемлять достоинства студентов, я не произнес бы этого слова. Примите во внимание контекст: 'Существуют они во плоти – *или* они духи?' Обвинение в расизме – надуманное. Нелепое. Его нелепость понимают и мои коллеги, и студенты. Единственное, о чем шла речь, – это их отсутствие на занятиях и возмутительное пренебрежение учебой. Что злит – это не просто абсурдность, а вопиющая абсурдность обвинения". Полагая, что достаточно сказал в свою защиту, и считая вопрос закрытым, он отправился домой.

Насколько я знаю, даже заурядные деканы, занимая промежуточное положение между преподавателями и высшей администрацией, неизбежно наживают врагов. Они не всегда могут повысить тебе зарплату, или предоставить вожделенную удобную площадку для парковки машины, или отвести более просторный кабинет, приличествующий профессору. Кандидатуры на повышение или новое назначение, особенно на слабых кафедрах, как правило, отклоняются. Просьбы кафедр о дополнительных преподавательских и секретарских ставках почти никогда не удовлетворяются, как и требования об уменьшении учебной нагрузки и об освобождении от ранних утренних часов. Людям регулярно отказывают в оплате поездок на конференции. И так далее. Но Коулмен-то был деканом незаурядным, и от кого он избавился и как, что упразднил и что учредил, с каким нахальством гнул свою линию вопреки страшному сопротивлению – все это повлекло за собой не просто обиду или неудовлетворенность горстки склочников. Находясь под защитой Пирса Робертса, красивого молодого пробивного ректора без единого седого волоса, который как пришел, так сразу и назначил Коулмена на должность

декана, сказав при этом: "Настало время перемен, и кого это не устраивает, пусть ищет другое место или идет на пенсию", – Коулмен перевернул все. Когда он проработал деканом половину из своих шестнадцати лет, Робертс принял лестное предложение ректорства в одном из университетов среднезападной "большой десятки" – а получил он его благодаря повсеместной славе о рекордно быстрых достижениях Афины, за которыми стоял, однако, не столько блестящий ректор, занимавшийся главным образом привлечением средств, не заработавший никаких шишек и покинувший Афину на белом коне, а настырный декан.

В первый же месяц работы на этом посту Коулмен поодиночке пригласил к себе на разговор каждого из преподавателей, включая нескольких старейших профессоров – отпрысков известных местных семейств, чьи предки основали колледж и пожертвовали на него деньги. Профессора эти были люди не бедные, но жалованье брали в охотку. Каждого предварительно просили принести биографию – а если кто не приносил, считая себя для этого слишком великим, на столе перед Коулменом она и так лежала. Он держал их у себя по целому часу, а то и дольше, убедительно показывая тем самым, что ситуация в Афине наконец-таки изменилась, и вгоняя их в пот. Без всякого смущения он начинал беседу с того, что, проглядев биографию, спрашивал: "Ну и чем же вы, не пойму, последние одиннадцать лет занимались?" И однажды, когда ему в очередной раз было указано на статьи в периодическом издании колледжа "Афина ноутс", когда он в очередной раз услышал о филологических, библиографических или археологических ученых ошметках, которые человек ежегодно выстригал из своей древней диссертации для "опубликования" в печатаемом на мимеографе четыре раза в год, переплетаемом в серый картон сборнике, не фигурирующем ни в одном каталоге мира, кроме каталога библиотеки колледжа, – он, как передавали, дерзнул нарушить принятый в Афине кодекс вежливости: "То есть вы все тут из года в год гоняете по кругу собственное дерьмо". После чего не только ликвидировал "Афина ноутс", вернув крохотный денежный вклад жертвователю – тестю редактора, – но еще и лишил, для ускорения выхода на пенсию, самый сухой из педагогического сухостоя тех курсов, что старики механически-затверженно читали по двадцать-тридцать лет, и перебросил их на английский для первокурсников, на обзорный курс истории и на программу ориентации для вновь поступивших, которая осуществлялась в последние знойные дни лета. Он упразднил малопрестижную премию "Ученый года" и нашел тысяче долларов другое применение. Впервые в истории колледжа он заставил преподавателей, желающих получить годичный отпуск для научной работы, подавать официальное заявление с развернутым планом исследований, и в этом отпуске им очень часто стали отказывать. Преподавательскую столовую, которая славилась самой изысканной во всем кампусе дубовой обшивкой стен, он превратил в аудиторию для исследовательских семинаров, чем она была первоначально, и питаться теперь преподаватели должны были вместе со студентами. Он настоял на проведении собраний преподавательского состава – а ведь не что иное, как их отмена, сделало предыдущего декана таким популярным. Коулмен поручил секретарю проверять присутствие, так что даже светила с учебной нагрузкой три часа в неделю вынуждены были являться как миленькие. Он отыскал в уставе Афины пункт, гласящий, что в колледже не должно быть исполнительных комитетов, и, заявив, что эти неповоротливые органы, мешающие всяким серьезным переменам, возникли в силу одних лишь условностей

и традиций, ликвидировал их. Он использовал собрания преподавателей для укрепления своей авторитарной власти, регулярно объявляя на них, что́ он намерен делать дальше, и, разумеется, давая тем самым новые поводы для недовольства. Под его началом стало трудно получать повышения — и это, пожалуй, было самым тяжелым ударом: никого больше не повышали в должности автоматически, на том лишь основании, что его лекции пользуются популярностью, и никому просто так не прибавляли зарплату. Короче говоря, он привнес дух соперничества, конкуренции — "еврейский дух", как давно еще заметил один из его недругов. И всякий раз, когда недовольные, создав импровизированный комитет, шли жаловаться Пирсу Робертсу, ректор брал сторону Коулмена.

При Робертсе все яркие молодые люди, которых Коулмен взял на работу — в том числе после аспирантуры в таких университетах, как Йельский, Корнеллский и Джонса Хопкинса, — любили его, ведь он дал им возможность развернуться. "Революция качества" — так они сами об этом говорили. Они ценили Коулмена за то, что он преградил былой элите путь в их маленькое сообщество, за то, что систематически сбивал с нее спесь — а именитые профессора от этого лезут на стенку. Все старичье, всю слабейшую часть преподавательского состава держала на плаву самооценка — лучший в мире специалист по 100 году до нашей эры и тому подобное, — но под натиском начальства их уверенность в себе пошатнулась, и за несколько лет они почти все исчезли. Опьяняющие годы! Затем, однако, Пирс Робертс перешел на высокую должность в Мичиган, а его преемник Хейнз был не настолько привязан к Коулмену, чтобы беречь этого человека с его ломовым диктаторством, благодаря которому он так быстро вычистил колледж. Молодые люди, которых Коулмен оставил или нанял, начали превращаться в ветеранов, и недовольство деканом Силком мало-помалу усиливалось. Насколько это серьезно, он не понимал до той самой поры, пока, перебирая кафедру за кафедрой, не сосчитал всех, кого, судя по поведению, отнюдь не огорчило то, что слово, избранное бывшим деканом для характеристики двух, казалось, несуществующих студенток, имеет, помимо словарного, еще и уничижительное расистское значение, чем две чернокожие студентки и обосновали свою жалобу.

Я хорошо помню тот апрельский день два года назад, когда Айрис Силк умерла и Коулмена обуяло безумие. До того времени мы были едва знакомы — случайно сталкиваясь в магазине или на почте, здоровались, и только, — и я мало что знал о Силках. Я не знал даже, что Коулмен вырос в Ист-Ориндже, крохотном городке в округе Эссекс, штат Нью-Джерси, то есть всего в четырех-пяти милях от места, где вырос я, и что в 1944 году он кончил местную среднюю школу, опередив меня, учившегося в ньюаркской школе по соседству, лет на шесть. Попыток познакомиться со мной ближе Коулмен не делал, да и я не для того переехал из Нью-Йорка в двухкомнатную хибару, стоящую среди поля на сельской дороге в Беркширских холмах, чтобы заводить знакомства или вживаться в новое сообщество. Приглашения, которые я получил в 1993 году в первые месяцы жизни на новом месте, — на обед, на чай, на коктейль, прочесть лекцию в колледже или, на худой конец, побеседовать запросто со студентами, изучающими литературу, — я вежливо отклонил, после чего и соседи, и колледж оставили меня в покое и дали возможность сосредоточиться на работе.

Но в тот день Коулмен, приехав прямо из похоронного бюро, где договаривался о погребении Айрис, забарабанил в мою дверь. Хотя у него

была ко мне важная, неотложная просьба, он и тридцати секунд не мог усидеть на месте, чтобы ее высказать. Он вставал, садился, опять вставал, кружил и кружил по моему кабинету, говорил громко и торопливо и порой даже, ошибочно полагая, что надо усилить впечатление, тряс в воздухе кулаком. Я, оказывается, должен был кое-что для него написать — это прозвучало почти как приказ. Если эту историю, во всей ее нелепости, изложит на бумаге он, ей никто не поверит, ее никто не примет всерьез, люди скажут, что это смехотворные враки, своекорыстное преувеличение, скажут, что причина его падения — не только произнесенное им в аудитории слово "духи". Но вот если напишу я, профессиональный писатель...

Все сдерживающие перегородки в нем рухнули, и глядеть на него, слушать его — человека мне почти незнакомого, но, несомненно, состоявшегося, влиятельного и полностью сошедшего теперь с катушек — было все равно что присутствовать при очень скверной дорожной аварии, или на пожаре, или при ужасном взрыве — словом, на месте публичного бедствия, завораживающего своей невероятностью и гротескностью. То, как он метался по комнате, напомнило мне пресловутых кур, которые бегут и бегут, хотя им уже отрубили голову. Да, ему снесли башку — башку с высокоучеными мозгами некогда неуязвимого декана и профессора, и то, что я теперь наблюдал, было беспорядочными движениями обрубка.

Я, чей порог он переступил впервые, чей голос он слышал до того всего несколько раз, должен был, выходит, отложить в сторону все, чем был занят, и написать о том, как его недруги в Афине, метя в него, поразили его жену. Сотворив его фальшивый образ, навесив на него все мыслимые ярлыки, они не только представили в ложном свете профессиональную карьеру, отличавшуюся громадной серьезностью и самоотдачей, — они убили Айрис, с которой он прожил более сорока лет. Да, убили — все равно что прицелились и всадили ей пулю в сердце. Я, оказывается, должен был написать об абсурдности того, другого, третьего — это я-то, который не знал пока что ровно ничего о его неприятностях в колледже и не мог даже уследить за хронологией ужаса, пять месяцев окружавшего и его, и покойную Айрис Силк: изматывающая череда встреч, слушаний и собеседований, документы и докладные записки, представляемые им руководству колледжа, преподавательским комитетам, чернокожему адвокату, защищавшему интересы обиженных студенток на общественных началах... обвинения, отрицания и контробвинения, тупость, невежество и цинизм, грубые, сознательные передержки, угомительные многократные объяснения, вопросы, задаваемые прокурорским тоном, — и везде и всюду, неизменно, чувство нереальности происходящего.

— Убийство! — воскликнул Коулмен, нависнув над моим столом и грохнув по нему кулаком. — Эти люди убили Айрис!

Лицо, которое он мне явил, которое он придвинул к моему почти вплотную, было сегодня бугристым, перекошенным и для хорошо сохранившегося, ухоженного, моложавого человека на удивление отталкивающим — несомненно, из-за токсического действия бурно нахлынувших эмоций. Вблизи оно казалось мятым и битым, похожим на плод, который случайно упал с рыночного лотка и долго катался туда-сюда под ногами проходящих покупателей.

На человека, которого по виду никак нельзя назвать слабым или болезненным, нравственное страдание подчас действует необычайно сильно. Оно зловредней телесного нездоровья, потому что не облегчается ни морфием, ни спинномозговой блокадой, ни радикальной хирур-

гией. Если уж попался, жди, когда оно тебя прикончит, — раньше не высвободишься. Грубая реальность такого страдания не сравнима ни с чем.

Убили. Коулмен не мог найти другого объяснения тому, что к ней вдруг пришла смерть — к энергичной и властной шестидесятичетырехлетней женщине отменного здоровья, к абстрактной художнице, чьи холсты доминировали на всех местных выставках и которая самовластно возглавляла городскую художественную ассоциацию, к поэтессе, печатавшейся в окружной газете, к видной в прошлом политической активистке колледжа, выступавшей против бомбоубежищ, стронция-90 и войны во Вьетнаме, к этой своевольной, упрямой, недипломатичной, сметающей все на своем пути женщине, узнаваемой за сотню шагов по огромной жесткой седой шевелюре, к женщине настолько мощной, что, при всей его пробивной силе, декан, который, считалось, мог протаранить кого угодно, который, избавив Афина-колледж от балласта, совершил нечто поистине невозможное в академической среде, вряд ли превосходил жену в чем-либо, кроме тенниса.

Едва Коулмен попал под обстрел, едва обвинение в расизме было принято к рассмотрению и новым деканом, и небольшой негритянской студенческой организацией колледжа, и группой негритянских активистов из Питсфилда, как явная нелепость происходящего изгладила миллион омрачавших брак Силков противоречий и та самая властность Айрис, что четыре десятилетия кряду, сталкиваясь с упрямой независимостью Коулмена, рождала нескончаемые размолвки, была теперь безраздельно отдана защите мужа. Хотя они уже годы и годы как не только не спали в одной постели, но и не могли подолгу слушать друг друга, хотя он не выносил ее друзей, а она — его, Силки снова теперь стояли бок о бок, потрясая кулаками перед лицами тех, кого они ненавидели яростней, чем даже в самые невыносимые минуты могли ненавидеть друг друга. Все, что объединяло их сорок лет назад в Гринич-Виллидже, когда они были товарищами-любовниками, когда он дописывал диссертацию в Нью-Йоркском университете, а она только что сбежала из Пассейика, штат Нью-Джерси, от полусумасшедших родителей-анархистов, подрабатывала натурщицей в Студенческой лиге искусств и уже носила на голове впечатляющую копну волос — чувственная, с крупными чертами лица, увешанная фольклорного вида украшениями, уже тогда похожая на театрально-библейскую верховную жрицу из досинагогальных времен, — все, за вычетом плотского влечения, что объединяло их в те нью-йоркские дни, вновь бешено вырвалось наружу... И вдруг однажды утром она проснулась со страшной головной болью и с отнявшейся рукой. Коулмен ринулся с ней в больницу, было сделано все возможное, но на следующий день ее не стало.

"Метили в меня, а попали в нее". За время визита, который Коулмен без предупреждения мне нанес, он повторил эти слова неоднократно, и то же самое он сказал всем и каждому день спустя на похоронах Айрис. И продолжал в это верить. Оставался глух к любому иному объяснению. После ее смерти и после того, как я дал ему понять, что не намерен писать историю его травли, и вернул ему все материалы, которые он вывалил в тот день на мой стол, Коулмен не прекращал работу над книгой о том, почему он ушел из Афина-колледжа, — над документальной книгой "Духи".

В Спрингфилде есть маленькая УКВ-радиостанция, которая субботними вечерами, с шести до полуночи, изменяет своему обычному классическому репертуару и передает сначала биг-бэнд, а потом джаз. С моей стороны холма на этой частоте не слышно ничего, кроме треска, но на

склоне, где живет Коулмен, прием отменный, и в те субботы, когда он приглашал меня посидеть и выпить, все эти сахарно-сладкие танцевальные мелодии, которые парни и девушки нашего поколения постоянно слышали по радио и из музыкальных автоматов, накатывали на меня из дома Коулмена, не успевал я выйти из машины. Эта музыка звучала у Коулмена во всю мощь не только через стереоколонки в гостиной, но и по маленькому приемничку у его кровати, по радио в ванной и по радио у хлебного ящика на кухне. Что бы он ни делал в доме или рядом с ним в субботу вечером, звуки доносились до него все время, пока в полночь, после ритуального получаса Бенни Гудмена, станция не умолкала.

Странным образом, сказал он, ни одна из серьезных вещей, какие он слушал всю зрелую жизнь, не возбуждала в нем таких эмоций, как этот старый свинг. "От Вона Монро, — объяснял он, — все стоическое во мне размягчается и желание не умирать, никогда не умирать делается почти невыносимым". В иные вечера каждая фраза каждой песни приобретала для него такое странно-гипертрофированное значение, что под конец он в одиночку принимался танцевать шаркающий, дрейфующий, однообразный, но изумительно прочувствованный фокстрот, какой он танцевал с девочками из средней школы в Ист-Ориндже, давая им ощутить через платье и брюки, как он возбужден, и пока он двигался, никакое из его переживаний не было фальшивым или аффектированным — ни ужас грядущей смерти, ни восторг от "Ты вздохнешь — и песня зазвучит, скажешь слово — скрипки заиграют". Слезы, которые он время от времени ронял, набегали сами собой, сколь бы ни был он изумлен своей беззащитностью перед попеременно звучащими в песне "Зеленые глаза" голосами Хелен О'Коннелл и Боба Эберли, сколь бы ни дивился тому, как Джимми и Томми Дорси превращают его в сентиментального старика, — вот уж чего он никак не мог от себя ожидать! "Но пусть кто угодно из родившихся в 1926 году, — говорил он, — побудет субботним вечером 1998 года дома один и послушает, как Дик Хеймз поет "Эти милые враки". Пусть послушает — а потом посмотрим, дошла ли до него наконец пресловутая доктрина катарсиса, рождаемого трагедией".

Когда я вошел в дом через боковую сетчатую дверь, ведущую прямо на кухню, Коулмен мыл посуду. Поскольку он стоял над раковиной, куда лилась вода, да еще громко играло радио, да еще он пел вместе с молодым Фрэнком Синатрой "Все со мной случается", он не услышал, как я вхожу. Из-за жары на Коулмене только и было надето, что джинсовые шорты и кроссовки. Сзади в свои семьдесят один он выглядел самое большее на сорок — поджарый, крепкий, залюбуешься. Роста он был невысокого — пять футов восемь дюймов, вряд ли больше, но силы в нем было ого-го сколько, настоящий атлет-старшеклассник, быстрый, бодрый, жадный до действия — заводной, как мы в свое время говорили. Из-за того, что мелкокурчавая, коротко подстриженная шевелюра Коулмена приобрела цвет овсяных хлопьев, он с лица, несмотря на мальчишеский вздернутый нос, не выглядел таким молодым, как мог бы, останься его волосы темными. Вдобавок от носа к углам рта у него шли две глубокие складки и в зеленовато-карих глазах после смерти Айрис и его ухода из колледжа было много, действительно много усталости и душевной опустошенности. Тем не менее Коулмен был несообразно, почти по-кукольному хорош собой, как иные стареющие киноактеры, которые прославились на экране еще лучезарными детьми и на которых всю жизнь красуется неизгладимая печать юной звезды.

В общем, он даже в почтенном возрасте оставался подтянутым, привлекательным мужчиной — евреем из тех, у кого при небольшом носе главный вес лица приходится на нижнюю челюсть, кто благодаря смуглости и курчавости производит такое же чуть двойственное впечатление, как светлые негры, которых иногда принимают за белых. В имени Коулмен Силк нет ничего специфически еврейского, и однажды в конце Второй мировой войны, когда он служил во флоте и находился на Норфолкской военно-морской базе в Виргинии, его вышвырнули из публичного дома, решив, что он негр. "Из норфолкского бардака — за то, что я черный, из Афина-колледжа — за то, что я белый". На протяжении двух лет я часто слышал от него вариации на эту тему, неистовые инвективы по поводу негритянского антисемитизма и вероломства трусливых коллег — инвективы, которыми он наверняка щедро начинял свою книгу.

"Вышвырнули из Афины, — говорил он мне, — за то, что я белый еврей, один из тех, кого эти недоумки считают своими врагами. Вот кто в ответе за все их американские беды. Вот кто умыкнул их из райских кущ. Вот кто удерживает их в неволе все эти годы. В чем главная причина негритянских страданий на нашей планете? Ответ они знают заранее — так зачем им идти на лекцию? Зачем им открывать книгу? Без чтения всё знают — без *думанья* всё знают. Кто виноват? Те же самые ветхозаветные чудища, что виноваты в страданиях немцев.

Они убили ее, Натан. Кто мог вообразить, что Айрис не выдержит? Так вот поди ж ты — и сильная, и *громкая*, а не выдержала. Против их идиотизма даже такому танку не устоять, каким она была. "Духи". Кто здесь еще был готов меня поддержать? Херб Кибл? Ведь это я его привел в колледж, когда был деканом. Причем сразу, едва вступил в должность, — всего какие-нибудь месяцы спустя. Он стал не только первым черным преподавателем общественных наук, но и первым черным преподавателем вообще. А теперь вот и ему такой еврей-расист, как я, оказался поперек горла. "Я не могу вас поддержать, Коулмен. Мне придется быть с ними". Вот что он ответил, когда я его попросил мне помочь. Вот что он мне сказал прямо в лицо. *Придется быть с ними.* С ними!

Вы бы видели Херба на похоронах Айрис. Уничтожен. Раздавлен. Смерть? Нет, Херберт не собирался никого *убивать*. Весь этот бред — в чистом виде борьба за влияние. Чтобы побольше веса иметь в руководстве. Они просто использовали выгодный случай. Способ заставить Хейнза и администрацию сделать то-то и то-то, чего они иначе ни за что бы не сделали. Больше негров в кампусе. Больше черных студентов, больше черных профессоров. Пропорции — в них все дело. И только. Видит Бог, ничья *смерть* не предусматривалась. Даже и отставка. Она тоже стала для Херберта сюрпризом. С какой стати Коулмен Силк вдруг ушел? Никто не собирался его увольнять. Никто бы не посмел. Они повели себя так, как повели, просто потому, что получили возможность. Хотели всего-навсего немного подольше подержать над огнем мои ступни — ну и почему я не мог чуточку потерпеть? К следующему семестру кто бы помнил? Инцидент — *инцидент!* — подарил им 'организационный шанс' — как раз такой, какой был нужен отсталой в расовом отношении Афине. Ну и почему я ушел? К тому времени, как я ушел, в основном все уже улеглось. Так какого черта я уволился?"

В прошлый мой приход Коулмен, едва меня увидел, замахал перед моим носом какой-то бумагой — еще один документ из сотен, разложенных по ящичкам с надписью "Духи": "Вот, полюбуйтесь. Моя уважаемая коллега пишет про одну из той парочки, что покатила на меня бочку, — про сту-

дентку, которая не пришла на мои занятия ни разу, на другие ходила от случая к случаю и завалила все экзамены, кроме одного. Я-то думал, она потому не успевает, что не может не то что овладеть материалом, но даже и подступиться к нему, — но нет, оказывается, она потому не успевает, что расистские эманации, исходящие от белых профессоров, так ее запугали, что она не могла заставить себя войти в аудиторию. Те самые эманации, которые я претворил в слово. На одном из этих собеседований, или слушаний, или как их там, меня спросили: 'Какие факторы, по-вашему, стали причиной ее неудачи?' Я ответил: 'Какие факторы? Безразличие. Высокомерие. Апатия. Личные неприятности. Может, еще что-нибудь — кто знает?' — 'Но какие позитивные рекомендации вы ей дали в свете этих факторов?' — 'Никаких. Я в глаза ее не видел. Но если бы увидел, я бы посоветовал ей уйти из колледжа'. — 'Почему?' — 'Потому что ей тут не место'".

Дайте-ка я вам кое-что отсюда прочту. Послушайте. Написала моя коллега, которая поддерживает эту Трейси Каммингз, — не надо, мол, рубить сплеча, не надо ее отталкивать и отвергать. Мы должны ее пестовать, мы должны ее понять, мы должны, как пишет эта ученая дама, "разобраться, откуда Трейси к нам пришла". Позвольте я вам прочту последние фразы. "Трейси происходит из довольно трудной среды. В десятом классе она ушла из семьи и стала жить у родственников. В результате пострадала ее способность оценивать реальные факторы той или иной ситуации. Этот недостаток у нее есть. Но она готова, хочет и может изменить свой подход к жизни. В последние недели я вижу, как в ней рождается понимание серьезности своего бегства от реальности". Написала Дельфина Ру — заведующая кафедрой языков и литературы. Она, помимо прочего, ведет курс французского классицизма. *Понимание серьезности своего бегства от реальности.* Нет, все, хватит. Противно. Тошнит".

Вот что я чаще всего заставал, когда приходил к нему субботними вечерами. Человек, по-прежнему полный сил, но все так же мучительно переживающий унижение и позор. Крупная личность, свергнутая с высоты и до сих пор испытывающая боль падения. Подобие того, что вы могли бы увидеть, окажись вы у Никсона в Сан-Клементе или у Джимми Картера в Джорджии перед тем, как он во искупление греха поражения принялся столярничать. Словом, печальное зрелище. И все же, при полном моем сочувствии беде Коулмена, потерявшего все и, казалось, неспособного вырваться из плена обиды, в иные вечера, проглотив лишь несколько капель его коньяка, я не клевал носом ценой предельных усилий.

Но в тот вечер, что я описываю, когда мы перешли на прохладную затянутую сеткой боковую веранду, летом служившую ему кабинетом, он был так распахнут миру, как только способен человек. Он захватил из кухни две бутылки холодного пива, и мы уселись друг против друга за длинную доску на козлах, которая была здесь его рабочим столом и на краю которой лежали три стопки тетрадей — штук двадцать, если не тридцать.

— Вот, полюбуйтесь, — сказал Коулмен, спокойный теперь, раскрепощенный, совсем не такой, каким еще недавно был. — Оно самое. "Духи". Вчера дописал черновой вариант, сегодня весь день его читал, и от каждой страницы меня тошнило. От одного этого неистового почерка уже охватывает презрение к автору. И потратить на такое два года? Потратить на такое хоть четверть часа?.. Айрис умерла из-за *них*? Да кто этому поверит? Мне кажется, я и сам больше не верю. Чтобы превратить эту злую нудятину в книгу, вычистить все слепое негодование, все помешательство, понадобится еще два года, если не больше. И что я по-

лучу, кроме очередных поганых двух лет, когда я только и буду думать, что о *них*? Поймите меня правильно, я не о прощении говорю. Я ненавижу этих подонков. Я так эту шваль ненавижу, как Гулливер человеческий род, когда он пожил с лошадьми. Биологически. Хотя свифтовских лошадей я всегда находил смешными. А вы нет? Мне они напоминают тот белый англосаксонский протестантский истеблишмент, что заправлял Афиной, когда я туда пришел.

— А вы в хорошей форме, Коулмен, — ни следа былого безумия. Три недели или месяц назад, когда я последний раз у вас был, вы еще стояли по колено в собственной крови.

— Да, из-за этого вот. Но теперь перечитал, увидел, что дерьмо, и баста. Писатель из меня никакой. Пишу о себе и не могу держать дистанцию. Страница за страницей — сырая, сырая масса, какая-то пародия на самооправдательные мемуары. Чувствуешь бессмысленность всех объяснений. — Он улыбнулся. — Киссинджер — тот каждые два года выдает по тысяче с лишним страниц подобного добра, но мне такое не под силу. Может, я и кажусь защищенным в мыльном пузыре моего нарциссизма, но ему я не соперник. Сдаюсь.

Вообще-то писатель, которого отрезвило чтение своего двухлетнего труда — и даже труда одного года, даже полугода, — который, прочтя, нашел его безнадежно скверным и казнил на критической гильотине, обычно приходит в самоубийственное отчаяние и оправляется лишь месяцы спустя. Но Коулмен, разделавшись с едва дописанным черновиком, каким-то образом ухитрился мгновенно выплыть из мешанины обломков не только книги, но и всей жизни. Вместе с книгой он, я видел, отказался теперь от малейшего желания свести счеты; избавившись от стремления восстановить свое доброе имя и заклеймить противников как убийц, он уже не был напитан ядом их несправедливости. Если не считать телевизионного образа Нельсона Манделы, прощающего тюремщиков в самый момент выхода из тюрьмы, когда в его желудке еще переваривалась последняя жалкая тюремная еда, я не видел больше такого быстрого душевного преображения, происходящего с жертвой. Я не мог этого понять, да и поверить поначалу тоже.

— Итак, вы сдали позиции, весело сказали: "Не потянул — что поделаешь" и выбрались на сушу из этой работы, из этой ненависти. На кого теперь ополчитесь?

— Ни на кого.

Он достал колоду карт и блокнотик, чтобы вести счет, и мы передвинули стулья к свободному от тетрадей краю стола. Он стасовал карты, я снял, он сдал. И потом в странной безмятежности, которой, судя по всему, наделила его свобода от былого презрения ко всем тем в Афине, что сознательно и с недобрыми намерениями опорочили его, осудили неправедным судом и на два года погрузили в трясину мизантропических инвектив свифтовского масштаба, он предался сентиментальным воспоминаниям о славных минувших днях, когда чаша его была полна до краев, когда всю щедро отпущенную ему старательность он тратил на то, чтобы испытывать и дарить радость.

Женщины — вот о чем он повел разговор, отрешившись от ненависти. Это и был новый Коулмен — или, верней, стародавний Коулмен, самый давний из всех взрослых Коулменов, самый довольный из Коулменов, какие жили на свете. Не просто Коулмен до "Духов" и обвинений в расизме, а Коулмен, запятнанный одним лишь вожделением.

– Я, как демобилизовался из флота, поселился в Гринич-виллидже, – начал он рассказывать, сортируя свои карты, – и мне только и дела было, что спуститься в метро. Такая рыбалка: спускаешься – и наверх выходишь с девчонкой. А потом, – он сделал паузу, чтобы собрать то, что я сбросил, – разом диплом, женитьба, работа, дети – и прощай, рыбалка.

– Больше уже не рыбачили?

– Нет. Так, раз-другой. Можно считать, что никогда. Вы песни слышите? – В доме общим счетом играло четыре радиоприемника, так что даже с улицы не слышать их было нельзя. – Они самые, песни послевоенных лет. Четыре-пять лет песен и девушек – вот оно, воплощение всех моих идеалов. Я письмо сегодня нашел. Разгребал своих "Духов", все это скопление бумаг, и нашел письмо от одной девушки. Не от "одной из", а от самой-самой. Я тогда получил первую должность – в Адельфи-колледже на Лонг-Айленде, – Айрис была беременна Джеффом, и вдруг это письмо. Девушка под шесть футов ростом. Айрис тоже была не из маленьких, но все-таки не как Стина. Айрис была крупная, но Стина была что-то особенное. Стина прислала мне это письмо в 1954 году, и сегодня оно обнаружилось, когда я рылся в ящиках.

Коулмен вытащил из заднего кармана шортов письмо Стины в старом конверте, в котором оно пришло. Он по-прежнему был без рубашки, хотя мы сидели уже не на кухне, а на веранде. Был теплый июльский вечер, но все же не настолько теплый, и я впервые почувствовал, что немалое тщеславие этого человека имеет и телесную сторону. В демонстрации загорелого торса мне почудилось нечто большее, чем простая домашняя бесцеремонность. Напоказ были выставлены плечи, руки и грудь невысокого, все еще подтянутого и привлекательного крепыша – живот, конечно, уже не идеально плоский, но вполне под контролем, и в целом впечатление хорошего спортсмена, который побеждал не за счет грубой силы, а за счет хитрости и смекалки. И все это было до сих пор от меня скрыто – не только потому, что он всегда ходил в рубашке, но еще и потому, что он был всецело во власти своего негодования.

Скрыта от меня была и маленькая голубая татуировочка на правой руке у самого плеча – надпись "U. S. Navy"[1] между лапами слегка поблекшего якорька, идущая вдоль широкой части дельтовидной мышцы. Крохотный символ, если таковой нужен, миллиона обстоятельств, из которых складывается чужая жизнь, пурги подробностей, которые, улегшись, образуют состав, называемый биографией, – крохотный знак, напоминающий мне, что наши представления о людях в лучшем случае не совсем верны.

– Хранили, да? Так долго? – сказал я. – Наверно, ого-го какое письмо.

– Не письмо, а бомба. Благодаря ему я понял, какая со мной произошла перемена. Я был женат, преподавал, мы ждали ребенка, и тем не менее до письма я не понимал, что все Стины у меня позади. Оно объяснило мне, что началось настоящее, началась серьезная жизнь, посвященная серьезным делам. У моего отца был бар на Гроув-стрит в Ист-Ориндже. Вы-то из Уикуэйика, вы вряд ли хорошо знаете Ист-Ориндж. Мы жили в бедной части города. Таких еврейских содержателей баров, как мой отец, по всему Нью-Джерси было пруд пруди, и конечно у них у всех имелись связи с мафией – а как иначе, если ты хочешь пережить мафию? Отец не был неженкой, но и отпетым не был, и он хотел для ме-

1. "Военно-морской флот США" (*англ.*).

ня лучшей доли. Упал на пол и умер, когда я учился в выпускном классе. Я был единственным ребенком. Во мне души не чаяли. Он даже запретил мне помогать в баре, когда тамошние персонажи стали вызывать у меня интерес. Все в жизни, включая бар – нет, *начиная* с бара, – постоянно толкало меня к тому, чтобы всерьез учиться, и в те школьные дни, когда я вубрил латынь, когда учил греческий, который еще входил тогда в программу, сын содержателя бара очень старался быть серьезным – очень.

Мы быстро сыграли партию, и Коулмен показал мне выигрышную комбинацию. Я стал сдавать, а он снова заговорил. Я никогда от него такого не слышал. Все, что я слышал от него раньше, – это как он возненавидел Афина-колледж и почему.

– Ну так вот, – сказал он. – Когда я осуществил отцовскую мечту и сделался жутко респектабельным преподавателем колледжа, я стал думать, как думал отец: что серьезная жизнь теперь навсегда. Что она *не может* кончиться, если у тебя есть диплом и статус. Но она кончилась, Натан. "Существуют они – или они духи?" Сказал – и готов. Когда ректором был Робертс, он часто говорил: мол, я потому хорош на посту декана, что манерам обучался в баре. Робертсу с его элитарным генеалогическим древом нравилось, что в кабинете через коридор от него сидит забияка из пивнушки. Он очень любил тыкать моим происхождением в нос старой гвардии, хотя вообще-то неевреи, как вы знаете, терпеть не могут историй про евреев, выбирающихся наверх из трущоб. Да, Пирс Робертс, конечно, относился ко мне чуть иронически и уже в то время – да, если задуматься, *уже в то время*...

Но тут он оборвал сам себя. Не захотел продолжать. Он решительно разделывался с комплексом свергнутого монарха. Обида, которая, казалось, будет жить вечно, была объявлена умершей.

И вновь Стина. Воспоминания о ней ох как помогают.

– Познакомились в сорок восьмом, – сказал он. – Мне было двадцать два, я отплавал во флоте и учился в Нью-Йоркском университете – мне как демобилизованному полагалась стипендия. Ей было восемнадцать, она всего несколько месяцев как приехала в город. Устроилась на какую-то работу и поступила на вечернее отделение в колледж. Независимая девушка из Миннесоты. Уверенная в себе – так, по крайней мере, казалось. По матери датчанка, по отцу исландка. Быстрая. Сообразительная. Миловидная. Высокая. Восхитительно высокая. В ней была грация лежачего изваяния. До сих пор помню. Два года это у нас длилось. Называл ее Волюптас. Это дочь Психеи. Для римлян – олицетворение чувственного наслаждения.

Он положил на стол карты, взял лежавший у кучки сброшенных карт конверт и вынул письмо. Оно было напечатано на машинке на двух страницах.

– Мы потом однажды встретились – случайно. Я на день приехал в город из Аделфи, вдруг гляжу – Стина, ей уже стукнуло двадцать четыре или двадцать пять. Мы остановились и поговорили, я ей сообщил, что мы ждем ребенка, она мне рассказала о своих делах, под конец мы поцеловались – и пока. Спустя примерно неделю в колледж на мое имя приходит письмо. Оно датировано. Она поставила дату, вот – 18 августа 1954 года. "Дорогой Коулмен! Я была очень рада нашей встрече в Нью-Йорке. При всей ее краткости я после того, как мы распрощались, почувствовала осеннюю печаль – наверно, потому, что теперь, когда прошло шесть лет со дня нашего знакомства, стало до боли очевидно, как много дней

жизни осталось позади. Ты очень хорошо выглядишь, и я рада, что ты счастлив. Ты, надо сказать, вел себя очень по-джентльменски. Не стал "пикировать" — а ведь в те времена, когда мы начали встречаться и ты снимал комнату в полуподвале на Салливан-стрит, ты, казалось, только этим и занимался. Помнишь себя? Ты замечательно "пикировал", совсем как хищная птица, которая, пролетая над сушей или морем, вдруг видит что-то движущееся, что-то полное жизни, мгновенно нацеливается, камнем падает вниз и — хвать! Меня, когда мы познакомились, поразила твоя летучая энергия. Помню, как я в первый раз пришла к тебе в комнату и сидела на стуле, а ты ходил взад-вперед и только изредка присаживался на табуретку или кушетку. До того как мы сложились и купили матрас, ты спал на жалкой кушеточке, полученной задарма в Армии Спасения. Ты предложил мне выпить и подал мне стакан, а сам тем временем разглядывал меня с невероятным любопытством, словно то, что у меня есть руки, способные держать стакан, и рот, способный из него пить, — великое чудо, как и то, что я вообще возникла в твоей комнате назавтра после знакомства в метро. Ты говорил, задавал вопросы, иногда отвечал на мои и был страшно серьезен — но радостной какой-то серьезностью, а я очень старалась поддерживать разговор, но слова находила с трудом. Так что я смотрела на тебя и при этом впитывала и понимала гораздо больше, чем могла ожидать. Но я не способна была заполнить словами пустоту, созданную нашим влечением друг к другу. Я думала про себя: "Нет, я еще не готова, я только недавно в городе. Не сейчас. Но я буду готова — чуть погодя, еще немного поговорим, еще несколько фраз, если только я соображу, что мне хочется сказать". (К чему готова — сама не знаю. Нет, не просто отдаться. Готова *быть*.) Но тут, Коулмен, ты спикировал на меня длинным броском через полкомнаты. Я была и ошеломлена, и восхищена. Слишком быстро — и вместе с тем вовремя".

Он перестал читать, потому что услышал по радио первые звуки песни Синатры "Очарован, взволнован, смущен".

— Хочу танцевать, — сказал Коулмен. — Давайте вместе.

Я рассмеялся. Нет, это был совсем уже не тот неистовый, обозленный, ощеренный мститель времен "Духов", отчужденный от жизни и бешено ее атакующий, — это был даже не другой человек. Это была *другая душа*. Юношеская, если хотите. Я тогда ясно представил себе — по письму Стины и по читающему его голому выше пояса Коулмену, — каким Коулмен Силк некогда был. До того, как он стал деканом-революционером, до того, как он стал серьезным профессором античной словесности, и задолго до того, как он стал парией Афина-колледжа, он был юношей не только усидчивым, но еще и обаятельным, соблазнительным. Легко возбудимым. Озорным. Чуточку даже демоническим — этаким козлоногим Паном со вздернутым носом. Давно, во время оно — до того, как серьезные вещи полностью взяли верх.

— Дочитайте сперва письмо, — ответил я на приглашение к танцу. — Что она дальше пишет?

— За три месяца до нашего знакомства она приехала из Миннесоты. Я просто спустился в метро один и поднялся с ней. Вот он вам, сорок восьмой во всей красе. — Он снова обратился к письму. — "Я была страшно увлечена тобой, но боялась, что ты сочтешь меня слишком юной, сочтешь неинтересной среднезападной провинциалкой, и, кроме того, ты встречался тогда с какой-то "умненькой очаровашкой", правда, с хитрой улыбкой сказал мне: "Мы вряд ли поженимся". Я спросила: почему? Своим ответом — "Боюсь, мне станет скучно" — ты добился того, что я дела-

ла все, лишь бы ты со мной не скучал, и даже пропадала на время, чтобы тебе не надоедать. Ну вот и все. Довольно. Я не должна тебе докучать. Обещаю, что больше не стану. Будь счастлив. Будь счастлив. Будь счастлив. Со всей нежностью, Стина".

— Что ж, — сказал я, — вот он вам, сорок восьмой во всей красе.

— Теперь танцевать.

— Только не пойте мне в ухо.

— Вставайте же наконец.

Я подумал — а что, чем черт не шутит, мы оба скоро сыграем в ящик, — и я встал, и на веранде мы с Коулменом Силком начали танцевать фокстрот. Он вел, а я, как мог, слушался. Мне вспомнилось, как он ворвался в мой кабинет, только-только договорившись в похоронном бюро о погребении Айрис, и, вне себя от горя и гнева, заявил, что я должен написать книгу обо всех невероятных нелепостях его "дела", кульминацией которого стало убийство его жены. Можно было подумать, что никогда больше этот человек не соблазнится глупостями жизни, что все игривое и легкое в нем уничтожено и утрачено наряду с профессиональной карьерой, репутацией и внушающей почтение женой. Я видел его в тот день, когда ее труп лежал еще теплый, и, может быть, именно поэтому мне даже в голову не пришло посмеяться и дать ему возможность, если хочет, танцевать на веранде в одиночку — просто посмеяться, посидеть и получить удовольствие от зрелища; может быть, именно поэтому я встал, дал ему руку и позволил мечтательно водить меня, приобняв за спину, по старому, вымощенному голубоватым песчаником полу.

— Надеюсь, никто из блюстителей порядка сюда не явится, — сказал я.

— Я тоже надеюсь, — отозвался он. — Нам же не надо, чтобы кто-нибудь похлопал меня по плечу со словами: "Теперь моя очередь".

Мы танцевали и танцевали. Откровенно плотского здесь ничего не было — и все же, поскольку Коулмен был в одних джинсовых шортах и моя рука мягко лежала на его теплой спине, как могла лежать на спине, скажем, собаки или лошади, здесь чувствовалось не только притворство, не только пародия. В том, как он водил меня туда-сюда по каменному полу, ощущалась некая полусерьезная-полушутливая искренность, не говоря уже о бездумной клоунской радости простого бытия — радости от того, что ты волей случая, беспричинно жив, радости ребенка, который научился вывести мотивчик с помощью расчески и туалетной бумаги.

Потом мы сели, и тогда-то Коулмен сказал мне про другую женщину.

— А знаете, Натан, — ведь у меня роман. Роман с женщиной тридцати четырех лет. Как это на меня подействовало — описать не могу.

— Еще бы вы могли, отдышитесь сначала.

— Я думал, у меня всё уже в прошлом. Но когда вдруг это заявляется к тебе так поздно, из ниоткуда, совершенно неожиданно и даже нежеланно — заявляется, а тебе нечем это разбавить, ты уже не сражаешься на двадцать два фронта, ты уже не погружен в житейские заботы... когда только *это*...

— И когда ей тридцать четыре...

— И пылкая. Она пылкая женщина. Секс благодаря ей снова превратился в грех.

— Словом, вас захомутала La Belle Dame sans merci[1].

1. Безжалостная красавица (*франц.*). Название поэмы Алена Шартье (ок. 1385—1433) и стихотворение Джона Китса (1795—1821).

— Вроде того. Я спросил: “Ну и каково это с мужчиной семидесяти одного года?”, и она ответила: “Замечательно. Он какой есть, такой есть и измениться не может. Знаешь, чего ждать. Никаких сюрпризов”.

— Что сделало ее такой мудрой?

— Сюрпризы. Тридцать четыре года жестоких сюрпризов — тут не хочешь, умудришься. Но это очень узкая мудрость, антисоциальная. Дикарская. Мудрость человека, который ничего ни от кого не ждет. И мудрость, и достоинство, но мудрость отрицательная, не такая, какая может день за днем держать тебя в колее. Жизнь почти все время пыталась стереть ее в порошок. Отсюда все, что она усвоила.

Я подумал: вот он нашел человека, с которым можно потолковать... а потом подумал: и я тоже. В тот момент, когда мужчина начинает говорить с тобой про секс, он сообщает тебе нечто о вас обоих. У громадного большинства такого не происходит, и это, наверно, к лучшему, хотя, если вы не можете выйти на некий уровень откровенности и делаете вид, что никакого секса у вас и в мыслях никогда нет, мужская дружба неполноценна. Девять мужчин из десяти за всю жизнь не обретают такого друга. Это редкость, но когда она случается, когда двое мужчин находят общий язык по поводу этой важной части мужского существования, когда не боишься осуждения и не мешает ни стыд, ни зависть, своя или чужая, когда ты знаешь, что другой не злоупотребит твоим доверием, — тогда дружеская связь может стать очень прочной и неожиданно тесной. Вряд ли такая откровенность для него обычна, думал я, но поскольку он приходил ко мне еще в то, наихудшее время, полный ненависти, которая у меня на глазах отравляла его месяц за месяцем, теперь он чувствует себя со мной так же свободно, как бывший тяжелобольной с человеком, всю болезнь просидевшим у его постели. Это не похвальба, а бесконечное облегчение от возможности поделиться с кем-то вестью о своем втором рождении — ни больше ни меньше.

— Где вы ее откопали? — спросил я.

— Поехал под вечер на почту забрать корреспонденцию и увидел ее со шваброй в руках. Не обращали внимания на худую блондинку, которая иногда там убирает? В Афина-колледже она штатная уборщица. Где я деканствовал — там она моет полы. У нее нет ровно ничего. Фауни Фарли, так ее зовут. У Фауни совсем ничего нет.

— Почему?

— Был муж. Он так ее бил, что однажды кончилось комой. Они хозяйствовали на молочной ферме. Дело он вел скверно, и они разорились. Было двое детей. В спальне работал обогреватель, опрокинулся, начался пожар, и оба ребенка задохнулись. Кроме пепла от их кремации, который она держит под кроватью в бидоне, у нее мало-мальски ценного есть только “шевроле” 83-го года. Однажды она мне сказала: “Я не знаю, что делать с пеплом”, и это был единственный раз, когда я почувствовал в ее голосе слезы. Трагедия на ферме так ее иссушила, что ей даже плакать нечем. А начинала жизнь в богатой, привилегированной семье, в большом старом доме к югу от Бостона. В каждой из пяти спален по камину, антикварные вещи, фамильный фарфор — все старое и первосортное, включая саму семью. Когда хочет, она на удивление хорошо говорит. Но она с такой высокой ступени скатилась на такую низкую, что ее речь — настоящая сборная солянка. Фауни лишилась доли, на которую у нее были все права. Деклассированный элемент. Ее беды — демократия в действии.

— Из-за чего у нее так все вышло?

— Из-за чего? Из-за отчима. Из-за элитарно-буржуазного поганства. Когда ей было пять, родители развелись. Богатый отец поймал красивую мать на неверности. Мать любила деньги, опять вышла замуж, и опять за богатого, и отчим не давал Фауни проходу. Начал приставать с первого же дня. Отойти не мог. Белокурая девочка-ангел — лапал ее, залезал ей в трусы. Ну а когда попробовал ей вставить, она сбежала. Ей было тогда четырнадцать. Мать отказывалась поверить. Фауни к психиатру водили. Она ему рассказала, как было дело, но после десяти сеансов врач тоже встал на сторону отчима. "Кто платит — тому и верят, — так Фауни мне сказала. — Все, не только психиатр". Мать потом крутила с доктором роман. Вот и вся история, как я ее услышал от Фауни. Вот что ее вытолкнуло в суровую самостоятельную жизнь. Прочь из дому, прочь из школы, махнула на Юг, там работала, потом обратно сюда, перебивалась всякой работой и в двадцать лет вышла за этого фермера, старше ее, с молочным хозяйством, вьетнамского ветерана. Решила, что они будут трудиться, растить детей, вместе поднимать ферму, и так у нее наладится стабильная, обычная жизнь, а если муженек маленько туповат — ничего, с этим можно мириться. Даже и лучше, что туповат. Пусть из двоих она будет с мозгами — так Фауни решила. Подумала, это даст ей преимущество. И ошиблась. Ничего хорошего из брака не вышло. Ферма лопнула. "Лопух лопухом, — так она мне про него сказала. — На один трактор больше купил, чем нужно". И бил ее регулярно. Бил до полусмерти. Вы знаете, что она называет высшей точкой этого брака? "Великую перестрелку теплым коровьим дерьмом". Однажды вечером они после дойки стояли в коровнике и в очередной раз ругались. Корова рядом с ней обильно опросталась, и Фауни зачерпнула хорошую горсть и влепила Лестеру в лицо. Он ей ответил тем же, и тут началось. Она сказала мне: "Перестрелка теплым дерьмом — по-моему, лучшее, что у нас было". Под конец они были заляпаны с ног до головы и дико хохотали, а потом, помывшись в коровнике из шланга, пошли в дом трахаться. Но это уже было лишнее. Едва ли сотая часть того удовольствия, что они получили от перестрелки. С Лестером секс вообще не был удовольствием — Фауни говорит, он не знал, как это делается. "Слишком тупой, чтобы даже трахаться как следует". Когда она говорит мне, что я идеальный мужчина, я отвечаю, что после него нетрудно таким показаться.

— Ну и какой же кроме того, что дьявольски мудрой, сделали ее двадцать лет перестрелок теплым дерьмом с Лестерами всех мастей? Свирепой? Житейски проницательной? Разгневанной? Чокнутой?

— Да, свирепой жизнь ее сделала, по крайней мере сексуально, но рассудка не лишила. Во всяком случае я этого пока не вижу. Разгневанной? Если это есть — а почему не быть? — то гнев у нее неявный. Гнев без гнева. И для человека, которому постоянно не везло, удивительно мало жалости к себе — или просто мне не хочет показывать. Но что до житейской проницательности — нет. Иной раз, правда, ее высказывания звучат очень неглупо. Она говорит: "Может, тебе лучше считать меня подругой твоего возраста, которая случайно выглядит моложе? Я бы этого хотела". Когда я спросил: "Чего ты от меня ждешь?", она объяснила: "Дружбы. Может, каких-то знаний. Секса. Удовольствия. Не волнуйся. Этого достаточно". Когда я ей однажды сказал, что она мудра не по возрасту, она ответила: "Нет, я тупа не по возрасту". Конечно, она сметливей этого Лестера, но проницательна? Да нет. Есть в ней что-то такое, вечно четырнадцатилетнее и очень далекое от проницательности. У нее была связь с начальником, со Смоки Холленбеком, который взял ее на работу. А его в свое

время взял я — заведовать хозяйством колледжа. Раньше он был местной футбольной звездой. Я знал его еще студентом, в семидесятые. Теперь он по хозяйственной части. Он нанял Фауни уборщицей, и она сразу, когда он только ее нанимал, поняла, что у него на уме. Что Смоки положил на нее глаз. Ему тесно в нудном браке, но злости она из-за этого у него не вызывает, он не смотрит на нее с раздражением — мол, чего не угомонилась, чего тут шастаешь и блядуешь? Буржуазным высокомерием Смоки не страдает. Да, он делает правильные вещи, и делает их отлично: жена, дети — пятеро! — семьянин каких поискать, до сих пор спортивный герой колледжа, популярная и уважаемая фигура в городе. Но у него есть один дар: он может еще и пошалить на стороне. Поговоришь с ним — не подумаешь. "Мистер Афина" в кубе, хоть на выставке выставляй, все как положено во всех отношениях. Кажется, что вписался в легенду о себе на двести процентов. Можно было ожидать, что он подумает: "Зачем мне эта подзаборная сука с ее говенной жизнью? Да пошла она в задницу". Но он так не думает. В отличие от всех остальных в Афине, не настолько он, оказывается, верит в легенду о Смоки, чтобы не допустить мысли: "А вот эту телку я бы поимел". Или не быть способным к действию. Он таки драл ее, Натан. Клал в одну постель ее и другую из персонала и драл обеих. Так продолжалось полгода. Потом еще добавилась одна, свежеразведенная, новенькая в городе, агентша по недвижимости. Туда же, в цирк Смоки, в его тайный балаган с тремя аренами. А еще через полгода он дал Фауни отставку — вывел, так сказать, из обращения. Я ничего про это не знал, пока она мне не сказала. А сказала только потому, что однажды ночью в постели глаза у нее поехали и она назвала меня его именем. Прошептала: "Смоки". На вершине горы Смоки[1]. То, что она побывала в этом зверинце, показало мне, с какой дамой я имею дело. Повысило ставку. Стало допингом, потому что я понял: это не любительница. Когда я спросил ее, как Смоки приманивает эти орды, она ответила: "Как? Да шишкой своей, как же еще". Я попросил объяснить, и она объяснила: "Как мужчина понимает, когда в комнату входит телка что надо? Вот так же, и наоборот. Есть люди, которых как хочешь одевай — все равно понятно, для какого они дела нужны". Постель — единственное место, где Фауни становится проницательной, Натан. Первое тут — инстинктивная телесная проницательность, второе — дерзкое нарушение норм. В постели Фауни вся внимание, у нее зрячая плоть, которая видит все абсолютно. В постели она сильное, собранное, цельное существо, чье главное наслаждение — в переходе границ. В постели она — сложное, глубокое явление. Может, из-за тех давних домогательств. Когда мы спускаемся на кухню, когда я жарю яичницу и мы вместе едим, она сущий ребенок. Может быть, опять-таки из-за домогательств. Со мной сидит рассеянная, вечно отвлекающаяся девчонка с пустыми глазами. В другое время такого не бывает, но за едой всякий раз одно: я и мой ребенок. Все дочернее начало, какое в ней осталось, вот оно, тут как тут. Не в состоянии прямо сидеть на стуле, не в состоянии связать двух фраз. Вся беспечность по части секса и трагедии улетучивается, и мне хочется ей сказать: "Ешь над столом, убери из тарелки рукав халата, постарайся слушать, что я тебе говорю, и смотри на меня, когда отвечаешь, ясно тебе?!"

— И вы говорите?

1. Ассоциация с Грейт-Смоки-Маунтинс — горной цепью в штатах Северная Каролина и Теннеси.

— Вряд ли это было бы разумно. Нет, не говорю — предпочитаю беречь интенсивность того, что есть. Я думаю про бидон у нее под кроватью, где собран пепел, с которым она не знает что делать, и мне хочется ей сказать: "Два года прошло. Пора похоронить. Если не хочешь в землю, пойди к реке, встань на мосту и рассыпь. Пусть себе летит, пусть развеется. Я пойду с тобой. Мы сделаем это вместе". Но я ей не отец, и она мне не дочь — эту роль я не играю и не хочу играть. И роль профессора тоже — ни с ней, ни с другими. Учить людей, исправлять их ошибки, наставлять их, просвещать, экзаменовать я как пенсионер больше не обязан. Я старик семидесяти одного года, который завел любовницу тридцати четырех лет, и в штате Массачусетс это лишает меня права кого-либо просвещать. Я принимаю виагру, Натан. Вот она кто, моя Belle Dame sans merci. Виагре я обязан всеми нынешними бурными и счастливыми переменами. Без нее ничего этого не было бы. Без нее я смотрел бы на мир так, как положено в моем возрасте, и имел бы совсем другие цели. Без виагры я был бы солидным пожилым джентльменом, свободным от вожделений и ведущим себя корректно. Я не совершал бы сумасбродных поступков. Не делал бы ничего неподобающего, безрассудного, необдуманного и потенциально губительного для всех действующих лиц, включая себя. Без виагры я мог бы под старость окидывать все широким отвлеченным взглядом умудренного опытом, с почетом ушедшего на пенсию ученого и педагога, который давным-давно отказался от чувственных радостей. Вместо того чтобы все время испытывать сексуальный аффект, я мог бы изрекать глубокие философские истины и оказывать укрепляющее нравственное влияние на молодежь. Благодаря виагре я наконец понял любовные метаморфозы Зевса. Надо было по-другому ее назвать. Не виагрой, а Зевсом.

Изумляется ли он сам тому, сколько всего передо мной вываливает? Не исключено. Но слишком полон этим, чтобы перестать. Тот же самый импульс, что заставил его танцевать со мной. Да, подумал я, он нашел новое дерзкое средство против унижения. То он писал "Духов", теперь спит с Фауни. Но им движет даже нечто большее. Желание выпустить зверя, высвободить энергию — хоть на два часа, хоть на час, но вернуться в естественное состояние. Он много лет был женат. У него родились дети. Он был деканом колледжа. Сорок лет делал то, что следовало делать. Он был занят, и естественное существо, зверь, сидело в клетке. Теперь клетка отперта. Быть деканом, отцом, мужем, ученым, педагогом, читать книги, читать лекции, проверять работы, ставить оценки — ничего этого больше не нужно. Конечно, в семьдесят один ты уже не тот неотразимый похотливый зверь, каким был в двадцать шесть. Но есть остаток былого зверя, остаток естественного существа, и Коулмен теперь соприкоснулся с этим остатком. И в результате он счастлив, благодарен за возможность такого соприкосновения. Он более чем счастлив — он в упоении и оттого уже привязан к ней, прочно привязан. Семейное начало тут ни при чем — биология уже мало что для него значит. Не семья, не ответственность, не долг, не деньги, не общность мировоззрения или взгляда на литературу, не долгие разговоры на великие темы. Нет, его привязывает к ней упоение. Завтра у него обнаружится рак — и привет. Но сегодня упоение.

Почему он со мной делится? Да потому, что если хочешь отдаться этому совершенно свободно, кто-то должен знать. Он готов отдаться до конца, потому что на кону ничего нет. Потому что все равно никакого будущего. Потому что ему семьдесят один, а ей тридцать четыре. Он вся-

зался в это не из желания что-то узнать и не для того, чтобы строить планы, а единственно ради приключения; он, как и она, — ради бесшабашной гонки. Для него тридцать семь лет разницы — колоссальная освобождающая сила. Старику — в последний раз сексуальный фарт. Что еще может так расшевелить человека?

— Возникает, конечно, вопрос, — сказал Коулмен. — Ей-то что от меня нужно? Что на самом деле у нее на уме? Новое возбуждающее переживание — быть с человеком, который годится тебе даже не в отцы, а в деды?

— Я думаю, существует тип женщины, — сказал я, — для которого это действительно возбуждающее переживание. Всякие бывают типы — почему не быть и такому? Есть же в Вашингтоне федеральный орган, который ведает стариками. Вот оттуда она и пришла к вам, Коулмен.

— Я никогда в молодости не сходился с некрасивыми девушками. Но во флоте у меня был дружок, Фарриелло, и некрасивые были как раз его специальностью. На базе в Норфолке, когда нас отпускали на танцы в церковь или военный клуб, Фарриелло всегда высматривал себе самую уродливую. Когда я стал над ним смеяться, он сказал мне, что я очень многое теряю, когда выбираю принцесс. Дурнушки низкого о себе мнения. Они не принцессы и поэтому сделают для тебя все, что ты захочешь. Большинство мужчин, сказал он, по глупости этого не понимает. Им невдомек, что, если только найти к ней ключик, она окажется самой необыкновенной. Ключик не всегда легко найти. Но если удастся... Если удастся ее открыть, ты просто не знаешь, с чего начать, так она трепещет и вибрирует. И все потому, что некрасивая. Потому что ее никогда не выбирают. Потому что она сидит в углу, когда другие танцуют. Быть стариком примерно это и означает. Быть непривлекательной девушкой. Сидеть на танцах в углу.

— Значит, Фауни — ваш Фарриелло.

— Вроде того, — улыбнулся он.

— Как бы то ни было, — сказал я ему, — благодаря виагре вы избавились от пытки писания этой книги.

— Это верно, — сказал Коулмен, — вы правы. Дурацкая книга. Говорил я вам, что Фауни не умеет читать? Я это обнаружил, когда мы однажды поехали в Вермонт обедать в ресторан. Не могла прочесть меню. Кинула в сторону. У нее есть такая манера — когда хочет изобразить полное презрение, сперва еле заметно скривит верхнюю губу, а потом выскажется. С таким вот полным презрением она бросила официантке: “Что ему, то и мне”.

— Она же до четырнадцати лет ходила в школу. Как это — не умеет читать?

— Судя по всему, навык улетучился вместе с детством. Я спросил, как такое могло случиться, но она только усмехнулась: “Запросто”. В Афине добросердечные либералы уговаривают ее поступить на курсы, но она в гробу это видала. Ночью она мне сказала: “И уж ты-то не пробуй меня учить. Делай со мной все, что тебе нравится, но только этого дерьма не надо. От того, что ушами слышу, уже тошно. Начнешь грамоте учить, давить, за парту сажать — сам толкнешь меня за край”. Когда возвращались из Вермонта, всю дорогу и я молчал, и она. Только дома раскрыла рот: “Тебе неохота драть такую, которая читать не умеет. Ты меня бросишь, потому что согласен драть только достойную, грамотную, у которой все как положено. Ты мне собираешься сказать: учись читать или проваливай”. Я отвечаю: “Наоборот. Я тем жарче буду тебя драть, что ты неграмотная”. Она говорит: “Ладненько. Значит, мы друг друга понимаем. Я

не так это делаю, как грамотные, и не хочу, чтобы со мной обращались как с ними". Я говорю: "Я с тобой ради того, какая ты есть". Она мне: "Вот-вот, самое оно". Мы уже оба к этому времени хохотали. Фауни смеется как барменша, у которой под стойкой на всякий случай припасена бейсбольная бита, и этим-то смехом она смеялась тогда — хрипловатым таким, бывалым, грубым, свободным смехом женщины с прошлым — и уже расстегивала мне брюки. Но она верно догадалась, что, пока мы ехали, я хотел ее бросить. Она прочла мои мысли. Но я так не поступлю. Я не собираюсь применять к ней мою чудесную добродетель. И к себе тоже. С этим покончено. Хотя я понимаю, что даром такие вещи не даются. Страховки тут не купишь. Тебя что-то возвращает к жизни, а потом оно же тебя и убьет. Я знаю, что для всякой возможной ошибки секс служит катализатором. Но сейчас это меня не волнует. Утром просыпаюсь — на полу полотенце, на тумбочке вазелин. Почему все это здесь? Потом вспоминаю. Потому что я снова жив. Потому что вокруг меня опять торнадо. Потому что так оно и бывает, когда ты *есть*. Я не намерен ее бросать, Натан. Я начал называть ее Волюптас.

Несколько лет назад мне по онкологическим показаниям удалили простату. Операция, хоть и прошла успешно, имела кое-какие неприятные последствия, почти неизбежные из-за повреждений нервной ткани и образования внутренних рубцов. В общем, я стал страдать недержанием мочи и поэтому, вернувшись в тот вечер домой от Коулмена, первым делом вынул абсорбирующую прокладку, которая днем и ночью лежит у меня в паху под трусами. Было жарко, и, поскольку речь не шла о посещении общественного места или многолюдного сборища, я, отправляясь к Коулмену, решил надеть не полиэтиленовые трусы, а обычные хлопчатобумажные, и в результате моча просочилась на мои брюки защитного цвета. Дома я увидел спереди влажное пятно и почувствовал запашок. Прокладки обрабатываются дезодорантом, и все же в данном случае запах был. Рассказ Коулмена так меня увлек, что я в какой-то момент забылся. Я сидел у него, пил пиво, танцевал с ним, слушал его, отмечал трезвость предвидения и четкость, с какой он мыслил, стремясь сохранить устойчивость после крутого поворота в своей жизни; я не вышел, как время от времени должен, в уборную провериться, и в результате со мной случилось то, что теперь иногда случается.

Нет, неприятности подобного рода уже не обескураживают меня так, как в первые месяцы после операции, когда я экспериментировал с разными способами решения этой проблемы и когда, конечно, еще давала себя знать привычка к свободному, сухому и лишенному запаха существованию — к жизни взрослого человека, контролирующего функции своего организма, человека, который шестьдесят с чем-то лет мог заниматься повседневными делами, не беспокоясь о состоянии своего белья. Тем не менее, когда возникает нечто выходящее за рамки обычных моих теперешних неудобств, я хоть и недолго, но страдаю, и меня по-прежнему порой приводит в отчаяние мысль, что я до конца дней буду по части мочеиспускания беспомощен как младенец.

Операция, кроме того, сделала меня импотентом. Медицинское средство, которое летом 1998 года было еще совсем новым, однако уже успело за очень короткий срок показать себя прямо-таки чудодейственным эликсиром, возвращающим пожилым мужчинам, в иных отношениях практически здоровым, как Коулмен, функциональную потенцию, — это средство не могло мне помочь из-за обширных повреждений нерв-

ной ткани. В таком состоянии виагра бесполезна – впрочем, даже если бы дело обстояло иначе, не думаю, что я бы ее принимал.

Хочу внести ясность: не из-за импотенции я стал вести жизнь затворника. Я уже около полутора лет жил и писал в двухкомнатной лачуге среди Беркширских холмов, когда по итогам рутинного обследования мне поставили предварительный диагноз "рак простаты"; затем – месяц дополнительных проверок и поездка в Бостон на простатэктомию. Переездом сюда я сознательно сказал "нет" сексу с его кошачьими песнями, и не потому, что влечение или, если уж на то пошло, эрекция стали слабее, а потому, что плата за удовлетворение стала для меня уже чересчур высока и я не мог наскрести нужного количества остроумия, силы, терпения, иллюзий, иронии, жара, эгоизма, эластичности – или жесткости, практицизма, фальши, лицемерия, способности к двойной жизни, эротического *профессионализма*, – чтобы справиться с ворохом обманчивых, сбивающих с толку, противоречивых смыслов. В результате я сумел несколько смягчить послеоперационный шок от сознания неизлечимой импотенции, напоминая себе, что хирургическое вмешательство всего-навсего заставит меня держаться линии, которую я и так добровольно избрал. Операция лишь подкрепила то решение, что я принял сам под воздействием опыта целой жизни, опыта осложнений и тягот – причем в то время, когда моя потенция была полноценной, сильной и неугомонной, когда маниакальная мужская потребность делать это опять, и опять, и опять не была еще обуздана физиологическими трудностями.

Но когда Коулмен рассказал мне про себя и свою Волюптас, все иллюзорные представления о покое, обретаемом благодаря философскому самоограничению, улетучились и я совершенно потерял равновесие. Долгие часы лежал я без сна в полной власти своих фантазий – лежал, гипнотически завороженный той парой, сопоставляя ее пыл со своим упадком. Лежал, даже не пытаясь оградить себя от мысленного воспроизведения того "дерзкого нарушения норм", от которого Коулмен не желал отказываться. И мой танец – танец безвредного евнуха с этим все еще полным жизни, горячим самцом – казался мне теперь жалкой, уродливой самопародией.

Без толку говорить: "Ко мне это больше не имеет отношения". Как же не имеет, если это часть любой жизни? Пятнающий фактор секса, спасительная порча, которая препятствует идеализации вида и заставляет нас вечно помнить, из какого мы вещества.

В середине следующей недели Коулмен получил анонимное послание всего из одной фразы – короткое главное предложение и более распространенное придаточное, – которая была смело, крупно, размашисто написана на стандартном листе белой бумаги. Обличающее письмо из двенадцати слов, заполнивших весь лист сверху донизу:

ВСЕМ ИЗВЕСТНО,
ЧТО ВЫ СЕКСУАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕТЕ
НЕСЧАСТНУЮ НЕГРАМОТНУЮ ЖЕНЩИНУ
ВДВОЕ ВАС МОЛОЖЕ.

И адрес на конверте, и само письмо были написаны красной шариковой ручкой. Несмотря на нью-йоркский штемпель, Коулмен узнал руку мгновенно. Это был почерк заведующей кафедрой, молодой францу-

женки, которая стала начальницей Коулмена, когда он, уйдя с поста декана, вернулся к преподаванию, и которая позже была среди самых ярых его обвинителей в расизме, якобы проявленном в отношении двух черных студенток.

В своих папках, озаглавленных "Духи", на нескольких документах, касающихся этого конфликта, он нашел образцы почерка, подтвердившие его первоначальный вывод: автор анонимки — профессор Дельфина Ру, заведующая кафедрой языков и литературы. Она не приложила сколько-нибудь заметных стараний, чтобы сбить Коулмена со следа, изменив почерк, — разве что первые два слова были выведены печатными буквами. Не исключено, что вначале у нее было такое намерение, но потом, начав писать, что же именно "всем известно", она передумала или забылась. Надписывая конверт, француженка даже не сочла нужным отказаться от лезущих в глаза европейских семерок в адресе и почтовом индексе Коулмена. Причиной этой расхлябанности, этого странного для анонимщика нежелания скрыть приметы своей личности могло быть, скажем, крайнее волнение, которое иной раз толкает человека на необдуманный поступок; письмо, однако же, не было второпях отправлено с местной почты, а, судя по штемпелю, вначале проехало примерно сто сорок миль на юг и лишь потом попало в почтовый ящик. Может быть, она посчитала, что в ее почерке нет ничего настолько особенного и характерного, чтобы он запомнил его с той поры, когда работал деканом; может быть, она забыла или не знала, что по запросу Коулмена специально созданный преподавательский комитет передал ему, наряду с фотокопиями других материалов по его делу, фотокопии ее отчетов о двух своих собеседованиях с Трейси Каммингз и ее итогового отчета. Или, возможно, она как раз хотела дать ему понять, кто именно знает о его секрете: решила нанести ему удар угрожающе-агрессивным анонимным обвинением и в то же время прозрачно намекнуть, что оно выдвинуто человеком хоть и молодым, но уже достаточно влиятельным.

В тот день, когда Коулмен звонком пригласил меня приехать и посмотреть на анонимное письмо, все образчики почерка Дельфины Ру из папок, посвященных "Духам", были аккуратно разложены на кухонном столе — и оригиналы, и копии, которые он уже снял и на которых красными чернилами обвел каждый элемент почерка, повторявшийся, как он считал, в анонимном письме. Обведены были главным образом отдельные буквы, и хотя сходство в почерке между письмом и документами из "Духов" нельзя было отрицать, лишь когда Коулмен показал мне свое имя и фамилию на конверте и в записях о собеседовании с Трейси Каммингз, я больше не сомневался: он уличил ту, которая вознамерилась уличить его.

ВСЕМ ИЗВЕСТНО,
ЧТО ВЫ СЕКСУАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕТЕ
НЕСЧАСТНУЮ НЕГРАМОТНУЮ ЖЕНЩИНУ
ВДВОЕ ВАС МОЛОЖЕ.

Держа письмо в руке, я в аккуратных выражениях, чтобы не обидеть Коулмена, похвалил выбор слов и разбивку текста на строки, словно письмо сочинила не Дельфина Ру, а Эмили Дикинсон[1]; Коулмен, со сво-

1. Эмили Дикинсон (1830–1886) — американская поэтесса.

ей стороны, объяснил мне, что не он, а Фауни с ее дикарской мудростью настояла на том, чтобы они пообещали друг другу хранить секрет их близости, который каким-то образом стал теперь известен Дельфине Ру, неявно пригрозившей предать его гласности. "Зачем мне, чтобы кто-то лез в мою жизнь? Перепихнуться по-тихому раз в недельку с приятно остуженным человеком, у которого все это уже было-перебыло, — вот и все, что мне надо, и не их это собачье дело".

"Не их" главным образом относилось к Лестеру Фарли, ее бывшему мужу. Ее в жизни не раз и не два лупили, причем отнюдь не только он: "Как же без этого, ведь я с четырнадцати лет мотаюсь одна". Например, когда ей было семнадцать и она работала подавальщицей во флоридской забегаловке, тогдашний дружок не только избил ее и разгромил ее жилье, но и спер у нее вибратор. "Вот это было чувствительно", — сказала Фауни. Причиной каждый раз бывала ревность. Не так на кого-то взглянула, спровоцировала кого-то на то, чтобы не так взглянул на нее, не смогла убедительно объяснить, где пропадала последние полчаса, не то слово произнесла или не с той интонацией — в общем, каким-то, по ее мнению, пустяком "доказала", что она вероломная и лживая потаскуха, — и все: что бы там ни было и кто бы *он* ни был, Фауни получает от него кулаками и ботинками во все места и истошно зовет на помощь.

За последний год перед разводом Лестер Фарли дважды избил ее так, что приходилось ехать в больницу, и он по-прежнему жил где-то в ближних холмах, работал после банкротства в дорожной бригаде городка, и поскольку у нее не было сомнений, что он как был чокнутым, так и остался, она говорила Коулмену, что, узнай он про эти дела, она боялась бы за Коулмена не меньше, чем за себя. Она подозревала, что Смоки потому так внезапно ее бросил, что между ним и Лесом Фарли что-то произошло — что Лес, периодически принимавшийся шпионить за бывшей женой, каким-то образом пронюхал насчет ее связи с начальником, пронюхал несмотря на то, что места свиданий Холленбек выбирал крайне тщательно, устраивая их в дальних закоулках старых зданий, в комнатах, о самом существовании которых никто, кроме заведующего хозяйством колледжа, и знать-то не знал, не говоря уже о том, чтобы иметь туда доступ. Выбирая подружек из своего персонала и встречаясь с ними прямо в кампусе, Смоки, казалось, вел себя опрометчиво, но во всем остальном, что касалось его забав, он был не менее аккуратен, чем в своей работе в колледже. С такой же профессиональной сноровкой, с какой он за считанные часы обеспечивал расчистку дорог кампуса после снегопада, Смоки умел, если нужно, одним махом избавиться от той или иной из своих наложниц.

— Ну и как мне теперь быть? — спросил меня Коулмен. — Я и до того, как узнал про буйного бывшего мужа, был не прочь сохранить все это в секрете. Предвидел что-то в подобном роде. Дело даже не в том, что она моет сортиры в колледже, где я был деканом. Мне семьдесят один, ей тридцать четыре. Одного этого достаточно, чтобы затаиться, и когда она мне сказала, что это не их собачье дело, я подумал: вот и хорошо, она меня опередила, мне теперь даже и не надо заговаривать на эту тему. Разыграть все это как тайный адюльтер? Отлично, за мной дело не станет. Потому-то я и повез ее обедать в Вермонт. Потому-то, если мы случайно встречаемся на почте, мы даже не здороваемся.

— Может, кто-нибудь вас в Вермонте увидел? Или в машине по дороге.

— Да... такое могло случиться. Все прочее просто исключено. Может быть, нас увидел сам Фарли. О господи, Натан, я почти пятьдесят лет не ходил ни на какие свидания — я подумал, ресторан... Какой же я идиот.

— Да нет, не идиот. Нет, нет — просто вам тесно стало, захотелось на простор. Послушайте. Что касается Дельфины Ру — не могу сказать, что понимаю, почему ее так страстно занимает, с кем вы спите в ваши пенсионные годы, но поскольку мы знаем, что есть люди, которые не переносят никаких нарушений условностей, будем считать, что она из их числа. Но вы-то нет. Вы свободны. Вы свободный и независимый человек. Свободный и независимый *старый* человек. Вы массу всего потеряли, уйдя с работы, но, может, кое-что и приобрели? Вам не надо больше никого просвещать — вы сами сказали. И это не проверка на способность пренебрегать социальными запретами. Вы почти всю жизнь провели внутри преподавательского сообщества, а теперь оказались не у дел, и, если я верно вас чувствую, это совершенно не свойственное вам состояние. Возможно, вы никогда не хотели, чтобы у вас появилась такая Фауни. Возможно, даже считаете, что не должны были этого хотеть. Но и в самых мощных укреплениях бывают лазейки, куда проникает то, чего мы меньше всего ждем. В семьдесят один у вас Фауни, в 1998 году у вас виагра; вернулось то, о чем вы и думать забыли. Безбрежный покой. Грубая силища. Головокружительная интенсивность ощущений. Ни с того ни с сего — последний большой полет Коулмена Силка. Можно предположить — действительно последний. Да, обстоятельства жизни Фауни Фарли невероятно контрастируют с вашими. Да, они не соответствуют благопристойным понятиям о том, с кем может делить постель человек вашего возраста и положения — если вообще с кем-нибудь может. Но то, что последовало за произнесением вами слова "духи", — это разве соответствует благопристойным понятиям? Инсульт Айрис им соответствует? Выбросьте идиотское письмо из головы. С какой стати оно должно вас смущать?

— Идиотское *анонимное* письмо, — уточнил он. — Я в жизни таких не получал. Может ли человек, способный к рациональному мышлению, послать анонимку?

— По-моему, это французский обычай. У Бальзака — разве там не масса анонимных писем? Или у Стендаля? В "Красном и черном" — не помните?

— Не помню.

— Ход мысли такой: в основе всего, что бы вы ни делали, лежит жестокость, а в основе всего, что делает Дельфина Ру, уж конечно лежит чистая добродетель. В мифологии ведь на каждом шагу великаны, чудовища и гидры. Квалифицируя вас как чудовище, она квалифицирует себя как героиню. В вашем лице она убивает гадину. Мстит за слабых, которых вы пожрали. Она переносит все в мифологическую сферу.

По снисходительной улыбке Коулмена я понял, что мало чего достигну, шутливо или всерьез интерпретируя анонимное обвинение в гомеровском ключе.

— К ее умственным построениям, — сказал он, — мифотворчество не имеет отношения. Для мифотворчества у нее воображения не хватает. Нет, ее стихия — жуткие байки, которые сочиняют крестьяне для объяснения своих бед. Про порчу, про дурной глаз. Я не иначе как околдовал Фауни. Стихия Дельфины — сказки про ведьм и колдунов.

Разговор теперь доставлял удовольствие нам обоим, и я видел, что, говоря о его праве на наслаждение, стремясь тем самым его успокоить, я усилил его симпатию ко мне — и обнаружил свою симпатию к нему. Я пустился в излияния и понимал это. Я удивил самого себя желанием сказать человеку хорошее, чувствовал, что говорю лишнее, что захожу в объяснениях слишком далеко, чувствовал себя сверхвовлеченным и пе-

ревозбужденным, как в детстве, когда тебе кажется, что в новом мальчике на улице ты нашел единственного друга, и ты ведешь себя совершенно не так, как обычно, открываешься куда больше, чем тебе самому хочется. Но у меня и раньше, с того самого дня после смерти Айрис, когда он забарабанил в мою дверь и принялся убеждать меня написать за него "Духов", помимо моей воли завязалась с Коулменом Силком нешуточная дружба. Его трудности занимали меня, и не просто как материал для умственных упражнений. Они что-то для меня значили — значили вопреки моему решению в то время, какое осталось мне самому, уделять внимание только каждодневным требованиям работы, избегать всего, кроме серьезного труда, не искать приключений вне его и не печься даже о своей собственной жизни, не говоря уже о чьей-то еще.

Я осознал это не без огорчения. Уход из мира, воздержание от всего, что может отвлечь, добровольный отказ от любых профессиональных амбиций, коллективных иллюзий, культурных отрав и соблазнительных близостей, строгое затворничество по примеру религиозных отшельников в пещерах, кельях или лесных хижинах — все это, как видно, требует более твердого материала, чем тот, из которого я изготовлен. Я продержался всего пять лет — пять лет одинокого чтения и писания в симпатичной двухкомнатной хижине на склоне холма Мадамаска-Маунтин. За домом — маленький пруд, перед ним — грунтовая дорога, дальше кустарник, дальше десять акров болота, где вечер за вечером отдыхают перелетные канадские казарки и все лето одиноко рыбачит терпеливая голубая цапля. Секрет жизни среди мировой суматохи с минимумом боли — втянуть в свои иллюзии как можно больше людей; секрет одинокой жизни здесь, где я хочу отсечь себя от любых возбуждающих вовлеченностей, соблазнов и ожиданий, а прежде всего от собственного внутреннего напора, — в том, чтобы организовать тишину, думать о ее изобилии на этих холмах как о капитале, как о приумножающемся богатстве. Думать об окрестном безмолвии как о выбранном тобой источнике силы, как о единственном, что тебе близко. Укрепляться за счет "собеседований одинокого ума с самим собой" (снова Готорн). Укрепляться за счет Готорна и ему подобных, черпать мудрость у великолепных покойников.

Для того чтобы справиться с трудностями такого выбора, подавить тоску по утраченному, понадобилось время — время и стойкое, как у цапли, терпение, — но за пять лет я так преуспел в хирургически точном членении моих дней, что в бессобытийном существовании, которое я избрал, не оставалось и часа, лишенного для меня своей особой значимости. И даже необходимости. Восторга даже, если хотите. Я больше не испытывал пагубной тяги к *чему-то еще*, и последним, думалось мне, что я мог бы снова терпеть, было постоянное общество *кого-то еще*. Музыка после обеда — это не избавление от тишины, а более полное ее осуществление. Час-другой вечернего слушания музыки не лишает меня безмолвия, а, наоборот, заставляет его сбыться до конца. Летом, проснувшись утром, я первым делом полчаса плавал в пруду, а в другие времена года, пока снег не делал прогулки невозможными, я после утренней работы за письменным столом почти каждый день часа два ходил по холмам. Рак, который стоил мне простаты, не давал рецидивов. Шестидесятипятилетний, в форме, относительно здоровый, упорно работающий — я знал, что я и где я. Приходилось знать.

Так почему же тогда, претворив эксперимент строгого затворничества в богатое и осмысленное одиночное существование, — почему вдруг, ни с того ни с сего я должен был ощутить тоску? Тоску по чему?

Что прошло — прошло. Ни о каких послаблениях, ни о каком отказе от ограничений и речи не может быть. И все же — тоску по чему? Очень просто: по тому, к чему у меня, я считал, развилось отвращение. По тому, к чему я повернулся спиной. По жизни. По вовлеченности в жизнь.

Вот как я подружился с Коулменом и вот как покинул цитадель уединенного бытия в глуши, где держал оборону от раковых набегов. Заставив меня танцевать, Коулмен Силк заставил меня жить. До меня что-то в этом роде он сотворил с Афина-колледжем — поистине этот человек был мастером перемен. Танец, который ознаменовал начало нашей дружбы, сделал, кроме того, его беду моей темой. Его беду и его маскировку. Необходимость представить должным образом его секрет стала моей задачей. Вот как я утратил способность оставаться вне сумятицы и напряжения, от которых бежал. Я всего-навсего нашел друга — и пробил брешь, куда хлынуло все мировое зло.

В тот же день Коулмен повез меня познакомиться с Фауни на маленькую молочную ферму в шести милях от его дома, где в обмен на бесплатное проживание она доила коров. Несколькими годами раньше это молочное хозяйство организовали две разведенные женщины с высшим образованием, поборницы защиты окружающей среды, обе из новоанглийских фермерских семей, пустившие все, что у них было, включая труд детей — шестерых общим счетом, о которых хозяйки любили говорить покупателям, что они узнали, откуда берется молоко, не из фильмов "Улица Сезам", — на почти невозможное дело: жить продажей сырого молока. Это единственное в своем роде предприятие имело очень мало общего с большими молочными фермами — ничего обезличенного, ничего фабричного, на нынешний взгляд и не молочная ферма даже, а что-то совсем другое. Называлось оно "Органика", и продукцией его было сырое молоко, которое продавалось как в местных магазинчиках и некоторых ближних супермаркетах, так и на самой ферме постоянным покупателям, бравшим не менее трех галлонов в неделю.

Коров, чистокровных джерсеек, было всего одиннадцать, и у каждой не бирка с номером в ухе, а полноценная старомодная кличка. Их молоко не смешивалось с молоком никакого огромного стада, где животных пичкают всяческой химией; не выхолощенное пастеризацией и гомогенизацией, оно сохраняло легкий привкус и даже запах того, чем коровы из года в год питались, растительного корма, получаемого без гербицидов, пестицидов и химических удобрений, и, поскольку было богаче питательными веществами, чем обычное гомогенизированное молоко, его охотно покупали те местные жители, что отдавали предпочтение натуральным продуктам. Ферма сделалась популярна среди тех довольно-таки многочисленных обитателей здешних мест — как пенсионеров, так и родителей с детьми, — что сбежали сюда из больших городов с их загрязняющими, нервирующими и растлевающими воздействиями. В местном еженедельнике и теперь попадаются письма в редакцию, где люди, недавно обретшие лучшую жизнь среди здешних сельских дорог, с благодарностью упоминают, помимо прочего, молоко "Органика" — упоминают не просто как лакомое питье, но и как воплощение освежающей, услаждающей сельской чистоты, которой так жаждет их потрепанный городским существованием идеализм. Письма пестрят такими словами, как "добро" и "душа", словно осушить стакан молока "Органика" — значит не только зарядиться здоровьем, но и исполнить некий спасительный религиозный ритуал: "Когда мы пьем мо-

локо ‘Органика’, питание разом получают наше тело, душа и дух. Все внутренние органы вбирают его природную силу и, ощущаем мы это или нет, отзываются на нее с благодарностью”. Пишут подобные вещи люди взрослые и во многих иных отношениях вменяемые; избавленные здесь от того, что их не устраивало в Нью-Йорке, Хартфорде или Бостоне, они не прочь провести за письменным столом несколько приятных минут, воображая себя семилетними детьми.

Хотя Коулмен потреблял в день вряд ли больше молока, чем те полчашки, которыми он утром заливал злаковые хлопья, он договорился с хозяйками на пресловутые три галлона в неделю. Это давало ему повод являться на ферму, где он забирал свеженадоенное молоко. Свернув с шоссе на грунтовую дорогу с тракторными колеями, он подъезжал к коровнику, входил в него и вынимал свое молоко из холодильника. Дело было, конечно, не в скидке, которую получали трехгаллоновые клиенты, а в том, что от холодильника, стоявшего у входа, было всего несколько шагов до отсека с доильной установкой, куда коровы одна за другой заводились два раза в день и где в пять вечера, вернувшись из колледжа, их несколько раз в неделю доила Фауни.

Он просто стоял и смотрел, как она работает. Хотя в это время дня здесь редко появлялся кто-то еще, Коулмен не входил в отсек — просто стоял снаружи и смотрел, позволял ей делать свое дело, не отвлекаясь на разговор с ним. Часто они вообще ничего друг другу не говорили, потому что их наслаждение усиливалось от молчания. Она знала, что он на нее смотрит; зная, что она знает, он смотрел еще пристальней — и то, что они не могли тут, в грязи, совокупиться, не имело ни малейшего значения. Довольно было того, что они наедине где-то *помимо* его постели, довольно было изображать будничную разделенность непреодолимыми социальными барьерами, держаться в рамках привычных амплуа простой доярки и вышедшего на пенсию профессора, виртуозно играть каждый свою роль: она — сильной худощавой тридцатичетырехлетней работницы, неграмотной и неотесанной деревенской бабы, сплошь мышцы да кости, которая только что с вилами в руках расправилась во дворе с дерьмом, оставшимся после утренней дойки; он — пожилого почтенного мыслителя, знатока античности, чей вместительный мозг заключал в себе словари двух мертвых языков. Довольно было вести себя так, словно у них нет ровно ничего общего, ни на секунду не забывая о том, что им под силу сгустить все, что в них есть несоединимого, до состояния взрывной оргиастической смеси, сделать противоречия источником бешеной энергии. Довольно было ощущать тайный трепет двойной жизни.

На первый взгляд, мало что в заляпанной грязью тощей высокой женщине в шортах, майке и резиновых сапогах, которую Коулмен называл своей Волюптас, могло так уж распалить плотские вожделения. Плотское начало здесь олицетворяли коровы, чьи тела занимали все свободное место, — кремового цвета громадины со свободно покачивающимися и мощными, как балки, бедрами, с брюхами-бочками и непропорционально большими, как в мультфильмах, чуть не лопающимися от молока выменами, невозмутимые, ленивые, избавленные от борьбы за существование полуторатысячефунтовые фабрики самоудовлетворения, пучеглазые монстры с полными кормушками на входе и четверками пульсирующих, жадных, высасывающих все до капли механических ртов на выходе, существа, чьим законным телесным правом было чувственное удовлетворение с обоих концов разом. Глубоко ушедшие в животное бытие, все они были счастливо лишены глубины духовной: до-

иться и жевать, извергать кал и мочу, пастись и спать — вот и весь raison d'être[1]. Бывает так (об этом мне рассказал Коулмен), что человеческая рука в длинной резиновой перчатке вводится корове в прямую кишку, чтобы сначала выгрести кал, а затем, щупая сквозь кишечную стенку, верно направить вставляемый другой рукой в другое отверстие осеменяющий шприц. Избалованные во всем, они размножаются без такого неудобства, как соприкосновение с быком; в любую пору, даже в морозную метельную ночь, получают помощь при родах, которые, как сказала Фауни, волнуют каждого из присутствующих. Из плотского им — все самое-самое, включая блаженство ленивого смакования капающей изо рта кашицеобразной тягучей жвачки. Мало у кого из куртизанок была такая жизнь — не говоря уже про трудящихся женщин.

Фауни, казавшаяся на фоне коров жалким легковесом эволюции, — вот кто работал как вьючная скотина среди этих довольных жизнью существ, излучавших ауру земной, изобильной женской плодовитости. Она по очереди выкликала их из открытого загона, где они томно полеживали в мешанине сена и дерьма: "Иди сюда, Дейзи, сделай такое одолжение. Давай, давай, Мэгги, вот умница девочка. Шевелись, Флосси, старая жопа". Брала их за загривок и с уговорами тянула через слякотный двор, потом ступенька вверх — и на бетонный пол доильни, там вела этих громоздких Дейзи и Мэгги к доильному станку с кормушкой, фиксировала их в станке, отмеряла и насыпала каждой порцию витаминизированного корма, дезинфицировала соски, вытирала насухо, пальцами начинала доение, прилаживала стаканы аппарата — в движении ежесекундно, на каждой стадии вся пристальное внимание и при этом, в противоположность их покорно-упрямой инертности, все время по-пчелиному деятельная, до тех пор пока молоко не начинало течь по прозрачной трубке в блестящее ведро из нержавейки. Тут она могла наконец постоять, следя за тем, чтобы все работало как надо и чтобы корова, в свою очередь, стояла смирно. Потом снова приходила в движение — массировала вымя, чтобы выбрать молоко до конца, отсоединяла стаканы, насыпала корм для следующей коровы и ставила кормушку к другому станку, после чего, взяв выдоенную за загривок, лавируя в тесном помещении, помогая ей толчками, напирая плечом, непререкаемым тоном командуя: "Пошла, а ну пошла, а ну...", выводила необъятную красавицу назад на грязный двор.

Фауни Фарли: тонкие ноги, худые запястья, тонкие руки, ясно различимые ребра, выступающие лопатки — и вместе с тем, когда она напрягалась, видно было, что мускулы у нее крепкие; когда она тянулась за чем-то или резко распрямлялась, видно было, как круглятся ее на удивление весомые груди; когда она прихлопывала на себе сзади муху или комара из тех, что во множестве вились над животными в этот душный летний день, видно было, какой быстрой, вопреки спокойному в целом облику, она может вдруг стать. Видно было, что ее тело не просто худощаво, подтянуто и деятельно, — создавалось впечатление хорошо сложенной женщины в тот краткий период равновесия, когда она уже расцвела, но еще не вянет, женщины в высшей точке своего подъема, чья небольшая седина обманчива, потому что возрастные перемены не коснулись пока ни отчетливой, типичной для янки линии щек и подбородка, ни длинной женственной шеи.

1. Смысл существования (*франц.*).

— Познакомься, это мой сосед, — сказал ей Коулмен, улучив момент, когда она вытерла локтем пот со лба и взглянула в нашу сторону. — Натан.

Меня удивила ее бесстрастность. Скорее можно было ожидать открытого неудовольствия. Она приветствовала меня всего-навсего коротким кивком, но из этого движения извлекла максимум. Сам по себе подбородок давал ей максимум. Обычно высоко поднятый, он свидетельствовал о мужественности. Это было и в ее реакции: что-то мужественное и неумолимое в этом взгляде в упор, но вместе с тем — что-то не вполне благонадежное. Взгляд человека, для которого секс и измена — такая же основа жизни, как хлеб. Взгляд беглянки и взгляд неудачницы, привыкшей к беде и невезению. Хотя ее золотые волосы, преждевременно и трогательно седеющие, были стянуты сзади эластичным кольцом, на лоб во время работы то и дело падала прядь, и когда теперь, молча глядя на нас, она в очередной раз отвела ее рукой, я впервые увидел маленькую особенность ее лица, которая показалась мне значимой — может быть, конечно, я и ошибся, ведь мне очень хотелось что-то такое углядеть: припухлости в узком пространстве между бровями и верхними веками. Тонкогубая, с прямым носом, ясными голубыми глазами, хорошими зубами и твердо очерченным подбородком, она ничем, кроме этих выпуклостей, не обнаруживала признаков экзотики, которые намекали бы на чувственность и излишество. Ими же можно было объяснить то смутное и тревожащее, что наплывало на жесткую прямоту ее взгляда.

В целом Фауни была не соблазнительной сиреной, при встрече с которой занимается дух, а стройной привлекательной женщиной из тех, о ком думаешь: в детстве она, вероятно, была очень хороша. Именно так, по словам Коулмена, дело и обстояло: золотоволосая девочка, чей богатый отчим не давал ей проходу и чья дрянная мать не потрудилась ее защитить.

Мы стояли, дожидаясь, пока она подоит все одиннадцать коров — Дейзи, Мэгги, Флосси, Бесси, Долли, Девочку, Любимицу, Тупицу, Эмму, Умницу и Джилл, — стояли, пока она проделывала с каждой всю неизменную череду операций; кончив, она перешла в примыкающую к доильне выбеленную комнату с большими раковинами, шлангами и стерилизаторами, и сквозь открытую дверь мы смотрели, как она смешивает раствор щелока с моющими веществами, как отсоединяет трубку насоса и доильные стаканы, как снимает крышки с двух молочных ведер, как разбирает всю доильную установку и затем, раз за разом наполняя чистой водой раковины, оттирает всевозможными щетками и ершами до безукоризненной чистоты каждую поверхность каждой трубки, клапана, прокладки, затычки, пластинки, втулки, колпачка, диска и поршня. Пока Коулмен не взял свое молоко и мы не пошли к его машине, мы с ним простояли у холодильника, наверно, часа полтора, и кроме тех слов, что он произнес, представляя меня, человеческий голос за все время не прозвучал ни разу. Слышны были только копошение и щебет деревенских ласточек, гнездившихся под крышей коровника, дробный стук гранулированного корма о цементное дно кормушки, затем тяжелое шарканье едва отрываемых от пола копыт, когда Фауни, устанавливая корову для дойки, тянула ее, и пихала, и налегала плечом, затем мягкие глубокие вдохи молочного насоса.

После того как четыре месяца спустя их обоих похоронили, я вспоминал эту дойку как спектакль, где мне была отведена роль статиста, — я сохранил переживание за собой и по сей день. Ночь за ночью я лежал без сна, не в силах заставить себя уйти с подмостков, где я стоял с двумя веду-

щими актерами и коровьим хором, не в силах оторваться от безукоризненно разыгрываемой всем составом сцены: влюбленный старик смотрит, как трудится сельская работница, с которой он находится в тайной связи. От сцены, полной пафоса, гипноза и сексуальной зачарованности, где все, что женщина делает с коровами, как она их водит, шлепает, обслуживает, как говорит с ними, становится пищей его жадного воображения; от сцены, где сила, которая в нем так долго была подавлена, что едва не умерла совсем, возродилась и овладела им целиком, явив моим глазам образчик своего могучего действия. Наверно, это было похоже на то, как Ашенбах[1], в котором плотская страсть дошла до точки кипения из-за острого сознания им своей смертности, смотрел на Тадзио, — с той, правда, разницей, что мы находились не в роскошном отеле венецианского Лидо и не были персонажами никакой прозы — ни немецкоязычной прозы Манна, ни (пока что) моей англоязычной. Мы стояли в коровнике на северо-востоке Америки в разгар лета в год президентского импичмента и не в большей степени были тогда литературными героями, чем животные — мифологическими существами или чучелами. Свет и тепло благодатного дня, нерушимое спокойствие каждой коровьей жизни, неотличимой от остальных, старик, восхищенно всматривающийся в гибкую фигуру ухватистой, энергичной женщины, его восторг — он выглядел так, словно с ним отроду не случалось ничего более волнующего, — и мое состояние, моя завороженность не только их полным несоответствием друг другу, но и общей контрастностью, переменчивостью, кипучим многообразием людских сексуальных связей, а еще необходимостью для всех — чрезвычайно дифференцированной для человечьего племени и почти недифференцированной для коровьего — не просто существовать, а *жить*, снова и снова получать, дарить, кормить, пастись, доить, давать молоко, пусть даже и сполна сознавая при этом бессмысленность жизни и неразрешимость ее загадки, — все было до предела реально, и десятки тысяч мелких впечатлений это подтверждали. Чувственная полнота, изобилие, щедрость жизни, даже сверхщедрость, на подробности — вот она, ее песня. И Коулмен с Фауни, ныне мертвые, тогда плыли в самой стремнине дивных неожиданностей, новых каждый день и каждую минуту, сами будучи подробностями сверхизобильного бытия.

Ничто не длится — и ничто не проходит. Не проходит именно потому, что не длится.

Неприятности с участием Леса Фарли начались вечером того же дня: Коулмен услыхал какое-то движение в кустах возле дома, решил, что вряд ли это олень или енот, встал из-за кухонного стола, за которым они с Фауни только что разделались со спагетти, и, выглянув за дверь, увидел в летних сумерках мужчину, убегающего через поле, которое начиналось за домом, в сторону леса. “Стойте! Эй, вы! Стойте!” — закричал Коулмен, но мужчина не остановился и не оглянулся — быстро добежал до деревьев и исчез. В предшествующие месяцы Коулмену и раньше — всякий раз поздно вечером — казалось, что совсем рядом с домом кто-то притаился и смотрит, но в темноте невозможно было понять, кто это — соглядатай или зверь. И тогда он бывал один, а на этот раз у него сидела Фауни, и она-то, хоть и не видела пересекающую поле фигуру, без колебаний сказала, что это ее бывший муж.

1. Герой новеллы Томаса Манна “Смерть в Венеции”.

После развода, объяснила она, Фарли все время за ней шпионил, а когда погибли их дети и он обвинил ее в преступной небрежности, его преследования стали прямо-таки неотвязными. Дважды он появлялся точно из-под земли — один раз на автостоянке у супермаркета, другой раз у бензозаправки — и кричал из окна своего пикапа: "Сука! Шлюха! Убийца! Детей моих убила, дрянь!" Много раз утром по дороге в колледж она видела в зеркальце заднего вида его пикап, его лицо за ветровым стеклом, его шевелящиеся губы: "Ты детей моих убила". Иногда он следовал за ней и на обратном пути. Тогда она еще жила в несгоревшей половине бунгало, где во время пожара, случившегося из-за обогревателя, задохнулись ее дети, но позже из страха перед мужем уехала и сняла комнату в Сили-Фолс, а потом, после неудачной попытки самоубийства, перебралась на молочную ферму, где почти всегда рядом хозяйки и их дети и можно не так опасаться его появлений. После второго переезда пикап Фарли реже стал показываться в ее зеркальце и наконец пропал на месяцы — она с надеждой подумала было, что развязалась-таки с бывшим мужем. Но теперь Фауни была уверена, что он каким-то образом прознал про Коулмена и, взбесившись из-за того, из-за чего всегда бесился, опять шпионит как сумасшедший — прячется около дома Коулмена, пытается высмотреть, чем она там занимается. Чем она *с ним* занимается.

Когда Фауни в тот вечер села в свой старый "шевроле", который по просьбе Коулмена всегда загоняла к нему в сарай подальше от чужих глаз, он решил проехать за ней шесть миль до грунтового ответвления к коровнику и ферме. А на обратном пути все время смотрел, не пристроился ли кто-нибудь ему в хвост. Поставив машину под навес и входя в дом, водил по сторонам монтировкой, чтобы удержать на расстоянии того, кто мог таиться в темноте.

Наутро, проборовшись в постели со своими тревожными мыслями восемь часов, Коулмен решил не заявлять в полицию: сделать она все равно ничего не сделает, доказать, что шпионил Фарли, невозможно, а если про его, Коулмена, обращение начнут трепаться, слухи о бывшем декане и уборщице, которые уже ходят, получат лишнее подтверждение. После бессонной ночи Коулмен не мог, однако, ответить на *все* бездействием; позавтракав, он позвонил своему адвокату Нельсону Праймусу и позднее в тот же день поехал в Афину поговорить с ним насчет анонимного письма. Проигнорировав предложение Праймуса выкинуть письмо из головы, Коулмен заставил его написать Дельфине Ру на адрес колледжа следующее: "Уважаемая мисс Ру! Я представляю интересы Коулмена Силка. Несколько дней назад Вы прислали мистеру Силку анонимное письмо, которое носит оскорбительный, провокационный и клеветнический характер. Ваше письмо гласит: 'Всем известно, что вы сексуально эксплуатируете несчастную неграмотную женщину вдвое вас моложе'. К сожалению, Вы позволили себе грубое вмешательство в чужие дела. Поступив таким образом, Вы нарушили законные права мистера Силка и дали повод для иска".

Через несколько дней Праймус получил от адвоката Дельфины Ру ответ — четыре лаконичные фразы. Вторую и третью, недвусмысленно отвергающие обвинение Дельфины Ру в авторстве анонимки, Коулмен подчеркнул красным. "Ни одно из утверждений Вашего письма не соответствует истине, — писал Праймусу ее адвокат. — Это безусловная клевета".

Коулмен тут же взял у Праймуса адрес бостонского графолога, специалиста по анализу документов, который выполнял заказы на экспертизу от частных корпораций, федеральных правительственных учреждений

и властей штата, и на другой день, потратив три часа на дорогу до Бостона, явился к нему лично, чтобы передать образцы почерка Дельфины Ру, анонимное письмо и конверт. Ответ он получил по почте на следующей неделе. "По Вашему запросу, — писал эксперт, — я исследовал и сличил копии текстов, написанных от руки Дельфиной Ру, с анонимным посланием и надписями на конверте, адресованном Коулмену Силку. Ваш запрос касался идентификации почерка на этих документах. Мое исследование учитывает такие характеристики почерка, как наклон, промежутки, написание букв, особенности линии, нажим, пропорции, соотношение высоты букв, их соединение, начальные и конечные элементы. Изученные документы дают основания сделать следующее профессиональное заключение: все тексты, представленные как образцы почерка Дельфины Ру, написаны той же рукой, что и анонимное письмо и адрес на конверте. С уважением, Дуглас Гордон, эксперт по анализу документов". Когда Коулмен, вручив заключение графолога Нельсону Праймусу, дал ему указание послать копию адвокату Дельфины Ру, Праймус уже не пытался возражать, как ни тяжело ему было видеть Коулмена почти таким же разъяренным, как во время ссоры с колледжем.

Всего с вечера, когда он увидел убегающего Фарли, прошло восемь дней, в которые он счел за лучшее не встречаться с Фауни и ограничиться разговорами по телефону. Защищая себя и ее от шпионажа, кто бы им ни занимался, он не ездил на ферму за молоком, вообще почти не выходил из дома и зорко смотрел по сторонам, особенно в темное время суток. Фауни он велел глядеть в оба у себя на ферме, а в машине не забывать про зеркальце заднего вида. "Как будто мы — угроза общественной безопасности", — сказала она ему, смеясь своим характерным смехом. "Нет, общественному здоровью, — отозвался он. — Мы нарушаем указания Совета по здравоохранению".

На восьмой день, получив подтверждение авторства Дельфины Ру, Коулмен, пусть и нельзя было ничего поделать со шпионажем Фарли, убедил себя, что принял против мерзких и провокационных посягательств все меры, какие можно было принять. Когда Фауни позвонила в свой обеденный перерыв и спросила, не кончился ли уже "карантин", он был настолько спокоен — или убедил себя, — что позволил ей приехать.

Ожидая ее примерно к семи вечера, он в шесть принял виагру, потом налил себе бокал вина и вышел наружу с телефоном, чтобы, сидя около дома в садовом кресле, позвонить дочери. Они с Айрис вырастили четверых детей: старшие сыновья, которым уже перевалило за сорок, оба были профессорами колледжей и занимались точными науками, оба были женаты, имели детей и жили на тихоокеанском побережье; младшие, близнецы Лиза и Марк, бессемейные, хотя их возраст подбирался к сорока, жили в Нью-Йорке. Все, кроме одного, Силки этого поколения по три-четыре раза в год наезжали в Беркширы проведать отца и раз в месяц ему звонили. Исключение — Марк, который всю жизнь был с Коулменом в контрах и периодически рвал с ним всякую связь.

Коулмен потому решил позвонить Лизе, что, начав соображать, когда последний раз с ней говорил, понял, что месяц с лишним, а то и два назад. Не исключено, что он просто поддался мимолетному ощущению одиночества, которое все равно прошло бы с приездом Фауни, но, чем бы ни был вызван звонок, он, набирая номер, и заподозрить не мог, какой оборот примет разговор. Где-где, а тут он никак не ждал противостояния — ведь сам голос Лизы, мягкий, мелодичный, все еще голос девочки, несмотря на трудные двенадцать лет учительской работы в Нижнем

Ист-Сайде, всегда раньше был для него надежным успокоительным средством. Больше того – голос заставлял порой с новой силой испытать отцовское чувство. Скорее всего Коулмен просто-напросто захотел того же, чего по любой из сотни причин может захотеть почти каждый стареющий родитель, – хоть ненадолго оживить дальним телефонным звонком былую систему отношений. Благодаря длительной, непрерывной и недвусмысленной истории взаимной нежности Коулмен меньше, чем от кого бы то ни было, мог ждать от Лизы осложнений.

Примерно три года назад – еще до конфликта из-за "духов", – когда Лизе показалось, что, сменив преподавание в классе на уроки чтения для отстающих, она совершила большую ошибку, Коулмен поехал к ней в Нью-Йорк разобраться, насколько плохи у нее дела. Айрис была еще жива, более чем, но не в ее сокрушительной энергии Лиза нуждалась, не в таком ускорении, какое Айрис умела придать кому хочешь. Если Лиза в ком нуждалась, то в бывшем декане с его умением настойчиво и последовательно распутывать узлы. Айрис, конечно, сказала бы дочери, что на то и трудности, чтобы их преодолевать, и Лиза после ее отъезда осталась бы с ощущением, что ей дали по башке и что она в ловушке; визит Коулмена позволял Лизе рассчитывать, что, если она убедительно объяснит ему свое положение, он скажет: "Хочешь – бросай все и уходи". Скажет и придаст ей этим сил продолжать.

Приехав, он до поздней ночи сидел и слушал ее рассказ о школьных тяготах, а на другой день пошел с ней посмотреть, что там высасывает из нее соки. И увидел, как не увидеть: с утра четыре получасовых сеанса один на один с шести- или семилетними из наименее успевающих в первом и втором классах, дальше сорокапятиминутные уроки чтения с группами по восемь детей, которые читали не лучше, чем отобранные для индивидуальных занятий, – для всех в программе интенсивного обучения просто не хватало педагогов.

– Обычные классы слишком большие, – объяснила ему Лиза, – и до таких детей учителя там просто не добираются. Я работала в обычных классах. Из тридцати трое пускают пузыри. Или четверо. И это еще неплохо. Успехи других детей гонят тебя вперед. Вместо того чтобы задержаться и дать отстающим то, что им нужно, учителя волокут их дальше и думают, заставляют себя думать, что отстающие продвигаются в общей массе. Их с грехом пополам перетаскивают во второй класс, в третий, в четвертый, а там происходит серьезный срыв. Ну а у меня *только* такие дети, те, до кого не добираются и до кого невозможно добраться, и, поскольку я страшно переживаю по поводу детей и уроков, это на *всю* меня действует – на весь мой мир. К тому же школой плохо руководят. Директриса чего хочет, сама не знает, учительский состав пестрый, каждый считает, что все делает как надо, а получается сплошь и рядом как не надо. Двадцать лет назад, когда я пришла, было замечательно. Директриса – сказка. Всю школу перевернула. А теперь у нас из учителей за четыре года ушел двадцать один человек. Это очень много. Мы столько хороших людей потеряли. Я потому два года назад перешла на чтение для отстающих, что в классе вся истратилась. День за днем, день за днем, и так десять лет. Больше не могла.

Он слушал, сам говорил мало и, поскольку ей было уже под сорок, без особого труда подавлял желание обнять и приголубить свою побитую жизнью дочь – подавлял, думалось ему, примерно так же, как она подавляет желание приласкать шестилетнего малыша, который никак не научится читать. Целиком унаследовав неспокойный нрав Айрис, Лиза была ли-

шена ее властной силы, и полноценно жить ради других (неисправимый альтруизм был проклятием Лизы) ей мешало то, что как учительница она постоянно была на грани истощения. А еще, как правило, и бойфренд, с которым приходилось нянчиться, на которого она щедро тратила свою доброту, ради которого выворачивалась наизнанку и которому ее незапятнанная этическая девственность рано или поздно невыносимо приедалась. Лиза вечно была нравственно вовлечена во что-то с головой — слишком чувствительная, чтобы отказать нуждающемуся, и недостаточно сильная, чтобы трезво оценить свои возможности. Вот почему он знал, что она никогда не уйдет из программы "Чтение для отстающих", и вот почему отцовская гордость, которую он ощущал, была не только отягощена страхом, но и временами окрашена раздражением — чуть ли не презрением даже.

— Класс — тридцать детей, это тридцать разных начальных уровней и тридцать вариантов жизненного опыта, а ты изволь добиться, чтоб все это работало, — объясняла она ему. — Три десятка характеров, три десятка историй жизни, три десятка путей усвоения материала. Это масса организационных усилий, масса бумажной работы, масса всего на свете. Но это ничто по сравнению с теперешним. Конечно, даже сейчас бывают дни, когда я думаю: "Сегодня справилась", но чаще всего мне в окно хочется выпрыгнуть. Все время мучат сомнения — гожусь я для этой программы или нет. Потому что я, к твоему сведению, бескомпромиссная. Хочу работать как следует, а как следует не выходит: каждый ребенок — особый случай, и случай по-своему безнадежный, а я что-то должна со всем этим делать. Конечно, любому учителю приходится биться с теми, кто не усваивает. Но как быть с нечитающими? Вдумайся — не может научиться читать. Это трудно, папа. Душой попадаешь в какой-то капкан.

Лиза, которой до всего есть дело, чья добросовестность безгранична, для кого жить — значит помогать. Беззаветно верная своим иллюзиям, идеалистка до мозга костей. Позвонить Лизе, сказал он себе, и думать не думая, что его святая глупышка дочь ответит ему таким тоном — стальным, неприязненным.

— Что с тобой? Голос какой-то не такой.

— Со мной все в порядке, — отрезала она.

— Что случилось, Лиза?

— Ничего.

— Как летняя школа? Как работается?

— Нормально.

— Как Джош? (Нынешний бойфренд.)

— Нормально.

— А детишки твои? Как тот малыш, что был не в ладах с буквой "н"? Перешел на десятый уровень? А у самого-то имя — сплошные "н". Эрнандо.

— Все в порядке.

Он спросил — легко, без нажима:

— Узнать, как мои дела, у тебя желания нет?

— Я знаю, как твои дела.

— Знаешь?

Молчание.

— Что тебя грызет, роднуля моя?

— Ничего.

Это "ничего", второе за разговор, ясно означало: "Давай-ка роднулю побоку".

Что-то происходило — что-то невероятное. Кто ей сказал? И *что* ей сказали? В старших классах школы, а потом, после войны, в колледже он занимался по чрезвычайно плотному расписанию; работая в Афина-колледже деканом, он чем труднее было, тем сильней заряжался энергией; борясь с ложным обвинением в расизме, он не дал слабины ни в чем; даже уход из колледжа был не капитуляцией, а гневным протестом, сознательной демонстрацией несокрушимого презрения. И за все годы преодолений и противостояний он ни разу — даже когда умерла Айрис — не чувствовал себя таким беззащитным, как теперь, когда Лиза, воплощение почти анекдотической доброты, в одно это слово — "ничего" — вместила всю ту жесткость, для которой отроду не находила объекта.

И в этот-то миг, когда ее "ничего" стало излучать во все стороны свой ужасный смысл, Коулмен увидел на дороге крадущийся пикап: проедет чуть-чуть, притормозит, очень медленно двинется дальше, опять притормозит... Вытянув шею, чтобы побольше высмотреть, Коулмен вскочил и не слишком решительно побежал по выкошенной лужайке, а потом закричал на бегу: "Эй, вы! Что там затеяли? Стойте!" Но пикап быстро набрал скорость и скрылся раньше, чем Коулмен успел приблизиться и засечь какие-нибудь приметы машины или водителя. Он не умел различать марки пикапов и не понял даже, старый автомобиль или новый; все, с чем он остался, — это был цвет, неопределенно-серый.

А в телефонной трубке было глухо. Побежав через лужайку, он, видно, случайно нажал отбой. Или Лиза бросила трубку. Когда он набрал снова, ответил мужской голос.

— Это Джош? — спросил Коулмен.

— Да.

— Это Коулмен Силк, отец Лизы.

После паузы мужчина сказал:

— Лиза не хочет разговаривать.

И повесил трубку.

Марк, его работа. А то чья же? Он, определенно он. Не мудак Джош — этот-то ничего собой не представляет. Как Марк узнал про Фауни, Коулмен понимал не лучше, чем как про нее узнали Дельфина Ру и кто там еще, но не это было сейчас важно. Марк, вот кто восстановил сестру-двойняшку против преступника отца. Да, в его глазах это уж точно преступление. С раннего детства Марк не расставался с мыслью, что отец настроен против него: *в пользу* двух старших сыновей, потому что они старшие, блистают в школе и охотно перенимают отцовские интеллектуальные замашки; *в пользу* Лизы, потому что она Лиза, любимица семьи, больше других детей балуемая отцом; *против* Марка, потому что всем, чем была его сестра-близнец — прелестным, любящим, невинным, трогательным, благородным до мозга костей существом, — Марк не был и быть не желал.

Марк был, пожалуй, самым трудным человеком из всех, с кем Коулмену довелось столкнуться, — трудным не для понимания, понять-то его обиды было как раз легко. Ныть и дуться он начал еще до детского сада, и довольно скоро это переросло в протест против своей семьи как таковой и господствовавших в ней взглядов. Несмотря на все подступы и попытки умиротворения, с годами этот протест стал основой его личности. В четырнадцать лет он громогласно высказался за Никсона во время слушаний об импичменте — а остальная семья между тем считала, что президент заслуживает как минимум пожизненного заключения; в шестнадцать лет он стал ортодоксальным евреем, в то время как другие дети, следуя примеру антиклерикально и атеистически настроенных родителей, бы-

ли евреями немногим больше, чем по названию; в двадцать он взбесил отца своим уходом из университета Брандайса за два семестра до окончания. Ныне, дожив почти до сорока, перепробовав и бросив десяток с лишним разнообразных занятий, недостойных, по его мнению, такого человека, как он, Марк возомнил себя поэтом повествовательного жанра.

Да, непоколебимая враждебность к отцу превратила Марка в полную противоположность семье — точнее, увы, в полную противоположность Коулмену. Неглупый, начитанный, смекалистый и острый на язык, он тем не менее все никак не мог найти путь в обход Коулмена и постоянно на него натыкался, пока в тридцать восемь лет, осознав себя поэтом и темой своей сделав библейские сюжеты, не довел со всем высокомерием неудачника свою жизнеорганизующую антипатию до крайней мыслимой полноты. На жизнь ему зарабатывала преданная подруга — сверхсерьезная, нервная, набожная молодая женщина, зубной техник в Манхэттене, — тогда как Марк сидел в их квартире в бруклинском доме без лифта и сочинял навеянные библейскими преданиями поэмы, которые отказывались печатать даже еврейские журналы, — бесконечные поэмы о том, как Давид несправедливо обошелся со своим сыном Авессаломом, как Исаак несправедливо обошелся со своим сыном Исавом, как Иуда несправедливо обошелся со своим братом Иосифом и какое грозное пророчество произнес Нафан после того, как Давид согрешил с Вирсавией, — поэмы, неизменно то одним, то другим грандиозным, но вполне прозрачным способом крутившиеся вокруг одной и той же навязчивой идеи. Марк поставил на нее все — и все проиграл.

Как Лиза могла его послушать? Как могла принять всерьез какое бы то ни было выдвинутое Марком обвинение? Ведь она знала, что́ им всю жизнь движет. Правда, Лиза всегда была к брату великодушна, чуть ли не с самого их рождения, какими бы надуманными ни считала те антагонизмы, что грызли его и уродовали. Добрая по природе и с раннего возраста стеснявшаяся предпочтения, которое ей оказывали, она всегда терпеливо выслушивала его жалобы и успокаивала его во время семейных неурядиц. Неужели ее благосклонность к менее любимому из близнецов дошла до того, что она поддержала абсурдное обвинение? И в чем оно, это обвинение, заключается? Какое зловредство совершил их отец, какую обиду должен был им нанести, чтобы близнецы двинулись на него рука об руку с Дельфиной Ру и Лестером Фарли? А старшие, которые пошли в науку, — не взыграла ли и у них теперь "совесть"? Кстати, когда он последний раз с ними говорил?

Он вспомнил тот жуткий час в своем доме после похорон Айрис, и опять стало больно от обвинений, которые бросал ему Марк, пока братья силком его не увели в его старую комнату, откуда он затем не выходил до утра. В последующие дни, пока дети еще не разъехались, Коулмен старался винить в том, что позволил себе сказать Марк, не сына, а его горе, но это не значит, что он забыл, — не забыл и не забудет. Марк начал его поносить, едва они вернулись с кладбища: "Не колледж это сделал. И не черные. И не твои враги. *Ты* это сделал. Ты ее убил. Убил, как всё убиваешь! Потому что всегда прав! Потому что никогда не извиняешься, в любом деле считаешь себя правым на все сто, а расплачиваться пришлось ей! Очень легко все можно было уладить — за сутки, не больше, если бы только ты сумел раз в жизни *извиниться*. 'Я сожалею, что назвал вас духами' — вот и все, что надо было сделать, великий ты наш, просто пойти к этим студенткам и сказать, что сожалеешь, и мама была бы жива!"

На лужайке около дома Коулмена вдруг охватило негодование, какого он не испытывал со следующего после вспышки Марка дня, когда за час было написано и подано заявление об уходе из колледжа. Он знал,

что нехорошо чувствовать такое к детям. Он знал по истории с "духами", что негодование такого размаха — род безумия и что он этому безумию может поддаться. Он знал, что подобное негодование несовместимо с последовательным и разумным подходом к вопросу. Как педагог он знал, что такое педагогика, как отец он знал, что такое отцовство, как человек семидесяти с лишним лет он знал, что ни в какой семье, даже обремененной таким трудным человеком, как Марк, ничего нельзя считать неумолимо застывшим и неизменным. Он знал, и отнюдь не только по опыту конфликта из-за "духов", как может изуродовать и отравить человека мысль о том, что с ним несправедливо обошлись. Гнев Ахилла, ярость Филоктета, буйство Медеи, безумие Аякса, отчаяние Электры, страдания Прометея — все это показывало ему, какие ужасы могут случиться, когда достигнута высшая ступень негодования, когда во имя справедливости свершается месть, когда запущен цикл взаимного воздаяния.

И хорошо, что он это знал, потому что ему потребовалось все это сполна — вся профилактика аттической трагедии и греческой эпической поэзии, — чтобы тут же не позвонить Марку и не объяснить ему, каким поганцем он всегда был и остался.

Прямое столкновение с Фарли произошло примерно четыре часа спустя. Насколько я, реконструируя события, могу понять, Коулмен, чтобы знать, не шпионит ли кто, несколько раз после приезда Фауни выходил и возвращался через все двери по очереди — переднюю, заднюю и кухонную. Только около десяти вечера, когда они с Фауни стояли в доме у сетчатой кухонной двери и обнимались перед расставанием, смог он подняться над уродующим негодованием и отдаться единственно серьезному в его теперешней жизни — опьянению последним полетом, тем, что Манн, говоря об Ашенбахе, назвал "запоздалой авантюрой чувства"[1]. Фауни уже пора было уходить, но он почувствовал такое вожделение к ней, что все прочее ничего не значило — дочь, сыновья, бывший муж Фауни, Дельфина Ру. Это не просто жизнь, думал он, а больше — это *ее конец*. Невыносима была не глупая антипатия, которую они с Фауни вызывали; невыносимо было, что он вычерпал свои дни до последнего ведра и это ведро уже почти пусто, — самое время, если оно должно когда-нибудь прийти, покончить со ссорами, никому больше не возражать, забыть о добросовестности, с какой он растил четырех здоровых и умных детей, упорствовал в сохранении далеко не мирного брака, воздействовал на упрямых коллег и вел посредственных студентов Афины сквозь литературу, созданную два с половиной тысячелетия назад. Пора было самому стать ведомым — пусть его ведет это простое вожделение. Стать недосягаемым для их суда, их обвинений, их приговора. Живи, покуда не умер, сказал он себе, вне их поганой, дурацкой, невыносимой юрисдикции.

Стычка с Фарли под конец того дня. Столкновение с Фарли, молочным фермером, который не хотел обанкротиться, а пришлось, ныне дорожным рабочим, который вкалывал на совесть, на какую бы черную работу его ни поставили, американским гражданином, который служил стране не один срок, а два, вернулся во Вьетнам дохлебывать эту кашу. Оторвал задницу и поехал обратно, потому что, когда первый раз явился домой, все сказали, что он не такой, что его не узнать, и он сам видел: его боятся. Человек возвращается из джунглей, домой с войны, а ему мало что спасибо не

1. Здесь и ниже цитаты из "Смерти в Венеции" Т. Манна даны в перевода Н. Ман.

говорят, его боятся, так что лучше уж опять туда. Да не ждал он, чтобы с ним носились как с героем, но так смотреть на человека? Ну он и пошел по второму кругу, и на этот раз уже был в кондиции. Злой. Вздрюченный. В общем, вояка — держись. В первый-то срок нет. В первый срок он симпатяга был, не знал еще, каково оно без надежды. В первый срок он был паренек с Беркширских холмов, который массу имел к людям доверия и знать не знал, как дешевеет иногда жизнь, ведать не ведал, что такое жить на лекарствах, что такое чувствовать себя ниже кого-то, — развеселый Лес, рубаха-парень, никакой там угрозы обществу, куча друзей, быстрая езда и все такое прочее. Да, в первый срок он резал трупешникам уши, было, все резали, и он резал, но и только. Он был не из тех, кому одного хотелось — дорваться до этого беззакония и распоясаться, кто с самого начала был злой или буйный, чуть где какая возможность — и пошел крушить все на свете. Был в его части один, по прозвищу Большой, так он уже в первый день или во второй распорол беременной женщине живот. А Фарли только к концу первого срока стал хорош, не раньше. Но в другой раз в части было полно таких же второсрочников, которые вернулись не прохлаждаться и не пару лишних долларов зашибить, — злых было полно, бешеных, которые всегда лезли в головную группу, которые пережили ужасы и знали, что они, ужасы, и есть самое лучшее в жизни. Бешеные они были, и он тоже. В бою, когда бежишь, стреляешь, не бояться нельзя, но можно распалиться и стать бешеным, вот он и дал себе волю во второй срок. Во второй он им показал так показал. Там жизнь особая, самый край, полный газ, буйство и страх, на гражданке и близко ничего нет. Стрельба с вертолета. Они теряли машины, и нужны были стрелки. Однажды спросили, кто хочет, и он вызвался. Летишь над боем, внизу все маленькое, а сам лупишь с высоты — ох как лупишь. По всему, что движется. Смерть и разрушение — вот она что такое, стрельба с вертолета. Плюс то преимущество, что не надо все время торчать в этих джунглях. Но потом так и так домой, а дома не лучше, чем в тот раз, а хуже. Кто на Второй мировой воевал, тем было полегче: назад на корабле, пока плывешь — успеваешь отойти, и кто-то о тебе заботится, спрашивает, как ты. А тут хлоп — без перехода, без ничего. Сегодня стреляешь во Вьетнаме с вертолета, видишь, как взрываются в воздухе другие машины, видишь, как горят товарищи, летишь так низко, что чуешь запах паленой кожи, слышишь вопли, видишь, как вспыхивают целые деревни, — а завтра ты в Беркширах. И теперь ты *действительно* неприкаянный, и вдобавок донимают страхи из-за всякого разного, что накатывает. С людьми не хочешь быть, смеяться не можешь, шутить не можешь, частью их мира себя не чувствуешь, потому что видел и делал такое, о чем они не имеют ровно никакого понятия, и связи ни у тебя с ними нет, ни у них с тобой. Тебе говорят: валяй домой. Как домой? Дома же нет никакого вертолета. Сидишь один, пьешь, потом сунулся в ветеранское управление, а там говорят: деньги хочешь выбить? Чушь, он не за деньгами, а за помощью. Пытался поначалу получить государственную помощь, но только и дали что сонные таблетки, так что пошло оно в задницу, это государство. Это правительство. Обошлись как с дерьмом. Ничего, сказали, молодой, выкарабкаешься. Ладно, стал выкарабкиваться. С правительством не вышло, приходится самому. Только не очень-то это легко — вернуться после двух сроков и самому приспособиться. Спокойствия нет. Психуешь. Не можешь расслабиться. Пьешь. Чуть что — бесишься, лезешь на стенку. Слишком все стало трудным. Все-таки он пытается — обзавелся наконец женой, домом, детьми, фермой. Вообще-то хочет быть один, но она хочет обосноваться по-человечески и фермерствовать с ним вместе, так

что он пытается тоже захотеть обосноваться. Помнит еще, чего симпатяга Лес хотел десять лет, пятнадцать тому назад, до Вьетнама, и пытается захотеть этого опять. Беда в том, что не чувствует он к ним, к семье, ничего. Сидит с ними на кухне, ест, и ничего, пусто. Никак оттуда сюда не перескочить. Но пытается покамест. Пару раз просыпался ночью, и оказывалось, что душит ее, но разве это он виноват? Правительство. Оно ему это устроило. Во сне чудилось, что она — не она, а чертов Вьетконг. А она что думала? Знала же, что он хочет выкарабкаться. Наяву он пальцем ее не тронул, и детей тоже. Это все враки. Она никогда ни о чем, кроме себя, не думала. Нельзя было ее с детьми отпускать. Дождалась, чтобы его взяли на реабилитацию, — только и мечтала его туда выпихнуть. Говорила, ему станет лучше и они опять смогут быть вместе, а сама, пока его не было, взяла детей и дала с ними деру. Сука. Блядь. Провела его. Нельзя было ее с детьми отпускать. Частью это его вина была, потому что он здорово тогда накачался и его взяли на реабилитацию силой, а лучше бы он как сказал, что их всех прикончит, так и прикончил. Да, надо было ее убить, и детей тоже, и убил бы, если бы не сволочная реабилитация. И она это знала — знала, что, попробуй она их увезти, им всем крышка. Он был их отец, значит, либо ему их растить, либо никому. Если он не может о них сам позаботиться, лучше им в могиле лежать. Никакого она права не имела их забирать. Забрала, а потом *сама* убила. Расплата за то, что он делал во Вьетнаме. Если тебе в реабилитации уши прожужжали насчет расплаты, это еще не значит, что ее нет. Да, расплата, кругом расплата, гибель детей — расплата, плотник, которому она давала, — расплата. Как это он, Фарли, его живым оставил — непонятно. Сперва просто почуял дым. Сидел тогда в кустах у дороги и смотрел на плотников пикап, в котором они развлекались. На подъезде к ее жилью. Она спускается — квартира у нее над гаражом в чьем-то бунгало, съемная, — залезает к нему в пикап, огней нет, луны тоже, но он-то знает, что делается. Потом этот дым. Он оттого единственно остался цел во Вьетнаме, что всякую перемену, шум, запах зверя, любое движение мог засечь раньше других — чуял джунгли так, будто там родился. Дыма никакого не видно, пламени не видно, тьма, ничего не видно, просто вдруг повеяло гарью, и на него накатило, оно самое, и он побежал. Они увидели, как он бежит, и подумали, что хочет выкрасть детей. Не знают еще, что дом горит. Решили, он совсем рехнулся. Но он-то чуял дым и знал, что дым со второго этажа, где спят дети. Знал, что жена, сука бесчувственная, блядь, не почешется, потому что сосет у плотника в его машине. Он бежит мимо них. Уже не знает, где он, не помнит себя, знает только, что надо в дом и по лестнице, врывается в боковую дверь, бежит наверх, где огонь, и с лестницы уже видит детей, лежат, скрючились и хватают воздух, он к ним, берет в охапку. Они лежали рядышком на лестнице, он их взял и вынес за дверь. Был уверен, что живые. Даже мысли не было, что могли уже умереть. Думал, просто перепугались. Потом поднял глаза — и кого видит там, за дверью? Плотника — стоит, гад, глазеет. Тут-то он и осатанел. Сам не знал, что творит. Кинулся к нему и — душить, а сука вместо того, чтобы детей откачивать, хлопочет, как бы он не прикончил ее сраного хахаля. Хлопочет, вонючая сука, как бы он его не убил, а на детей на собственных ей плевать. Они бы выжили. Она их угробила. Потому что плевать на них хотела. Всегда. Они не были мертвые, когда он их вытащил. Теплые были. Он-то знает, кто мертвый, кто нет. После двух сроков во Вьетнаме научишься распознавать. Он носом, если надо, расчухает, где смерть. На вкус поймет. Он-то знает, что это такое. *Они-не-были-мертвые.* Хахалю — вот кому пришел бы, на хер, конец, если бы не явилась полиция со стволами, слуги прави-

тельства, ну и повязали его, конечно. Сука детей убила, ее вина, а забирают кого? Господи, да хоть раз выслушать человека можно? Сука на детей не обратила внимания! И никогда не обращала! В джунглях один раз было предчувствие, что заманивают в ловушку. Не мог объяснить почему, но знал, что впереди засада, никто его не слушал, а он был *прав*. Новенький идиот командир, только назначили в роту, слушать не захотел, и привет — так люди и гибнут. Так они и горят к чертям собачьим! Так из-за мудаков теряешь враз двух лучших товарищей! Не слушают, куда там! Доверия своего поганого не хотят оказать! Человек вернулся оттуда живой, так или нет? С руками-ногами, ходячий, с яйцами, все нормально — чего-нибудь это да стоило? Как же, будет она слушать! Да ни за какие! Ей и на него, и на детей от него было насрать. Чокнутый ветеран вьетнамский, и только. Но он-то знает, что к чему, знает! А она не знает ни хера. Так кого, спрашивается, забрали — суку эту безмозглую? Как же. Его забрали. Колоть стали всякой всячиной. Ремнями опять опутали, из больницы ветеранской в Нортгемптоне бог знает сколько времени не выпускали. А что он такое хотел сделать? Да то, чему учили: увидел врага — убей. Год этому учишься, потом год тебя самого норовят убить, а когда хочешь как раз то сделать, чему учили, тебя, как мудака, вяжут ремнями и колют всяким дерьмом. Он делал, как учили, а гадина жена, пока он хахалем занимался, на детей ноль внимания. Обоих надо было тогда замочить. Его уж точно. Хахаля. Головы обоим поотрезать. Почему этого не сделал — непонятно. Теперь жить хочешь — не подходи. Узнать только, где этот сраный хахаль, и он сдохнет так быстро, что не успеет даже расчухать, чем его, и никто не поймет, чьих рук дело, потому что он умеет убивать по-тихому. Правительство научило. Он обученный убийца — спасибо правительству Соединенных Штатов. Он делал там свою работу. Делал, что было велено. И как за это благодарят? Сажают под замок, в буйную палату, *его* — в буйную палату! И никаких тебе денежных льгот. За все про все жалкие двадцать процентов. Двадцать! Вся семья прошла через ад кромешный за двадцать процентов. И даже ради этого пришлось ползать на брюхе. Требуют: "Расскажите, как было дело", — все эти социальные работнички, все эти психологи с дипломами. "Вы убили кого-нибудь во Вьетнаме?" Как будто он кого-нибудь *не* убил во Вьетнаме. Разве не за этим его туда отправили? Мочить желтых. Сказали же — всё подчистую. Значит, всё подчистую. К убийству это имеет прямое отношение. Мочить желтых! Мало им было такого вопросика, так еще желтого психиатра подсунули, какое-то китайское дерьмо. За всю верную службу врача не мог получить, который по-английски умеет. Вокруг Нортгемптона поезди — сплошь китайские рестораны, вьетнамские закусочные, корейские рынки. Всё — им, а тебе? У вьетнамца, у китаезы — полный ажур, у него ресторан, рынок, магазин продовольственный, он заводит семью, получает образование. А ты шиш получишь. Потому что живой ты им не нужен. Их заветная мечта — чтоб ты вообще оттуда не приходил. Ты их беда. Ты *не должен* был возвращаться. И теперь этот гад профессор. Что он, спрашивается, делал, когда правительство нас туда кинуло — одна рука свободная, другая связана? Наверняка демонстрантами дирижировал. Им за что в колледжах платят — чтобы учили наукам или чтобы ходили против войны агитировать? Вот из-за кого у нас шансов никаких не было. Говорят, мы проиграли войну. Нет, не *мы* – правительство проиграло. Плюгавые эти пижоны профессора, когда им охота, вместо лекций ходили пикетировать против войны, а тебе за службу стране — вот она, благодарность. За все дерьмо, в каком день за днем сидишь по самое горло. Ночами толком не спишь. Хотя бы ночь одну выспаться, к чертям, за двадцать шесть лет. И за это, за *все это*

жена ложится под пархатого профессоришку? Что-то не очень их видно было во Вьетнаме, этих пархатых. Не до того — диссертации защищали. Еврейский ублюдок. Что-то с ними, с этими еврейскими ублюдками, не то. Как-то не так они выглядят. И она *с ним*? Боже ты мой. Куда блевануть? И за что, *за что*? Она понятия не имеет, чего все это стоит. Был хотя бы день у нее тяжелый за целую жизнь? Он же ни ее, ни детей ни разу пальцем не тронул. "Ох-ох-ох, меня отчим обижал". Лапал ее, видите ли. Жаль, что не трахнул, ей пошло бы на пользу. Дети были бы живы. Его родные дети, к чертям, не умерли бы! И был бы как все остальные, у кого нормальные семьи, красивые машины. Вместо того чтобы сидеть взаперти в вонючей ветеранской больнице. Торазин[1] — вот ему за все благодарность. Отблагодарили торазином. А всего-то навсего ему почудилось, что он опять во Вьетнаме.

Вот каков он был, Лестер Фарли, который с воплем кинулся на них из кустов. Вот каков он был — человек, который бросился на Коулмена и Фауни, когда они стояли на кухне у двери, с воплем выскочил из темных кустов с боковой стороны дома. Вот что — и еще много всякого — ночь за ночью крутилось у него в голове всю весну и начало лета, когда он часами таился, высматривал, крючился, весь на взводе, — хотел увидеть из укрытия, как она этим занимается. Тем же, чем занималась, когда их двое детей задыхались в дыму. На этот раз уже не ее возраста хахаль. И даже не его, Фарли, возраста. На этот раз не ее начальник, не Холленбек, не американец этот наш образцовый. От Холленбека можно было хотя бы ждать чего-то взамен. Ее почти зауважать можно было за Холленбека. Но теперь сука до того дошла, что готова за просто так с кем угодно. Теперь готова с этим седым старым евреем, профессор, вишь ты, кожа да кости, кривит желтую рожу от удовольствия, трясущимися старыми лапами за голову ее хватает. Чья еще жена станет сосать у старого еврея? Ну чья? Дошла похотливая сука, убийца, до того, что в блядскую свою пасть закачивает водянистую сперму поганого старого еврея, а Роули и Лес-младший как были мертвые, так и остаются.

Расплата, расплата. Конца ей нет.

Это было как во Вьетнаме, когда вдруг летишь, вдруг становишься бешеный. Внезапно пуще осатанев из-за того, что она сосет у еврея, чем из-за того, что она убила детей, Фарли с воплем срывается с места, летит, профессор вопит в ответ, профессор заносит монтировку, и только потому, что Фарли не вооружен — он в тот вечер приехал прямо с пожарных учений и был с пустыми руками, хотя оружия у него полный подвал, — он не отправляет обоих на тот свет. Как случилось, что он не потянулся к монтировке, не выхватил ее у еврея и не кончил дело таким манером, он никогда не узнает. Роскошь, как можно было поработать этой монтировкой. "Вниз опусти! Вниз, не то я череп тебе раскрою! Вниз, тебе говорят!" И еврей опускает монтировку. К счастью для себя, опускает.

Вернувшись в тот вечер домой (как он дома оказался, ему тоже никогда не узнать), Лестер до раннего утра, когда понадобилось пять человек, пятеро его приятелей из пожарной команды, чтобы его скрутить и привезти в Нортгемптон, видел всё разом, переживал всё по полной программе на дому — жара, дождь, грязь, гигантские муравьи, пчелы-

1. Торазин (хлорпромазин) — противорвотное средство, применяемое при некоторых психических заболеваниях.

убийцы прямо тут, на полу, на линолеуме у кухонного стола, понос, головная боль, нечего есть, нечего пить, нечем стрелять, и всю ночь думаешь, что эта уж точно для тебя последняя, и ждешь этого, Фостера разнесло миной-ловушкой, Куиллен утонул, ты сам еле выплыл, психуешь, кривляешься, швыряешь гранаты во все стороны, кричишь: "Не хочу умирать!", авиация путается и бьет по тебе и ребятам, Дрейго потерял ногу, руку и нос, горелое мясо Конрити липнет к твоим ладоням, вертолетчики не хотят вас забирать, требуешь, а он отвечает — сесть не можем, потому что вы под огнем, — и такая злоба берет из-за того, что сейчас умрешь, что пытаешься сбить его, сбить свой вертолет, — самая нечеловеческая ночь, какая у тебя была, тут прямо, в твоем поганом домишке, и самая длинная, длинней не было и не будет, цепенеешь при каждом своем движении, парни вопят, срут и плачут, а ты не привык слышать столько плача, ребята гибнут от попаданий в лицо, вздохнул напоследок и умер, мясо Конрити размазано по ладоням, Дрейго все вокруг заливает кровью, сам пытаешься растрясти кого-то мертвого и кричишь, орешь без остановки: "Не хочу умирать!" Смерть не отпускает. Не дает передышки. Не дает убежать. Не дает увольнительной. До утра с ней воюешь, и всё в тебе и вокруг на пределе. Страх на пределе, злоба на пределе, вертолетчики не хотят садиться, и кровь Дрейго жутко воняет прямо тут, в твоем собственном сраном домишке. Не знал, как погано она может вонять. ВСЁ НА ПРЕДЕЛЕ, И ТАКАЯ НЕСУСВЕТНАЯ ДАЛЬ, И ЗЛОБА ЗЛОБА ЗЛОБА ЗЛОБА ОТЧАЯННАЯ!

Почти всю дорогу до Нортгемптона — в конце концов им надоело и они заткнули ему рот — Фарли окапывался среди ночи и утром просыпался в чьей-то могиле, полной червей. Кричал: "Всё! Больше не надо! Пожалуйста!" Так что пришлось вставить ему кляп.

В ветеранской больнице, куда его можно было положить только насильно и откуда он все эти годы раз за разом убегал — не вышло у него с государством, так на кой она ему, государственная больница, — его заперли, привязали к койке, провели регидратацию, стабилизацию, детоксикацию, из него вывели алкоголь, ему дали что-то от печени, а потом полтора месяца на сеансах групповой терапии он каждое утро рассказывал про смерть Роули и Леса-младшего. Каждый божий день говорил, чего не случилось, когда он увидел лица задохнувшихся детей и понял, что они точно умерли.

— Хоть бы что, — говорил он. — Хоть бы что, на хер. Никаких переживаний. Дети родные умерли, а мне хоть бы что. У сына глаза закатились, пульса нет. Сердце не бьется. Дышать не дышит. Мой сын. Маленький Лес. Единственный сын, больше не будет. Ничего не чувствовал. Как будто чужой мальчик. И с Роули то же самое. Чужая. Моя дочурка. Сволочной Вьетнам, это ты! Столько лет война кончена, а все ты, гад, твоя работа! Все ощущения перепутаны к чертям. Ничего не случилось — а меня как палкой саданет по башке. Потом вдруг случается что-то ух какое, а я — пустой. Вырублен. Мои дети погибли, а у меня ни по телу ничего, ни в голове. Вьетнам. В нем все дело! Я ни разу по ним не плакал за все время. Ему было пять, ей восемь. Я себя спрашивал: "Почему я не чувствую?" Спрашивал: "Почему я их не спас? Почему не мог спасти?" Расплата. Расплата! Я все думал про Вьетнам, думал. Про то, как мне много раз казалось, что я умер. И понял наконец, что не могу умереть. А не могу потому, что уже готов. Потому что уже умер во Вьетнаме. Потому что я труп, который подох к чертям собачьим.

Группа состояла из таких же, как Фарли, вьетнамских ветеранов, не считая пары слюнтяев с войны в Заливе, которым запорошило глазки песочком во время четырехдневной наземной операции. Сточасовой войны. Только и заботы что посидеть в пустыне и обождать. А вьетнамские, они все сами прошли после войны через такое, что хуже не придумаешь, — разводы, пьянство, наркотики, преступления, полиция, тюрьма, опустошающая депрессия с плачем, с желанием выть, с желанием разнести что-нибудь вдребезги, руки трясутся, все тело дергается, лицо как маска, пот прошибает от макушки до пят, переживаешь по новой летящее железо, ослепительные вспышки, оторванные руки-ноги, убийства пленных, расстрелы семей, старух, детей, — так что, хоть они и кивали, когда слушали про Роули и маленького Леса, хоть они и понимали про то, как он ничего к ним не мог почувствовать, когда увидел их с закатившимися глазами, потому что сам был мертвец, они все равно говорили, эти по-серьезному больные ребята (в тех редких случаях, когда могли вести речь о чем-нибудь, кроме себя самих, кроме своих блужданий по улицам, кроме своей вечной готовности сорваться, закричать в небо: "Ну почему?", могли вести речь о ком-нибудь другом, кто, как они, не получает заслуженного уважения и не будет счастлив, пока не умер, не похоронен и не позабыт), что Фарли должен оставить все это позади и жить своей жизнью.

Жить своей жизнью. Он знает, что это мура, но лучшего ничего нет. Жить своей жизнью. Хорошо.

С таким намерением он во второй половине августа выписался из больницы. И с помощью группы взаимной поддержки, к которой примкнул, и особенно с помощью Луи Борреро, ходившего с палкой, он преуспел по меньшей мере наполовину; было трудно, но благодаря Луи он более или менее справлялся, почти три месяца не пил — до самого ноября. Но потом — не из-за того, что кто-то что-то сказал, и не из-за увиденного по телевизору, и не из-за приближения очередного бессемейного Дня благодарения, а из-за того, что не было у Фарли другого пути, не было способа помешать прошлому нарастать, громоздиться и толкать его на поступки, требовать от него грандиозного отклика, — потом прошлое оказалось уже не сзади, а впереди.

Снова оказалось *его жизнью.*

2
Остаться небитым

На другой день, когда Коулмен поехал в Афину спросить адвоката Нельсона Праймуса, как пресечь новые попытки Фарли вторгнуться на его территорию, Праймус предложил ему то, о чем он не хотел даже слышать, — подумать о разрыве любовных отношений. В первый раз он проконсультировался с Праймусом в начале истории с "духами", и поскольку Праймус дал тогда разумный совет, да еще потому, что самоуверенная прямота молодого юриста напомнила ему его самого в возрасте Праймуса, и потому, что свою антипатию к сентиментальным пустякам Праймус не пытался скрыть за обычной для городских адвокатов маской славного, добродушного парня, именно ему Коулмен показал потом письмо Дельфины Ру.

В свои тридцать с небольшим Праймус был женат на молодой профессорше философии с ученой степенью, которую Коулмен взял на работу в колледж года четыре назад, и у них было двое маленьких детей. В Афине — типичном новоанглийском университетском городе, где почти

все дипломированные специалисты приходят на работу одетые по-спортивному, — этот гладко-красивый молодой человек с черными как смоль волосами, высокий, подтянутый, атлетически-гибкий, появлялся утром в своей конторе в безупречно скроенном костюме, сверкающих черных ботинках и накрахмаленной белой рубашке с неброской монограммой — в наряде, говорившем не только о мощной самоуверенности и сознании собственной значительности, но и об отвращении к неряшеству любого рода, а еще о том, что Нельсон Праймус нацелен на нечто большее, чем контора над магазином "Толботс" по ту сторону от главной городской площади. Здесь преподает его жена, поэтому пока что он здесь. Но ненадолго. Молодая пантера в рубашке с запонками и костюме в темную полоску — пантера, готовая к прыжку.

— У меня нет никаких сомнений в том, что Фарли психопат, — сказал ему Праймус, аккуратно и четко выкладывая слова и не спуская с Коулмена пристального взгляда. — Если бы он шпионил за мной, я бы встревожился. Но разве до того, как у вас начался роман с его бывшей женой, он за вами шпионил? Нет, он знать про вас не знал. Письмо Дельфины Ру — дело совсем другое. Вы захотели, чтобы я ей написал, и вопреки своему нежеланию я сделал это для вас. Вам понадобился эксперт-графолог, и вопреки своему нежеланию я связал вас с ним. Вы захотели, чтобы я послал его выводы ее адвокату — и вопреки своему нежеланию я их послал. Считая, что вам не следовало бы преувеличивать значение этой мелкой неприятности, я делал то, о чем вы меня просили. Но Лестер Фарли — не мелкая неприятность. Дельфина Ру не идет с ним ни в какое сравнение ни как психопат, ни как противник. В мире Фарли ваша Фауни едва уцелела, и всякий раз, переступая ваш порог, она волей-неволей приводит этот мир с собой. Лестер Фарли, кажется, работает в дорожной бригаде? Ну, так стоит нам добиться временного запретительного судебного постановления в его адрес, как секрет ваш станет известен всему маленькому городишке, где вы живете. Очень скоро он станет известен всей Афине и всему колледжу, и злобные пуритане так обмажут вас дегтем и вываляют в перьях, что конфликт из-за "духов" покажется вам пустяком. Я помню, как аккуратно наш местный еженедельник прикинулся, что не видит ничего абсурдного в выдвинутом против вас обвинении и не понимает истинного смысла вашей отставки. "Бывший декан, запятнанный расизмом, оставляет колледж". Помню еще подпись под вашим снимком: "Уничижительное слово, употребленное в классе, вынудило профессора Силка уйти на пенсию". Я помню, каково вам было тогда, представляю себе, каково вам сейчас, и предвижу, каково будет потом, когда весь округ начнет обсуждать сексуальные похождения того самого, который отправился на пенсию, запятнанный расизмом. Я вовсе не хочу сказать, что кому-нибудь, кроме вас, должно быть дело до происходящего в вашей спальне. Я знаю, что совать туда нос нехорошо. На дворе девяносто восьмой год. Дженис Джоплин и Норман О. Браун[1] уже давно изменили положение к лучшему. Но многие здесь в Беркширах, как простые люди, так и профессора, упорно не желают пересматривать свои ценности и вежливо уступать дорогу сексуальной революции. Узколобые, набожные ретрограды, ярые поборники благопристойности, которых хлебом не корми, дай только разоблачить и наказать аморального типа вроде вас. Они

1. Дженис Джоплин (1943—1970) — американская эстрадная певица. Славилась беспорядочной личной жизнью, умерла от злоупотребления наркотиками. Норман О. Браун (1913—2002) — американский философ, один из идеологов контркультуры.

вполне могут поддать вам жару, только немножко по-другому, нежели пресловутая виагра.

Смекалистый — про виагру сам догадался. Выставляется, но пусть, думал Коулмен, раньше он был полезен, так что не надо его обрывать, ставить на место, как ни раздражает это высокомерие. Ни одной сочувственной трещинки в его броне — ну и отлично. Сам спросил совета, так слушай теперь. По крайней мере не будешь потом хныкать, что не предупредили.

— Конечно, я могу выхлопотать ограничивающее предписание, — продолжал Праймус. — Но ограничит ли оно его? Скорее разъярит еще пуще. Я устроил вам графолога, могу устроить ограничивающее предписание, могу вдобавок — пуленепробиваемый жилет. Но я не могу вам устроить того, чего у вас не будет, пока вы связаны с этой женщиной, — жизни без скандалов, без нападок, без Фарли. Душевного спокойствия, какое испытываешь, когда за тобой не шпионят. Когда тебя не изображают в карикатурном виде, не унижают, не судят неправедным судом. Кстати, как там у нее насчет ВИЧ? Коулмен, вы ее проверяли? А презервативом пользуетесь?

Каким суперсовременным он себя ни считает, совместить такого старика и секс ему, похоже, не под силу. Все это ему кажется полнейшей аномалией. Но кому в тридцать два придет в голову, что в семьдесят один это совершенно то же самое? Он думает: как старый козел это делает и зачем? Стариковская похоть и проблемы, которые она создает. В тридцать два, думал Коулмен, я бы тоже не понял. Но с другой стороны — он говорит с авторитетностью сорокалетнего или пятидесятилетнего мужчины, знающего, как устроен мир. Много ли у него опыта, много ли он испытал невзгод, чтобы так покровительственно разговаривать с человеком старше его более чем вдвое? Очень, очень мало, конечно.

— Если, паче чаяния, не пользуетесь, — говорил между тем Праймус, — то пользуется ли чем-нибудь она? И если утверждает, что пользуется, можете ли вы быть в этом уверены? Даже натерпевшиеся от жизни уборщицы не всегда бывают абсолютно правдивы и подчас даже не прочь получить компенсацию за все дерьмо, которого нахлебались. Что будет, если Фауни Фарли вдруг забеременеет? Ее мысли могут пойти тем же путем, что и у множества женщин с тех пор, как Джим Моррисон и группа "Дорз" сняли клеймо позора с внебрачного рождения. Как бы вы ни убеждали меня в обратном, Фауни вполне может захотеть родить ребенка от заслуженного профессора-пенсионера. Женщине, родившей детей от психопата и неудачника, это может показаться желанной переменой. И если при этом она решит, что не хочет больше заниматься черной работой, если она решит, что вообще не хочет больше работать, гуманный суд без колебаний предпишет вам содержать не только ребенка, но и одинокую мать. Я, конечно, готов тогда защищать в суде ваши интересы и буду доволен, если мне удастся ограничить выплаты половиной вашей пенсии. Я сделаю все возможное, чтобы у вас после восьмидесяти лет на банковском счету было хоть что-то. Коулмен, послушайте меня: скверная это история. Во всех отношениях скверная. Консультант по гедонизму, может быть, скажет вам что-нибудь другое, но я ваш юридический консультант и не могу не сказать вам, что это *ужасная* история. Я бы на вашем месте не становился на пути у Лестера Фарли с его безумными обидами. На вашем месте я бы распрощался с Фауни и вышел из игры.

Сказав все, что считал нужным, Праймус встал из-за своего большого полированного стола, который намеренно и демонстративно держал

свободным от бумаг и папок, от чего бы то ни было, кроме окантованных фотографий молодой профессорши-жены и двух детей, — стола, чья поверхность воплощала идею незапятнанности, идею *чистой доски* и наводила Коулмена на мысль, что путь этому речистому молодому человеку, безусловно, не преграждает никакая неорганизованность, никакая помеха вроде слабости характера, крайности суждений, импульсивности поступков или даже возможности нечаянной ошибки; что никакое плохо ли, хорошо ли скрытое обстоятельство не выявится и не помешает ему достичь всяческих профессиональных успехов и буржуазного процветания. В жизни Нельсона Праймуса не будет ни "духов", ни Фауни и Лестера Фарли, ни своего Марка, полного презрения, ни своей Лизы-предательницы. Праймус провел черту и не пропустит через нее к себе никакую пятнающую нечистоту. Но не провел ли я в свое время такую же черту и так же решительно? Разве я был менее бдителен и разборчив, ведя добропорядочную жизнь, идя прямой дорогой к законным целям? Разве с меньшей уверенностью маршировал следом за своими нерушимыми принципами? Разве не был таким же высокомерным? Разве не так же точно атаковал старую гвардию в первые мои сто дней в качестве правой руки Робертса? Разве иначе доводил их до бешенства и выпихивал вон? Разве не был так же безжалостно самоуверен? И тем не менее одно слово — и всё. Отнюдь не самое подстрекательское в английском языке, не самое мерзкое, не самое ужасное, и тем не менее этого слова хватило, чтобы выставить всем на обозрение, на осуждение, на презрительную оценку истину о том, кто я и что я.

Адвокат, который не потрудился подсластить пилюлю, который едва ли не каждое слово напитал предостерегающим сарказмом, доходившим до прямого поучения, который ни единой околичностью не замаскировал своих суждений перед пожилым заслуженным клиентом, обогнул письменный стол, чтобы проводить Коулмена, и не остановился в дверях, а спустился с ним по лестнице и вышел на солнечную улицу. Ради Бет (так звали его жену) Праймус счел нужным как можно более убедительно высказать Коулмену все до конца — высказать то, что должно быть высказано, как бы жестко его слова ни звучали, чтобы помешать этому видному в прошлом лицу в колледже дискредитировать себя дальше. История с "духами", на которую наложилась скоропостижная смерть жены, так скверно подействовала на декана Силка, что даже теперь, через два года после импульсивного ухода на пенсию в тот момент, когда кампания против него практически выдохлась, он все еще не в состоянии понять, что отвечает его долгосрочным интересам, а что нет. У Праймуса создалось впечатление, что Коулмену Силку словно бы мало того, прежнего унижения, что он с изобретательностью и упрямством про́клятого, как человек, прогневивший некоего бога, безумно домогается последней, злобной, повергающей наземь атаки, окончательной несправедливости, которая должна закрепить его беду навеки. Некогда пользовавшийся в своем ограниченном мирке немалой властью, теперь он не только не смог защитить себя от таких, как Дельфина Ру и Лестер Фарли, но и не совладал с жалкими соблазнами, каким под старость хочется поддаться в порядке возмещения за утрату боевой, горячей мужественности. Реакция Коулмена показала Праймусу, что он верно угадал насчет виагры. Еще одна угроза, подумал молодой человек, — химическая. Курить крэк и то, может, было бы безопаснее.

На улице они пожали друг другу руки.

— Коулмен, — проговорил Праймус, который не далее как утром, сказав жене, что к нему едет декан Силк, вновь услышал от нее, как ее огорчил его уход из Афины и как она презирает Дельфину Ру за ее роль в деле о "духах", — Фауни Фарли не из вашего мира. Вчера вы получили наглядное представление о мире, который ее сформировал и растоптал, из которого она по причинам, хорошо вам известным, никогда не вырвется. Может произойти что-то худшее, гораздо худшее, чем вчера вечером. Вы воюете уже не в том мире, где вас хотят убрать с должности, чтобы заменить одним из своих. Вы воюете не с эгалитарно-элитарной шайкой обученных хорошим манерам деятелей, которые маскируют свои амбиции высокими словами о равноправии. Вы воюете в мире, где злоба не прячется за человеколюбивой риторикой. Это люди, чье главное ощущение в жизни — что их обосрали. То, что вы испытали по милости колледжа, эти люди испытывают каждый час, каждую минуту...

На лице у Коулмена уже так ясно было написано: "Хватит", что даже Праймус понял — пора заткнуться. Коулмен все время слушал его молча, подавляя свои реакции, пытаясь сохранять непредубежденность и не замечать чересчур явного удовольствия, с которым Праймус красноречиво учил добропорядочности образованного человека почти на сорок лет его старше. Стараясь не злиться, Коулмен размышлял: "Им для того нужно на меня нападать, чтобы почувствовать себя лучше. Это освобождает". Но к тому времени, как они вышли на улицу, уже невозможно было отделить слова от сути, а себя нынешнего — от человека, облеченного властью, человека, с которым считались. Откровенный разговор с клиентом не требовал от Праймуса таких сатирических украшательств. Если целью было дать убедительный совет адвоката, делу куда лучше послужила бы *очень малая* доза иронии. Но над Праймусом, подумал Коулмен, взяло верх понятие о себе как о блестящей личности, которую ждут великие свершения, и подтрунивание над старым смешным идиотом, вернувшим себе потенцию с помощью химического средства ценой десять долларов таблетка, вышло из всех мыслимых границ.

— Вы, Нельсон, настоящий искусник речи. Такое мастерство. Такая беглость. Великолепный изготовитель длинных-предлинных, нарочито переусложненных фраз. И при этом столько презрения ко всем до единой человеческим трудностям, с какими вам не приходилось сталкиваться.

Побуждение схватить юриста за грудки и разбить сукиным сыном витрину "Толботса" было очень сильным. Вместо этого, отстраняясь, обуздывая себя, тоном таким рассчитанно-мягким, каким только возможно было, Коулмен произнес:

— Я не желаю больше слышать ваш сверхсамодовольный голос и видеть вашу чистенькую мерзенькую лилейно-белую харю.

— Да, лилейно-белую, — сказал Праймус жене вечером. — Почему, интересно, лилейно-белую? Понятно, что не стоит ловить человека на слове, когда он думает, что им пользуются или его унижают. Но разве я напасть на него хотел? Нет, конечно. Дело хуже обстоит. Старик потерял ориентировку, и я хотел ему помочь. Он вот-вот превратит ошибку в катастрофу, и я хотел его остановить. То, что он принял за нападение, было неудачной попыткой поговорить с ним серьезно, произвести на него впечатление. Не вышло, Бет, — полный провал. Может быть, я поддался его воздействию. Он сильный человек, хоть и не тяжеловес. Я не знал его, когда он был влиятельным деканом. Мы познакомились, когда он попал в беду. Но сила все равно чувствуется. Понятно, почему люди подчи-

нялись ему. Когда он сидит перед тобой, видишь, что сидит *персона*. Толком я не разобрался еще, в чем дело. Не так легко понять про человека, кто он и что он, если видел его всего несколько раз. Может, я тупой от природы. Так или иначе, я сделал все ошибки, какие делают новички. Психопатология, виагра, "Дорз", Норман О. Браун, контрацепция, СПИД. Я выставил себя знатоком всего на свете — особенно того, что произошло до моего рождения. Я его провоцировал, а надо было говорить коротко, деловито, объективно. Хотел помочь и в результате оскорбил, а значит — навредил ему. Нет, я не в обиде за то, что он на меня огрызнулся. И все-таки, душа моя, остается вопрос: почему *белую?*

Коулмен два года как не был в кампусе Афины и по возможности вообще старался в город не ездить. Он уже не испытывал ненависти ко всем без исключения преподавателям колледжа — просто не хотел иметь с ними дела из опасения, что, ввяжись он в разговор, даже самый пустяковый, не сумеет скрыть боль или скрыть сокрытие боли, не удержится и начнет внутри закипать или, хуже, что его прорвет и он неудержимо, со всей словесной четкостью и прямотой запоет песню несправедливо обиженного. Через несколько дней после ухода на пенсию он открыл новые счета в банке и супермаркете в Блэкуэлле, унылом и упадочном промышленном городишке у реки в восемнадцати милях от Афины, и даже записался в тамошнюю библиотеку, предпочитая пользоваться ею, при всей скудости ее запасов, а не расхаживать, как прежде, среди афинских стеллажей. Он записался и в спортивный комплекс при местной молодежной ассоциации и вместо того чтобы плавать в бассейне колледжа или разминаться в тамошнем гимнастическом зале, как он поступал после работы почти тридцать лет, теперь пару раз в неделю посещал не столь презентабельный блэкуэллский бассейн или поднимался наверх в видавший виды зальчик, где впервые с аспирантских времен начал — конечно, в куда более медленном темпе, чем в сороковые, — работать со скоростной грушей или бить по тяжелой груше. Добираться до Блэкуэлла было вдвое дольше, чем до Афины, но в Блэкуэлле куда меньше была вероятность встретить бывшего коллегу, а если такое все же происходило, кивнуть без улыбки и спокойно пройти мимо было здесь легче, чем на опрятных старых улицах Афины, где любой уличный знак, любая скамейка, любое дерево, любой памятник на площади так или иначе напомнили бы Коулмену о нем самом до того, как он стал "педагогом-расистом" и все пошло под откос. Цепочки магазинов по ту сторону площади вовсе не было, пока, работая деканом, он в изрядном числе не приманил в Афину новых людей — сотрудников, студентов, родителей студентов, — так что, выходит, за те годы он перетряхнул не только колледж, но и весь город. Отживающая свой век антикварная лавка, плохой ресторан, убогий продовольственный, провинциальный магазин спиртных напитков, захолустная парикмахерская, допотопная галантерея, скудно снабжаемый книжный, безвкусно оформленная кафе-кондитерская, темная аптека, мрачная таверна, газетный киоск без газет и пустой, загадочный "магазин чудес" — все это исчезло, уступив место заведениям, где можно вполне прилично поесть, выпить чашку хорошего кофе, получить указанное в рецепте лекарство, купить бутылку неплохого вина, из книг найти что-нибудь помимо путеводителей по Беркширам, а из одежды — не только теплое белье для холодной зимы. "Революция качества", которую ему в свое время ставили в заслугу, имея в виду перемены в преподавательском составе и учебных программах, неожиданно для него рас-

пространилась на главную улицу города. Что лишь усиливало боль и удивление от сознания своей отверженности.

Теперь, два года спустя, его тяготили не столько *они* – ибо кого в Афине, кроме Дельфины Ру, интересует сегодня Коулмен Силк и дело о "духах"? – сколько усталость от его собственной едва приглушенной, легко гальванизируемой горечи; стоя посреди Афины, он ощущал сейчас (для начала) большее отвращение к себе, чем к тем, кто по безразличию, по трусости или из честолюбия не счел нужным высказаться в его защиту, выразить даже малейший протест. Образованные люди с учеными степенями, которых он сам, считая их способными мыслить разумно и независимо, взял на работу, не потрудились объективно оценить нелепое обвинение в его адрес и прийти к очевидному заключению. Слово "расист" внезапно стало в Афина-колледже самой эмоционально-взрывчатой характеристикой, и эта эмоциональность вкупе с заботой о своих преподавательских досье и будущих повышениях подчинила себе весь колледж. Стоило слову "расист" прозвучать с некой официальной интонацией – и все до единого потенциальные союзники попрятались по углам.

Ну что, дойти до кампуса? Время летнее, люди на каникулах. После сорока без малого лет в Афине, после всех разрушений и утрат, после всего, на что он отважился, чтобы сюда попасть, – почему нет? Сперва "духи", теперь "лилейно-белую", и кто знает, какой гнойник будет вскрыт следующим чуть устарелым и даже не лишенным очарования оборотом речи, который непроизвольно слетит с его уст? Одно меткое слово – какая же это губительная, разоблачающая сила! Оно мигом сжигает всю маскировку, все прикрытие, весь камуфляж. Верное слово, произнесенное невзначай, совершенно бездумно.

– В тысячный раз повторяю: я сказал "духи", потому что именно это и хотел сказать. Мой отец был содержателем бара, но он требовал от меня, чтобы я выражался точно, и я следую его завету. Слова имеют свои значения – мой отец с его семью классами это хорошо понимал. За стойкой бара он держал две вещи, помогавшие улаживать ссоры между клиентами, – дубинку и толковый словарь. "Мой лучший друг" – так он мне про словарь говорил, и я разделяю такое отношение по сей день. Ну и что же мы увидим, если разыщем в нем слово, которое я употребил? Первое значение: "1. *Разг.* Призрак, привидение".

– Но воспринято оно было иначе. Позвольте мне, декан Силк, прочесть вам *второе* словарное значение: "2. *Уничиж.* Негр". Именно так было воспринято это слово, и здесь была своя логика: "Знает их кто-нибудь из вас – или они негритянки, которых никто не знает и знать не желает?"

– Простите, сэр, но если бы я намеревался спросить, знает ли их кто-нибудь или их никто не знает, потому что они негритянки, я так бы и спросил. *Именно такими словами.* Но как я мог догадаться, что эти студентки чернокожие, если я ни разу в жизни их не видел и ничего о них не знал, кроме имен и фамилий? Знал еще, разумеется, что они *невидимки*, потому и воспользовался этим словом в его первом значении – духи, призраки, привидения. Взглянем теперь на прилагательное с тем же корнем, которое идет в словаре следом. Мы все знаем это слово с детства – и что же оно означает? "*Разг., шутл.* 1. Похожий на привидение, призрак или относящийся к призрачному миру. 2. Страшный, жуткий. 3. (особ. о лошадях) Пугливый". Заметьте – особенно о лошадях. Не кажется ли вам, что я, помимо прочего, охарактеризовал двух студенток как кобылиц? Не кажется? А почему? Почему, раз уж на то пошло?

Взглянуть последний раз на Афину перед тем, как бесчестье станет полным.

Силки. Силки Силк. Шелковый Силк. Так его не называли пятьдесят с лишним лет, но он чуть ли не ждал теперь, что его окликнут: "Привет, Силки!" – как будто он не главную улицу Афины пересекал, чтобы впервые после ухода на пенсию подняться по склону к кампусу, а снова шел после школы по Сентрал-авеню Ист-Оринджа со своей сестрой Эрнестиной и слушал эту идиотскую историю про то, что ей ненароком стало известно накануне вечером, когда к их родителям пришел доктор Фенстерман – еврейский врач, видный хирург из маминой больницы в Ньюарке. Коулмен был тогда в гимнастическом зале, тренировался с легкоатлетической командой, а Эрнестина делала уроки на кухне и оттуда слышала, как доктор Фенстерман, сидя с мамой и папой в гостиной, объясняет им, почему для него и миссис Фенстерман крайне важно, чтобы их сын Бертрам окончил первым в классе. Как Силкам, конечно, известно, первым пока идет Коулмен, а Берт вторым, отставая всего на один балл. Лидеров выпускного класса разделяет лишь оценка "хорошо", которую Берт получил по физике за прошлое полугодие, получил несправедливо, он вполне заслужил "отлично". Берт, как объяснил мистеру и миссис Силк доктор Фенстерман, хочет пойти по стопам отца и стать медиком, для чего нужны блестящие показатели не только в колледже, но и раньше – всюду, вплоть до детского сада. Знают ли Силки о дискриминационных квотах, цель которых – не пускать евреев на медицинские факультеты? Особенно в Гарварде и Йеле, где Берт, получи он возможность туда поступить, стал бы звездой первой величины – в этом доктор и миссис Фенстерман совершенно уверены. Из-за мизерных квот для евреев на большинстве медицинских факультетов самому доктору Фенстерману пришлось поехать учиться в Алабаму, и там он воочию увидел, каково приходится людям с черной кожей. Доктор Фенстерман понимает, что предубеждение в высших учебных заведениях против чернокожих студентов гораздо сильнее, чем против евреев. Он понимает, какие препятствия пришлось преодолеть самим Силкам, чтобы стать образованной негритянской семьей. Ему известно о тяготах, которые претерпел мистер Силк после того, как в Великую депрессию обанкротился его магазин оптики. Он знает, что мистер Силк – выпускник колледжа, как и он сам. Он понимает, что должность стюарда на железной дороге ("Да, Коулмен, так он сказал – не официанта, а стюарда") ни в коей мере не соответствует его профессиональным возможностям. С миссис Силк он, конечно же, хорошо знаком по больничной работе. По уму, по знаниям, по надежности она, считает доктор Фенстерман, превосходит всех сестер больницы, не исключая и старшей сестры. По его мнению, Глэдис Силк давно уже заслуживает назначения старшей сестрой хирургического отделения; одно из обещаний, которые доктор Фенстерман хочет дать Силкам, – то, что он употребит все свое влияние, чтобы миссис Силк получила эту должность после ухода на пенсию миссис Нунан – теперешней старшей сестры отделения. Кроме того, он готов помочь Силкам безвозвратной "ссудой" в три тысячи долларов, которые они получат единовременно после зачисления Коулмена в колледж – ведь учеба, конечно, потребует от семьи дополнительных расходов. Взамен он просит о меньшем, чем можно подумать. Если Коулмен окончит вторым в классе, он все равно останется самым высокооцененным цветным выпускником школы не только за 1944 год, но и за все годы. С этими баллами более чем вероятно, что Коулмен станет лучшим цвет-

ным выпускником округа и даже штата, и для поступления в университет Хауарда[1] ему совершенно не важно будет, первый он или второй. При таких успехах он не встретит даже малейших затруднений. Коулмен ничего не потеряет, а семья получит три тысячи долларов на образование детей; кроме того, благодаря поддержке доктора Фенстермана Глэдис Силк спустя какие-нибудь несколько лет станет первой в Ньюарке цветной старшей сестрой отделения. От Коулмена требуется немного — выбрать два предмета, по которым он слабее подготовлен, и получить по ним на выпускных экзаменах не "отлично", а "хорошо". Задача Берта — получить по всем предметам отличные оценки, это уж от него будет зависеть. Если же Берт на чем-нибудь споткнется, они придут к финишу вровень или даже Коулмен будет первым, но обязательства доктора Фенстермана все равно останутся в силе. И само собой, соглашение будет сохранено в тайне всеми участниками.

Коулмен пришел от услышанного в такой восторг, что вырвал руку из руки Эрнестины и рванул бегом по Сентрал-авеню до Эвергрин и обратно, громко крича:

— По которым я слабее — это какие же?

Словно, предположив наличие у Коулмена учебных слабостей, доктор Фенстерман невесть как смешно пошутил.

— Ну а они что, Эрн? Что папа сказал?

— Не знаю, он тихо говорил, я не расслышала.

— А мама?

— Тоже не знаю. Но что они сказали, когда доктор ушел, — это я слышала.

— Ну-ну. И что же?

— Папа сказал: "Мне хотелось его убить".

— Не заливаешь?

— Нет. Точно.

— А мама?

— "Я просто прикусила язык". Так и сказала: "Я просто прикусила язык".

— Но что они ему ответили, ты не слышала.

— Не слышала.

— Одно могу сказать — я этого делать не буду.

— Конечно, не будешь.

— Но вдруг папа согласился?

— Ты что, рехнулся?

— Эрни, трех тысяч долларов папа за целый год не зарабатывает. Надо же, три тысячи!

Ему представилось, как доктор Фенстерман вручает отцу большой пакет, туго набитый деньгами, и в восторге он снова припустил до Эвергрин и назад, дурашливо беря воображаемые барьеры (он несколько лет подряд был чемпионом округа Эссекс среди школьников по спринту с низкими барьерами и занимал второе место в беге на сто ярдов). Очередной триумф — вот что он думал. Очередной рекордный триумф великого, несравненного, единственного и неповторимого Силки Силка! Он первый ученик класса, он звезда легкой атлетики, и, поскольку ему было всего семнадцать, предложение доктора Фенстермана значило для него лишь то, что́ чуть ли не для всех на свете он невесть какая персона. Более широкую картину он в то время еще не видел.

1. Частный университет в Вашингтоне, основанный в 1867 г. как негритянский колледж. Назван в честь генерала О. Хауарда.

В Ист-Ориндже, населенном почти сплошь белыми (ближе к Ориндж-жу и рядом с первым городским округом Ньюарка обитали бедные итальянцы, а в больших домах в районе Упсала-стрит и Саут-Харрисон-стрит — богатые прихожане епископальной церкви), евреев было еще меньше, чем негров, однако именно евреи, взрослые и их сынки, вышли тогда на первый план во внешкольной жизни Коулмена. Сперва док Чизнер, который только что не усыновил его год назад, когда Коулмен стал ходить на его вечерние боксерские занятия, теперь доктор Фенстерман. Док Чизнер был дантист и любил бокс. Ходил на все бои, на какие только мог выбраться, — в Лорел-гарден и Медоубрук-боул на нью-джерсийской стороне Гудзона, в нью-йоркские Мэдисон-сквер-гарден и Сент-Никс. Про него говорили: "Ты можешь думать, что разбираешься в боксе, пока не посидишь рядом с доком. Посиди — и поймешь, что вы с ним разные бои смотрите". Док судил любительские бои по всему округу Эссекс, в том числе на приз "Золотые перчатки" в Ньюарке, и в его боксерский класс еврейские родители из Ист-, Уэст- и просто Ориндж, из Мейплвуда, из Ирвингтона и даже из таких неближних мест, как Уикуэйик на самом юго-западе Ньюарка, посылали сынков учиться самозащите. Но Коулмен пришел к доку Чизнеру не поэтому, защищаться он и так умел, — просто его отец узнал, что со второго класса в школе старшей ступени после легкоатлетической тренировки, исключительно по своей инициативе и в иные недели даже по три раза Коулмен тайком ездит в Ньюарк на трущобную Мортон-стрит в Ньюаркский клуб мальчиков заниматься боксом. Начал в четырнадцать лет при весе всего сто одиннадцать фунтов и работал там по два часа: разминка, три раунда спарринга, тяжелая груша, быстрая груша, скакалка, другие упражнения, потом домой и за уроки. Два раза даже был спарринг-партнером Купера Фулема, который год назад выиграл национальный чемпионат в Бостоне. Мать Коулмена работала в больнице по полторы, даже по две смены, отец обслуживал пассажиров в вагоне-ресторане и дома, можно сказать, только спал, старший брат Уолт был сперва в колледже, потом в армии, так что Коулмен, взяв с Эрнестины клятву хранить секрет, приходил и уходил когда ему вздумается, а чтобы не отставать в школе и не давать повода для подозрений, штудировал учебники с удвоенным усердием всюду, где только мог, — в комнате для самоподготовки, ночью в кровати, в автобусах (по два в каждый конец) до Ньюарка и обратно.

Все, кто хотел заниматься любительским боксом, ходили в Ньюаркский клуб мальчиков, и если у тебя получалось и тебе было от тринадцати до восемнадцати, тебя ставили против парней из таких же клубов в Патерсоне, в Джерси-Сити, в Батлере, из айронбаундского отделения Полицейской атлетической лиги[1] и так далее. Подростки валили в клуб толпами, некоторые из Ровея, из Линдена, из Элизабет, двое даже из такой дали, как Морристаун; там был глухонемой по прозвищу Манекен, который ездил из Белвилла, но большей частью ребята были из Ньюарка и все цветные, хотя руководили клубом двое белых. Одного звали Мак Макроун, он был полицейский из Уэст-Сайд-Парка, носил пистолет и сказал однажды Коулмену: "Будешь по беговой части сачковать — застрелю". Мак во главу угла ставил скорость и поэтому верил в Коулмена. Быстрота, хорошая работа ног, встречный удар. Научив Коулмена стойке, перемещению и удару, увидев, как быстро парень схватывает, какой он толковый, какая у не-

1. Полицейская атлетическая лига — сеть спортивных учреждений для подростков под эгидой полиции.

го реакция, Мак начал показывать ему более тонкие вещи. Как перемещать голову. Как уходить от ударов. Как блокировать. Как наносить встречный. Мак учил его джебу[1]: "Как будто блошку смахиваешь с носа. Смахни с него блошку". Он научил Коулмена джебами выигрывать бои. Проводишь джеб, блокируешь, наносишь встречный. Он тебе джеб – уходишь влево, отвечаешь правым прямым. Или уходишь вправо и отвечаешь хуком[2]. Или нырок, правой в сердце, хук левой в сплетение. Сложением не бог весть какой мощный, Коулмен иногда успевал зажать перчатку соперника, наносящего джеб, тянул его на себя, и хук в сплетение, выпрямиться, хук в голову. "Блокируешь удар. Бьешь навстречу. Ты контратакующий боксер, Силки. Это в тебе есть, и только это". Потом поехали в Патерсон. Первый его бой в любительском турнире. Соперник посылал джеб, Коулмен отклонялся назад, не теряя ногами упора, и успевал вернуться и достать его правой, и так ловил его весь бой. Тот свое – Коулмен свое, и все три раунда остались за ним. В клубе мальчиков это стало фирменным стилем Силки Силка. Время от времени он и первым наносил удар, поэтому никто не мог сказать, что он стоит и ничего не делает, но большей частью он ждал удара соперника и в ответ проводил два, три, потом отступал и опять принимался ждать. Коулмен добивался успеха, действуя от обороны. В результате к шестнадцати годам в одних только округах Эссекс и Гудзон на любительских соревнованиях в армейском зале и в "Рыцарях Пифия"[3], на показательных выступлениях в ветеранском госпитале он выиграл у троих победителей турнира "Золотые перчатки". Получается, что он мог бы стать чемпионом в весовых категориях 112, 118 и 126 фунтов... Но ему нельзя было участвовать в "Золотых перчатках", потому что он тогда попал бы в газеты и все стало бы известно родителям. Впрочем, потом им и без того все стало известно. Как – он не знал, да это и не имело значения. Кто-то им сказал, вот и все.

Однажды в воскресенье после церкви они сидели за обедом, и отец спросил:

– Ну, Коулмен, как?

– Что – как?

– Вчера вечером. В "Рыцарях Пифия". Как выступил?

– Что такое "Рыцари Пифия"?

– Да брось, сынок, не прикидывайся дурачком. В "Рыцарях Пифия" вчера был бокс. Сколько боев в программе?

– Пятнадцать.

– Как ты выступил?

– Выиграл.

– Сколько боев ты уже выиграл? На турнирах, на показательных выступлениях? Сколько с самого начала?

– Одиннадцать.

– А сколько проиграл?

– Пока нисколько.

– А сколько выручил за часы?

– За какие часы?

– За часы, которые ты выиграл в ветеранском госпитале Лайонса. Которые ветераны подарили тебе за победу. Которые ты на прошлой неделе сдал в ломбард на Малберри-стрит в Ньюарке.

1. Джеб – короткий прямой удар.
2. Хук – короткий боковой удар.
3. "Рыцари Пифия" – масонское братство, созданное в 1864 г.

Все-то он знал.

— Сколько, по-твоему? — отважился спросить Коулмен, но глаз не поднял — продолжал рассматривать вышитый узор на хорошей воскресной скатерти.

— Два доллара ты выручил, Коулмен. Когда думаешь перейти в профессионалы?

— Я не ради денег, — возразил он, все еще не глядя на отца. — Деньги меня не интересуют. Я для удовольствия. Таким спортом не будешь заниматься, если удовольствия не получаешь.

— Знаешь, Коулмен, что я бы тебе сказал, будь я твоим отцом?

— Ты мой отец, — сказал Коулмен.

— Не знаю, не знаю.

— Как же...

— Да так — не уверен я в этом. Я тут подумал, может, твой отец — Мак Макроун из Ньюаркского клуба мальчиков.

— Да брось ты, папа, Мак мой тренер.

— Понятно. Ну и кто же тогда, позволь спросить, твой отец?

— Сам знаешь кто. Ты. Ты мой отец.

— Я? Правда?

— Нет! — заорал Коулмен. — Не ты!

И, сорвавшись с места в самом начале воскресного обеда, выбежал из дома и почти час накручивал мили по Сентрал-авеню до Оринджа, потом через весь Ориндж до Уэст-Оринджа, потом по Уатчанг-авеню до Роуздейлского кладбища, потом на юг по Вашингтон-стрит до Мейн-стрит — бег с ударами, спринт, потом просто бег, потом просто спринт, потом бой с тенью всю обратную дорогу до вокзала Брик-Чёрч и, наконец, последний спринтерский отрезок до дома, и в дом, и в гостиную, где семья доедала десерт и где он сел на свое место, куда более спокойный, чем в начале броска, — ждать, чтобы отец начал там, где остановился. Отец никогда не выходил из себя. У него был свой способ побеждать. Словами. Речью. Английским языком, который он называл "языком Чосера, Шекспира и Диккенса". Языком, которого никто не может у тебя отнять и который у мистера Силка всегда звучал полновесно, отчетливо и артистически-напористо, как будто даже во время обычного разговора он декламировал речь Марка Антония над телом убитого Цезаря. Каждому из троих своих детей мистер Силк дал второе имя, взятое из пьесы, которую он почти всю знал наизусть, считал вершиной английской литературы и самым поучительным исследованием предательства из всех, что когда-либо были написаны: старший его сын звался Уолтер Антоний, другой — Коулмен Брут, а их младшая сестра Эрнестина Кальпурния получила второе имя от верной супруги Цезаря.

Жизнь мистера Силка в бизнесе пришла к несчастливому концу в Великую депрессию, когда прекратили платежи банки. После потери магазина оптики в Ориндже он пришел в себя очень не скоро, если пришел в себя вообще. Бедный папа, говорила мама, он так хотел работать на самого себя. Мама была из Нью-Джерси, а папа родился на Юге, в Джорджии, и посещал там колледж, изучал агротехнику и скотоводство. Но потом бросил, поехал на Север, в Трентон, и там выучился на оптика. Потом его призвали в армию и отправили на Первую мировую, потом он познакомился с мамой, переехал с ней в Ист-Ориндж, открыл магазин, купил дом. Потом было банкротство, и теперь он работал официантом в вагоне-ресторане. Там он, конечно, больше молчал, но дома разговаривал с такой неспешной точностью и прямотой, что мог просто-напросто унич-

тожить тебя словами. Он считал очень важным, чтобы дети хорошо владели речью. Он отучал их говорить: "Смотри, песик идет". Они должны были говорить: "Доберман. Гончая. Терьер". Он учил их классифицировать явления. Они познавали власть, которую дает тебе умение подобрать точное название. Он неустанно учил их английскому. Он поправлял даже их приятелей, которые приходили к ним в гости.

Когда мистер Силк был оптиком и поверх темного, похожего на священнический костюма носил белый халат, он работал по более или менее регулярному графику и вечером после десерта оставался за обеденным столом читать газету. Все дети должны были по очереди что-нибудь прочесть из "Ньюарк ивнинг ньюс", даже малышка Эрнестина, причем не из странички комиксов. Его мать, бабушку Коулмена, научила читать хозяйка еще во времена рабства, а после Освобождения она поступила в так называемое Педагогическое и промышленное училище штата Джорджия для цветных. Дед Коулмена со стороны отца был методистским священником. В семье Силков читалась классическая литература. В семье Силков детей не водили на бокс, их возили в Нью-Йорк в Метрополитен-музей смотреть на доспехи. Их возили в планетарий Хейдена изучать Солнечную систему. Их регулярно водили в Музей естествознания. В 1937 году в праздник 4 июля мистер Силк, несмотря на дороговизну билетов, повез всех детей на Бродвей в театр "Мьюзик Бокс" на мюзикл "Предпочитаю быть правым" с Джорджем М. Коэном. Коулмен запомнил, как отец на следующий день делился по телефону впечатлениями с дядей Бобби, своим братом: "Знаешь, что сделал Джордж Коэн, когда прошли все вызовы и опустился занавес? Вышел еще на целый час и спел все свои песни. Все до единой. Для детей, для их знакомства с театром лучшего и не придумаешь".

— Будь я твоим отцом, — заговорил мистер Силк, глядя на Коулмена, который чинно сидел над пустой тарелкой, — знаешь, что я бы тебе сказал?

— Что? — спросил Коулмен тихо — тихо не потому, что выдохся после бега, а потому, что настало время держать ответ за глупое отречение от отца, который был уже не оптиком, а официантом в вагоне-ресторане и останется им до конца дней.

— Я сказал бы: "Выиграл вчера вечером? Молодец. Значит, можешь уйти непобежденным. Ты уходишь с ринга". Вот что я сказал бы, Коулмен.

Потом стало полегче — после того как Коулмен посидел над уроками, а мать поговорила с отцом и немного его урезонила. Родители уже могли более или менее мирно сидеть с ним в гостиной и слушать, как он описывает прелести бокса, с которым, если у тебя есть победный ресурс, легкоатлетические успехи не идут ни в какое сравнение.

Спрашивала теперь мать, и на ее вопросы отвечать было нетрудно. Ее младший сын был, как в подарочную упаковку, обернут во все золотые грезы, что когда-либо посещали Глэдис Силк, и чем красивей, чем умней он становился, тем труднее ей было отделять сына от грез. Насколько с пациентами больницы она могла быть чуткой и мягкой, настолько с другими сестрами и даже с врачами — с белыми врачами! — она порой бывала требовательной и жесткой, применяя к ним тот же кодекс поведения, что к самой себе. Такой же она могла быть и с Эрнестиной — но не с Коулменом. Коулмен получал от нее то же, что пациенты, — нежную, само-

отверженную заботу. Коулмен получал почти все, что ему хотелось. Отец прокладывал путь, мать взращивала любовь. Классическая комбинация.

— Не понимаю, как можно разозлиться на человека, которого не знаешь, — сказала она. — Кто другой, но ты, с твоим счастливым характером...

— Никакой злости. Только концентрация. Это спорт. Перед боем разминаешься. Боксируешь с тенью. Готовишься ко всему, что может сделать соперник.

— Которого ты никогда раньше не видел, — заметил отец, обуздывая, насколько хватало сил, свой сарказм.

— Я только хотел сказать, — объяснил Коулмен, — что злиться не надо. Незачем.

— А если соперник на тебя зол? — спросила мать.

— Не имеет значения. Выигрывают мозги, а не злость. Пускай злится, какая разница? Твое дело — думать. Это как шахматы. Или как кошки-мышки. Можно завлечь соперника, обмануть. Вчера против меня был парень лет восемнадцати-девятнадцати, не ахти какой быстрый. Он достал меня один раз джебом в верхнюю часть головы. Но когда он это повторил, я был готов, и хоп! Встретил его правой, и он даже понять не успел, чем его шарахнуло. Нокдаун. Я редко кого отправляю на пол, но этого отправил. Потому что заставил поверить, что поймает меня еще раз.

— Коулмен, — сказала мать, — мне не нравится то, что я слышу.

Он встал и принялся ей показывать.

— Вот, смотри. Медленный у него был удар. Понимаешь? Я увидел, что ему быстроты не хватит поймать меня второй раз. Не волнуйся, мама, вреда он мне не причинил никакого. Я просто подумал, что, если он еще раз так, я уклонюсь и вмажу ему правой. И вот когда он опять, я вовремя увидел, потому что удар был медленный, и контратаковал. Пойми, мама, я не потому сбил его с ног, что был злой. Просто я лучше боксирую.

— Но эти ньюаркские, с кем ты выходишь на ринг, они же совсем не такие, как твои друзья. — Она с теплотой в голосе назвала двоих самых положительных и способных негритянских мальчиков, с которыми Коулмен вместе учился, дружил, ел ланч и проводил время в школе. — Я часто вижу ньюаркских ребят на улице. Они настоящие бандиты. Легкая атлетика — спорт куда более цивилизованный, он гораздо лучше тебе подходит. Коулмен, ты же так красиво бежишь!

— Бандиты они или не бандиты — не имеет значения. На улице имеет, на ринге нет. На улице этот парень, скорее всего, избил бы меня до полусмерти. Но на ринге, в перчатках, по правилам? Нетушки, тут ему ничего со мной не сделать.

— А если все-таки ты пропустишь удар? Что тогда? Это же вредно, опасно. Для головы. Для *твоего мозга.*

— Удар можно самортизировать. Этому учат. Вот так, головой — видишь? Это уменьшает воздействие. Однажды, всего однажды меня чуть-чуть оглушило — только потому, что я был глупым новичком, не знал, как боксировать с левшой, и сделал идиотскую ошибку. Да и то ничего страшного — как будто об стенку маленько стукнулся. Немножко кружится голова и не так прочно стоишь. А потом само собой все проходит. Надо только на несколько секунд войти в клинч или, наоборот, отступить, пока в голове не прояснится. Ну, бывает еще, по носу дадут, тогда глаза немножко слезятся, и все. Если контролируешь себя, опасности нет никакой.

Тут отец не выдержал.

— У меня на глазах людей валили на пол таким манером, что они не успевали понять, откуда взялся кулак. Когда такое случается, глаза не слезятся, когда такое случается, ты падаешь и лежишь как труп. Даже Джо Луиса, если помнишь, нокаутировали так, что он лежал как труп. Поправь меня, если я ошибся. А если Джо Луиса могли, то и тебя, Коулмен, могут.

— Пойми, папа, Шмелинг в том первом бою с Луисом нащупал у него слабость. Слабость была в том, что, когда Луис проводил джеб, он не возвращался в закрытую стойку... — Коулмен снова вскочил и показал родителям, что он имеет в виду. — Не возвращался, а опускал левую руку — вот так, видите? — а Шмелинг раз за разом контратаковал — вот так, — ну и победил нокаутом. Это чистое мышление. Точно говорю. Правда, папа. Сдохнуть мне на этом месте.

— Не надо говорить: "Сдохнуть мне на этом месте".

— Не буду, не буду. Но пойми, если он в закрытую стойку не возвращается, если он вместо этого вот так, то соперник контратакует правой и в конце концов его накажет. Так и случилось в том первом бою. В точности так.

Но мистер Силк повидал на своем веку много боев, в армии он видел ночные бои между солдатами, устраиваемые для развлечения личного состава, и там случались не только нокауты, как у Джо Луиса, но и такие тяжелые рассечения, что кровь ничем нельзя было остановить. На военной базе он видел чернокожих бойцов, которые как главное оружие использовали собственную башку, хоть перчатку на нее напяливай, тупых и жестоких уличных зверюг, которые дубасили и дубасили соперника головой, пока у того от лица не оставалось неизвестно что. Нет, ни о чем другом, кроме ухода с ринга, Коулмену и думать нечего, а если он хочет боксировать ради развлечения, ради спорта, то он будет этим заниматься не в Ньюаркском клубе мальчиков, который, по мнению мистера Силка, годился только для трущобных детей, для безграмотных, для хулиганов, которым прямая дорога либо в тюрьму, либо в канаву, а здесь, в Ист-Ориндже, под присмотром дока Чизнера, который был дантистом профсоюза электриков в те времена, когда отец Коулмена был оптиком и обеспечивал членов профсоюза очками. Док Чизнер по-прежнему лечил зубы, но в нерабочее время учил сыновей еврейских врачей, юристов и бизнесменов основам бокса, и никто из его учеников пока здоровья не лишился — это уж точно. Для мистера Силка евреи, даже такие наглые и противные, как доктор Фенстерман, были вроде индейцев-следопытов — опытные, толковые люди, которые могут показать новичку дорогу, могут помочь культурной негритянской семье в поисках социальных возможностей и путей к успеху.

Вот как Коулмен попал к доку Чизнеру и стал тем цветным парнем, какого знали там все привилегированные еврейские сынки, — скорее всего, единственным, какого они знали и будут когда-либо знать. Коулмен очень быстро стал ассистентом Чизнера и начал учить еврейских парней — учить не тем тонкостям экономии энергии и движения, с которыми познакомил своего лучшего питомца Мак Макроун, а основам, которыми для них в любом случае все и ограничится: "Скажу 'раз' — джеб. Скажу 'раз-раз' — двойной джеб. Скажу 'раз-два' — джеб левой, кросс[1] правой. Скажу 'раз-два-три' — джеб левой, кросс правой, хук левой". После того как ученики расходились по домам (случалось, хотя и редко, что кто-то уходил с расквашенным носом и больше не возвращался), док

1. Кросс — косой удар поверх руки соперника.

Чизнер работал с одним Коулменом, в иные вечера для выносливости большей частью в ближнем бою, когда и тянешь соперника, и бьешь, и толкаешь, после чего простой спарринг кажется детской забавой. Док требовал от Коулмена, чтобы в самую рань, как только застучит копытами лошадь молочника, он тут же вставал и выходил бегать и боксировать с тенью. В серой матерчатой куртке с капюшоном Коулмен был на улице уже в пять утра в любую стужу, в любой снегопад — бегал как миленький три с половиной часа до первого школьного звонка. Ни души вокруг, никаких бегунов, тогда еще знать не знали, что такое бег трусцой, три быстрые мили с имитацией ударов все время, кроме одной короткой паузы, чтобы не испугать большого старого гнедого тяжеловоза, когда Коулмен в зловеще надвинутом на глаза капюшоне, похожем на монашеский клобук, догонял и обходил молочника. Он терпеть не мог этот бег с его нудятиной, но не пропустил ни дня.

Однажды в субботу, месяца за четыре до того, как доктор Фенстерман пришел к родителям Коулмена со своим предложением, док Чизнер посадил Коулмена к себе в машину и повез в Уэст-Пойнт[1], где должен был судить матч между курсантами и Питтсбургским университетом. Док был знаком с университетским тренером и хотел, чтобы он увидел Коулмена на ринге. Док был уверен, что для Коулмена с его школьными отметками тренер сможет выхлопотать четырехлетнюю стипендию в Питтсбургском — куда больше, чем он мог бы получить за легкую атлетику, а ему только и дела будет что боксировать за питтсбургскую команду.

Док не говорил в пути, чтобы Коулмен соврал питтсбургскому тренеру, будто он белый. Велел промолчать, и только.

— Если не спросят, — сказал док, — сам не говори. Ты не белый и не цветной. Ты Силки Силк, вот и все. Понял? Только и делов.

Это было любимое выражение дока: только и делов. Одно из тех, какие отец Коулмена не терпел у себя дома.

— Думаете, сам не увидит? — спросил Коулмен.

— А как он увидит? Как, скажи на милость? Лучший ученик средней школы Ист-Оринджа, и с кем приехал? С доком Чизнером. Знаешь, что он подумает, если уж возьмется про это думать?

— Что?

— Ты выглядишь как выглядишь, и раз ты со мной, он подумает, что ты один из моих парней. Что ты еврей.

Коулмен громко расхохотался, хотя дока, в отличие от Мака Макроуна с его рассказами о полицейском житье-бытье в Ньюарке, он никогда не считал большим юмористом. Потом напомнил доку:

— Я буду поступать в Хауард. В Питтсбургский не могу. Мне одна дорога — в Хауард.

Сколько Коулмену хватало памяти, отец всегда намеревался определить его, самого способного из своих детей, в этот колледж, который — так уж исторически сложилось — был негритянским и в котором училась вся привилегированная молодежь из чернокожей элиты.

— Коулмен, твоя забота — показать себя на ринге. Только и делов. Дальше поглядим, что к чему.

Если не считать семейных поездок в Нью-Йорк с образовательными целями, Коулмен никогда раньше не выезжал из штата Нью-Джерси, так что сперва он провел замечательный день, бродя по Уэст-Пойнту и воображая себя приехавшим сюда потому, что собирается здесь учиться, а за-

1. Город в штате Нью-Йорк, где находится Военная академия сухопутных войск США.

тем у него был бой с парнем, которого выставил против него питтсбургский тренер, очень похожим на того, с кем он боксировал в "Рыцарях Пифия". Противник был медленный, такой медленный, что за считанные секунды Коулмен понял: малый ничего с ним не сделает, даром что ему уже двадцать и он боксирует за колледж. Боже ты мой, подумал Коулмен в конце первого раунда, если бы я всю жизнь мог боксировать с такими, как этот, я бы заткнул за пояс самого Рэя Робинсона. Дело было не только в том, что Коулмен весил теперь фунтов на семь больше, чем во время того любительского боя в "Рыцарях Пифия". Что-то, чего он толком не понимал, побуждало его быть более грозным, чем он осмеливался быть раньше, побуждало стремиться не просто к выигрышу, а к чему-то большему. Не в том ли причина, что питтсбургский тренер не знал, какой он расы? Не в том ли, что правда о подлинном его "я" была целиком и полностью его секретом? Он любил секреты, и еще как. Чтобы никто не знал, какие мысли у тебя в голове, чтобы думать о чем тебе хочется и никому не давать отчета. Другие ребята вечно чешут о себе языками почем зря. Ну и какая в этом власть, какое удовольствие? Власть и удовольствие — в прямо противоположном, в том, чтобы не только на ринге, но и в жизни работать в закрытой стойке, он знал это, хотя никто ему не говорил и он сам об этом не думал. Вот почему ему нравилось боксировать с тенью и упражняться с тяжелой грушей — из-за уединенности. Легкая атлетика ему нравилась по той же причине, но это было лучше. Многие ребята просто тупо лупили по тяжелой груше — но не Коулмен. Коулмен *думал*, думал таким же в точности образом, как в школе или на беговой дорожке: исключаешь все лишнее, ничего не впускаешь, погружаешься в *это* – в предмет, в соревнование, в экзаменационную тему, вот что тебе нужно. Сам становишься этим. Он был на такое способен и в биологии, и в спринте, и в боксе. При этом не мешало не только ничто наружное, но и внутреннее. Пусть ему кричат что угодно из-за канатов — все едино, пусть против него боксирует лучший друг — все едино. После боя ничто не мешает опять подружиться. Ему удавалось отключаться от собственных чувств, будь то страх, сомнение или даже дружеское расположение, — иметь эти чувства, но иметь их отдельно от самого себя. Когда он боксировал с тенью, это была не просто разминка. Он представлял себе соперника, втайне вступал с ним в воображаемый бой. И на ринге, лицом к лицу с настоящим соперником, вонючим, сопливым, потным, отвешивающим тебе более чем реальные удары, — там тоже можно было держать свои мысли при себе. Никакого учителя, задающего вопросы и ждущего ответов. Все ответы, какие приходят в голову на ринге, можно хранить в секрете, а если решаешь вдруг выложить секрет, в ход идет отнюдь не язык.

Так что даже в магическом, мифическом Уэст-Пойнте, где в тот день у него было такое чувство, словно в каждом квадратном дюйме флага, реявшего на уэст-пойнтском флагштоке, больше Америки, чем в любом из флагов, какие он видел в жизни, где стальные лица курсантов мощно настраивали его на героический лад, — даже здесь, в патриотическом центре, в самой сердцевине нерушимого станового хребта страны, где ощущение места, испытываемое шестнадцатилетним парнем, в точности соответствовало официальному образу, где все, что он видел, поднимало в нем волну любви не только к самому себе, но и ко всему зримому миру, как будто все вокруг: солнце, небо, горы, река, деревья — было проявлением его собственного бытия, Коулменом Брутом "Силки" Силком, возведенным в миллионную степень, — даже здесь его секрет был никому не ведом, и, выйдя на первый раунд, он повел себя совершенно не так, как

несравненный контратакующий питомец Мака Макроуна. Он пошел вперед и стал дубасить парня по-всякому. Были бы они одного уровня, он подключил бы мозги, но с легким соперником Коулмен, если понимал это сразу, всегда мог изменить тактику и дать волю кулакам. Именно это произошло в Уэст-Пойнте. Едва они начали, как он подбил парню оба глаза и расквасил нос. Дальше в том же духе. А потом случилось то, чего никогда еще не случалось. Он нанес хук, и чувство было такое, что кулак три четверти пути проделал в теле соперника. Коулмена изумило, как глубоко он вошел, хотя парня из Питтсбурга это наверняка изумило еще больше. Коулмен весил всего сто двадцать восемь фунтов и не был похож на нокаутера. Он и ноги-то не так ставил, чтобы вложиться в один хороший удар, у него был другой стиль; и тем не менее этот удар по корпусу вошел так глубоко, что парень просто сложился вдвое — боксер из команды колледжа, которому уже стукнуло все двадцать! — и Коулмен заделал ему еще раз, как говаривал док Чизнер, "в пузочко". Прямо туда, и соперник сложился вдвое, и на мгновение Коулмену показалось даже, что парня сейчас вытошнит, так что, пока его не вытошнило и он не рухнул на пол, Коулмен быстро занес правую, чтобы влепить ему еще раз, потому что из этого белого, который уже начал валиться, ему дух вышибить хотелось, — но тут питтсбургский тренер, который был за рефери, крикнул: "Не надо, Силки!" — и, схватив его за руку, которая пошла было вперед, прекратил бой.

— А ведь он, — сказал док по дороге домой, — очень даже неплохой боксер. Но когда его приволокли в его угол, он знать не знал, что бой кончен, пришлось втолковывать. Это ж надо — уже в своем углу, но еще не понимает, чем его так.

Весь охваченный победой, волшебством, экстазом последнего удара, захлестнутый сладким потоком ярости, который, вырвавшись на волю, взял его в оборот не хуже, чем его жертву, Коулмен, словно во сне, вновь прокручивая в голове бой, проговорил:

— Похоже, док, я слишком для него быстрый.

— Еще бы не быстрый. Конечно. Я знаю, что ты быстрый. Но еще и сильный. Это был лучший твой хук за все время, Силки. Малыш, ты слишком *сильный* для него оказался.

Так ли? Взаправду сильный?

Так или иначе, он поступил в Хауард. Не сделай он этого, отец убил бы его — убил одними словами, одним английским языком. У мистера Силка был в голове план на долгие годы: Коулмен едет в Хауард, выучивается там на врача, знакомится со светлокожей негритянкой из хорошей семьи, женится, покупает дом и заводит детей, которые, когда вырастут, тоже будут учиться в Хауарде. В чисто негритянском университете Коулмен благодаря своему замечательному уму и внешности выдвинется в высшие круги негритянского общества, станет человеком, на которого другие неизменно будут смотреть снизу вверх. Однако не прошло и недели после начала учебы в Хауарде, как случилось вот что: в субботу он с большой охотой отправился вместе с соседом по комнате, сыном юриста из Нью-Брансуика, посмотреть монумент в честь Джорджа Вашингтона, по дороге они зашли в "Вулвортс" съесть по хот-догу, и там его назвали ниггером. Впервые в жизни. И не дали хот-дога. Получив этот отказ в магазине "Вулвортс" в центре Вашингтона и услышав, как его вдогонку назвали ниггером, он не смог с такой же легкостью, как на ринге, отрешиться от своих чувств. В средней школе Ист-Оринджа — первый ученик класса, на сегрегированном Юге — просто очередной черномазый.

На сегрегированном Юге не существовало отдельных личностей, и даже они с соседом по комнате не составляли исключения. Никаких вам этих тонкостей ваших. Удар был сокрушительным. *Его* – ниггером!

И в Ист-Ориндже, конечно, существовало разграничение, пусть и проявлявшееся в менее злобных формах, между узкой негритянской прослойкой, к которой принадлежала его семья, и остальным населением. Словом, "негрофобия", как выражался его отец. Коулмен, кроме того, знал, что отцу, работающему на Пенсильванской железной дороге, приходится мириться с оскорблениями в вагоне-ресторане и, будь он хоть трижды членом профсоюза, с несправедливым отношением со стороны компании. Все это было куда унизительней того, с чем мог в Ист-Ориндже столкнуться Коулмен, не только очень светлокожий для негра, но и кипучий, полный энтузиазма, сообразительный, спортсмен хоть куда и круглый отличник. Он видел порой, как отец прилагает все силы, чтобы не взорваться, придя с работы после чего-то такого, на что он там, если хотел сохранить должность, должен был тихо ответить: "Да, сэр". Светлокожий негр не всегда мог рассчитывать на лучшее отношение. "Всякий раз, когда к тебе обращается белый, – говорил отец домашним, – как бы хороши ни были его намерения, чувствуешь: он убежден в своем интеллектуальном превосходстве. Тем или иным образом – не словами, так выражением лица, или тоном, или раздражением, или, наоборот, терпеливой выдержкой, замечательной своей *гуманностью* – он всегда даст тебе понять, что ты тупица, и будет крайне изумлен, если окажется, что это не так". "Что случилось, папа?" – спрашивал Коулмен. Но отец редко отвечал – настолько же из гордости, насколько из отвращения. Использовать момент в педагогических целях – этого было достаточно. "О том, что случилось, – говорила мать, – твоему отцу даже рассказывать противно".

В ист-ориндженской школе были учителя, в которых Коулмен ощущал необъективность: одно дело ты, другое дело умные белые ребята, – но это никогда не мешало ему добиться результата. Он перелетал через мелкие проявления дискриминации, как на беговой дорожке через низкие барьеры. Может, его неуязвимость была и показная, но он сквозь пальцы смотрел на то, на что, к примеру, его брат Уолтер так смотреть не мог и не хотел. Уолт играл в футбол за школьную команду, хорошо учился, цвет кожи у него был такой же необычный для негра, как у Коулмена, но он всегда чуть сильнее злился по разным поводам. Скажем, родители какого-нибудь белого мальчика не пригласили его в дом, а заставили торчать на улице, или белый товарищ по команде, которого он по глупости считал своим другом, не позвал на день рождения – о каждом таком случае Коулмен, спавший с братом в одной комнате, слышал от него и месяцы спустя. Не получив высшей оценки по тригонометрии, Уолт подошел к учителю, встал перед ним и, глядя в его белое лицо, проговорил: "Я считаю, что вы допустили ошибку". Просмотрев журнал и увидев оценки Уолта за контрольные, учитель признал ошибку, но имел при этом наглость сказать: "Я и подумать не мог, что у тебя такие хорошие результаты" – и только после этого исправил "хорошо" на "отлично". Коулмену и присниться не могло, что он потребует от учителя изменить оценку, да он в этом и не нуждался. Может, потому, что не было в нем ершистости Уолта, или потому, что ему везло, или потому, что он был способней и школьные успехи не стоили ему таких усилий, как Уолту, он сразу получал "отлично". А когда в седьмом классе уже не Уолта, а его не пригласили на день рождения к белому приятелю (приятель жил в том же квартале в угловом многоквартирном здании, был сыном коменданта

дома и ходил вместе с Коулменом и в детский сад, и в школу), Коулмен после первоначального замешательства воспринял это не как несправедливость со стороны белых людей, а как несправедливость со стороны идиотов родителей Дикки Уоткина. Уча подростков боксу в классе дока Чизнера, он видел, что некоторым ребятам внушает неприязнь, что кое-кто избегает физического контакта с ним, не хочет ощущать запах его пота, изредка даже тот или иной вообще переставал из-за него ходить – виной тому опять-таки, наверно, были родители, не желавшие, чтобы сын учился боксу или чему бы то ни было еще у цветного, – однако в отличие от Уолта, на ком любое проявление недружественности оставляло зарубку, Коулмен всегда мог раньше или позже забыть это, выбросить из головы или хотя бы сделать вид. Однажды белый парень из их команды бегунов попал в автомобильную аварию, и товарищи по команде, в том числе Коулмен, побежали к его родителям предлагать кровь для переливания, но у Коулмена кровь не взяли. Просто поблагодарили и сказали, что крови уже достаточно, но он-то знал, в чем причина. Нет, совсем не в том было дело, что он чего-то не понимал. Он был слишком умен, чтобы не понимать. На беговой дорожке он состязался со множеством белых ньюаркских парней – с итальянцами из Барринджера, с поляками из Ист-Сайда, с ирландцами из Сентрала, с евреями из Уикуэйика. Что-то он видел, что-то слышал, что-то случайно подслушал. Коулмен знал, что происходит вокруг, но знал также, чего *не* происходит – по крайней мере в сердцевине его бытия. Родительская защита, покровительство старшего брата Уолта, который вымахал до шести футов и двух с половиной дюймов, внутренняя уверенность в себе Коулмена, его яркая привлекательность, его проворство в беге ("самый быстрый парень во всех трех Оринджах"), даже цвет кожи, из-за которого люди подчас не знали, кем его числить, – все это вместе смягчало для него те оскорбления, от каких Уолтер лез на стенку. Плюс разница характеров: Уолт был Уолтом, решительно Уолтом, Коулмен им решительно не был. Это, наверно, лучше всего объясняло различие их реакций.

Но "ниггер" – *ему*? Он пришел в ярость. Однако, как ни верти, если он не хотел серьезных неприятностей, ему ничего не оставалось, кроме как выйти из магазина. Здесь вам не любительский боксерский турнир в "Рыцарях Пифия". Это "Вулвортс" в Вашингтоне, столице страны. Кулаки здесь ничего не решают, работа ног ничего не решает, гнев тоже. Уолтер – ладно, но как отец может хлебать это дерьмо? В том или ином виде каждый божий день в своем вагоне-ресторане. До этого Коулмену никогда, при всей его ранней смышлености, не приходило в голову, как хорошо защищена была его жизнь, никогда он не задумывался о мощи отцовского духа, не понимал, какая отец сила, и не только потому, что произвел на свет его, Коулмена. Наконец он увидел, что его отцу приходилось глотать. И беззащитность отцовскую увидел – а ведь раньше, наивный пацан, глядя на мистера Силка с его авторитетной, суровой, подчас невыносимой манерой держаться, он воображал, что тут полная неуязвимость. И только теперь, когда его обозвали в лицо ниггером, Коулмену с опозданием стало ясно, каким надежным оплотом от великой американской угрозы был для него отец.

В Хауарде, как бы то ни было, лучше ему не становилось. Особенно когда он начал думать, что в нем видят нечто от ниггера даже соседи по общежитию, у которых вдоволь и денег, и хорошей одежды, которые летом вместо того, чтобы болтаться дома на раскаленных улицах, могут

поехать в лагерь, и не в какой-нибудь там бойскаутский в нью-джерсийском захолустье, а в хороший, где катаются верхом, играют в теннис и ставят спектакли. Что, к чертям, такое "котильон"? Где это — Хайленд-Бич? О чем они толкуют, эти парни? На первом курсе он был из самых светлокожих, светлей, чем его чайного цвета сосед по комнате, но они столько всего знали такого, чего он не знал, что по сравнению с ними он вполне мог сойти за чернейшего из черных, темнейшего из темных рабов на плантации. Он возненавидел Хауард с первого же дня, а Вашингтон — с первой же недели, и поэтому в начале октября, когда его отец, подавая обед в вагоне-ресторане на Пенсильванской железной дороге, упал на пол и умер, он, приехав домой на похороны, сказал матери, что возвращаться в колледж не собирается. Она умоляла его попробовать еще раз, уверяла, что там должны быть юноши такого же, как он, скромного происхождения, такие же стипендиаты, с которыми он непременно подружится, но никакие материнские слова, сколь бы справедливы они ни были, не могли его переубедить. Только двоим было бы под силу заставить Коулмена изменить решение — отцу и Уолту, и даже им пришлось бы чуть ли не ломать его о колено. Но Уолт воевал в Италии, а отца с его веской звучностью суждений, отца, ради умиротворения которого Коулмен готов был на многое, уже не было на свете.

Он, конечно, плакал на похоронах, понимая, насколько огромно то, что разом было у него отнято. Когда после библейских текстов священник прочел отрывок из "Юлия Цезаря", держа в руках отцовский, так ценимый покойным том шекспировских пьес — увесистую книгу в просторном кожаном переплете, который в детстве напоминал Коулмену висячие уши кокер-спаниеля, — сын как никогда остро почувствовал благородство отца, величие его подъема и падения, величие, которое Коулмен начал смутно осознавать еще в тот месяц, что он провел в колледже вне маленькой крепости их ист-оринджского дома.

Трус умирает много раз до смерти,
А храбрый смерть один лишь раз вкушает!
Из всех чудес всего необъяснимей
Мне кажется людское чувство страха,
Хотя все знают — неизбежна смерть
И срок придет[1].

Слово "храбрый", когда пастор его произнес, сорвало с Коулмена броню мужественного стоицизма и трезвого самообладания, обнажив детскую тоску по ближайшему из близких, которого он никогда больше не увидит, по большому-пребольшому, тайно страдающему отцу, который так свободно, так раскатисто говорил, который одной лишь силой своей речи непреднамеренно привил Коулмену желание достичь чего-то колоссального. Коулмен плакал, беспомощно отдавшись самому фундаментальному и неисчерпаемому из чувств, низведенный к тому, чего он не мог вынести. Подростком, жалуясь приятелям на отца, он вкладывал в свои слова куда больше презрения, чем ощущал и чем был способен ощутить; претензия на безличную объективность суждений об отце была одним из способов выдумать для себя некую неуязвимость и заявить о ней. Ныне же, лишившись того, кто его очерчивал, кто давал ему словесное определение, он словно обнаружил, что все часы вокруг,

1. Здесь и ниже цитаты из "Юлия Цезаря" Шекспира даны в переводе М. Зенкевича.

большие и малые, разом остановились и узнать время невозможно. До того дня, как он приехал в Вашингтон и поступил в Хауард, именно отец, нравилось это Коулмену или нет, сочинял историю его жизни; теперь надо было писать ее самому, и эта перспектива ужасала. А потом перестала ужасать. Миновали три жутких дня, жуткая неделя, две жуткие недели — и вдруг, неизвестно откуда, радость.

"Как можно избежать судьбы, нам предначертанной богами?" Эти слова все из того же "Юлия Цезаря" отец повторял ему не раз, но только теперь, когда отец лежал в могиле, Коулмен расслышал их по-настоящему. А расслышав, в тот же миг подхватил и возвеличил. *Это* предначертано ему богами! Свобода Силки Силка. Очищенное "я". Вся утонченность личного бытия.

В Хауарде он обнаружил, что по вашингтонским понятиям он не только ниггер. Как будто этого было мало, он обнаружил в Хауарде, что он еще и негр. Хауардский негр. Мгновенно его очищенное "я" стало частью властного, массивного "мы", а он не хотел иметь ничего общего ни с этим "мы", ни с каким-либо другим. Уезжаешь наконец из дома, из этого царства "мы", как Авраам из Ура, и что находишь — новое "мы"? Другое в точности такое же место, заменитель дома? В Ист-Ориндже он во многом, конечно, был негром, членом маленькой общины численностью тысяч в пять, но, боксируя, бегая, занимаясь в школе, концентрируясь на всяком деле и добиваясь успеха, разгуливая в одиночку по всем трем Оринджам и пересекая, с доком Чизнером или без него, границу Ньюарка, он, не задумываясь об этом, был и всем остальным тоже. Он был Коулменом, величайшим из великих первопроходцев "я".

Потом он поехал в Вашингтон, и в первый же месяц выяснилось: он ниггер, и только, он *негр*, и только. Нет уж. Нет уж. Увидев, какая судьба его ждет, он решил, что фиг она его дождется. Бездумно притронувшись к ней, инстинктивно отпрянул. Нельзя позволить большому "они" одолеть тебя своей нетерпимостью, нельзя позволить малому "они" превратиться в "мы" и одолеть тебя своей этикой. Он не потерпит никакой тирании "мы" со всем, что она норовит на тебя взвалить, со всей ее "мы"-фразеологией. Никакой тирании того "мы", что спит и видит тебя всосать, принуждающего, всеохватного, исторически заданного, неизбежного нравственного "мы" с его коварным E pluribus unum[1]. Никакого вулвортовского "они", и никакого хауардского "мы". Вместо всего этого — очищенное "я" с его подвижностью. Открытие самого себя — вот его ответ, вот его удар в "пузочко". Своеобычность. Страстная борьба за нее. Никакой стадности. Скользящее соприкосновение со всем на свете. Не застывать — скользить. Самопознание, да, но *скрытое*. Вот где подлинный источник могущества.

"Остерегись ид мартовских". Чушь — не остерегайся *ничего*. Полная свобода. Лишившийся обоих бастионов — старший брат воевал в Европе, отец лежал в могиле, — Коулмен вдруг ощутил прилив новых сил и почувствовал себя свободным: он может стать кем захочет, может штурмовать высочайшие вершины, утверждать свое неповторимое "я". Он почувствовал себя свободным в немыслимой для отца степени. Свободным настолько, насколько отец был закрепощен. Свободным не только от отца, но и от всего, что отцу приходилось терпеть. От лямки. От унижений. От барьеров. От ран, от боли, от притворства, от стыда — от всех внутренних мук поражения. Свободным для игры на большой сцене.

1. Из многих единое (*лат.*). Девиз США.

Свободным идти вперед и добиваться колоссальных успехов. Свободным для главной роли в безграничной, формирующей личность драме местоимений "мы", "они" и "я".

Война еще шла, и ему так и так предстоял призыв — разве только она кончилась бы завтра. Если Уолт сражается в Италии с Гитлером, почему бы ему тоже не повоевать с этим засранцем? Был октябрь 1944 года, до восемнадцати ему оставался месяц. Но скрыть этот месяц, передвинуть дату рождения с двенадцатого ноября на двенадцатое октября было проще простого. Озабоченный состоянием матери, ее горем, ее потрясением из-за его ухода из колледжа, он не сразу сообразил, что может соврать и насчет своей расовой принадлежности. Он был волен назваться кем угодно — хоть черным, хоть белым. Нет, это не приходило ему в голову, пока, сидя в здании федеральных учреждений в Ньюарке, он не разложил перед собой все бумаги, которые надлежало заполнить для зачисления в военно-морской флот, и, прежде чем начать, внимательно и вдумчиво, как будто готовился к школьным экзаменам, их не прочел. То, что он делал в любой данный момент, большое или малое, было для него, пока он не переключался на что-то другое, важнее всего на свете. Но даже тогда эта мысль не *в голову* ему пришла. Сначала она возникла в его сердце, которое заколотилось так, словно Коулмену предстояло совершить первое в жизни серьезное преступление.

В сорок шестом году, когда Коулмен демобилизовался, Эрнестина уже училась в педагогическом колледже штата Нью-Джерси в Монтклэре на отделении начального обучения, Уолт кончал этот же колледж, и оба они жили дома с овдовевшей матерью. Но Коулмен, твердо решив жить самостоятельно, поступил в университет и поселился по другую сторону Гудзона — в Нью-Йорке. Куда сильней, чем учиться и получить диплом в Нью-Йоркском университете, ему хотелось быть поэтом или драматургом и обитать в Гринич-Виллидже, но устраиваться на работу ради куска хлеба он не желал и потому для достижения своих целей вынужден был воспользоваться учебной стипендией для демобилизованных. Проблема была в том, что, начав учиться, он довольно быстро втянулся, заинтересовался, стал получать высшие баллы и к концу второго курса был на верном пути к членству в обществе "Фи-бета-каппа"[1] и к диплому с отличием по античной словесности. Быстрый ум, цепкая память и превосходное владение речью обеспечили ему здесь лидирующее положение, какое он привык занимать всегда и везде, и в результате то, ради чего он поселился в Нью-Йорке, отступило перед другим, к чему его поощряли, чем, по всеобщему мнению, ему следовало заниматься, в чем он добивался блестящих, неоспоримых успехов. Это уже превращалось в систему: успехи вовлекали его то в одно, то в другое. Разумеется, все это было терпимо и даже приятно, это означало держаться в рамках общепринятого и в то же время из них выбиваться, но цель-то была совсем не такая. Школьником он блистал в латыни и греческом и получил стипендию в Хауарде, хотя больше всего хотел боксировать в турнире "Золотые перчатки"; теперь он не менее ярко блистал в колледже, тогда как стихи его, когда он показал их преподавателям, не вызвали большого восторга. Помимо прочего, он бегал и боксировал — поначалу так, удовольствия ради, но однажды, когда он

1. Старейшее общество студентов и выпускников университетов. Греческие буквы названия — от девиза общества "Философия — рулевой жизни" ("Philosophia biou kybernetes").

занимался в спортзале, ему предложили тридцать пять долларов за четырехраундовый бой в Сент-Никс вместо отказавшегося боксера, и, главным образом чтобы вознаградить себя за неучастие в "Золотых перчатках", он согласился и, к своей радости, сделался тайным профессионалом.

Итак, учеба, поэзия, профессиональный бокс — и девушки... Девушки, умевшие ходить и носить платья, умевшие *двигаться* в платье, девушки, оправдавшие все мечтательные ожидания, которыми он был полон, отправляясь из Сан-Франциско, где демобилизовался, в Нью-Йорк. Девушки, превратившие улицы Гринич-Виллиджа и пересекающиеся дорожки Вашингтон-сквер в то, чем им и следовало быть. Теплые весенние дни, когда ничто в торжествующей послевоенной Америке и тем более в античном мире не могло отвлечь внимание Коулмена от ног идущей впереди незнакомки. Не он один, надо сказать, из вернувшихся с войны был этим одержим. В те дни в Гринич-Виллидже у бывших военнослужащих, собиравшихся в свободное время в кофейнях и кафе почитать газеты и поиграть в шахматы, не было, казалось, более увлекательного занятия, чем оценивать ноги проходящих мимо женщин. Почему — пусть разбираются социологи, но, так или иначе, то была для Америки великая эпоха возбуждающих ножек, и Коулмен минимум раз или два в день следовал за какими-нибудь из них квартал за кварталом — важно было, какой они формы, как движутся и как стоят, когда на перекрестке горит красный свет. Когда наконец, пройдя за девушкой ровно столько, чтобы изготовиться вербально и развить в себе дикую плотоядность, он выбирал момент, ускорялся и догонял, когда он заговаривал с ней, завоевывал право пристроиться рядом, спросить имя, рассмешить и назначить свидание, он, знала она это или нет, обращался не к ней, а к ее ногам.

А девушки, со своей стороны, отдавали должное ногам Коулмена. Стина Палссон, восемнадцатилетняя скандинавка из Миннесоты, даже сочинила про Коулмена стихотворение, где упоминались его ноги. Написав его на линованном листке из тетради, она подписалась "С", сложила листок вчетверо и сунула в почтовый ящик Коулмена в вымощенном плиткой вестибюле над его полуподвальной комнатой. Со дня их знакомства на платформе метро прошло две недели, и дело было в понедельник — назавтра после их первого суточного марафона. Стина еще наводила красоту в ванной, а Коулмен уже побежал на утренние занятия; несколько минут спустя она отправилась на работу, но прежде оставила ему стихотворение, которое, несмотря на всю телесную дерзость и выносливость, что они продемонстрировали друг другу накануне, постеснялась дать ему в руки. После занятий Коулмен отправился в библиотеку, а оттуда, уже вечером, в Чайнатаун, в обшарпанный зал, на боксерскую тренировку, поэтому письмо он вынул из ящика только в полдвенадцатого ночи.

У него есть тело.
Его тело прекрасно —
упругие мышцы шеи, упругие мышцы ног...

Он умен и нахален.
Он старше меня на четыре года,
Но иногда мне кажется, что он младше.

Он нежен и романтичен,
хотя говорит, что не романтичен.
Я для этого парня почти опасна.

Не передам никак
того, что в нем вижу.
Интересно: проглотит меня целиком —
и что будет делать?

Быстро пробегая стихотворение глазами в тусклом свете вестибюля, он вначале принял "ног" за "нег": *упругие мышцы нег...* Негра? До того момента его изумляло, как легко все дается. То, что представлялось и трудным, и в каком-то смысле постыдным или разрушительным, оказалось не только простым, но и лишенным всяких последствий. Но теперь он весь взмок от пота. Лихорадочно перечитывал раз за разом, но слова не складывались в осмысленные цепочки. *Упругие мышцы нег...* Что это значит? Обнаженные, они провели вместе весь день и всю ночь, большей частью совсем близко друг к другу. Ни у кого с самого его младенчества не было столько времени, чтобы рассмотреть его и увидеть, какой он есть. За эти сутки на ее теле, длинном и белом, не осталось ни малейшего неизведанного участка, ничего такого, чего бы он не рассмотрел и не мог воссоздать с уверенностью живописца, с дотошностью восхищенного любовника, и весь сегодняшний день в его ноздрях стоял ее аромат, а воображение рисовало ее раскинутые ноги — и, значит, справедливо было и обратное, значит, все на его теле, вплоть до микроскопических мелочей, было присвоено ее жадным изучающим вниманием, все на этой обширной поверхности, несущей знаки эволюционной уникальности, которой он так дорожил, все в его неповторимом мужском строении — кожа, поры, щетина на щеках, зубы, ладони, нос, уши, губы, язык, ступни, половые органы, вены, подмышки, ягодицы, волосы на голове и лобке, пушок на груди, запах, манера смеяться, то, как он спал, дышал, двигался, содрогался в секунды оргазма, — стало ее достоянием. Тем, что она запомнила, о чем думала.

Что его выдало? Любовный акт с его предельной близостью, когда ты не просто проникаешь в другое тело, когда оно еще и плотно облегает тебя? Или телесная нагота? Раздеваешься и ложишься с другим человеком в постель, и там выявляется все, что ты скрываешь, вся твоя неповторимость, сколь бы хитро зашифрована она ни была, — отсюда-то и берется стыдливость, этого боится *любой.* В постели, в этом безумном царстве анархии, сколько моего было увидено, обнаружено? *Теперь я знаю, кто ты. Вижу твои упругие мышцы негра.*

Но как? Что она увидела? Что это могло быть? И не потому ли эта, неизвестно какая, деталь была видима ей, что она светловолосая исландка-датчанка из бесконечной светловолосой исландско-датской родословной цепи, не потому ли, что и дома, и в школе, и в церкви, и среди знакомых ее окружало только скандинавское, что... и тут Коулмен понял, что там не "е", а "о", не "нег", а "ног"... Господи, это всего-навсего о ногах!.. *упругие мышцы шеи, упругие мышцы ног...*

Но что тогда означает вот это: "Не передам никак того, что в нем вижу"? Что она увидела в нем такого неясного? А если бы она написала: "Не передам никому" — стало бы понятнее? Или, наоборот, непонятнее? Он перечитывал и перечитывал эту нехитрую строфу, и смысл делался для него все более смутным, и чем дальше, тем больше он убеждался, что Стина безошибочно почувствовала проблему, которую Коулмен внес в ее жизнь. Разве только "что в нем вижу" значит просто-напросто то, о чем скептики спрашивают влюбленных: "Ну что, скажи на милость, ты в нем нашла?"

А что означает "не передам никак"? То есть — никому? Сохраню в секрете? Или: это непередаваемо? Ну а строчка: "Я для этого парня почти опасна". В каком смысле опасна? В чем она, эта опасность?

Какое бы место стихотворения он ни пытался понять, смысл ускользал. Простояв в вестибюле две лихорадочные минуты, он был уверен только в одном — в своем страхе. Это изумило его, и, как всегда у Коулмена, впечатлительность, застав врасплох, еще и пристыдила его, дала сигнал SOS, призвала к бдительности и самоконтролю.

Стине, при всей ее живости, дерзости и красоте, было только восемнадцать, она недавно приехала в Нью-Йорк из Фергус-Фолс, штат Миннесота, и тем не менее он был сейчас сильней ею устрашен — ею и тем почти нелепым, бьющим в глаза золотым сиянием, какое она излучала, — чем любым из соперников на ринге. Только один раз, ночью, в норфолкском борделе, когда женщина, смотревшая из кровати, как он стягивает военную форму, — большегрудая, мясистая, недоверчивая шлюха, не то чтобы совсем безобразная, но явно не красавица (и, может быть, сама не на сто процентов белая) — кисло хмыкнула и сказала: "Да ты, сдается мне, черномазый", после чего два лба взяли его и выкинули вон, — только тогда он пришел в такое же расстройство, как из-за стихотворения Стины.

> Интересно: проглотит меня целиком —
> и что будет делать?

Даже этого он не понимал. За письменным столом в своей комнате он до восхода солнца бился над скрытым парадоксальным значением финальной строфы, добывая и отвергая одну хитроумную версию за другой, пока на рассвете не пришел к железному убеждению, что от внимания неотразимой Стины ускользнуло не все, от чего он посчитал нужным отрешиться.

Чушь несусветная. Стихотворение ничего такого не означало, да это и не было стихотворение. Подгоняемые смятением клочки недодуманных мыслей кувырком неслись сквозь ее голову, пока она стояла под душем, поэтому, вырвав страницу из первой попавшейся тетради Коулмена, она села за его стол, написала первое, что пришло на ум, сунула бумажку в почтовый ящик и кинулась на работу. Просто ей надо было что-то сделать с острой, ошеломляющей новизной случившегося. Поэтесса? Она засмеялась: да брось ты. Просто прыгунья через огненное кольцо.

Первые два года каждые выходные они лежали в постели в его комнате и с жадностью насыщались друг другом — так набрасывается на дневную пайку заключенный в одиночке. В одну из суббот она поразила его — да и себя не меньше — своим танцем в одной нижней юбчонке у изножья его раскладной кушетки. Она раздевалась под звуки радио, и первым номером программы, для разогрева, шел Каунт Бейси с его джазом, запись по трансляции, бешеная импровизация на тему "Леди, ведите себя прилично", а потом — опять Гершвин, "Тот, кого я люблю" в исполнении группы Арти Шоу, где блистал заводной Рой Элдридж. Полулежа на кушетке, Коулмен был занят тем, чем ему больше всего нравилось заниматься субботними вечерами, когда они со Стиной возвращались из их любимого подвальчика на Четырнадцатой улице после пятидолларового ужина с кьянти, спагетти и канноли[1]: смотрел, как она раздевается. Ни с

1. Разновидность пирожного.

того ни с сего, побуждаемая не им, а, казалось, одной лишь трубой Элдриджа, она начала то, что Коулмен назвал потом бесстыднейшим танцем, в какой когда-либо пускалась девушка из Фергус-Фолс, прожившая в Нью-Йорке лишь год с небольшим. Она самого Гершвина могла поднять из могилы своим танцем и пением. Под воздействием игры черного трубача, исполнявшего эту вещь как негритянскую любовную песню, она выпустила на волю всю мощь своей белизны. Белое начало. Это было ясно как божий день. "Явится он однажды... тот, кого я люблю... утолит мою жажду... тот, кого я люблю". Слова были наипростейшие, точно из школьного букваря, но когда музыка умолкла, Стина полупритворно, полувсерьез застеснялась и закрыла лицо руками. Хотя от чего могло ее защитить это движение? Коулмена оно только пуще разгорячило.

— Где я тебя нашел, Волюптас? — шептал он. — *Как* я тебя нашел? Кто ты?

Тогда-то, в те сумасшедшие пьяные дни, Коулмен бросил свои вечерние тренировки в Чайнатауне, укоротил пятимильную утреннюю пробежку и в конце концов перестал относиться к своему профессиональному боксерству сколько-нибудь серьезно. В общей сложности он провел и выиграл четыре профессиональных боя — три четырехраундовых и один, последний, шестираундовый, все по понедельникам, вечерами, в старом зале Сент-Никс. Стине он про это ничего не говорил, как не говорил никому в университете и, конечно, никому из родных. В первые студенческие годы это был еще один его секрет — правда, боксировал он под именем Силки Силк и на следующий день результаты печатались петитом на спортивных страничках таблоидов. С первой же секунды первого тридцатипятидолларового четырехраундового он почувствовал себя по-другому, чем на любительском ринге. Не то чтобы он очень хотел проигрывать, когда был любителем, но, став профессионалом, старался вдвое усердней, пусть даже только чтобы доказать самому себе, что мог бы тут закрепиться, если бы захотел. Все бои кончил досрочно, а в последнем, шестираундовом и стодолларовом, в день, когда гвоздем программы был Красавчик Джек, он разобрался с парнем за две минуты с секундами и даже нисколько не устал. Выходя на этот бой, Коулмен волей-неволей должен был миновать кресло Солли Табака, боксерского агента, сидевшего у самых канатов, который пытался уже его соблазнить десятилетним контрактом с передачей ему, Табаку, трети всех призовых. Солли хлопнул его по спине и прошептал обычным своим мясистым шепотом: "Силки, прощупай ниггера в первом раунде, погляди, на что он годен. Не спеши, люди деньги платили". Коулмен кивнул Табаку и улыбнулся, но, поднимаясь на ринг, подумал: "А пошел ты. За паршивые сто долларов я должен позволить кому-то бить мне морду, чтоб люди развлеклись получше за свои деньги? Должен думать о каких-то остолопах в пятнадцатом ряду? Он весит сто сорок пять фунтов, я сто тридцать девять, в нем росту пять футов и десять дюймов, во мне пять и восемь с половиной, и я еще должен позволить ему стукнуть меня по башке пять или десять лишних раз, чтобы не испортить людям зрелище? Да провались оно, это зрелище. Останусь небитым".

После боя Солли был недоволен поведением Коулмена. Посчитал его мальчишеским.

— Ты мог прикончить этого ниггера не в первом раунде, а в четвертом, люди же деньги платили. Но ты этого не сделал. Тебя просят по-хорошему, а ты ноль внимания. Почему, умничка?

— Потому что я с черномазыми нянчиться не желаю.

Вот как он ответил, студент Нью-Йоркского университета, специализирующийся по античной литературе, бывший первый ученик класса, сын покойного Кларенса Силка, оптика, а затем официанта в вагоне-ресторане, филолога-любителя, грамматиста, педанта и знатока Шекспира. Вот насколько он был упрям и скрытен! За что бы ни брался этот цветной выпускник ист-оринджской средней школы, он брался всерьез.

Он покончил с боксом из-за Стины. Да, опасный смысл в ее стихотворении он увидел зря — и все-таки по-прежнему был уверен, что в один прекрасный день таинственные силы, питавшие их неистощимый сексуальный пыл, превращавшие их в любовников до того необузданных, что Стина, по-неофитски соединяя самолюбование с самоиронией, на среднезападный манер окрестила их "парочкой психов", растворят в воздухе его маску прямо у нее на глазах. Как это произойдет, можно ли этому помешать — он не знал. Но бокс тут явно был ни к чему. Узнай она про Силки Силка, сразу же возникли бы вопросы, которые неминуемо навели бы ее на истину. Она знала, что в Ист-Ориндже у него живет мать, дипломированная медсестра и благочестивая прихожанка, что у него есть старший брат, который начал преподавать в седьмых и восьмых классах школы в Асбери-Парке, и сестра, которая скоро получит учительский диплом в Монтклэре, и что раз в месяц их воскресная любовь на Салливан-стрит должна кончиться раньше, потому что Коулмена ждут в Ист-Ориндже к обеду. Она знала, что его отец был оптиком — оптиком, и только, — и даже что Кларенс Силк родился в Джорджии. Коулмен старался не давать ей повода сомневаться в правдивости его рассказов, и, бросив бокс навсегда, он избавился от необходимости лгать даже в этом. Он вообще ни разу Стине не солгал. Он только следовал указанию, которое дал ему док Чизнер по пути в Уэст-Пойнт: если не спросят, сам не говори. Эта тактика уже провела его через флотскую службу.

Решение взять ее с собой в Ист-Ориндж на воскресный обед, как и все его теперешние решения — даже послать молча подальше Солли Табака и прихлопнуть соперника в Сент-Никс в первом же раунде, — было плодом его, и только его, размышлений. Они встречались почти два года, Стине было двадцать, ему двадцать четыре, и он не мог уже себе представить, что идет по Восьмой улице или по жизни без нее. Ее ровное, ничем не примечательное поведение по будням, сменяющееся каждый уик-энд диким всплеском страстей, — а поверх всего ее американское, вспыхивающее электрической лампочкой девическое сияние, ее прямо-таки сверхъестественная по силе телесная лучезарность — все это поразительным образом подавляло безжалостно-независимую волю Коулмена: Стина не только отлучила его от бокса и свела на нет дерзкий сыновний вызов, выразившийся в превращении Коулмена в непобедимого Силки Силка, но и освободила его от влечения к кому-либо еще.

Но сказать ей, что он цветной, Коулмен не мог. Слова, которые он наедине с собой молча проговаривал, услышь она их, заставили бы все выглядеть хуже, чем оно есть, и его самого заставили бы выглядеть хуже, чем он есть. После признания, пытаясь вообразить его семью, она нарисовала бы мысленно совершенно ложную картину. Не зная негров, она представила бы себе нечто похожее на то, что видела в кино или слышала по радио, о чем рассказывают анекдоты. Он знал, что она лишена расовых предубеждений и, если бы увидела Эрнестину, Уолта и мать, мигом поняла бы, насколько они обычные люди и как много у них общего с ее респектабельно-занудной родней в Фергус-Фолс, от которой она рада была сбежать. "Только пойми меня правильно, это чудесный город, — торопилась она ему

объяснить. — Очень красивый. И необычный, потому что с востока к нему подходит озеро Оттер-Тейл, а еще там есть река Оттер-Тейл — наш дом почти на ее берегу. И у нас, наверно, все же чуть поинтереснее, чем в других похожих городках, потому что довольно близко, к северо-западу, наши университетские города Фарго и Мурхед". Ее отец владел магазином скобяных изделий и немного торговал лесом. "Папаша мой — что-то невероятное. Глыба, громадина. Несокрушимый великан. Огромный кусище окорока. За вечер вливает в себя целый ящик любого спиртного, какое есть. Я поверить не могла и до сих пор не могу. Хлещет и хлещет. И так во всем. Железяка саданет ему по ноге — он шурует дальше, даже не промоет рану. Исландцы, они все такие. Бульдозеры. Нет, личность он интересная. Замечательный человек. Заговорит — вся комната умолкает. И он не один такой. Мои дед и бабка, Палссоны, тоже. Да, и бабка". -- "Исландцы. Надо же, я и слова-то этого никогда не слыхал. Знать не знал, что они есть в Америке. Я вообще ничего о них не знал. С каких пор они в Миннесоте?" Она со смехом пожала плечами. "Хороший вопрос. Я думаю, со времен динозавров". — "Ты от него, значит, деру дала?" — "От него. Попробовал бы сам побыть дочерью этой хмурой махины. Подавляет". — "А мать? Ее он тоже подавляет?" — "Это датская ветвь, Расмуссены. Нет, ее поди подави. Она для этого слишком практична. Про ее родню могу сказать — правда, это не их особенное свойство, все датчане такие, да и норвежцы тоже, — что их прежде всего интересуют вещи. Скатерти. Блюда. Вазы. Без конца разговоры о том, сколько что стоит. Мой дед Расмуссен такой, и вся мамина семья. Мечтать — нет, это не по их части. Ничего нереального. Кругом одни вещи, вещи и их цены, что почем. Мать приходит в гости, рассматривает все предметы, про половину знает, где куплены, и говорит, где можно купить дешевле. То же самое с одеждой. Практичность, голая практичность у всей той родни. Бережливые-бережливые, чистоплотные-чистоплотные. Я прихожу из школы, у меня точечка чернильная под одним ноготком — она замечает. Если в субботу вечером должны прийти гости, стол она накрывает в пятницу часов в пять. За сутки всё уже на месте, каждый бокал, каждая серебряная ложечка-вилочка. Потом набрасывает сверху легонькую прозрачную ткань, чтобы ни пылинки не упало. Организовано все идеально. И потрясающе готовит — для тех, кому нравится еда без специй и соли. Вообще без вкуса. Такие вот у меня родители. С ней даже хуже — никакой глубины ни в чем. Одна поверхность. Она все организует, папаша все дезорганизует, ну а я доросла до восемнадцати, школу кончила — и сюда. Если бы поступила в Мурхед или в университет Северной Дакоты, все равно пришлось бы жить дома, поэтому я послала к чертям тамошнее образование и рванула в Нью-Йорк. Так что вот она я. Стина".

Вот как она объяснила, кто она, откуда и почему здесь. Ему это потрудней было бы сделать. *Потом*, сказал он себе. Потом все ей объяснит и попросит понять, почему не мог допустить, чтобы ему подрезало крылья такое случайное обстоятельство, как раса. Если только она сможет спокойно его выслушать, она, конечно, поймет причины его решения взять будущее в свои руки вместо того, чтобы подчиниться судьбе, навязанной отсталым обществом, в котором спустя восемьдесят с лишним лет после отмены рабства по-прежнему куда ни сунешься, всюду расисты. Он докажет ей, что в его решении стать белым нет ничего плохого — наоборот, это совершенно естественно для человека с его отношением к жизни, темпераментом и цветом кожи. С самого раннего детства он хотел одного — быть свободным. Не только не черным, но даже и не белым, просто свободным. Своим выбором он никого не хотел оскорбить,

он ни с кого не пытался взять пример и не собирался выразить никакого протеста ни против своей, ни против ее расы. Он понимает, что людям консервативного толка, воспринимающим все вокруг как готовое, законченное и нерушимое, его поведение не может показаться правильным. Но просто правильным он никогда и не хотел быть. Цель его была — сделать так, чтобы его судьбу определяли не темные, напитанные ненавистью побуждения злобного мира, а, насколько это возможно в рамках гуманности, его, Коулмена, личная воля. С какой стати он должен мириться с жизнью на других условиях?

Вот какие объяснения он мог бы ей дать. И не покажется ли ей все это пустой рекламной болтовней, прикрывающей претенциозную ложь? Если она не познакомится вначале с его семьей, своими глазами не увидит, что они настолько же негры, насколько он сам, что у них так же мало общего с обыденным представлением о чернокожих, как у него, то речи эти, да и любые другие, покажутся ей только новым способом сокрытия правды. Пока она не посидит за обедом с Эрнестиной, Уолтом и мамой, пока все трое не выдадут каждый свою порцию милых банальностей, любые его объяснения прозвучат для нее фальшивой болтовней, высокопарным вздором, постыдным самооправданием и самовозвеличением. Нет, не станет он нести эту белиберду. Это ниже его достоинства. Если уж он хочет получить Стину навсегда, нужна смелость, а не пыль в глаза, не ораторство в стиле Кларенса Силка.

В последние дни перед визитом, о котором он не стал никого предупреждать, Коулмен внутренне готовился к нему, сосредоточивался, как перед боксерским поединком, и когда они в воскресенье сошли с поезда на вокзале Брик-Чёрч, он даже молча произнес заклинание, которое всегда звучало у него в голове за секунды до гонга: "Цель, только цель. Я и цель — одно. Все остальное — прочь". И напоследок — здесь поднимаясь на крыльцо, там выходя с ударом гонга из угла — боевой клич: "Давай!"

В этот односемейный дом Силки перебрались в 1925 году — за год до рождения Коулмена. Все население улицы было тогда белым, маленький каркасный дом им продала семья, которая поссорилась с соседями и решила им насолить — подсунуть под бок цветных. Убегать, однако, никто из-за Силков не стал, и хотя близкой дружбы у них ни с кем из соседей не возникло, все на этом участке улицы, которая кончалась епископальной церковью и домом священника, были настроены к ним доброжелательно. А ведь несколькими годами раньше новый священник, осмотревшись и увидев в церкви изрядное количество чернокожих выходцев из Вест-Индии — в основном они прислуживали в домах белых жителей Ист-Оринджа, знали свое место на задних скамьях и думали, что никому не мешают, — перед первой своей воскресной проповедью облокотился на кафедру и сказал: "Я вижу здесь цветных прихожан. Надо будет подумать, как с этим быть". Проконсультировавшись в Нью-Йорке, он, вопреки обычной церковной практике, устроил так, чтобы службы и занятия воскресных школ проводились у цветных на дому. Позднее в местной средней школе ликвидировали бассейн, чтобы белые дети не плавали вместе с цветными. Бассейн был большой, с давних пор исправно служил физическому воспитанию и использовался школьной командой пловцов, но начались нарекания со стороны белых родителей, у которых черные родители работали домашней прислугой, уборщиками, шоферами, садовниками, — и бассейн осушили и закрыли.

На четырех квадратных милях этого нью-джерсийского городка с населением чуть меньше семидесяти тысяч, как и по всей стране в юные

годы Коулмена, существовали жесткие межклассовые и межрасовые разграничения, освящаемые церковью и внедряемые школами. Но на скромной обсаженной деревьями боковой улочке, где жили Силки, рядовые горожане не были обременены такой же ответственностью перед Богом и государством, как те, чьей обязанностью было содержать в незапятнанности плавательные бассейны и иное общественное достояние, и соседи в целом дружественно относились к сверхреспектабельным и светлокожим Силкам — неграм, конечно, но, по словам доброжелательной мамы одного из друзей Коулмена по детскому саду, людям "с очень приятным цветом кожи, ну примерно как гоголь-моголь", — вплоть до того, что просили у них на время какой-нибудь инструмент или лесенку, а то и помогали разобраться, почему не заводится машина. Большой многоквартирный дом на углу оставался чисто белым до окончания войны. В конце 1945 года, когда в той части улицы, что ближе к Оринджу, стали селиться цветные — большей частью люди с образованием, учителя, врачи, дантисты, — к угловому дому что ни день подъезжал мебельный фургон, и половина белых жильцов разбежалась за считанные месяцы. Но вскоре все улеглось, и хотя владелец дома, чтобы квартиры не пустовали, начал сдавать их цветным, те белые, которые еще жили поблизости, так и продолжали жить, пока у них не возникали иные, чем негрофобия, причины для отъезда.

Давай! И он позвонил в дверной звонок, распахнул дверь и объявил:

— Мы здесь!

Уолт не смог в тот день приехать из Асбери-Парка, но мама и Эрнестина были дома — вот они, уже идут из кухни в коридор, и вот она перед ними, его девушка. Такой они ее себе представляли или совсем другой, Коулмен не знал. Мать ведь ни о чем его не расспрашивала. С тех пор как он, ни с кем не посоветовавшись, назвался белым и записался во флот, она боялась спрашивать его о чем бы то ни было. Теперь вне ньюаркской больницы, где она без помощи доктора Фенстермана стала наконец старшей сестрой отделения, она предпочитала и в своих собственных, и в общесемейных делах полагаться скорей на Уолта. Нет, она ничего у Коулмена не спросила, когда он сказал ей про девушку, — тактично воздержалась, и Эрнестина, глядя на мать, тоже. Коулмен, со своей стороны, держал язык за зубами. И вот — белокожая-белокожая, с голубой сумочкой и в туфельках в тон, в цветастом хлопчатобумажном платье, в белых перчаточках и маленькой круглой шляпке без полей, безукоризненно опрятная и корректная, какой только могла быть девушка в 1950 году, перед ними предстала Стина Палссон, американка исландско-датского происхождения, чья родословная восходила к королю Кнуту и его предкам.

Он осуществил свой план, сделал все как хотел — и никто даже бровью не повел. Наглядный урок видовой приспособляемости. Никто не мычал, подыскивая слова, никто потерянно не умолкал, никто не принимался неестественно тараторить. Банальности — пожалуйста, трюизмы — извольте, клише и общие места — сколько хотите. Стина не зря воспитывалась на берегу реки Оттер-Тейл: она умела вести такие беседы. Если бы Коулмен перед встречей завязал всем трем женщинам глаза и не развязывал до самого конца, разговор, скорее всего, был бы точно таким же, не глубже и не мельче, чем сейчас, когда они, улыбаясь, глядели друг на друга. И подтекст был бы точно таким же, стандартным: я не скажу тебе ничего обидного, если ты мне ничего обидного не скажешь. Респектабельность любой ценой — в этом Палссоны и Силки были едины.

На чем собеседницы, как ни странно, чуть не споткнулись — это на росте Стины. Да, в ней было ни много ни мало пять футов одиннадцать дюймов, почти на три дюйма больше, чем у Коулмена, и на шесть больше, чем у его сестры и матери. Но отец Коулмена был крупный мужчина — шесть футов и дюйм, а Уолт перерос его еще на полтора дюйма, так что высокий рост не был в семье Силков новинкой, хотя, разумеется, обычно не ждешь, что парень будет ниже, чем его девушка. Но из-за этих трех дюймов Стины зыбкий разговор о телесных аномалиях минут пятнадцать дрейфовал в опасном направлении, пока вдруг Коулмен не почуял запах горелого и все три женщины не ринулись на кухню спасать печенье.

После этого до конца обеда, пока молодой парочке не пришла пора возвращаться в Нью-Йорк, все шло как надо. Внешне — воскресенье из воскресений, милая мечта всякой добропорядочной семьи, картинка, не имеющая ничего общего с жизнью, которую, как опыт уже научил даже младшую из четверки, и на полминуты нельзя избавить от изначальной неустойчивости, свести к чему-то предсказуемому.

И только когда поезд с ехавшими в Нью-Йорк Коулменом и Стиной приблизился к перрону Пенсильванского вокзала, Стина разрыдалась.

До этого почти всю дорогу она, казалось, крепко спала, положив голову ему на плечо, — еще бы, сколько же ей понадобилось сил, чтобы так продержаться весь обед!

— Стина! Что случилось?

— Я не смогу! — крикнула она и, ничего больше не говоря, задыхаясь, сотрясаясь от плача, прижимая к груди сумочку — и забыв про шляпку, которая, пока они ехали, лежала у него на коленях, — бросилась одна прочь из поезда, словно спасаясь от посягательства, и больше ни разу не позвонила и не пожелала увидеться.

Четыре года спустя, в пятьдесят четвертом, они столкнулись у вокзала Гранд-Сентрал. Остановились, подали друг другу руки, поговорили как раз столько времени, чтобы расшевелить изумление, которое вызывали друг у друга в двадцать два и восемнадцать, — и разошлись, подавленные тем непреложным фактом, что статистика не преподнесет им больше такого подарка, как эта случайная встреча. Он уже был в то время женат, скоро должен был стать отцом, преподавал античную словесность в Адельфи-колледже и в городе появлялся не часто. Она работала в рекламном бюро на Лексингтон-авеню, по-прежнему была не замужем, по-прежнему была красива, но теперь уже не девической, а женской красотой — настоящая жительница Нью-Йорка, очень стильно одетая и явно такая, с которой поездка в Ист-Ориндж, случись она позже, чем случилась, вполне могла бы кончиться иначе.

Как она могла бы кончиться, если бы реальность не поспешила вынести свой вердикт, — мысль об этом не давала ему покоя. Ошеломленный тем, насколько свежа оказалась рана у них обоих, он шел по городу, понимая, как никогда раньше не понимал вне своих занятий античной драматургией, что жизнь с превеликой легкостью может выбрать одно или другое русло, что судьбу творит случайность... и, с другой стороны, что кажущаяся случайность может быть проявлением непреложной судьбы. Словом, он шел, не понимая ровно ничего, зная, что не способен ничего понять, но теша себя иллюзией, что *понял бы* нечто метафизически значимое, нечто колоссально важное о своем упрямом решении стать хозяином собственной жизни, если бы... если бы только такие вещи были доступны пониманию.

Пришедшее неделю спустя на адрес колледжа очаровательное письмо на двух страницах, где она написала, как хорошо он “пикировал” во

времена их встреч на Салливан-стрит – "совсем как хищная птица, которая, пролетая над сушей или морем, вдруг видит что-то движущееся, что-то полное жизни, мгновенно нацеливается, камнем падает вниз и – хвать!" – начиналось так: "Дорогой Коулмен! Я была очень рада нашей встрече в Нью-Йорке. При всей ее краткости я после того, как мы распрощались, почувствовала осеннюю печаль – наверно, потому, что теперь, когда прошло шесть лет со дня нашего знакомства, стало до боли очевидно, как много дней жизни осталось позади. Ты очень хорошо выглядишь, и я рада, что ты счастлив". Кончалось письмо растянутым зыбким прощанием из семи небольших фраз и печально-ласкового завершения, в которых, перечитав множество раз, он увидел знак сожаления о *ее* потере и завуалированное, еле слышимое извинение: "Ну вот и все. Довольно. Я не должна тебе докучать. Обещаю, что больше не стану. Будь счастлив. Будь счастлив. Будь счастлив. Со всей нежностью, Стина".

Письмо он хранил, хотя последние несколько лет не вспоминал о нем, и когда теперь, перебирая бумаги, случайно на него наткнулся и стал перечитывать, к нему вернулась мысль, с которой он шел по улице после того, как, легонько чмокнув Стину в щеку, распрощался с ней навсегда: что, выйди Стина за него замуж, как он хотел, вся их совместная жизнь, как и жизнь их детей, была бы совершенно иной, чем с Айрис. И с матерью и Уолтом все сложилось бы по-другому. Скажи Стина: "Все нормально", он прожил бы другую жизнь.

Я не смогу. Здесь была своя мудрость – невероятная мудрость для двадцатилетней. Но ведь это-то его в ней и привлекало – основательное, трезвое здравомыслие. Если бы она... но тогда она не была бы Стиной и он не хотел бы ее себе в жены.

К нему вернулись те же бесполезные размышления – бесполезные для человека менее великого, чем Софокл: какие случайности творят судьбу... и каким случайным порой кажется неизбежное.

Айрис Гительман, как она представила Коулмену себя и свое происхождение, росла своенравной, умной и полной скрытого бунтарства, со второго класса планируя бегство из авторитарного домашнего окружения. Дом ее родителей в Пассейике содрогался от ненависти к социальному гнету во всех его проявлениях – в особенности к гнету раввинов с их агрессивной ложью. Отец Айрис, говоривший на идише, был, по ее словам, таким еретиком и анархистом, что даже не сделал двум ее старшим братьям обрезание; ее родители не посчитали нужным получить разрешение на брак или пройти гражданскую церемонию. Двое необразованных иммигрантов-атеистов, они плевали на землю при виде проходящего раввина, считали себя мужем и женой и называли себя американцами и даже евреями. Но называли по своей воле, не спрашивая разрешения и не ища одобрения у тех, кого ее отец презирал, считая "лицемерными врагами всего естественного и хорошего", – то есть у незаконно властвующих бюрократов. На потрескавшейся грязной стене над стойкой с газированной водой в их загроможденной семейной кондитерской на Мертл-авеню – магазинчик, рассказывала она, был "такой малюсенький, что не хватило бы места и похоронить нас пятерых бок о бок", – висели вырезанные из газеты и взятые в рамки фотографии Сакко и Ванцетти. Каждый год двадцать второго августа, в годовщину того дня в 1927 году, когда этих двоих анархистов казнили за не совершённые – так, по крайней мере, внушали Айрис и ее братьям – убийства, торговля прекращалась и семья, чтобы соблюсти однодневный пост, собиралась наверху, в крохотной и тесной квартирке,

где безумный хаос превосходил даже тот, что царил в кондитерской. Этот ритуал, этот культ отец Айрис придумал сам, по-идиотски взяв за образец еврейский Судный день. То, что он считал своими "идеями", не заслуживало, конечно, такого названия — по-настоящему глубоко в нем коренились только отчаянное невежество, горькая безнадежность обездоленного и бессильная революционная ненависть. Все, что говорилось, говорилось в обличительном тоне, со стиснутыми кулаками. Отец знал такие имена, как Кропоткин и Бакунин, но в глаза не видел их сочинений, и из "Фрейе арбейтер штимме", анархистского еженедельника на идише, который он регулярно приносил домой, редко читал больше, чем те несколько фраз, что, борясь со сном, одолевал поздно вечером. Ее родители, объяснила она Коулмену — объяснила горячо, вызывающе горячо, в кафе на Бликер-стрит спустя минуты после того, как он подцепил ее на Вашингтон-сквер, — были простые люди, не умевшие ни внятно описать, ни рационально обосновать фантастический бред, который ими владел, и тем не менее безоглядно приносившие этому бреду в жертву друзей, родных, бизнес, доброе отношение соседей, даже собственное душевное здоровье, даже душевное здоровье детей. У них была одна песня — не желаю иметь *с этим* ничего общего, и взрослеющей Айрис казалось, что они не желают иметь общего вообще ни с чем. Безостановочное движение многообразных сил, сложное и предельно напряженное переплетение подспудных интересов, постоянная борьба за превосходство, непрекращающееся порабощение, групповые раздоры и сговоры, мораль с ее словесным ловкачеством, повсеместно принятые нормы с их умеренным деспотизмом, неустойчивая иллюзия устойчивости — словом, общество, каким оно сложилось, каким оно всегда было и *должно* быть, — все это было им так же чуждо, как марк-твеновскому янки двор короля Артура. И вовсе не потому, что, соединенные более прочными узами с какими-то другими временем и местом, они были насильственно пересажены в совершенно незнакомый мир. Нет, скорее они напоминали людей, перенесенных в зрелость прямо из колыбели, не научившихся в промежутке обращаться с неустранимым звериным началом в человеке. Айрис с раннего возраста не могла понять, кто ее воспитывает — идиоты или визионеры, и что такое это страстное отрицание, которое она должна была разделять, — откровение об ужасной истине или смехотворное наваждение чокнутых.

Долго еще в тот день она рассказывала Коулмену фольклорно-экзотические истории, в которых ее детство и юность над кондитерской в Пассейике, принадлежавшей таким живописно-темным индивидуалистам, как Морис и Этель Гительман, представали мрачным приключением, чем-то не столько даже из русской литературы, сколько из комиксов на русские темы, словно Гительманы были свихнувшейся соседской семейкой из напечатанного в воскресном номере рассказа в картинках "Карамазовы". Все это походило на спектакль, сильный и выразительный, и автором его была девушка, которой едва сравнялось девятнадцать, сбежавшая из Нью-Джерси на другой берег Гудзона, — хотя буквально все гринич-виллиджские знакомые Коулмена откуда-нибудь да сбежали, в том числе из таких неближних мест, как Амарилло, — давшая деру без всякой идеи кем-то стать, только с тем, чтобы получить свободу, очередная экзотическая особа без гроша в кармане на подмостках Восьмой улицы, экспансивная брюнетка с театрально-крупными чертами лица, неугомонная, "фигуристая", как тогда говорили, зарабатывавшая на учебу в удаленной от центра Студенческой лиге искусств отчасти тем, что позировала обнаженной, девушка, чей стиль был — не скрывать ничего, которая не больше боялась вы-

звать переполох в общественном месте, чем исполнительница танца живота. Ее шевелюра — это было что-то особенное: лабиринт, бурное море, неистовый венок из спиралей и завихрений, курчавое нагромождение, вполне подходящее по величине, чтобы сойти за рождественский парик. Весь сумбур ее детства, казалось, воплотился в извивах этих зарослей. Ее неукротимые волосы... Ими можно было драить металл, нанося их строению не больший ущерб, чем если бы они были неким жестким рифообразующим организмом, извлеченным из чернильных глубин океана, — непролазным живым угольно-черным гибридом коралла и кустарника, не лишенным, возможно, лечебных свойств.

Целых три часа Коулмен был заворожен ее комедией, ее возмущением, ее волосами, ее способностью к самовозбуждению, ее яростным, неприрученным подростковым интеллектом и ее актерской готовностью воспламениться и поверить любому собственному преувеличению. По сравнению с ней Коулмен, сам представлявший собой довольно хитрый продукт, рецептом изготовления которого владел он один, показался себе человеком, вовсе лишенным концепции собственной личности.

Но едва он привел ее в тот вечер к себе на Салливан-стрит, все переменилось. Оказалось — она совершенно не знает, кто она и чего хочет. Под жесткими зарослями волос сплошная текучесть. Полная противоположность той стреле, нацеленной в жизнь, которой был двадцатипятилетний Коулмен Силк. Она тоже была борцом за свободу, но на другой лад, на перевозбужденный, *анархистский* лад, и пока еще только хотела найти свой путь.

Узнай она, что он родился и вырос в негритянской семье и до сравнительно недавнего времени был для себя и окружающих негром, это не смутило бы ее ни на минуту, и для нее ни малейшего труда не составило бы хранить его секрет, если бы он ее об этом попросил. Чем-чем, а терпимостью к необычному Айрис Гительман была наделена щедро — странным было для нее как раз то, что лучше всего вписывалось в понятия о правильности. Быть не одним человеком, а двумя? Иметь не один цвет кожи, а два? Ходить по улицам инкогнито или переодетым, быть не тем и не этим, а чем-то между? Раздвоиться, растроиться, расчетвериться? Для Айрис в этих кажущихся аномалиях не было ровно ничего страшного. Широта ее взглядов даже не была нравственным качеством, каким гордятся либералы и либертарианцы, — скорее это была мания, сумасшедшая антитеза тупой нетерпимости. Ожидания, без которых обычные люди не могут обойтись, гипотеза осмысленности, вера в авторитеты, обожествление связности и порядка — все это казалось ей несусветной чушью. Будь так называемая нормальность присуща бытию хоть в какой-то мере — разве происходило бы то, что происходит? Разве такова была бы мировая история?

И тем не менее Коулмен сказал Айрис, что он еврей. Силк — это на самом деле Зильберцвейг, новую американизированную фамилию подарил его отцу великодушный таможенник на Эллис-Айленде[1]. А что до библейского знака, до обрезания, то этот знак у Коулмена был, в отличие от подавляющего большинства его негритянских сверстников. Его мать, работая в больнице, укомплектованной по преимуществу еврейскими врачами, уверовала в насаждаемый медиками взгляд о важных гигиенических преимуществах обрезания, и Силки сделали обоим своим мальчикам эту операцию на второй неделе жизни (такая практика, кстати, уже тогда потихоньку стала распространяться среди нееврейских семей).

1. Эллис-Айленд — остров в Нью-Йоркской гавани, с 1892-го по 1924 год служивший сортировочным центром для иммигрантов.

Коулмен уже несколько лет сознательно позволял окружающим считать себя евреем — с тех самых пор, как понял, что и в университете, и в тех кафе, где он бывал, многие, не задумываясь, причислили его к этой нации. Флотская жизнь привела его к заключению, что всего-навсего надо придерживаться какой-то ясной и последовательной линии — и никто не будет докапываться до истины, потому что никому не интересно. Его университетские и гринич-виллиджские приятели с таким же успехом могли бы предположить, как его дружки во флоте, что он ближневосточный араб, но поскольку то были годы, когда еврейская самозавороженность достигла среди интеллектуального авангарда Вашингтон-сквер послевоенного пика, когда ненасытная тяга к повышению собственной значимости, питающая энергией еврейскую умственную дерзость, начала выглядеть просто неуправляемой, когда аура еврейского культурного первенства не меньше, чем от журналов "Комментари", "Мидстрим" и "Партизан ревью", исходила от их хохм, их семейных анекдотов, их смеха, их шутовства, их острот, их доводов и даже их брани, — Коулмен не был бы Коулменом, если бы не ухватился за такую возможность, тем более что ассистирование доку Чизнеру на уроках бокса для еврейских подростков округа Эссекс делало версию еврейского детства в Нью-Джерси гораздо более правдоподобной, чем вариант с сирийским или ливанским происхождением. Воспользоваться готовым престижем агрессивно мыслящего, рефлексирующего, непочтительного американского еврея, с упоением иронизирующего по поводу своего маргинального манхэттенского существования, было, выяснилось, куда менее рискованно, чем долгая разработка и кропотливая шлифовка своей особой маски, и вместе с тем, к его немалому удовольствию, это давало ощущение захватывающего риска. А когда он вспоминал доктора Фенстермана, предлагавшего его родителям три тысячи долларов за то, чтобы Коулмен сплоховал на выпускных экзаменах и вывел блистательного Берта в первые ученики, превращение казалось ему, помимо прочего, захватывающе смешным, казалось грандиозным комическим сведением счетов. Устроив такое, мир осуществил некий поистине великий всеобъемлющий замысел. Лихо созорничал. Идеальным единичным актом творения — вот чем оно было, его волшебное превращение в сына доктора Фенстермана. Он всегда в глубине души стремился к неповторимости, и теперь он ее получил.

Это уже не было для него игрой. Айрис, эта нееврейская еврейка, взбаламученная, неприрученная, совершенно не похожая на Стину, стала посредницей между его старым и новым состоянием. Наконец-то он попал в самую точку. В прошлом остались примерки и отбрасывания, бесконечная подготовка к жизни, весь этот тренинг. Вот оно, решение, ключ к его секрету, а если во всем этом ощущалась примесь комизма — что ж, малую толику спасительного, успокаивающего комизма жизнь добавляет ко всякому человеческому решению.

Став неведомым доселе сплавом двух самых что ни на есть разнородных нежелательных этнических начал в истории Америки, он наконец обрел смысл.

Не обошлось, однако, без интерлюдии. Между Стиной и Айрис была пятимесячная интерлюдия, которую звали Элли Магúй, — миниатюрная, ладная негритяночка, желтовато-коричневая, чуть веснушчатая по носику и щечкам, на вид полуподросток, полуженщина, которая работала в магазине "Гринич-виллиджские двери" на Шестой авеню, где азартно продавала книжные стеллажи и пресловутые двери — двери на высоких ножках как

письменные столы и двери на низких ножках как кровати. Усталый старый еврей, которому принадлежал магазин, сказал, что с приходом Элли оборот у него вырос на пятьдесят процентов. "Раньше тоска была, а не торговля, — признался он Коулмену. — Еле сводил концы с концами. Но теперь всему Гринич-Виллиджу вдруг понадобились двери на ножках. Кто приходит, не меня зовет — Элли. По телефону звонят — с ней хотят говорить. Эта пигалица все тут переменила". Устоять перед ней не мог никто, это верно, и Коулмен тоже не смог, завороженный, во-первых, ее ножками на высоких каблучках, во-вторых, ее непосредственностью. Не отказывается встречаться ни с белыми, ни с черными студентами Нью-Йоркского университета, а тянет к ней и тех и других, к этой искрящейся двадцатитрехлетней штучке, пока еще ничем не раненной, перебравшейся в Виллидж из Йонкерса[1], где она выросла, и живущей жизнью современной, но со строчной "с", гринич-виллиджской жизнью, как ее рекламируют. Подлинная находка — и Коулмен покупает письменный стол, который ему не нужен, и в тот же вечер приглашает Элли в бар. После Стины, после этого удара, после потери той, что по-настоящему была ему нужна, ему снова хорошо, он снова жив, причем с первой же минуты, когда он начал флиртовать с ней в магазине. Кем она, интересно, его считает — белым или черным? Он не знает. Загадка. Потом, вечером, она смеется и, лукаво скосив на него глаза, спрашивает: "Ну и какого ты у нас цвета?" В первый же день что-то почуяла — и тут же задает вопрос. Но теперь с него не льет градом пот, как тем поздним вечером, когда он неверно прочел стихотворение Стины. "Какого я цвета? — переспрашивает Коулмен. — Такого, какой тебе больше нравится". — "Значит, вот как ты себя подаешь". — "Да, именно так я себя подаю". — "Значит, белые девчонки думают, что ты белый?" — "Пусть думают, что хотят, я им не мешаю". — "И со мной, значит, та же игра?" — спрашивает Элли. "Да, та же игра", — соглашается Коулмен. И она, эта маленькая игра, двойственностью своей завораживает их обоих. Очень уж близкой дружбы он ни с кем не водит, но университетские приятели думают, что у него теперь цветная девушка, а ее знакомые считают, что она стала гулять с белым парнем. Весело, когда тебе уважительно дивятся, — а на них, когда они идут вместе, многие смотрят именно так. На дворе 1951 год. Дружки спрашивают Коулмена: "Ну что, как она?" "Ох, горя-ачая", — тянет он в ответ, извилисто поводя ладонью, как в Ист-Ориндже делали итальянцы. Во всем этом есть некий восторг сиюминутности, своя маленькая кинозвездность: на людях они с Элли всегда точно на сцене. Никто на Восьмой улице не понимает, что, к чертям, происходит, и ему это нравится. Ноги у нее — класс. Хохочет не умолкая. Ее естественность, ее непринужденность, ее свежая невинность — все это его завораживает. Чем-то Элли напоминает Стину, только кожа другого цвета, и поэтому он не бежит знакомить ее со своей семьей, а она не приглашает его в свою. С какой стати? Живут в Гринич-Виллидже и живут. Мысль о поездке с ней в Ист-Ориндж даже в голову ему не приходит. Может быть, потому, что он не хочет слышать облегченного вздоха, не хочет, чтобы ему сказали, пусть даже и без слов, что он поступает правильно. Почему, размышляет он, я повез туда Стину? Чтобы быть со всеми честным? И что из этого получилось? Нет, никаких родственников — по крайней мере пока что.

Между тем ему с ней так хорошо, что однажды ночью правда сама слетает с его губ. Даже про бокс, о котором он никак не мог сказать Стине. А

1. Йонкерс — район Нью-Йорка.

Элли с легкостью можно сказать о чем угодно. Она его не осуждает, и это еще выше поднимает ее в его глазах. Такая современная — и в то же время такая здравомыслящая. Он, оказывается, имеет дело с девушкой чрезвычайно широких взглядов. Его великолепная возлюбленная хочет слышать все. И он говорит — а когда его не связывает секрет, он говорит необычайно хорошо, и Элли околдована. Он рассказывает про флот. Рассказывает про свою семью, которая, как выясняется, во многом похожа на ее семью, только ее отец, аптекарь в Гарлеме, жив, и, хотя он не слишком доволен ее переездом в Виллидж, к счастью для Элли он не может ничего с собой поделать и обожает ее по-прежнему. Коулмен рассказывает ей про Хауард и объясняет, почему не смог там остаться. Про Хауард они долго говорят, потому что она тоже туда бы поехала, если бы послушалась родителей. И постоянно, о чем бы ни заходила речь, он без всяких усилий заставляет ее смеяться. "В жизни не видел такой массы цветных, даже на общесемейном сборище на юге Нью-Джерси. Слишком много негров на крохотном пятачке — вот что такое для меня Хауард. Любых взглядов, любых оттенков — но от этого не легче. Мне там нечего было делать. Такое все кругом концентрированное, что любая гордость, какую я мог иметь, скукоживалась. Напрочь скукоживалась от концентрированного, фальшивого окружения". "Как переслащенная газировка", — сказала Элли. "Не совсем, — поправил ее Коулмен. — Не в том дело, что чего-то одного переложили, а в том, что остального недоложили". Разговаривая с Элли так откровенно, Коулмен обретает полное успокоение. Он больше не герой, это верно, но зато и не злодей. А она, эта малявочка, оказалась очень даже боевая. Как добилась независимости, как превратилась в гринич-виллиджскую девчонку, как поставила себя с родителями — да, именно так и надо взрослеть.

Однажды вечером она ведет его в малюсенький ювелирный магазинчик, принадлежащий белому умельцу, который делает очень красивые эмалевые вещицы. Просто зашли гуляючи, посмотрели и вышли, но потом она говорит Коулмену, что хозяин — негр. "Да нет, ты ошиблась, — убеждает ее Коулмен. — Этого не может быть". "Не говори мне, что я ошиблась, — смеется она. — Лучше сам, дружочек, разуй глаза". В другой раз около полуночи она приводит его в бар на Гудзон-стрит, где толкутся художники. "Посмотри на этого симпатягу", — говорит она тихонько, показывая на белого красавчика лет двадцати пяти, который очаровывает всех девиц подряд. "Он тоже", — говорит она. "Да брось ты", — хохочет Коулмен, теперь его очередь ржать. "Ты в Гринич-Виллидже, Коулмен Силк, это самые свободные в Америке четыре квадратные мили. Тут чуть не в каждом квартале есть такой. Будь поскромней, ты не первый". И если она одна знает троих — на этот счет можно не сомневаться, — то их тут наверняка не меньше десятка. "Со всей страны, — говорит она, — прямиком на Восьмую улицу. Как ты из твоего маленького Ист-Ориндж". "А я, — признается он, — смотрю и не вижу". И это опять заставляет их хохотать, хохотать и хохотать до упаду, потому что он безнадежен, в других себя не может увидеть, и ему нужен гид в лице Элли.

Поначалу он рад-радешенек такому решению проблемы. Лишившись секрета, он опять чувствует себя мальчишкой. Беззаботным пацаном, каким был, пока не обзавелся секретом. Он заражается ее непосредственностью, и от этого ему просто и весело. Кто собрался стать рыцарем и героем, тот надевает латы — ну а он их, наоборот, с облегчением снял. "Вы счастливчик", — говорит ему работодатель Элли. "Счастливчик", — повторяет он и соглашается. Благодаря Элли его секрет утратил действенность. Дело не только в том, что он может ей все рассказать и рассказы-

вает, но и в том, что ему открыт теперь путь домой. Можно поддерживать отношения с братом, на которые при ином раскладе нечего и рассчитывать. Можно вернуть непринужденную близость, которая всегда была у него с матерью. Но потом он встречает Айрис — и привет. Ему было весело с Элли, и ему по-прежнему с ней весело, но какого-то измерения стало недоставать. Замаха, вот чего теперь нет — нечем подпитывать ту концепцию собственного "я", что двигала им всю жизнь. Явилась Айрис, и он вновь на ринге. Отец сказал ему тогда: "Значит, можешь уйти непобежденным. Ты уходишь с ринга". Но вот он опять грозно устремляется из своего угла — его секрет снова при нем. И не только секрет, но и *дар скрытности*, который мало кому дается. Может, конечно, в Виллидже и есть еще дюжина ему подобных. Но и они не так одарены — то есть одарены, разумеется, но скромнее: они просто все время лгут. Они лишены той могучей, той изощренной скрытности, которой он, Коулмен, наделен. Теперь он вернулся на траекторию, направленную вовне. Он опять владеет эликсиром скрытности, и это похоже на владение неродным языком — постоянная, неприедающаяся свежесть. Он жил без этого, и все было нормально, ничего ужасного, жаловаться не на что. Было весело. По-невинному весело. Но — "остального недоложили". Да, невинность, благодаря Элли, к нему вернулась — но что толку? Айрис обещает больше. Поднимает все на новую высоту. Айрис дарит ему его собственную жизнь в таком масштабе, в каком он хочет ее прожить.

Через два года после знакомства они решили пожениться, и тогда-то за вольность эту, за свободу, чьи глубины он разведал, за выбор, который посмел сделать, — а мог ли он проявить больше искусства и ума в сотворении дееспособного "я", достаточно обширного, чтобы вместить его честолюбие, и достаточно мощного, чтобы помериться силами с миром? — тогда-то за все это была взыскана первая великая плата.

Коулмен поехал в Ист-Ориндж поговорить с матерью. Миссис Силк не знала о существовании Айрис Гительман, но нисколько не удивилась, услышав, что он собирается жениться, причем на белой девушке. Не удивилась она и тому, что девушка не знает о негритянском происхождении Коулмена. Кто испытал тогда удивление — это сам Коулмен. Едва он заявил вслух о своем намерении, как ему пришла в голову мысль: не основано ли это решение, самое серьезное в его жизни, на сущей мелочи — на характере волос Айрис, похожих на густые вьющиеся заросли, волос гораздо более негроидных, чем у него, и скорее напоминающих волосы Эрнестины? Маленькой девочкой Эрнестина прославилась вопросом: "Почему у меня не ветровые волосы, как у мамы?" — в том смысле, что ее волосы не развеваются на ветру, в отличие не только от маминых, но и от волос всех родственниц по материнской линии.

Коулмена, сидевшего перед несчастной матерью, охватил иррациональный, сумасшедший страх: а вдруг единственное, чего он хотел от Айрис Гительман, — это возможность давать правдоподобный ответ на вопрос о волосах его будущих детей?

Но почему этот откровенно, кричаще утилитарный мотив до сих пор оставался неосознанным? Или все же это лишь игра воображения? Но перед лицом материнских мук (из-за поступка сына все у нее внутри пошатнулось, но она, как всегда сам Коулмен, была твердо намерена продержаться до конца) разве можно было, придя к этой ошеломляющей мысли, отмахнуться от нее? Сидя напротив матери, он производил впечатление полностью уверенного в себе человека — и при этом отчет-

ливо ощущал, что выбрал себе жену по глупейшему критерию на свете и что он самый пустой из людей.

— И она думает, что твоих родителей нет в живых. Так ты ей сказал, Коулмен?

— Так.

— У тебя нет ни братьев, ни сестер. Никакой Эрнестины. Никакого Уолта.

Он кивнул.

— Что еще ты ей сказал?

— Что, по-твоему, я мог еще ей сказать?

— Да все, что тебе было выгодно.

Это было самое резкое, что он услышал от нее в тот день. Ее способность сердиться никогда не распространялась на него и не распространится в будущем. Сам вид его с первого же дня жизни возбуждал в ней чувства, против которых у нее не было защиты и которые не зависели от его поведения и заслуг.

— Мне нельзя будет познакомиться с внуками, — сказала она.

Он приехал подготовленный. Главное сейчас — забыть про волосы Айрис и дать матери выговориться. Пусть она обретет дар речи и сотворит из потока своих слов апологию для сына.

— Ты не позволишь им меня видеть, — сказала она. — Ты не расскажешь им, кто я такая. Ты позвонишь мне и скажешь: "Мама, приезжай в Нью-Йорк, садись на скамью в зале ожидания на вокзале, и в одиннадцать двадцать пять я пройду мимо с моими детьми, одетыми по-воскресному". Это будет мне подарок на день рождения через пять лет. "Ты там сиди, мама, ничего не говори, и я медленно проведу их мимо". И ты прекрасно знаешь, что я приду. На вокзал. В зоопарк. В Центральный парк. Где скажешь, там и буду сидеть, куда я денусь. Если скажешь, что единственный способ мне дотянуться до внуков — это устроиться к вам нянькой под именем миссис Браун, я так и сделаю. Все сделаю, что ты скажешь, будь уверен. Какой у меня выбор?

— Выбор есть.

— Есть? Какой? Какой у меня выбор, Коулмен?

— Отступиться.

Почти насмешливо она сделала вид, что размышляет над этим предложением.

— Пусть даже я смогла бы проявить к тебе такую жестокость. Предположим, что смогла бы. Но где, по-твоему, я возьму силы для такой жестокости по отношению к себе?

Не время было Коулмену вспоминать детство. Не время было, глядя на мать, восхищаться ясностью ее ума, ее сарказмом, ее бесстрашием. Не время было склоняться перед только что не патологическим феноменом материнской любви. Не время было улавливать то невысказанное, что беззвучно теснило даже произносимые ею слова. Не время было давать волю мыслям, отличным от тех, какими он заранее вооружился. Безусловно, не время было пускаться в объяснения, с блеском доказывать, что выгод больше, чем невыгод, и прикидываться, что тут логика, ничего больше. От злодейства, которое он сейчас совершал, все объяснения были бесконечно далеки. Время было — еще полней сосредоточиться на том, чего он хотел добиться. Если такой выбор, как отступиться самой, для нее исключен, все, что ей остается, — это принять удар. Умерь силу своего голоса, больше помалкивай, забудь про волосы Айрис и, сколь бы долго это ни продолжалось, дай матери выговорить-

ся и включить в состав своего бытия жестокость самого жестокого из твоих поступков.

Он убивал ее. Отца убивать не обязательно — мир с ним сам разберется. Для этого есть масса сил и средств. Мир готов взять это на себя, да и взял уже в отношении мистера Силка. Осталось расправиться с матерью, что он и делал сейчас, делал с открытыми глазами — в ответ на ту любовь, какой любила его эта женщина. Убийство ради опьяняющей, манящей свободы! Не будь матери, все было бы куда проще. Но только пройдя через это испытание, он сможет стать тем, кем решил быть — человеком, отбросившим все, что было вручено ему при рождении, свободным для борьбы за свободу, желанную для каждого. Чтобы получить это от жизни — новую судьбу на собственных условиях, — надо сделать то, что должно быть сделано. Разве люди в большинстве своем не хотят уйти куда подальше от навязанной им никудышной жизни? Но не уходят, и это делает их тем, что они есть, а его уход сделает его тем, чем он способен стать. Вмажь правой по незащищенному месту и захлопни дверь навсегда. Причиняя эту боль, поступая так с чудесной матерью, которая любит тебя несмотря ни на что и сделала твою жизнь счастливой, ты должен понимать, что это раз и навсегда. Это такой ужас, что остается одно: жить с ним. Соершая такое, наносишь непоправимый вред — но этого-то Коулмен и хочет. Похоже на тот момент уэст-пойнтского боя, когда соперник начал валиться. Только рефери и спас парня от того, на что Коулмен был способен. Коулмен дал себе тогда волю как бойцу — и теперь то же самое. Потому что это еще одна проверка — вложить в жестокость отречения весь ее подлинный, бесповоротный человеческий смысл, со всей трезвой ясностью встретить миг, когда твоя судьба пересекается с чем-то огромным. Вот она, проверка. Мужчина и мать. Женщина и ее любимый сын. Если ради самооттачивания он должен совершить теперь самое жестокое из мыслимого, то вот оно — только что не нож схватить и не зарезать по-настоящему. Вот она, самая-самая сердцевинная суть. Это главный поступок его жизни, и он ясно, сознательно ощущает его громадность.

— Не понимаю, Коулмен, почему я так плохо к этому подготовлена. Должна была бы лучше, — сказала она. — Ты честно предупреждал чуть ли не с самого своего рождения. Даже грудь отказывался брать, всерьез отказывался. Да-да. Теперь я понимаю почему. Это могло отсрочить твое освобождение. Что-то в нашей семье — не цвет кожи, что-то другое — всегда стояло тебе поперек горла. Ты мыслишь как заключенный. Точно тебе говорю, Коулмен Брут. Белый как снег, а мыслишь как раб.

Не время было отдавать должное ее уму, усматривать даже в самом ярком обороте речи некую особую мудрость. Мать нередко говорила что-нибудь такое, из-за чего можно было подумать, будто она знает больше, чем кажется. Интеллект, но другой. Предоставляя мужу ораторствовать, она, как считалось, высказывалась редко, но метко.

— Я могла бы, конечно, сказать тебе, что освобождения не бывает, что все попытки приведут тебя к тому же, с чего ты начал. Твой отец сказал бы именно это. В "Юлии Цезаре" есть кое-что на эту тему. Но что толку? Ты молодой, на тебя все заглядываются. Красота, обаяние, ум, сложение, решимость, проницательность — всё при тебе, все твои замечательные качества. Тебя, с твоими зелеными глазами и длинными черными ресницами, мои слова нисколечко не обеспокоят. Прийти к матери с таким сообщением — ведь трудней, казалось бы, ничего и быть не может, а как спокойно ты посиживаешь! Все дело в том, что ты знаешь: твой поступок имеет смысл, и еще какой. И я тоже это знаю, иначе ты не стал бы его со-

вершать. Конечно, у тебя будут разочарования. Конечно, мало что выйдет так, как ты сейчас воображаешь. Особая судьба у тебя будет, и еще какая особая — но что это за судьба? В двадцать шесть лет ты не можешь иметь об этом представления. И разве она не была бы настолько же особой, не сделай ты ничего такого? Мне кажется, при всякой глубокой перемене в жизни есть кто-то, кому человек говорит: "Я тебя не знаю".

В таком же духе она, умело умеряя боль перечислением всего, что на нее обрушилось и с чем она не надеялась справиться, с чем ей надо было смириться, почти два часа рассуждала о его стремлении обособиться, очевидном еще с младенчества, а Коулмен тем временем делал все, чтобы не замечать — в простейших приметах, как, например, поредевшие волосы (у матери, не у Айрис, конечно), клонящаяся вперед голова, опухшие лодыжки, потолстевший живот, широкие зазоры между крупными зубами, — насколько далеко она продвинулась к смерти с того воскресенья три года назад, когда она прилагала все силы к тому, чтобы Стине у нее было хорошо. В какой-то момент Коулмену теперь почудилось, что она вплотную подошла к черте, за которой стареющее существо делается крохотным, деформированным. Чем дольше она говорила, тем явственней это ему казалось. Он старался не думать о болезни, которая ее убьет, о похоронах, о надгробных речах и о молитвах у могильной ямы. Но точно так же он старался не думать и о том, как она будет жить, как он уедет и оставит ее здесь еще не умершей, как год за годом она будет думать о нем, о его детях и о его жене, как чем дальше, тем крепче будет для нее обрубленная связь.

Ни возможность материнского долгожительства, ни возможность ее ранней смерти не должны были оказать никакого влияния на то, что он делал, как и нелегкое существование ее семьи в Лонсайде, где мать родилась в убогой лачуге и жила с родителями и четырьмя братьями до семилетнего возраста, когда умер ее отец. Он и его родня жили в Лонсайде, штат Нью-Джерси, с 1855 года. Они были беглые рабы, с помощью квакеров перебравшиеся из Мэриленда в юго-западную часть Нью-Джерси по "подпольной железной дороге". Вначале негры назвали это место Фри-Хейвен — "Пристанище свободы". Белых там не было тогда вовсе, да и теперь их всего горстка на окраинах двухтысячного городка, где почти все произошли от беглых рабов, взятых под защиту хэддонфилдскими квакерами, в том числе и мэр, и начальник пожарной охраны, и начальник полиции, и сборщик налогов, и учителя в школе, и ученики. Но уникальность негритянского Лонсайда тоже ни на что не влияла, как и уникальность Гулдтауна — городка на крайнем юге Нью-Джерси, у самого мыса Кейп-Мей. Там жила родня ее матери, и туда семья отправилась жить после смерти ее отца. Еще один негритянский анклав, где многие, в том числе ее бабушка, отличались очень светлой кожей, почти белой, где все со всеми состояли в родстве. "Много, много лет назад", как мать не раз говорила Коулмену, когда он был мальчиком, — говорила, по возможности упрощая и концентрируя предание, которое слышала, — у одного солдата был раб, и солдат этот погиб на Войне с французами и индейцами[1]. Раб служил потом вдове этого солдата. Трудился от зари до зари и делал все, что ей было нужно. Заготавливал дрова, собирал урожай, вырыл и покрыл погреб для капусты, хранил там кочаны, запасал тыквы, закапывал на зиму яблоки, репу и картофель, засыпал в амбар рожь и пшеницу, забил свинью и корову, засолил мясо — и вот в один пре-

1. Американская фаза войны между Англией и Францией за колонии в Северной Америке. (*Прим. ред.*)

красный день вдова вышла за него замуж, и у них родилось три сына. И сыновья эти взяли в жены местных девушек, чьи родословные уходили в семнадцатый век, когда возник Гулдтаун, — девушек, чьи семьи еще до Революции тесно переплелись и породнились. Одна из них, или две, или все три, рассказывала мать, произошли от индейца из большого поселения племени ленни-ленапе близ Индиан-Филдс, который женился на шведке (в тех местах на смену голландским первопоселенцам пришли шведы и финны) и произвел на свет пятерых детей; одна, или две, или все три произошли еще и от того или другого из двух братьев-мулатов, привезенных из Вест-Индии на торговом судне, поднявшемся по реке от Гринвича до Бриджтона, где им пришлось отрабатывать проезд у местных землевладельцев и где они сами потом оплатили проезд из Голландии двух сестер, ставших их женами; одна, или две, или все три произошли еще и от внучки Джона Фенвика, сына английского баронета, кавалерийского офицера в армии Кромвеля, ставшего квакером и умершего в Нью-Джерси вскоре после того, как Новая Кесария, расположенная между реками Гудзон и Делавэр и проданная братом английского короля двум англичанам, стала именоваться Нью-Джерси. Фенвик умер в 1683 году и был похоронен где-то в купленной им частной колонии, которой он правил и которая на север от Бриджтона простиралась до Сейлема, а на юг и восток — до реки Делавэр.

Девятнадцатилетняя внучка Фенвика по имени Элизабет Адамс вышла замуж за негра Гулда. "Чернокожий, принесший ей пагубу" — вот как ее дед назвал Гулда в завещании, которым он лишал Элизабет какой-либо доли наследства до тех пор, пока "Господь не отворит ей глаза, дабы узрела она мерзкое преступление свое противу Его закона". Как гласит предание, лишь один из пяти сыновей Гулда и Элизабет дожил до зрелого возраста, и это был Бенджамин Гулд, женившийся на финке Энн. Бенджамин умер в 1777 году, через год после того, как на другом берегу Делавэра, в Филадельфии, была подписана Декларация независимости, и он оставил дочь Сару и четырех сыновей — Энтони, Сэмюела, Абиджу и Элайшу, от которых Гулдтаун получил название.

От матери Коулмен услышал про лабиринт семейной истории, ведущейся от времен аристократа Джона Фенвика, от которого, казалось, произошел весь Гулдтаун и который был для этого юго-западного района Нью-Джерси тем же, чем Уильям Пенн был для той части Пенсильвании, что включала Филадельфию. Потом он слышал про это снова и снова, хотя от раза к разу с другими подробностями, от троюродных дедушек и бабушек, от двоюродных прадедушек и прабабушек, иным из которых было под сотню лет, на ежегодных семейных сборах в Гулдтауне, куда родители неизменно брали и его, и Уолта, и Эрнестину, чтобы повидаться почти с двумястами родных, приезжавших из юго-западного Нью-Джерси, из Филадельфии, из Атлантик-Сити и даже из такого далека, как Бостон, поесть жареного луфаря, тушеных и жареных цыплят, домашнего мороженого, засахаренных персиков, пирогов, кексов — отведать всех любимых семейных блюд, поиграть в бейсбол, попеть старые песни и вволю повспоминать, порассказать всяких историй про женщин былых времен, которые пряли и вязали, варили жирную свинину и пекли громадные караваи, чтобы дать мужчинам с собой в поле, шили одежду, черпали воду из колодца, лечили больных домашними снадобьями — травяная настойка от кори, сироп из мелассы и лука от коклюша. Историй про матерей семейств, делавших замечательные сыры, про женщин, уезжавших в Филадельфию работать экономками, портнихами и учительница-

ми, про женщин, оставшихся дома и славившихся гостеприимством. Историй про мужчин, уходивших в лес ставить капканы и стрелять зимнюю дичь, про фермеров, пахавших землю, рубивших лес на изгороди, торговавших, забивавших скот, про удачливых дельцов, тоннами продававших сено, скошенное по берегам реки и залива, Трентонской керамической фабрике для упаковки. Историй про мужчин, покинувших леса, фермы, солончаки и поросшие кедровником болота, чтобы стать солдатами – кто белыми, кто черными – армии северян. Историй про мужчин, выходивших в море вопреки блокаде военных лет, уезжавших в Филадельфию, чтобы стать там похоронными агентами, типографами, парикмахерами, изготовителями сигар или священниками Африканской методистско-епископальной церкви (а один отправился на Кубу с Тедди Рузвельтом и его "лихими наездниками"[1], а еще несколько попали в беду, убежали и не вернулись). Историй про детей такого же возраста, как Коулмен, Уолт и Эрнестина, часто плохо одетых, иной раз босых, зимой дрожавших от холода в хлипких лачугах, жарким летом вместе с мужчинами кидавших вилами, грузивших и перевозивших сено, но получавших дома приличное воспитание, изучавших в пресвитерианской школе грамоту и Закон Божий и всегда, даже в те времена, хорошо питавшихся – свининой, дичью, картофелем, хлебом, патокой – и выраставших сильными, здоровыми и честными.

Но история лонсайдских беглых рабов, изобилие всего и вся на гулдтаунских сборах родни, богатство семейной генеалогии – это одно, а твое решение стать боксером, преподавателем античной словесности или кем бы то ни было еще – совершенно другое. Мало ли что может уйти из жизни семьи. Лонсайд – раз, Гулдтаун – два, генеалогия – три, Коулмен Силк – четыре.

За последние полвека были и другие, кто в детстве слышал про заготовку сена для Трентонской керамической фабрики, ел на гулдтаунских сборах жареного луфаря и засахаренные персики, а потом вырастал и пропадал таким же манером – пропадал, говорили в семье, "так, что и следа не найти". "Отпал от своих" – было и такое выражение.

Культ предков – вот как называл это мысленно Коулмен. Уважать прошлое – это он понимал, но нечего делать из него идола. К чертям эту тюрьму.

Вечером, когда Коулмен вернулся к себе в Гринич-Виллидж, ему позвонил брат из Асбери-Парка, и этот звонок придал ходу событий неожиданное ускорение. "К ней больше ни ногой", – сказал ему Уолт, и в голосе его прозвучало нечто едва сдерживаемое и тем более пугающее – такое, чего Коулмен не слышал ни от кого, кроме отца. Новая сила возникла в семье, и эта сила теперь взяла его и вышвырнула за борт. Такой-то дерзкий молодой человек в таком-то месте в такое-то время совершил такой-то поступок – и вот он за бортом навеки. Но здесь-то, как выясняется, и заключена самая суть: свобода опасна. Очень опасна. Начинаешь на своих собственных условиях, но долго они не держатся. "И не пытайся ее увидеть. Ни встреч. Ни звонков. Ничего. Никогда. Понял меня? *Никогда.* Чтобы твоя лилейно-белая харя больше в этом доме не появлялась!"

Окончание в следующем номере

1. Имеется в виду добровольческий кавалерийский полк под командованием будущего президента США Теодора Рузвельта (1858–1919), принимавший участие в испано-американской войне 1898 года.

Луиза Глик

Стихи

Переводы В. Черешни, И. Мизрахи, Г. Стариковского, А. Нестерова

Затихающий ветер

Я любил вас, когда сотворил,
теперь — презираю.

Я дал вам все необходимое:
подстелил землю, укрыл голубым небом —

но чем дальше я уходил от вас,
тем отчетливей видел:
ваши души, которые могли стать необъятными,
усохли,
стали мизерными и болтливыми.

Я одарил вас всех
голубизной весеннего утра,
временем, которым вы не сумели воспользоваться,
вы захотели большего — дара,
предназначенного не вам.

© Louise Glück 1987, 1992
© В. Черешня. Перевод, 2004
© И. Мизрахи. Перевод, 2004
© Г. Стариковский. Перевод, 2004
© А. Нестеров. Перевод, 2004
Редакция выражает благодарность Луизе Глик за право безвозмездной публикации ее стихов на страницах "ИЛ".

Но чего бы вы ни жаждали,
вы не найдете этого в саду
среди цветущих растений.
Ваша жизнь — не умирание и воскресение, как у них,

ваша жизнь — полет птицы
от начала к концу,
от начала к концу, подобно этой радуге,
перекинутой от березы к яблоне.

Дикий ирис

И вот, после всех мучений,
открылся выход.

Эй, вы, снаружи: то, что зовется смертью,
помню —

шум, опахало сосны надо мной.
И все. Тусклое солнце
блеснуло в просвет.

Ужас сознания,
оказавшегося во тьме
земли.

И вдруг все прошло: этот страх —
стать бессловесной душой —
исчез, земля
слегка просела. А я приняла их за птиц,
мелькнувших в ветвях.

Вам, позабывшим
свой возврат из иного мира,
я говорю вновь обретенной речью: все
возвращается из забытья,
чтоб обрести голос.

Из моего средоточия
вырвался огромный фонтан, темно-голубые тени
на лазурной морской глади.

Притча о короле

Великий король, глядя вперед,
видит не судьбу, а лишь сияние
над безымянным островом: как король
он мыслит повеленьями — лучше всего
продолжать наступление, лучше всего

мчаться вперед по блистающим водам.
Что есть судьба — как не решимость
идти в обход истории,
как не уменье в настоящем
заметить неминуемую связь
меж прошлым (образ короля
как принца юного) и славным будущим
(образ рабынь прекрасных). Но что бы это ни было
там, впереди — откуда
весь этот блеск? И кто мог знать,
что это не обычная заря,
а пламя, пожирающее мир?

Одеяние

Моя душа иссохла.
Как будто побывала в огне, но не сгорела,
не исчезла. Обугленная,
все еще существует. Хрупкая.

Дело не в одиночестве, а в недоверии.
Так всегда после насилия.

Дух, выманенный из тела
и выставленный напоказ,
трепещет, как перед Господом.
Дух, выманенный из одиночества
обещанием благодати,
как ты сможешь вновь поверить
в чью-то любовь?

Моя душа, сжавшись, увяла.
Тело стало ей велико, не по размеру.

И когда надежда вернулась ко мне,
это была совсем другая надежда.

Перевод В. Черешни

Когда-то я верила в Тебя...

Когда-то я верила в Тебя. И посадила смоковницу.
Здесь, в Вермонте,
где почти нет лета. И загадала: если приживется,
значит, Ты есть.

Оказалось, что Тебя нет. Ты обитаешь
только в теплых странах:
Сицилии, Мексике, Калифорнии,

где растут неправдоподобные абрикосы
и нестойкие персики. Наверное,
в Сицилии можно увидеть Твое лицо, а здесь
мы едва различаем подбой Твоего покрывала.
А я так и не научилась делить
урожай помидоров с Джоном и Ноем.

Если есть справедливость в том, другом мире,
обделенные природой здесь, такие, как я,
получили бы львиную долю всего,
по чему они так изголодались —
их жадность будет лишь хвалой Тебе.
И никто не восславит Тебя больше, чем я
(ведь я так долго сдерживала это желанье),
и не заслуживает больше, чем я,
сидеть по правую руку от Тебя — если она существует, —
вкушая скоропортящуюся вечную смокву.
Ей не выдержать перевозки.

Б*ольше, чем меня...*

Больше, чем меня,
Ты, наверное, любишь зверей в полях, даже,
может быть, само поле
в точках дикого цикория и астр в августе.
Я знаю. Я сравнивала себя с этими цветами:
их чувства беднее, их не волнует будущее.
А еще с белыми овцами,
вернее, серыми. Но лишь я
способна восхвалять Тебя.
Зачем же Ты тогда мучаешь меня?
Я разглядываю ястребинку, лютики,
защищенные ядом от жующего стада.
Не для того ли Ты подарил мне эту боль,
чтобы я нуждалась в Тебе —
будто не за что Тебя больше славить.
Или же Ты оставил меня,
предпочтя мне поле и храбрых ягнят,
серебрящихся в сумерках,
волны диких астр и сияющий голубой цикорий?
Ибо знаешь, как он похож на Твое одеянье.

Б*елые лилии*

Когда мужчина и женщина
разбивают сад,
он — как небесная постель; там
они сидят долгим вечером,
и вечер холодеет

от их ужаса: все
может кончиться,
во всем залог запустения, все, все
будет утрачено. В душистом воздухе
узкие колонны стеблей
бесцельно восходят над
пенным морем маков.

Тише, любимый, мне все равно,
сколько весен и лет, сколько раз я вернусь сюда:
этим летом мы прикоснулись к вечности.
Я чувствую, как твои руки соединились,
чтобы спрятать меня и освободить сияние.

Перевод И. Мизрахи

Возвращение

Во дворе — это было
лет сорок назад —
росла яблоня. Дальше
простирался луг: подтеки
крокусов в мокрой траве.
Помню, как стояла у окна
на исходе апреля. Где-то рядом
набухала весна.
А правда, сколько раз с тех пор
дерево зацветало в день
моего рожденья — ни раньше,
ни позже? Постоянство
уступает место переменчивости,
движению. Упрямая земля свела на нет
податливый вымысел. Да что я вообще знаю
об этой почве, о дереве, том,
что на десятки лет подменили
деревцем в кадке, о голосах,
поднимавшихся с теннисных кортов?
Поле пахнет скошенной высокой травой,
что и требуется поэту.
Мы лишь однажды мир познаем, в детстве.
Все остальное — память.

Поющая лютня

Быть музой — не в моде,
всякий метит в орфеи.

Стих, сотканный
из боли и страха
и потому необычайно прекрасный —

воскрешает
не оплаканную Евридику,
но пылкую мощь Орфея,

бесплотную,
чуткую душу,
свободную, бессмертную,
влюбленную в самое себя.

Арфа моих невзгод
воскрешает красоту последней любви,
и все же моя боль
есть борьба за форму,

за вымысел.
По совести,
больше, чем остаться в людской памяти,
я хочу выжить,
и это самое сокровенное желание человека.

Перевод Г. Стариковского

Г*адючья земля*

Рыбьи кости приплыли к нам по волнам, от пролива, где мыс
Гаттерас.
И иные знамения были залогом:
Смерть крадется за нами, скользит по воде, крадется
По суше — в роще сосновой
Струенье гадюки, скользящей по мху,
Будто сгусток отравы, разлившейся в воздухе.
Рожденье, не смерть, — вот горчайшая из потерь.
Я-то знаю: я в тех краях оставила кожу.

Исповедь

Сказать, что страх мне неведом —
Погрешить против правды.
Я боюсь. Боюсь болезни, боюсь униженья.
У меня, как у всех, есть мечты,
Только... я научилась таить их.
Лучше бы им не исполниться: кто счастлив,
Рискует навлечь гнев Судьбы.
Кровожадные сестры, Судьба и Удача, —
Сестрицы, чьи чувства друг к другу
Перегорели давно, осталась лишь зависть.

Снег

Конец декабря. Я с отцом
еду в Нью-Йорк: мне обещан цирк.
Отец посадил меня на плечи,
развернув лицом к колючему ветру:
Белые бумажные конфетти,
по-над шпалами, вьются и вьются.

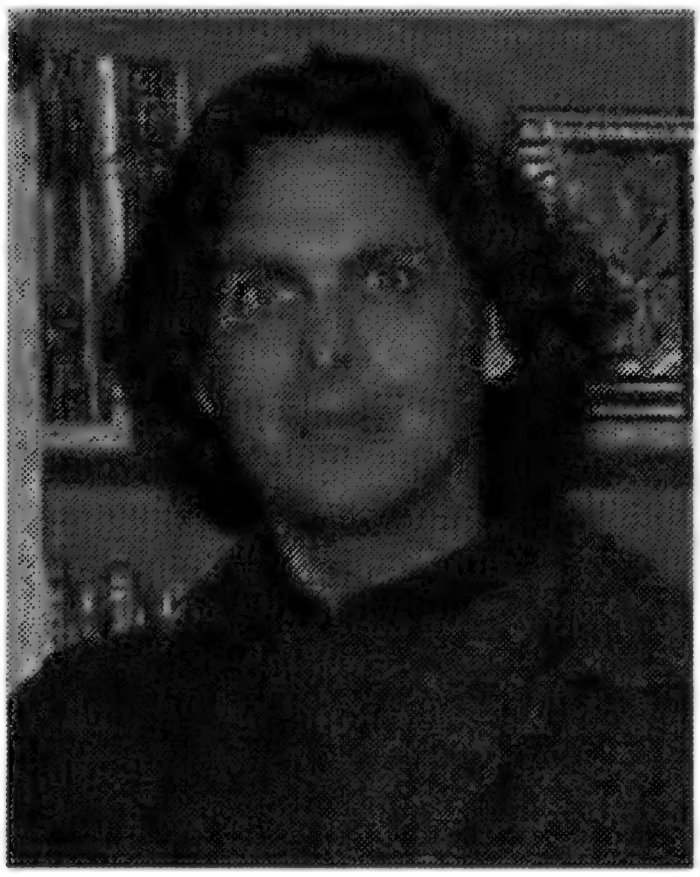
Отец любил так стоять,
посадив меня наверх,
чтобы я не путалась под ногами.
Я привыкла
глядеть вперед –
навстречу миру, как его видел отец;
я научилась
всем нутром вбирать
эту пустоту: хлопья снега,
не снегопад даже – снеговорот.

Первые воспоминания

Сколько лет моей ране? Жизнь
как месть себе:
месть за отца, не за то,
чем был он, –
за то, чем была я сама. Изначально,
с самого детства, я полагала:
если мне больно, значит я не любима.
Все иначе: боль – это и есть любовь.

Перевод А. Нестерова

Майкл Чейбон



На прибрежной полосе

Рассказ

Перевод Олеси Качановой

Не помню, куда мы ездили за тыквами, когда я был маленьким. Я вырос в штате Мэриленд, в пригороде Пидмонта, который в те дни только-только приступил к осаде окрестных полей, так что, думаю, мы просто отправлялись в чей-нибудь сад или на какую-нибудь ферму — в одно из тех мест, куда летом ездили за кукурузой и клубникой, а осенью — за сидром и яблоками. Помню, как отец, когда мы возвращались с тыквами домой, доставал из кухонного стола самый большой нож. Отец был брезглив и не любил пачкать руки, особенно едой, но поскольку он был врач, в том, как он вскрывал оранжевую черепную коробку, надсекал волокнистую мякоть и большой металлической ложкой дочиста выскабливал бледную сердцевину, чувствовалось что-то безжалостно-профессиональное. Отец проделывал это, сжав губы и отвратительно пыхтя.

В прошлом месяце я повез своего собственного сына на пустырь между автомагистралью и заболоченной береговой полосой Беркли. Обычно в такие места никто не заглядывает. Там нет ничего, кроме галечника, сорной травы да свалки, небольшой, но коварной, которая понемногу теснит здешних водоплавающих. Эта полоса земли настолько безжизненна и неинтересна, что с января по октябрь туда, скорее всего, никто носу не кажет; она попросту перестает существовать. Однако ближе к зиме, с постоянством, напоминающим вечную смену времен года, там появляются люди, которые привозят в трейлерах тюки сена, проволоку для оград и бесформенный ворох оранжево-черных и красно-зеленых флагов. Сначала они расставляют полистирольные скелеты и ведьм на батарейках, а несколько недель спустя принимаются развешивать разноцветные лампочки и гирлянды вечнозеленых растений. Так, по крайней мере, мне это представляется. На самом деле я не знаю, как этот бизнес у них работает. Навер-

© 2001 by Michael Chabon
© О. Качанова. Перевод, 2004

ное, есть специальная бригада "Хэллоуин", которая специализируется на тыквах, и есть другая бригада — "Рождество", которая подгоняет грузовики с елками и пихтами. В бригаде "Хэллоуин" работают в основном иранцы, а в "Рождестве" — тайцы. К тому же мне неизвестно, принадлежит ли эта прибрежная полоса кому-либо или, презренная и почти незаметная, она доступна всем и каждому, и эти дельцы имеют на свои хищнические набеги полное юридическое право. Впрочем, мне не хочется говорить о контрасте между идиллической золотой осенью моей мэрилендской юности и городской осенью моего четырехлетнего сына — мешанине из пластмассовых скелетов, персидских напевов и гула скоростного шоссе. Мне вообще не хочется говорить ни о тыквах, ни о Хэллоуине, ни о той боли, которую я испытываю всякий раз, когда представляю себе, как холодным октябрьским днем году эдак в семьдесят третьем не я, а мой сын в вельветовом пальтишке бредет вдоль настоящих грядок с тыквами, от которых уже протянулись и постепенно сгущаются тени. Я и не думаю намекать, что мы сделали с этим миром что-то такое, после чего он перестал заслуживать доверие и внимание наших детей. Я вовсе так не считаю, хотя иногда чувствую в сердце словно бы осколок черного льда.

А Нику тут нравится. Возможно, его зачаровывает картина серой, продуваемой ветром пустыни, озаренной неестественным взрывом оранжевого цвета. В прошлые наши приезды он пугался резиновых ведьм и оскаленных черепов, однако смелости гулять здесь у него оказывалось больше, чем у меня терпения и способности переносить вышеупомянутую боль в груди. Но в этом году все по-другому. В этом году он както сразу принял эти жутковатые декорации, одним махом.

— Папа, смотри, смотри! У черепа в глазу змея, — сказал он, когда мы вышли из машины.

Галечная площадка для парковки почти пуста; понедельник, четыре часа пополудни, до Хэллоуина еще целых три недели. В общем, рановато мы приехали. Но нам обоим хотелось уехать из дома, где обыкновенные звуки — звяканье вилки о тарелку, скрип лестничной ступеньки — казались зловещими, и никуда было не деться от запаха цветов, расставленных повсюду, будто в доме умер какой-нибудь почтенный гангстер. На самом же деле усопшей была девочка семнадцати недель, несостоявшаяся дочка, которую в темноте и тепле материнского тела вдруг напугали (по крайней мере, так я это себе представляю) холодное дуновение и роковая вспышка света.

И жена отправила нас с Ником за тыквой на Хэллоуин.

На площадке стояла только одна машина — красный "файерберд" последней модели, компактный, как мини-холодильник. Водительская дверь была открыта. На переднем сиденье со стороны пассажира я разглядел чернокожего мальчика немногим старше моего Ника. В машине работало радио, в гнезде зажигания торчали ключи: сэмплированные ритмы Клайда Стабблфилда соперничали с настойчивым воем сигнализации, надрывающейся по поводу незакрытой двери. Мальчуган смотрел в окно на небольшое, коричневого цвета строение, обнесенное проволочной сеткой, — я заметил его впервые за все три года, что посещаю это Богом забытое место. Размерами строение было с кафешку для автомобилистов, где можно купить еды, не выходя из машины. На вывеске была нарисована рыба, сражающаяся с поплавком и крючком, а под картинкой стояло краткое: *Рыбалка*. Увидев мощную машину, рыболовный магазин и мальчика, оставленного в одиночестве, непрерывно постукивающего башмаком по полу, я понял, что он ждет отца.

— А если бы змея была взаправдашняя? — сказал Ники, показывая на череп, водруженный на один из тюков с сеном. Череп, как и полагается черепам, был пустой, и какой-то умник просунул ему в рот и глазницы резиновую змею. Запустив руку в свои теплые, с начесом, штаны и почесывая зад, Ники храбро направился к черепу.

— Сильно было бы, — сказал я.

— Но она всего-навсего резиновая.

— Слава Богу.

— А давай мы тоже купим череп и посадим в него змею!

— В нашей семье принято покупать только тыквы.

— Это потому, что мы евреи?

— Ну да, — ответил я. — Пойдем, Ник. — Я вытянул руку сына из штанишек и заботливо подтолкнул его в нужном направлении. — Пошли купим тыкву.

Тыквы кусками мрамора лежали на скамейках, расставленных вокруг киоска — маленькой примитивной деревянной красно-белой будки, которая напоминала амбар — возможно, впрочем, что напоминала только мне одному. Тут и там неуклюже возвышались тюки, пахнущие скошенной травой, и от этого запаха у меня усилилось ощущение, что мой сын родился и живет в пошлом и обуженном мире. Часть сена была рассыпана по земле, для того, наверное, чтобы создать в этом краю грубых камней видимость деревенского уюта. А еще там стояло воронье пугало во фланелевой рубахе и голубых джинсах, кое-как набитое комками газет, только из рукавов да из ворота торчали символические пучки соломы. Голубые джинсы, начиная от колена, болтались пустые, как у безногого. Головой пугалу служила тыква в маске вратаря со злорадной ухмылкой. Я изо всех сил гнал от себя мысль о том, что в садах моей юности никому бы и в голову не пришло увеличивать продажу тыкв детям на Хэллоуин с помощью таких убийственных приемов.

Ники не спеша ходит среди тыкв, задумчиво трогая их носком кеда. Если судить по двум предыдущим годам, он ищет не обязательно самую большую, круглую и оранжевую тыкву. Прежние жертвы-счастливицы явно отрицали свое родство с типичными горлянками: они были скорее продолговатые, неправильной формы, с щербинками и наростами и теми шероховатыми, похожими на засохший цемент трещинками, что появляются иногда на тыквенной кожуре. Прошлогодняя тыква была вовсе не оранжевая, а цвета слоновой кости, который в последнее время приобретает — по крайней мере в нашем утонченном уголке Калифорнии — все большую популярность. Я не знаю, по какому принципу Ник выбирает тыквы. Но я заметил определенное сходство между моим сыном и Лайнусом из комиксов "Peanuts"[1] и предпочитаю думать, что, возможно, Ник ищет самую честную тыкву.

— Симпатичный мальчонка, — сказал человек за прилавком — неопределенной национальности (араб, мексиканец, израильтянин, армянин или узбек), средних лет, с седыми усами и толстыми очками, как у авиатора. На столе, за которым он сидел, располагались стальной кассовый аппарат, машинка для кредиток, сотовый телефон и пять демонстрационных моделей: XS, S, M, L и XL с соответствующими ценниками — от десяти до двадцати двух долларов. — Сколько ему?

— Четыре, — ответил я.

— Симпатичный мальчонка, — повторил продавец тыкв.

1. "Орешки" — самые популярные в США комиксы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я с ним, конечно, согласился, но поскольку сказано это было без большого энтузиазма, мы закрыли тему. Хлопнула дверь, и я повернул голову на звук. Из рыболовного магазинчика вышел мужчина и направился к дороге. Он был высокий и довольно светлокожий, с огромной, как литавра, грудной клеткой и толстым животом, который, как ни странно, выглядел упругим: этакое крепкое основание. На ногах у него были большие, как бадьи, с трудом походившие на обувь желтые сапоги с отворотами. На голове — рейдерская шапка козырьком назад; на подбородке — намек на козлиную бородку. Торопливо обогнув забор по пути к машине, он плюхнулся на водительское место спиной к мальчику. Мальчик что-то сказал или, скорее, спросил, судя по интонации. Мужчина коротко бормотнул в ответ. Потом нагнулся и стал шарить под сиденьем. Мгновение спустя в его руке появился предмет, который моему не вполне невинному взгляду показался свернутым полиэтиленовым пакетиком. Затем мужчина вылез из "файерберда", и мальчик снова его о чем-то спросил, но о чем — я не расслышал.

— Я же сказал, — отозвался мужчина. Он снова обогнул забор и скрылся в магазине. Как будто почувствовав мой взгляд, мальчик в машине обернулся и посмотрел на меня. Между нами было метров шесть. Его лицо ничего не выражало. Пустые глаза разозлили меня, но я подавил в себе желание отвести взгляд. Вместо этого я кивнул и улыбнулся мальчику. Он сразу же улыбнулся в ответ — чудесной, широкой, обаятельной улыбкой, каждой черточкой своего лица.

— Ваш сын? — спросил он.

Я кивнул.

— Тыкву выбирает.

— Ага.

Мальчик оглянулся на магазин. Затем перекинул ноги через водительское сиденье и выбрался наружу. Славный парнишка, темненький и хрупкий, коротко стриженный, с большими сонными глазами. Одет он был аккуратно и немного старомодно: в грубые голубые подвернутые джинсы и вязаный жилет поверх белой рубашки — такое впечатление, что его наряжала тетушка. У него были такие же неевклидовы сапоги, как у его отца, точнее, у того мужчины, которого я принял за его отца. Еще раз оглянувшись на магазин, мальчик направился ко мне.

— А кем он хочет быть на Хэллоуин?

— Он пока еще не придумал, — ответил я. — Наверное, ковбоем.

— Ковбоем? — ужаснулся мальчик. Желание нарядиться ковбоем было теперь для мальчиков безнадежно отсталым, старомодным и непонятным. С таким же успехом я мог сказать, что играть в "откупись, а то заколдую"[1] Ники пойдет в костюме шотландца или Джонни Яблочное Семечко[2].

— А может, он будет котом, — добавил я.

Что-то стукнулось о мою ногу: это в нее уткнулся Ники. Я глянул вниз и увидел, что он держит удивительно крохотную, размером с грейпфрут, ржаво-красную тыкву.

— Ник, ты чего?

Тяжелое, глубокое молчание.

— Что случилось?

Голос сквозь ткань моих брюк:

1. Шутливое требование угощения на празднике Хэллоуин.
2. Легендарный персонаж Америки; шел впереди переселенцев на Запад и выращивал на продажу саженцы плодовых деревьев (чаще всего яблонь). На месте его питомников возникли многие города.

— Кто этот мальчик?

— Не знаю, — сказал я. И снова улыбнулся парнишке из "файерберда". Странно, но когда я улыбаюсь чернокожему, я чувствую себя особенно белым. — Тебя как зовут?

— Андре, — ответил мальчик. — А почему он взял такую маленькую?

— Не знаю.

— Как же он поставит свечку в эту крохотулю?

— Хороший вопрос, — отозвался я. — Ники, ты почему выбрал такую маленькую тыкву?

Ники пожал плечами.

— А вы себе уже купили тыкву? — спросил я у Андре.

Тот кивнул:

— Большую.

— Ник, — сказал я. — Давай, поищи хорошую большую тыкву. Андре прав: в такую свечу не поставишь.

— Не хочу большую тыкву. Не хочу ставить в нее свечку. Не хочу, чтобы ее ножом резали.

Он поднял голову и посмотрел на меня блестящими глазами. Выкатилась и нырнула вниз слеза. Можно подумать, я его в курятник посылал — зарубить птицу к ужину. До этого он что-то не проявлял такого сочувствия к ежегодному жертвенному овощу. Но в последнее время Ник мог заплакать от чего угодно.

— Я хочу позвонить маме, — сказал он. — По сотовому. Она тебе не даст резать мою тыкву.

— Нельзя беспокоить маму, — ответил я ему. — Она сейчас отдыхает.

— Почему она отдыхает?

— Ты сам знаешь.

— А я не хочу, чтобы она сейчас отдыхала. Я хочу ей позвонить. Позвони ей, пап. Она скажет тебе не резать тыкву.

— Она ж неживая, — вмешался Андре. Он принимал такое участие в нашем семейном выборе тыквы, что становилось ясно: он просто хвастался, никакой большой тыквы у него не было. Его отец торговал наркотиками и не думал о том, что надо купить сыну тыкву. Наш с ним разговор о ее выборе — все, на что Андре мог рассчитывать. Эти мои предположения ничем не подкреплялись, и если вы скажете, что они попахивают расизмом, я с вами соглашусь. Но какой отец оставит ребенка одного в незапертой машине, на обочине дороги, в убогом, заброшенном месте? Кто на такое способен?

— Ей не больно, когда ее режут.

— Я хочу эту, — сказал Ники. — Я назову ее Кэт.

Я покачал головой:

— Нет, нельзя.

— Ну пожалуйста.

— Нет, мой хороший, — ответил я. — Мы не даем тыквам имена.

— Потому что мы в них не верим?

— Да.

Мне не хотелось, чтобы он перед всеми теми людьми, что околачиваются возле нашего крыльца, произносил это имя, вот уже почти месяц не смолкающее в стенах нашего дома, — и произносил с простодушием, от которого я вдруг разозлился, как от жестокой, дурацкой выходки. У нас с женой не было выбора, однако каждый раз, когда я видел покрытые пушком коленки Ника, торчащие из коротких штанишек, или от него пахло арахисовым маслом, или он засыпал под бубнеж телевизора, ко-

торый мы так и не удосужились убрать из его комнаты, я чувствовал, что, позволив убедить себя одними только — правда, убийственными — фактами и статистическими выкладками, мы совершили непростительную ошибку. Как будто я снова стоял в реанимации, а врачи и сестры привязывали к столу моего извивающегося сына, чтобы зашить рану на лбу. Я и сейчас могу в точности представить, как смотрит на тебя сын, которого ты предательски отдаешь в чужие руки.

— Андре!

Неуклюжей, но уверенной походкой к нам приближался его отец. Взглянув на него, я понял, у кого Андре научился делать пустое лицо.

— Что я тебе велел? — сказал мужчина спокойно, но довольно жестко. Ни на меня, ни на Ники, ни на десяток тысяч лежащих вокруг тыкв он внимания не обратил. — А ну, быстро назад в машину.

Андре тоже что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал.

— Чего?

— А мне можно тыкву? — повторил он.

Вопрос был, очевидно, настолько нахальным, что не заслуживал ответа. Отец мальчика поглубже надвинул шапку, подтянул штаны и сплюнул под ноги в сено. Эти действия, вероятно, означали, что, если Андре немедленно не вернется в машину, последствия не заставят себя ждать. Андре снова поставил лицо на ноль. Пошел к "файерберду" и залез внутрь. На этот раз через свою дверь — большую, красную — и оставил ее открытой.

— У вас славный сын, — сказал я.

Мужчина посмотрел на меня в первый и последний раз.

— Угу, — сказал он. — Да.

Для него я был та же тыква — безъязыкая, валяющаяся меж набитых тюков в месте, которое и местом-то не назовешь. Он направился к машине и, усевшись, захлопнул дверь. Сигнализация замолчала. С урчанием проснулся мотор, и "файерберд", скребя днищем, стал выруливать с пустыря на дорогу. Мы с Ники смотрели ему вслед. Андре обернулся, я увидел распахнутые сияющие глаза и странное выражение на лице, которое следовало истолковать как упрек. Я бросил мальчика на произвол жестокой судьбы и даже не попытался ее смягчить. Но я ничего не мог сделать. У меня не было на этот счет иллюзий. Я одевал и кормил своего ребенка, купал его, укладывал вовремя спать. Я отвел его на прививку, смастерил наколенники и, когда он собирался оседлать свой велик и гонять по улице, заковал его череп со всеми двадцатью восемью костями в прочный пластик. Но потом, когда мир, который мы создали, стал привязывать его к столу, я мог только стоять за спинами врачей и смотреть.

Я взял у Ника его красную тыкву-недомерку и взвесил на ладони.

— Знаешь, Ник, — сказал я, — если хочешь, можешь назвать ее Кэт.

— Не хочу, — отозвался Ники. — Я поищу тыкву побольше.

— Хорошо.

— А эту пусть возьмет Кэт.

— Хорошо.

— Потому что она не сможет выбрать себе тыкву, раз она уже больше не живая.

— Точно, — сказал я.

— Но я все равно не дам ее резать, — сказал он. И пошел обратно в мир тыкв, чтобы отыскать ту, которая бы отвечала одному ему ведомым целям.

Майкл Чейбон

"И родился сюжет..."

Фрагменты интервью

Вопрос. Ваш третий роман "Удивительные приключения Кавальера и Клэя" — удостоен Пулицеровской премии за 2001 год. Его действие происходит в 30-е годы и не только в Америке, но и в Праге. Вероятно, по ходу работы вам пришлось переквалифицироваться в историка.

Ответ. Честно говоря, для того я и взялся за эту тему, чтобы целиком отдаться историческим штудиям. Я с нетерпением ждал момента, когда начну собирать материал, и эта стадия работы действительно оказалась самой приятной. Я поехал на месяц в Нью-Йорк: занимался "разведкой на местности" (бродил по Бруклину, где и происходит действие), сидел в библиотеке Нью-Йоркского исторического общества. Перелопатил целую гору подшивок "Нью-Йоркера". Меня всегда очаровывали старые шрифты, старинные автомобили и одежда, язык давнишней рекламы.

Вопрос. Когда-то вам задали вопрос о книгах, которые на вас повлияли. Вы ответили: "Отныне мою жизнь могут изменить — причем необязательно к лучшему — только мои собственные книги". Вы имели в виду опыт работы над текстом — или то, что происходит с ним после публикации? И как в этом смысле сказались на вашей жизни "Удивительные приключения Кавальера и Клэя"?

Ответ. На последний вопрос пока отвечать рано. Свою часть работы я сделал, но дальнейший процесс, все, без чего роман не дойдет до читателя, еще впереди, а именно это, в сущности, и предопределяет роль книги в моей судьбе. Но я заранее могу сказать, что за годы, потраченные на "Удивительные приключения...", лучше узнал себя как писатель. Я открыл в себе способности, на пробуждение которых раньше только надеялся: оказывается, я умею влезть в шкуру самых разных персонажей, воссоздать картины минувшего и ход времени...

В общем, после четырех лет и четырех месяцев (и четырех дней), потраченных на бесконечные исправления, сокращения и радикальные переделки, после долгих скитаний в кромешной тьме роман преподнес мне настоящий сюрприз — почти совпал с моим первоначальным замыслом. Теперь я верю, что наделен пророческим даром.

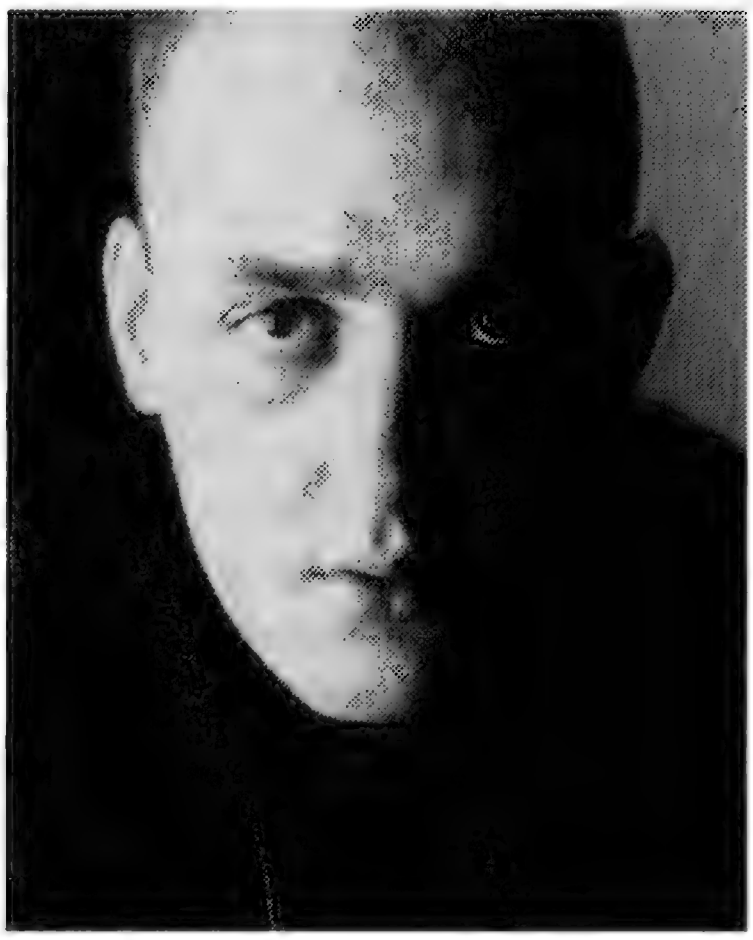
Вопрос. Говоря о своем становлении как читателя и писателя, вы упоминали о влиянии таких признанных мастеров, как Хорхе Луис Борхес, Габриэль Гарсиа Маркес и Джон Чивер. Но в "Удивительных приключениях Кавальера и Клэя" есть, как нам показалось, что-то от комиксов... Какие авторы вдохновляли вас во время работы над этой книгой?

Ответ. Те же, что и всегда. Их список почти не меняется. Возможно, в него стоит внести Уильяма Бойда — мое недавнее открытие и мою новую страсть. Но все то время, пока я работал над романом, от первой до последней страницы, я чувствовал у себя за спиной присутствие Набокова и Маркеса...

А сама идея родилась, когда я прочел, как Джо Шустер и Джерри Сигел — это они придумали Супермена — продали права на свое детище за сто долларов... Иначе говоря, хотя выбранный ими жанр и относится к массовой культуре, коммерсантов из них не получилось... Все это задело в моей душе какие-то струнки — и родился сюжет.

Перевод с английского С. Силаковой

Бен Маркус



Женская пантомима

Рассказ

Перевод Вадима Михайлина

ПЕРВЫМ препятствием на пути к достижению совершенства в искусстве женской пантомимы является переизбыток костей в голове, руках, ногах и туловище. Наилучших результатов позволяет добиться "бескостный" подход, когда плоть можно "лепить" по канонам самых разнообразных лицевых и позиционных стилей. Пантомима, исполняемая мужчиной с полным набором костей ("этажеркой"), чаще всего ходульна, невразумительна и представляет собой всего лишь жалкое подобие истинного *бихевиора*. В человеческом теле слишком много лишних костей, мешающих выявлению скрытых форм и поз, посредством которых высвобождается очистительный эмоциональный узус. Женщина, предпринявшая попытку миметизировать избыточный эмоциональный фон, опираясь при этом на природный набор костей, обречена на неудачу. И только мимостиль, основанный на "сокращенном костяке", может эффективно способствовать достижению душевного благополучия.

Чаще всего наличие и местоположение излишних костей (мезги) в женской голове определяют путем долговременного (месяц и более) простукивания ее поверхности лицевым молотком, причем стиль работы молотком должен быть скорее *беспокоящим*. Обрабатывая молотком одни и те же участки черепа, мы постепенно размалываем излишний костный субстрат, большая часть которого расположена в теменной и затылочной части, каковой и выводится затем из организма естественным путем со слезами, слюной или потом. Любая кость, от которой можно избавиться таким образом, не является жизненно важной: она всего лишь временная скорлупа, чьи оковы следует сбросить.

© 2001 Pushcart Prize
© В. Михайлин. Перевод, 2004

Малокостная женщина, способная набрать как минимум семь фунтов дополнительной лицевой массы, не увеличивая при этом веса остального тела, не нуждается в удалении головных костей. Дополнительная лицевая плоть, как правило, необходима даже самым пластичным из мимов, работающим в "пластилиновом" или "блинном" стиле. Вероятно, наиболее действенным способом локального ожиривания лица на сегодняшний день остается употребление сливок по норме не менее одного галлона в день. Другой рекомендуемый способ связан с перемещением жира с иных, более насыщенных участков тела, таких, как бока и бедра. При этом жир методом агрессивного массажа возгоняется вверх по туловищу и далее в голову, после чего шею стягивают жгутом до тех пор, пока жир не "схватится" и не сформирует естественные пласты в щеках и вокруг глаз.

Если оставить в стороне эти довольно трудоемкие методики, применимые только к маленьким женщинам, любая женщина может добиться существенного сокращения костного субстрата, пожертвовав несколькими фунтами мелких костей в руках и ногах, парой ребер, кое-каким излишним материалом в районе позвоночника ("шток"), коленными чашечками и отдельными фрагментами обеих лопаток. От этих костей, уже разломанных, измельченных и перемолотых, безопаснее всего избавляться через специальную зону костесброса, которую формируют в районе грудины.

Операции по удалению других костей более рискованны, но тем существенней обретаемая взамен мимическая адаптивность. Удаление части челюсти позволяет женщине исполнять пантомиму "головастик", которая оказывает успокаивающее воздействие практически на любую эмоцию, но прежде всего на чувство зависти. Из бескостных рук можно сплести великолепные тенеформы и силуэты, что позволяет исполнять "курочку" и "водопад". Репертуар безруких мимов Джеральдины включает "флюгер" и "слона", не говоря уже о "безрукавке Джона Хенри". Поскольку лишними можно смело счесть все зубы за исключением двух передних, удаление оных позволит вам исполнять гортанные мимы и мимы из серии "чужой язык", совершенно незаменимые при состояниях эмпатии и благоговейного трепета.

Конечно, столь радикальная автохирургия может показаться чересчур серьезным испытанием, но тем приятнее вам будет узнать, что избыточные кости, разломанные и измельченные, вовсе не обязательно удалять из организма; их можно перевести под кожей в район брюшины или затолкать круговыми движениями в аутентичные массивы плоти на ягодицах, где костная масса может храниться долгие месяцы, при условии, что ягодицы будут регулярно массироваться и вымачиваться в воде. Восстановление костей по прежнему местоположению — процесс элементарный: нужно просто-напросто протолкнуть их под кожей в исходную область и затем фиксировать при помощи особой телесной струбцины, так называемого реставратора, который неделю или около того носится под специальным нательным бельем из плотной хлопчатобумажной ткани, пока кости снова не приживутся и не восстановят свои изначальные функции.

Что мне делать с костями после того, как я их удалила?

Если после удаления костей из тела у вас осталось достаточное количество твердой костной массы, из нее следует вырезать бихевиор-свисток, или те-

лесную флейту. Музыка, исполняемая на инструменте, изготовленном из элементов собственного тела, поможет женщине лучше справляться с эмоциями, переживать стрессовые ситуации, а кроме того позволит ей познакомиться с ощущением так называемого временного коллапса, которое помогает избавиться от чувства верности и привязанности к вещам и людям. Мелодии телесной флейты могут использоваться также и для того, чтобы остановить чужое движение, чтобы заставить другого человека заснуть, заплакать или причинить себе увечье — в зависимости от репертуара.

Зверомимы

Представляется вполне естественным, что мимическое изображение зверя (обманка) создает соответствующий внутренний настрой, приводя чувства в усеченное, "животное" состояние. Большинство людей, в том числе и женщины, регулярно и неосознанно миметизируют животных. Женщина-мим ("тихая Глэдис"), которой хочется обуздать собственные чувства, вполне может воспользоваться каким-нибудь из популярных каталогов звериного поведения, скажем, "Библией бихевиора", и за счет тонко подобранных к повседневности зверодействий расширить спектр так называемого человеческого поведения, каковое вынуждена демонстрировать женщина, чтобы аранжировать основные задачи типа ходьбы, плавания, чтения и говорения разнообразными животными бихевиорами: топотом, мяуканьем, почесыванием, взбрыкиванием, ляганием, пыхтением, шипением, подкрадыванием в траве. Всякая женщина должна сама решать, какие животные представляют именно те модели бихевиора, которые ей прежде всего необходимо в себе подавить — или вовсе от них избавиться. В мире теперь столько разных зверей, а история бихевиора стала настолько богатой, что женщине не составит труда найти именно то животное, которое соответствует ее эмоциональному сюрплюсу (демоническому знаменателю); впрочем, поиски подходящего животного лучше всего начинать на старой доброй американской ферме.

Моя зверомимическая практика целиком строилась на твари, известной под названием "лошадь". Я всячески пыталась усвоить лошадиные позы и манеры — рысь, галоп, кентер, умение есть из торбы, встряхивать "гривой", взбрыкивать, когда меня знакомят с новыми людьми, — включая овладение изощренными навыками ржания и храпа, в которых я упражнялась при всякой возможности, пока не научилась самым естественным образом вводить эти звуковые комплексы в повседневную речь так, чтобы окружающим казалось, будто я всего лишь громко прочистила горло — подобного рода лошадизмы требовали от меня такого внимания, что к концу дня во мне физически не оставалось ни одного живого, сколь-нибудь осознанного чувства, а мое мятежное сердце, забыв обо всем прочем, превращалось в простенький насос. Может статься, что главный итог зверомима — та неимоверная усталость, каковой добиться иным способом попросту невозможно. Даже наблюдать за зверем утомительно. Подражать ему — смерти подобно.

Мои самые ранние воспоминания об отце связаны с собачьими пантомимами; затем настало время "волчьего" бихевиора, который сделался неотличим от его естественного поведения: он настолько проникся родительскими чувствами, что почти совсем перестал заходить в дом, стал злобным и раздражительным и слонялся целыми днями во дворе. На собачьей стадии утро в нашем доме в Огайо начиналось с того, что отец

принимался бегать под дверью моей спальни, рычать, скрестись и лаять; он скулил, он выл, он издавал душераздирающие звуки, а иногда скрежетал зубами так, словно пожирал кусок сырого мяса. Время от времени он и впрямь изображал, что ест меня. Если я, еще толком не проснувшись, едва переставляя ноги, подходила к двери, чтобы выяснить, что там за шум, он уносился прочь, и, открыв дверь, я обнаруживала всего лишь пару свежих царапин, потеки слюны и странный запах, исходивший от темного и твердого комочка кала. Стоило мне вернуться в постель, и он снова оказывался тут как тут, лаял хриплым отцовским лаем и скребся в дверь, а потом принимался скулить и бросаться на нее всем телом.

Мама выбрала себе в качестве зверя некое странное существо, в котором я была способна угадать разве что другую женщину, куда старше ее, может быть, ее же собственную мать: скрюченную, печальную, а иногда и вовсе как бы отсутствующую. Это была тихая мимодрама с почти незаметными на первый взгляд элементами стиля, самая изысканная имитация бихевиора, которую мне когда-либо доводилось наблюдать: долгое и неподвижное, изо дня в день, сидение у окна, элегантная манера закрывать лицо руками, череда глубоких вздохов, которые, казалось, вот-вот претворятся в членораздельную речь, но — увы, губам никак не удавалось принять нужную форму, чтобы вылепить из воздуха слова.

Есть ли такие вещи, которых не следует изображать?

Вполне очевидно, что наиболее опасной формой демонстративного миметического поведения является попытка передать человеческие чувства. При неосознанном мимозисе эмоциональных состояний, таких, как плач, смех, сомнение или содрогание от испуга, даже в тех случаях, когда это делается в шутку, словно бы задаваясь вопросом: “а не забавно ли будет, если я и впрямь что-то почувствую?”, в качестве единственного действенного антидота выступает исполнение мима “ничего”, неподвижной позы, каковую следует принять под открытым небом не менее чем на сутки, в течение которых от женщины требуется ничего не делать, решительно ничего, пока вызванная мимом эмоция сама собой не сойдет на нет. Опасность миметизированной эмоции состоит в том, что разница между намеренно изображаемым чувством и чувством настоящим крайне невелика и может вовсе исчезнуть в любой момент; в отдельных случаях притворное чувство бывает даже сильнее настоящего, наносит более глубокие раны и длится значительно дольше. В этих случаях предписывается мим “ничего”, в любую погоду и в обязательном сочетании с чехлом чувств размера А (в полный рост), поверхность которого фиксирует эмоциональное состояние женщины.

Эротомимозис

Имитация полового акта (“швейная машинка”), исполняемая без другого человеческого тела и/или другой основной опоры, позволяет избавиться от чувства замешательства или сомнения. Если я не уверена в том, что способна справиться с какой-либо задачей, исполнение эротомимозиса (в особенности “полноприводной швейной машинки” и “зал-

па из всех орудий") обычно устраняет сомнения и возвращает меня к жизни с обновленным чувством уверенности в себе и собственной значимости.

Обычно я встаю, широко раздвинув ноги, возле стола, который доходит мне до талии. Одна рука заведена за спину и согнута в локте для удержания равновесия, другая лежит на столе (стиль "армейский перепихон"). По счету "три" я начинаю совершать движения тазом, сначала медленные, ритмичные, с мощным досылом бедрами на последнем этапе, как будто я по пояс увязла в густом пудинге. Ягодицы напряжены и подобраны, спина выгнута. Заняв идеальную эротомиметическую позицию, я перехожу к "тремору", то есть к серии коротких и быстрых ударов, затем отступаю и "тяну резину", замедлив движение почти до полной остановки, после чего совершаю очередной полный мах ("двуручная пила"); время от времени я отрываюсь от стола и, выдержав довольно долгую паузу, "колеблюсь" на пороге, что подразумевает необходимость несколько раз привстать и опуститься на цыпочках (это движение иногда называют "выгляни в окошко"), чтобы затем снова вернуться к базисному чередованию ритма глубоких ударов и тремора, а также отбива, увертки и рывка. Этот стиль применим и при подъеме по лестнице, хотя обе руки тогда заняты — ими надлежит опереться о перила ("гражданка"). Если вы практикуетесь возле стены, можно прислониться к ней плечом, а руки сцепить за спиной ("джентльмен"). Естественно, каждый человек должен сам подобрать себе аутентичный эротомим, основанный на первичном жесте, вызывающем сексуальное удовлетворение. Если позволяют средства, можно воспользоваться услугами трах-инструктора. Если акт проникающего совокупления не является для вас первичным сексуальным жестом, мим следует соответствующим образом видоизменить. Весьма полезны в данном случае парадигмы вязания и домашней суеты. Мне приходилось видеть женщин, исполнявших элегантный "мим исчезающего свитера", изощренную "сотейницу", полный сложных извивов "хулахуп", а также "проснись и пой" — поразительно мрачный и вялый сексуальный стиль, который неизменно меня расстраивает; сдается мне, все эти миметические акты были основаны на личном сексуальном опыте — если судить по легкой дрожи, время от времени пробегавшей по лицу исполнительниц, а также по вымученным попыткам сохранить полную сосредоточенность на исполняемой мимодраме. Существуют тысячи способов изобразить человеческое соитие — взбивать воздух бедрами, не говоря уже о множестве не менее полезных зверостилей, однако женщине ни в коем случае не стоит впадать в отчаяние, если ее индивидуальный модус соития непривычен для стороннего наблюдателя или не принят в современном обществе, если он требует усложненной и радикально инновационной телесной техники, способной испугать присутствующих, которые могут принять данный эротомим за эпилептический припадок или системный бред. Натянутое и неискреннее исполнение консервативного эротомима еще никому не приносило пользы — и никого не могло ввести в заблуждение. С каждым годом все большее число женщин в минуту сомнений останавливается в круговерти обыденных забот и дел, чтобы наскоро смиметизировать свой неповторимый, глубоко личный миг оргазма — какой бы неуместной ни казалась им поначалу подобная выходка и скольких бы сил она не потребовала, — благодаря чему они наново набираются решимости и воли идти в этот мир с открытым забралом.

Прощальный мим

Прощальный мим — быть может, самая терапевтически действенная из всех доступных на настоящий момент техник имитации бихевиора, хотя, с другой стороны, само понятие терапии включает в себя перспективу некоего облегчения, освобождения, являющегося одной из неизменных навязчивых идей среднестатистического американца, вследствие чего поддаваться ей нельзя ни в коем случае, а потому и обращаться с этой формой имитационного бихевиора надлежит осторожно. Если при исполнении прощального мима вас охватит слишком сильное "чувство благополучия", мим следует немедленно прекратить. Прощальный мим, если не вдаваться в подробности, подразумевает создание "воображаемых врагов", которых затем надо "убивать" воображаемым оружием, душить, топить или уничтожать любым другим способом, который изберет женщина, решившая "попрощаться". Функция убийства, самый распространенный в нашем мире бихевиор, к сожалению, доступна далеко не всем женщинам, для большинства она чревата уголовной ответственностью. Однако, судя по всему, *редукции любовного чувства*, хотя бы в самой необходимой мере, можно добиться исключительно через мимозис насильственного умерщвления лиц, включенных в орбиту женского самосознания: отцов, братьев, так называемых любовников, незнакомцев. С воображаемыми дубликатами всех этих врагов или, иначе говоря, с эквивалент-манекенами женщина может обращаться так, как ей вздумается, давая полную волю врожденной агрессии — избивать их, пинать, расстреливать, протыкать насквозь, — что приводит к оттоку чувства близости ("привязанности"), от которого иными способами избавиться практически нельзя. Исполнять прощальный мим следует в специально отведенном "умертвилище", где ничто не будет препятствовать свободной вокализации акта и где всегда под рукой широкий выбор оружия. Женщина должна убивать таким образом своих отцов, братьев, друзей и приглянувшихся ей незнакомцев всякий раз, как только всерьез даст о себе знать *ловушка привязанности.*

С другой стороны, в тех случаях, когда в теле женщины начинает слишком громко заявлять о себе персональный показатель стыда (ППС), что может привести к нежелательным рецидивам раскаяния или даже к попыткам принести свои извинения, применяется весьма небесполезный мим самоубийства ("плотник"), который, если практиковать его достаточно часто и с хорошей самоотдачей, способен в буквальном смысле слова заглушить нежелательные чувства. Исходя из собственного опыта, я бы посоветовала исполнять этот мим, так сказать, "арпеджио". Для достижения желаемого результата рекомендую в быстром темпе сымитировать множество последовательных самоубийств: стреляться, вешаться, резать себя ножом — и всякий раз миметизировать состояние смерти. Отдельные женщины могут предпочесть "шекспиризацию" момента умирания и растянуть его на целый день, тогда как другие, преследуя аналогичную цель преодоления чувства стыда, избирают стиль "мультик", в их случае более действенный.

Оборудование и снаряжение

Идея женской пантомимы подразумевает жизнь, не обремененную предметами, так что какое бы то ни было оборудование само по себе вы-

глядит парадоксом, от коего, за вычетом двух или трех исключений, следует отказаться в пользу чистой мимостетической жизни, принципиально неизменной в любой точке мира. Хотя некоторые женщины предпочитают носить в течение всего периода дневной активности чехол чувств размера А и антиэмфатический чулок, я воспринимаю склонность к такого рода пышным одеяниям как откровенное проявление высокомерия, как беззастенчивое хвастовство достигнутым уровнем самоконтроля, оскорбительное для лиц, пока еще не нашедших в себе сил справиться с пагубной привычкой к эмотивности и чрезмерной экспрессии.

Однако для достижения предельного совершенства в женской пантомиме абсолютно незаменима одна вещь, а именно коррекционное зеркало в полный человеческий рост ("транслятор"), которое служит мимизирующей женщине окном в иной мир и самыми невероятными способами искажает каждое ее действие: оно "девичит" ее, придавая ей более нежный вид, "мужичит" ее или старит, оно присваивает ее движения, а потом, через некоторое время, проигрывает их заново на фестивалях бихевиора, оно задает зеркальный образец самых отточенных жестов и поз, лекало, по которому женщина может лепить свое тело после того, как закончит упражняться в бихевиорах.

Причинит ли вам боль попытка изобразить собственного отца?

Мимезис члена вашей собственной семьи ("засада") может создать весьма интересный бихевиор-минус, который способен длиться едва ли не бесконечно, особенно в тех случаях, когда семья в состоянии работать как единая команда, мимизируя бихевиоры друг друга ("цифра восемь") в реальном времени и постоянном режиме, меняясь ролями на всем протяжении многотрудного периода меж двух сеансов сна. Камуфляжный мим имеет место, когда сразу несколько членов семьи внезапно начинают имитировать одного и того же человека ("ярмо собачье"): к примеру, родители принимаются миметизировать собственного сына и, с одной стороны, не прекращают этого занятия ни на минуту, а с другой — не признаются в этом; подобная ситуация именуется чрезмерным мимом или "любовью" и может спровоцировать продолжительный бихевиор-минус в том мальчике, которого имитируют, особенно если он отзывается на имя Бен Маркус. Чрезмерный мим освобождает мальчика от необходимости быть самим собой, поскольку все его бихевиоры с успехом покрываются действиями родственников. Он может наблюдать за игрой своих родителей, изображающих его до тех пор, пока юные разум и сердце не сделаются настолько тихими и незаметными, что рано или поздно подростка вообще перестанут замечать, и он, не привлекая к себе чьего бы то ни было внимания, сможет покинуть сей видимый мир.

Бен Маркус

"Я хочу испробовать альтернативные варианты..."

В интервью, фрагменты из которого мы публикуем ниже, Бен Маркус рассказывает о своем новом романе "Знаменитые женщины Америки", успевшем привлечь внимание критиков еще до выхода в свет.

Вопрос. В "Знаменитых женщинах Америки" вы создали целый параллельный мир, проработанный до мельчайших деталей. А откуда возник ваш замысел?

Ответ. Я читал энциклопедические словари под названием "Знаменитые женщины Америки", составленные в 50-х годах. По тексту чувствовалось, что авторам словарей страшно не хотелось включать представительниц "слабого пола" в канон выдающихся исторических деятелей. Статьи о знаменитых женщинах были выдержаны в снисходительном, небрежном, даже злопыхательском тоне. Я очень удивился, что в наукообразный текст проникли явно негативные эмоции. Тут-то меня и осенило. Я принялся сочинять для этого словаря альтернативные статьи, как можно более хвалебные. Получались вымышленные, фантастические биографии выдающихся женщин. Я написал целую кучу таких рассказов. В книгу они так и не вошли, но, отталкиваясь от них, я увлекся миром тайных женских сект. Это и послужило фундаментом романа...

Вопрос. Прежде чем прочесть "Знаменитых женщин Америки", я заглянул на веб-сайт этой книги. Весьма занятно...

Ответ. Работа над сайтом доставила мне огромное удовольствие. Но я вовсе не собирался делать из него рекламу для романа, а хотел, чтобы он стал продолжением мира, который я придумал. Например, я заказал художникам нарисовать головные уборы для персонажей, и они это сделали.

Вопрос. Я слышал, что в Огайо, где происходит действие "Знаменитых женщин Америки", вы никогда не были.

Ответ. Да, никогда.

Вопрос. А теперь, после выхода книги, собираетесь туда съездить?

Ответ. Таких планов у меня нет.

Вопрос. Почему же вы выбрали именно это место действия?

Ответ. Потому что ничего о нем не знал. Огайо был для меня белым пятном на карте. Мне легче сосредоточиться на том, о чем я не знаю ничего, — так лучше выдумывается. Иначе меня бы сковывали мои представления об Огайо... Мне нравится, когда в произведении возникает напряжение между авторским вымыслом, возвышенным и совершенно фантастическим, и реальными, земными деталями. Когда ставишь перед собой задачу: "А не выдумать ли что-нибудь эдакое?", получается пустопорожняя болтовня, воздушный шар без балласта. Я же стремлюсь писать изощренные по замыслу вещи, но при этом выстраданные, нагруженные смыслом.

Вопрос. Вы дали герою свое имя — Бен Маркус. Это и стало необходимым "балластом" для вашего романа?

Ответ. Отчасти да. Для американской литературы главная тема — это семья. Семья, в которой что-то неладно. Я, конечно, чересчур обобщаю... И все же когда писатель пытается наполнить свою книгу эмоциональным содержанием, самый простой выход — поставить в центр повествования некое семейство и подтолкнуть его к распаду.

Вопрос. В романе есть поразительно сильные описания. Я пытался объяснить одному другу, что это за книга, и у меня вырвалось: "Да в ней, вообще-то, ни-

чего не происходит. Точнее, 'не происходит' в традиционном смысле слова". Я хотел сказать, что события происходят, но не на глазах у читателя...

Ответ. Верно. Это не живые сцены. Это краткий пересказ уже случившегося. Может показаться, что автору просто не хватило мастерства, что ему не дается стремительно развивающийся, захватывающий сюжет. Считается едва ли не аксиомой, что для писателя такой сюжет — высший пилотаж. Но меня подобные требования сковывают... Ведь потенциальные возможности языка куда шире.

Но я прекрасно сознаю: мой язык — почти неудобоваримый, странный, темный — очень многим читателям не интересен. Или вообще не по зубам. Однако меня постоянно преследует мысль: если слова действительно имеют смысл, если ты можешь их прочесть, то в чем же сложность? Мы считаем "трудным для восприятия" любой текст, если он не сводится к модели "движение персонажа во времени, перемежаемое описаниями предметов". Но это, в сущности, модель кино, а не литературы! Я же хочу испробовать альтернативные варианты. Не для того чтобы кому-то себя противопоставить — нет, просто писатель должен исследовать и другие миры, это же здорово! Но одновременно я хочу, чтобы меня читали. Я не желаю быть заумным "писателем для писателей", который интересен только людям, с утра до вечера ломающим голову над смыслом чужих текстов. Вот какая дилемма стоит в наше время перед автором, который стремится к новаторству. Можно ли быть новатором, не выходя за рамки традиционного романа?

Есть, конечно, один способ: умереть и немного подождать. Тогда тебя, возможно, оценят по достоинству. У Борхеса тоже есть вещи, через которые нелегко продраться, — и я его за это очень уважаю.

Вопрос. В контексте "Выдающихся женщин Америки" упоминание о Борхесе далеко не случайно. Мысль о том, что язык — нечто очень податливое, проходит через многие его рассказы.

Ответ. Борхес указал мне путь к свободе — продемонстрировал, что можно использовать также и документальные жанры и формы: эссе, книжные рецензии, все те обыденные дискурсы, которые редко находят применение в художественной литературе. Борхес вторгался в эти жанры, разлагал их изнутри, творил мир, не имеющий ничего общего с действительностью. Так родился особый метод создания художественных текстов. По-моему, теперь его взяли на вооружение очень многие писатели.

Я тоже люблю этот метод. Мне нравится приходить в справочный зал библиотеки и просто рыться в книгах, листать самые экзотические справочники, получая схематические представления о какой-нибудь области знаний, а потом намеренно перевирать факты так, как мне надо. Информация нужна только для затравки. Захлопнув книгу, я начинаю писать — как бы заполняю лакуны между обрывочными фактами и впечатлениями.

Вопрос. Вы вели семинары по литературному творчеству в университете Брауна — колыбели гипертекста. Вы тоже участвовали в движении литераторов-"гипертекстуалистов"?

Ответ. Я присутствовал как зритель на нескольких фестивалях гипертекста. Много чего понасмотрелся. Много спорил обо всем этом с Робертом Кувером. В том, что касается гипертекстов, я жуткий мракобес. Я их не приемлю. И вот что забавно: когда появились гипертексты, к ним прилагался соответствующий литературный манифест, громкие фразы и лозунги, подтверждающие их великую силу. Но все эти слова почти никогда не подкреплялись делом, то есть произведениями. Сейчас, правда, я совершенно потерял связь с этой средой и не знаю, что там происходит.

Перевод С. Силаковой

Алан Даген

Стихи

Переводы Дмитрия Веденяпина и Антона Нестерова

Заметки путешественника

Однажды в пригороде Севильи
я встретил подвыпившего цыгана
в концертном наряде с блестками.
Вероятно, он выступал в каком-то
сомнительном шоу для туристов
и теперь брел домой, выкрикивая:
“Soy el diablo”[1], а две его подружки, хохоча,
подпевали ему: “Ay, que diablo El”[2],
и я позавидовал сатане из Книги Иова,
любимому Божьему хулигану.
Как приятно, наверное, носиться по всей земле,
наводить на богачей проказу
и вообще делать, что вздумается,
зная, что всегда можно вернуться на небо,
и нисколько не сомневаясь
в абсолютном внимании
самого лучшего Зрителя во Вселенной.

О *взаимосвязях в природе*

“Я хочу растерзать тебя”, –
сказал я бабочке
на эротический лад

© 2001 by Alan Dugan
© Д. Веденяпин. Перевод, 2004
© А. Нестеров. Перевод, 2004
1. Я дьявол (*исп.*).
2. Ах, какой он дьявол (*исп.*).

и сделал это — и Вселенная
устояла: солнце не погасло
и небеса не разверзлись,
что неизбежно случилось бы,
если бы законы человеческой морали
имели хоть какое-то отношение
к миру планет и насекомых,
а поскольку это не так,
я просто превратил бабочку
в червя вроде себя самого.
Но крылья, бог ты мой,
какие крылья!

Только не говори, что они
всего лишь жалкие цветные
лоскутки. Нет! Это настоящее
произведение искусства,
хотя и не такое огромное,
как Млечный Путь или,
допустим, твоя любовь.
Непонятно одно: откуда
у червя такая красота,
эти тончайшие порхающие
витражи маленького
порхающего собора.

Пьяные *воспоминания об* Анн Секстон[1]

В первый и последний раз
я видел свою бывшую возлюбленную Анн Секстон
на поэтическом вечере протеста
против какой-то незаконной войны в Азии,
когда один ученый сукин сын,
желая проверить ее репутацию выпивохи,
предложил ей после чтения
пивную кружку вина,
которую Анн выдула залпом,
глядя мне в лицо, после чего заявила:
“Знаешь, мне совершенно все равно,
что ты об этом думаешь”, как будто я
был ее бывшим — кем? — мужем, любовником —
кем? — и едва я открыл рот, чтобы сказать, что я...
ну, в общем, что я ее люблю,
рядом с Анн, как из-под земли,
вырос мой враг, красавчик Галуэй Киннелл[2].
“Все точно, — обратился он к ней, — у вас и вправду
разные глаза: один — синий, другой — зеленый”,
и вот эти двое художников слова

1. Анн Секстон (1928–1974) — американская поэтесса, одна из самых ярких фигур на поэтическом небосклоне 60-х. Покончила с собой. (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)
2. Галуэй Киннелл (р. 1927) — американский поэт и переводчик.

уже разглядывают друг друга
своими прекрасными очами,
а я, как дурак, допиваю последние
капли вина из ее кружки.

Обращение к попугаю во время посещения родительского дома

“Это твой брат — птица”.
Мать причмокивает губами.
Старенький попугай заводит
свою пластинку. “Поцелуй нас, —
скрипит он голосом моего покойного отца, —
птичка-умничка”, и снова:
“птичка-умничка, птичка-умничка”.
Братец-холостяк, ты уже слишком
стар и слишком привык к неволе,
чтобы отправляться в заоконный
холод на поиски любви.
Так что подражай бульканью батареи
и будь чем-то вроде мужа для моей матери.
Я не смог и — улетел.

Предостережение

Не заходи босиком в ванную.
Там, в зеркале, прятался тот, кого я убил.
Да хранит тебя Бог. Да хранит Бог твою расческу.
Я все подмел, но мельчайшие осколки
могли остаться. Берегись мести,
любовь моя, не ходи босиком.

Стихотворение в прозе

Как-то раз на моих глазах сносили дом:
стену ломали чугунным шаром.
В промежутке между ударами
человек, стоявший рядом со мной,
достал из кармана зеркальце, крошечный фонарик и щипчики.
Зажав фонарик и зеркальце в левой руке так,
чтобы свет падал на нос,
а нос отражался в зеркале, он щипчиками вытащил что-то
из ноздри, сказал “Хоп!” и спрятал инструменты обратно
как раз в тот момент, когда шар ударил в стену
и стена рухнула.

Перевод Дмитрия Веденяпина

Дневник за неделю

Значит, так: встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился домой,
поужинал, поболтал, завалился спать.
Встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился с работы,
пожрал и на боковую.
Встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился домой,
потаращился в ящик, и — спать.
Встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился домой,
съел лангет и на боковую.
Встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился домой,
поужинал, перепихнулся и — спать.
И вот наконец-то суббота, суббота, суббота!
Ведь все это было во имя любви, разве нет?
И вот — мы идем в магазин! Облака — я глазею на небо!
И дети — они, а не мы — знают правду о мире!
Сколько выпил я накануне,
что воскресное утро пошло псу под хвост?!
А остаток воскресного дня? Просто нечего вспомнить...
Так что: встал, пошел на работу,
вкалывал, притащился с работы
домой, пожрал и на боковую,
оттянувшийся, но вымотанный за выходные.

***

После твоего первого чтения стихов
я подошел пожать тебе руку
и почувствовал крепость ответного рукопожатья.
Спасибо. Знаешь, старым деревьям
наплевать, когда зелень листвы
по весне разрывает туго набухшие почки, —
деревья ничего не чувствуют, а вот мы
с нашим объективным коррелятом[1] — любовью...
От поэта поэту: нежданная боль,
когда что-то прорвется новое,
но в этом новом и отзвук уже бывшего:
вроде этих твоих колючих стихов,
этих звуковых объектов, которые сплошь — любовь,
они бьют по нервам, разрывая нутро
пока ты потеешь на сцене,
истекая: кровью, сукровицей — в воздухе, полном боли.
Это заметно всякому, кто знает наше ремесло.

1. Объективный коррелят — одно из ключевых понятий эстетики Т. С. Элиота (1885—1965), когда эмоция передается через ряд предметов, ситуаций, цепь событий, заключающих в себе чувственный опыт, соотносимый с данной эмоцией.

О *летней богине*[1], *чье имя хранимо в тайне*

Тебе остается — всего-то не забывать,
коли связался с нею, о паре вещей:
она открывает пути,
она поджидает в конце всех путей.
Но об этом не стоит
задумываться, не стоит, ибо
она — такова
и таков — ты.
Просто не надо упоминать ее имя.
Она любит тебя, по-своему любит.
И ты ее любишь — по-своему.
Что до имен... Назови свою бабу коровой — и все,
твоя песенка спета, так что говорить о богине?
Покуда ты жив (ты ведь хочешь пожить?),
будь почтителен, называй ее
тысячей прозвищ: незабудкой волоокой,
маргариткой собачьего взгляда,
цветком золотым, белой лилией, лилией благоуханной,
хризантемой цветущей —
чем угодно, но главное — не произноси ее имя,
имя волоокой богини,
что начинается с Г,
а потом идут Е, Р и в конце А, —
понятно, о ком я?
О той, что снисходит под покровом
Ночи Солнцестоянья, в сопровождении Звездного Пса,
(его кличут Сириус), пса — охранника и убийцы, —
о той, в чьей власти время начала и время конца:
снисходит — и расцветают цветы
и цветут, умирая, чтобы семенем
стать, бросить плод свой на ветер и снова взойти,
так примни же ковер маргариток. Но помни о псине;
его зовут Черным Псом:
если глянет он на тебя
желтым косящим глазом,
глянет поверх плеча твоего —
жизнь твоя и всё вокруг
обратится горячею черной золою.

Перевод Антона Нестерова

1. Июнь назван в честь Юноны (Геры).

Алан Даген

В*место послесловия*

Из интервью разных лет

Я — это то, что я делаю. Работа над стихами — часть моей жизни, вот и все. Так уж вышло. Стихи — это просто одна из составляющих моей жизни. Одна из истин.

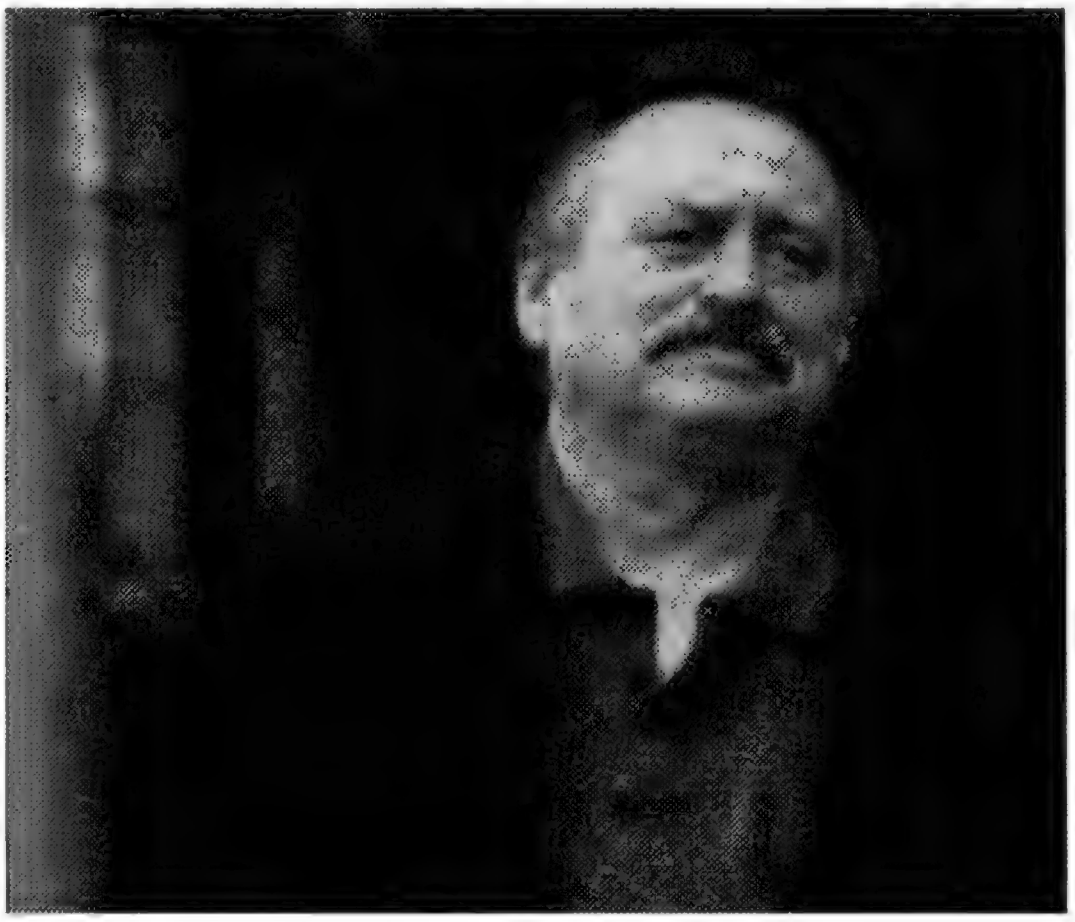
Ремесло поэта становится все более распространенным. Ширятся ряды людей, пишущих стихи, причем пишут они, как правило, о самих себе. Наверное, эта тенденция порождена ощущением "затерянности в толпе". Все острее потребность заявить: "Смотрите, это я. Я — это я. А кто ты?"

Мои стихи сами себя пишут. Это безудержный монолог — и он рождается глубоко-глубоко во мне. Подсознание диктует, а я записываю. Кажется, в былые времена такое называлось "вдохновением". Впервые я услышал этот голос подсознания, когда был подростком, — и слышу его до сих пор. Когда я начал писать, голосу было 16 лет. Столько же ему и сейчас — он не стареет. Просто со временем я все дотошнее редактирую то, что он говорит.

Иногда это не голос, а голоса, и они неотличимы от реальных, звучащих извне — но это уже симптом безумия. Впрочем, я-то безумия не боюсь давно — с тех пор, как однажды лишился рассудка, а потом вновь его обрел. Весьма занятный опыт. Дело было так: я тронулся умом, начал слышать какие-то голоса. Решил сходить к врачу. Позвонил, договорился — и голоса тут же умолкли. А теперь мне вообще ничего не страшно, ведь в Труро, где я живу, психоаналитиков больше чем достаточно.

Составление и перевод С. Силаковой

Джим Гаррисон



Повести

Перевод Виктора Голышева

Гей, на Запад!

В Уэствуде Бурый Пес узнал облако, которое видел несколько лет назад и на три с лишним тысячи километров восточнее, около Файетта – на заливе Биг-Бэй-де-Нок. Облако было то же самое, без вопросов. Вопрос – каким путем оно добралось до Калифорнии, а именно до Уэствуда? В том, что он узнал облако, ничего замечательного не было. За свою жизнь в лесу он три раза видел, как птицы (ворон, ямайский канюк и дрозд) упали мертвыми со своих веток, и один раз, когда незаконно раздевал затонувшее судно в озере Верхнем на глубине тридцати метров или около того, проплывавшая мимо очень большая озерная форель у него на глазах медленно опустилась мертвой на дно. Было минутное искушение подобрать ее и сунуть в сумку с медной фурнитурой с затонувшего судна, но потом он подумал, что рыба сподобилась мирного конца и было бы не очень правильно поджарить ее, полить жгучим соусом и в итоге превратить в дерьмо. В детстве, когда Б. П. мрачнел или дулся, дед обыкновенно говорил ему: "Не вешай нос, малый. Все мы когда-нибудь станем говном червей".

Облако проплыло, сменилось синевой. Б. П. вытянулся в своем гнезде под громадными листьями куста таро (Colocasia esculenta) в ботаническом саду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе – куста, который, на взгляд Б. П., был одним из самых любопытных божьих творений – настолько не похожим на флору его родного Верхнего полу-

© 2000 by Jim Harrison
© В. Голышев. Перевод, 2004

острова в Мичигане, что казался растением с другой планеты. Но, как ни прекрасен был купол огромных зеленых листьев, он не помог Бурому Псу сориентироваться по пробуждении как обычно. Это позволяло разрушить чары яркой жизни сновидений — они рассеивались с легкостью, стоило только сказать: я в хижине, и сейчас тут пять градусов. Ветер северо-западный, тридцать узлов. Первое ноября, и если бы я вчера не перебрал виски, то ночью встал бы, подкинул в печку, и сейчас на рассвете было бы десять, а не пять, от которых съеживается писька. Так примерно. Как можно начать день, не зная, где находишься?

Или — что, наверное, важнее — зачем? Ответ на последний вопрос будет длинным, неточным, расплывчатым из-за желания думать, что находишься там, где надо, после короткого и звероватого путешествия. Семь дней назад он был на Верхнем полуострове, а теперь под кустом таро в Уэствуде, в том, что иносказательно зовется Большим Лос-Анджелесом (поскольку Малый распирает от желания вырваться на волю и при первом же удобном случае он так и делает).

По правде говоря, Бурый Пес был в бегах, спасался от мичиганской каталажки с Лоном Мартеном, бывалым, но глубоко жуликоватым индейским активистом, после ряда мелких и сравнительно безобидных правонарушений. Его первым преступлением было мародерство на судах, затонувших в озере Верхнем, и даже подъем тела коренного американца с одного из них — в итоге он решил, что это могло быть тело его покойного отца, хотя вывод был основан на косвенных признаках. Как пресловутое падающее домино, за первым преступлением посыпались другие, хотя в собственных глазах он был альтруистом, ибо трения с законом возникли из-за того, что он старался защитить тайное индейское кладбище, существование которого выдал в любовном трансе хорошенькому молодому антропологу женского пола. Эти правовые проблемы осложнялись еще и тем, что два дня назад Лон Мартен покинул его в Кукамонге. Б. П. пошел в туалет по малому делу, а когда вернулся, Лона Мартена уже не было, и, когда осведомился у смотрителя о местонахождении Лона Мартена, поскольку драгоценная медвежья шкура, принадлежащая Б. П., была в багажнике, смотритель сказал: "Вали отсюда, пока полицию не вызвал" — не очень дружелюбный ответ. Он продолжал настаивать и спросил дорогу в Уэствуд, после чего тот просто показал на запад. Б. П. был несколько зачарован серьгами смотрителя в виде больших колец и счел, что они нежелательны, если ты собираешься затеять драку. Противнику достаточно схватиться за кольца, и тебе каюк — так он, по крайней мере, думал, направившись на запад, хоть и с тяжестью на сердце, но по дороге с утешительным названием "Шоссе Стрела".

Пешком от Кукамонги до Уэствуда около семидесяти пяти километров — совсем недалеко для человека, которого в родных местах прозвали "ходячим дураком". У Бурого Пса дорога заняла неспешных тридцать шесть часов, включая короткие дешевые трапезы и сон, — как истинный лесовик он был способен вздремнуть с открытыми глазами. В здешних краях закрыть глаза было, кажется, небезопасно. Когда он спросил Лона Мартена, сколько народу живет в Лос-Анджелесе, и Лон Мартен сказал: "Миллионы и миллионы", количество это ум отказался усвоить.

Со времен студенческих беспорядков в Чикаго, где Бурый Пес был весьма нерадивым студентом Института Библии имени Муди, он не видел таких толп, движущихся туда и сюда. Ясно было, что-то тут происходит, но он не совсем понимал что. Еще одним большим скоплением людей был Съезд горнистов и пожарных в Ишпеминге несколько лет назад, но там

цель была вполне понятная. Бурый Пес стоял перед гаражом, дожидаясь, когда сменят прокладку на головке цилиндров в его фургоне, и наблюдал, как несколько сот горнистов, сменяя друг друга, демонстрируют свое мастерство. Горновой музыки хватило бы на целую жизнь с лихвой.

Семидесятипятикилометровый переход предоставляет много времени для обдумывания всего, но успокаивает ходьба, а не размышления. В отличие от некоторых образованных людей, Бурый Пес не испытывал грызущей меланхолии при первой встрече с Лос-Анджелесом. Его умонастроение было гораздо более функциональным ввиду конкретности цели — вернуть медвежью шкуру и убраться обратно в малолюдные места, все равно какие, хотя воображению его рисовалась Канада — в качестве убежища, где его не достанет рука закона, а не красивого стрип-клуба в канадском Су-Сент-Мари, где девушки раздеваются до голого состояния, — скорее какое-нибудь место на реке Нипигон на северном берегу озера Верхнего. Говорят, там в изобилии водится порядочная ручьевая форель, а кроме того, он всегда может вернуться к противной работе лесоруба.

Последний такой продолжительный поход был у него несколько лет назад, когда две девушки из Гранд-Маре, которых он отвез в Мьюнисинг, бросили его там после того, как он немного перепил в баре "Корктаун" и спустился по травянистому склону возле пристани, чтобы вздремнуть. Он думал, что сильно любит одну из них с невинным именем Мэри, родом из Детройта, и это она, с ее темным прошлым, угнала его фургон, чтобы провести выходные в Айрон-Маунтине. Так глубоко огорчило и рассердило его это предательство, что он шел обратно в Гранд-Маре пешком, два дня, не торопясь, семьдесят с лишним километров — столько же, грустно думал он сейчас, сколько от Кукамонги до Уэствуда. Но в тот раз двигался он большей частью по пересеченной местности и, не считая магазинчика в Мелстренде, где он взял несколько банок свинины с фасолью, не видел ни одного человеческого существа. Была середина мая, тепловатая, с большой луной, и еще до первого костра он преодолел свое чувство к Мэри. Фрэнк, настоящий друг и владелец местной таверны, предупреждал его, что Мэри "гуляет", что и подтвердилось утром, когда Б. П. залез в ванну Фрэнка, куда было добавлено сильное антилобковое средство. В их северном краю блох не водилось, и Бурый Пес был озадачен зудом во всем теле, даже в бровях. Фрэнк в свое время поработал на стройке во Флориде и на основании опыта точно оценил ситуацию.

В нескольких часах от Кукамонги он вспомнил, что слышал это название раньше. Воскресными вечерами его дед ловил на батарейном "Зените" программу Джека Бенни, а Джек Бенни часто проезжал через Кукамонгу по дороге в Голливуд. Приятель Джека Бенни Рочестер, бывало, ни с того ни с сего выкрикивал: "Кукамонга", и однажды летним вечером очень маленький медведь, рывшийся в их мусорной яме в дальнем конце сада, вдруг поднял голову, заслышав голос Рочестера. Б. П. и его друг Дэвид Четыре Ноги — он умер в джексонской тюрьме — очень завидовали голосу Рочестера, но воспроизвести его не могли, а когда пробовали, дед кричал: "Задрайте глотку". Воспоминание о Джеке Бенни немного воодушевило его и расширило зримый мир, до этой минуты состоявший из подножного цемента и узкого туннеля впереди, куда были устремлены все его помыслы. До Джека Бенни он пытался вспомнить содержание библейской истории о Руфи среди чужих колосьев. Во время короткого пребывания Б. П. в Институте Библии имени Муди в Чикаго пастор их прихода, чтобы развеять его возможную тоску по дому, прислал ему письмо о Руфи среди чужих колосьев. К несчастью, церковь по ошибке пере-

вела деньги на оплату всего обучения не в институт, а самому Б. П., и он истратил их на черную официантку. Выражение "влюблен по уши" всегда его смущало, потому что, хотя любовь и требует иногда физических усилий, такая акробатика представлялась несколько чрезмерной.

Когда его горизонт расширился, взыграло природное любопытство — безусловно, самое ценное, что есть у человека, — и он стал внимательнее наблюдать эту незнакомую страну Лос-Анджелес, и кое-что прояснилось. Говорят, например, что каждый год продаются миллионы новых автомобилей, но на Верхнем полуострове их видишь редко, разве что на шоссе 2 и 28 в туристский сезон, где они собираются по вечерам перед мотелями подороже. Здесь, в Лос-Анджелесе, были бесчисленные тысячи новых автомобилей, и это показывало, что местные гребут деньги почем зря. Но, стоя на эстакаде над шоссе Река Сан-Габриэль и глядя сверху на забитые машинами, бампер в бампер, шесть полос в одну сторону и шесть в обратную, он удивлялся, почему водители не поменяются работой, чтобы прекратить кутерьму. Кроме того, он дважды прочел указатель, но реки Сан-Габриэль все равно не нашел, а спросить, где она, было не у кого — не было, кроме него, других пешеходов.

Несколькими часами раньше он остановился в маленьком парке и порядком удивился флоре, совершенно ему незнакомой, хотя на Верхнем полуострове знал названия сотен кустов и деревьев. Птицы тоже были загадкой, и он спросил себя, зачем было Богу создавать путаницу, изобретая столько видов, но потом решил, что эта путаница и придает природе красоту.

Чтобы не подмывало все время оглядываться через плечо, хотя место преступления находилось за три тысячи километров отсюда, он постарался перевести свою ссору с законом в более мирные участки сознания. Дабы защитить свое индейское кладбище, он сжег палатку двух вредных молодых антропологов, а кроме того, желая прогнать осквернителей, вместе с Лоном Мартеном метал на охраняемое место раскопок шутихи "Вишневая бомба" и М-80. Само по себе это едва ли было тяжким преступлением, но, согласно условному приговору, он не имел права появляться в округе Алджер, хотя в ходе атаки, спланированной Лоном Мартеном, выдвинулся из округа Льюс в округ Алджер всего на несколько сот метров. Бурый Пес мыслил так, что, если бы закон подражал великолепной расхлябанности природы, судья мог бы сказать: "Что было, быльем поросло". Или что-нибудь вроде. И тогда он вернулся бы домой, при условии, конечно, что заберет медвежью шкуру. Делмор сказал, что медвежью шкуру нельзя выносить из района, где зверя убили, поскольку в шкуре все еще содержится его дух. Правда, Б. П. подозревал, что Делмор, когда ему надо, сам придумывает индейские поверья.

Самой большой проблемой в долгом переходе оказалась вода. В этих краях ее так просто не давали. В быстром кафе с него запросили пятьдесят центов за большой пенопластовый стакан воды, и он не смог ее пить, потому что она, похоже, содержала какие-то жуткие химикалии. Девушку за прилавком тронул его ошеломленный вид, когда он попробовал воду, и она показала на холодильный шкаф с 0,8-литровыми бутылками этой жидкости по доллару с лишним штука. День стоял теплый, и выбора не было. К такому обороту он был не совсем готов, однако вспомнил спор в таверне Фрэнка о бутылочной воде, недавно появившейся на Верхнем полуострове. В это время он силился расслышать своих любимиц Патси Клайн и Дженис Джоплин на музыкальном автомате, а Эд Микула, глава местных финнов, орал, что бесценную Божью воду продают в бутылках

на унции, дороже пива и бензина. Кто стоит за этим преступлением, вот вопрос. Б. П., когда спросили его мнения, сказал, что вода, бензин и пиво одинаково важны, но не взаимозаменимы, и он готов пойти к любому известному ему ключу и взять первоклассной воды, хоть среди зимы, — сказал-то правильно, но в Лос-Анджелесе вряд ли есть ключи, поэтому он заплатил полную цену за бутылку воды, про которую на наклейке было написано, что привезли ее аж из Франции — с ума сойти. Он вообразил какой-то огромный бурлящий секретный источник в далекой Франции и хотел спросить продавщицу, но она была занята. Он тут же подумал, что, если вернется домой, можно набрать из какого-нибудь ключа всего двадцать бутылок — и денег на жизнь хватит. Однажды он опустил в ключ пятиметровый шест, и напором его выбросило в воздух. С похмелья можно было просто лечь там на мягкий зеленый мох и долго пить холодную воду, а если полежать тихо, там снова начинала ходить ручьевая форель.

После первых двадцати четырех часов хода карта, которую он купил еще за один доллар на заправке, размокла от потных рук. Он миновал непонятное место, где авеню Сезара Чавеса переходила в бульвар Сансет, и в магазине подержанных вещей купил черные судки и зеленую форму швейцара — судки, чтобы нести воду и остатки еды. Осталось сорок девять долларов, но сорок девять было ему и лет, так что совпадение почему-то казалось удачным — по крайней мере пока оно есть. Неприятность заключалась в том, что он стал пахнуть, и надо было найти где помыться, прежде чем переодеваться в чистое. На кармане рубашки швейцара напечатано было имя "Тед". Но, с другой стороны, решил он, едва ли удалось бы найти рубашку со своим именем. Он дошел до водозаборного бассейна Силвер-Лейк, перелез через ограду и немного поплавал. Ходоки и гуляющие с собаками кричали ему, что купание в городском водохранилище запрещено, но он не обращал на них внимания. Недовольные отступили по той же причине, по какой отступили в Монтерери-Парке два недружелюбных мексиканца, когда Б. П. спросил у них дорогу. Во-первых, он выглядел туповатым, а во-вторых, благодаря постоянной работе в лесу выглядел, если воспользоваться современным термином, накачанным. У него не было больших грудей, как у культуристов, которых он видел на улицах в обтягивающих майках, но он мог в одиночку сгрузить с пикапа двухсоткилограммовую чугунную печь, а мужчины обычно замечают тех, кто способен на такие подвиги. Но, что гораздо важнее, в характере его не было ни грана враждебности. Даже в юные годы, будучи чемпионом среди кулачных бойцов на западе Верхнего полуострова, он никогда не испытывал гнева, если только противник не бил его в глаз. И даже гнев из-за предстоящего осквернения кладбища индейцев (анишинабе) обращен был больше против него самого, за то, что выдал место. Вдобавок он обладал, что называется, "обезоруживающей улыбкой", хотя с приближением к Тихому океану и более зажиточным районам впечатление от нее должно было слабеть, поскольку явно не доставало двух зубов.

Под листьями пои или таро в ботаническом саду было много приятного. У него хватило здравого смысла не выбросить мешок для мусора, аккуратно сложенный в заднем кармане. "Как только подумаешь, что он тебе не понадобится, тут же и понадобился", — говаривал старик Клод. В глуши, когда начинался дождь или холодный ветер, Клод залезал в свой мешок для мусора, садился на корточки, затягивал шнурок и, свернувшись клубком, мирно кемарил. Клод утверждал, что мешок для мусора — одно из великих изобретений современного человека, наряду с туалетной бумагой и оцинкованным ведром. Бурый Пес склонен был согласиться, но ча-

ще, когда имел в них нужду. Уэствудская ночь была приемлемо теплой для северянина, однако мешок служил отличной подстилкой от сырости. Удовольствие нисколько не уменьшалось оттого, что в Уэствуде по части леса было небогато, и, как он заметил уже перед вечером, в прудике, питавшемся от ручейка, бродил всего десяток летаргических оранжевых карпов. Неплохо было бы поджарить такого на углях, но дым, конечно, привлечет внимание, а ботанический парк на ночь официально закрывался.

Приятно под лиственным одеялом было еще и потому, что дед научил: куда бы тебя ни занесло, ищи в этом хорошее, а не плохое, — и на протяжении всего перехода от Кукамонги его приятно пугало разноцветие людей, прибывших, наверное, из многих стран. В школе его не особенно привлекала идея Америки как плавильного котла — дед шпарил в котле свиней перед тем, как соскабливать щетину. Несмотря на все осечки, он получал удовольствие от того, что видел, особенно на людном Сансет-Стрипе, по которому продолжал шагать на запад в конце дня. Тут были буквально сотни красивых женщин, пусть и худоватых по его понятиям. Делмор любил повторять: "Сторонись женщин, которые не радуются еде, у них определенно что-то неладно", — но даже у старика Делмора закружилась бы голова от такого изобилия. Правда, ни одна из них на Б. П. не взглянула, но он объяснял это зеленым швейцарским костюмом и черными судками, которые обладали тем преимуществом, что, кажется, делали его невидимым для многочисленной полиции.

Больше того, он стал невидимым для всех, кроме редких рабочих, кивавших ему при встрече. Когда он дошел до фешенебельного района Беверли-Хиллз, ему пришлось прямо-таки махать рукой перед носом у девушки, продававшей звездные карты, которые — ему это сразу стало понятно — не имели никакого отношения к небу. Он три раза спросил дорогу на Уэствуд, прежде чем она соизволила его заметить. Глядя куда-то мимо его шеи, она сказала, что через несколько километров надо повернуть налево, на Хилгард. Что-то в ней было очень знакомое, и он вспомнил, что прошлой зимой, когда он валил дерево и оно сыграло, повредив ему ногу, так что потом пришлось выздоравливать, Делмор дал ему напрокат видео под названием "Попки наголо", — и девушка эта, точно, была похожа на одну из "попок" в фильме. Он не удержался, спросил, а она ответила: "Может, да, а может, нет", — но щеки у нее чуть-чуть зарумянились. Он хотел продолжить беседу, но тут подъехала машина с пожилыми туристами, желавшими узнать, где живет Фред Макмарри, и Б. П. пошел дальше. "Попки наголо" не назовешь, конечно, первоклассным фильмом, а все-таки удивительно: только что пришел в город и сразу встретил знакомую артистку. Дело в том, что он видел не очень много фильмов. Ближайший кинотеатр с одной стороны был в Ньюберри, за восемьдесят километров, а другой — кинотеатр Маркетта — в ста шестидесяти километрах к западу. Делмор смотрел на видео старые вестерны: прокат их стоил дешево, и он их ненавидел, что придавало очень нужную яркость эмоциональной жизни. Еще одним препятствием для Б. П., существовавшего на прожиточном минимуме, было то, что билет стоил столько же, сколько пять стаканов пива в таверне Фрэнка. Однажды, лет в двенадцать, они с Дэвидом Четыре Ноги угнали "плимут" и поехали в открытый кинотеатр смотреть "дерзкий сексуальный фильм", как говорилось в рекламе. Частью это была мультипликация: колонна сперматозоидов шагала в чрево, и Дэвид крикнул из окна кабины: "Вон я там первый", в ответ на что раздался смех и гудки. В конце фильма тощая женщина рожала крупным планом — довольно страшно и похоже на то, как рожали животные на ферме. Они с Дэвидом решили, что за те же пятьдесят центов с носа могли

бы посмотреть гениталии Дебби Шварц – она брала как раз столько, доллар за посмотреть.

Подыскав себе лиственное гнездо в ботаническом саду, Бурый Пес прошелся среди зелени. Легкий вечерний бриз с запада очищал воздух, весь день имевший оттенок желтой сопли и температуру, близкую к температуре тела, что делало его еще более похожим на экссудат. Б. П. набрел на маленькие заросли бамбука и, осветив их спичкой, с удовольствием отметил, что бамбук похож на сильно увеличенные тростниковые удилища, с которыми он ловил рыбу во внутренних озерах. Бамбук был с ногу толщиной, и Б. П. прикинул, что таким можно вытащить рыбу размером с упряжную лошадь. А ветер наверняка дул с Тихого океана, и тело его буквально наэлектризовалось от перспективы увидеть этот знаменитый водоем. Он много времени провел над картами, его любимой школьной книгой был Атлас мира в библиотеке, и он явственно помнил, как выглядит этот океан на бумаге. Пока он раскладывал на земле мешок для мусора, мысли о Тихом океане перетекли в образ девушки, вылезавшей из открытого "мерседеса" на Сан-Стрипе, и так случилось, что она одарила его видом верхней части своих ног, вплоть до голубых трусиков и чуть заметных меховых частей. Она прошла по тротуару в магазин, и он изумлялся грации ее движений, мягкой смазке в этом теле, придававшей такую красоту ее походке. Он зашептал старую песню: "На тихоходном судне я мечтаю увезти тебя в Китай" – что-то в этом роде, а потом уснул, в обыкновенности своей не думая, что попал в переплет и что некоторые в этой местности, прилегающей к большому университету, не говоря уже о кинобизнесе, примут его обыкновенность за что-то исключительное.

Кто часто спит под небом, тот знает, что такой сон никогда не приобретает коматозного характера зимней спячки, которой столь многие ждут от ночи. Ты просыпаешься, может быть, сто раз на одну-две секунды, чтобы твой слух, обоняние и зрение при тусклом свете проверили, что вокруг. Это происходит настолько бессознательно, что не нарушает отдыха. Бурого Пса посетила одна любопытная кошка, а также звезды, появившиеся наконец, когда притушил свои огни город. Несколько раз пробуждались и мыслительные процессы, фиксируясь на простых вещах – например, что он больше не может тратить по семь долларов в день на воду. Воздух в саду был свежим, чудесно отличаясь от грибных ароматов в номерах отелей, где они ночевали с Лоном Мартеном, вооруженным десятком липовых кредитных карточек. Бурый Пес заметил, что пара простеньких спальных мешков обойдется дешевле ночевки в мотеле, но Лон Мартен обозвал его глупцом и "одеяльной жопой" – уничижительной кличкой традиционных индейцев. Лон Мартен настаивал, что ему нужен ночью письменный стол, чтобы поработать над "коллоквиумом", с которым он выступит в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Лон Мартен обзывал его глупцом так часто, что в Ларами Б. П. вынужден был схватить его за пояс и прижать к стене, и пока тот висел, попросил больше не говорить "глупец", ибо по библейским понятиям называть брата "глупцом" – ужасно. Находясь в неудобном положении, Лон Мартен, конечно, согласился, но про себя подумал, что, не будь он братом Дэвида Четыре Ноги, ему туго пришлось бы с этим недалеким глупцом, который ничего не умеет сделать для своей выгоды.

Примерно за час до рассвета на Хилгард-авеню завыла сирена, и сквозь листву Б. П. разглядел мигание желтых огней "скорой помощи". Этот вой был самым жутким из звуков, производимых человеком, и едва

он затих, как над головой затрепыхался эвакуационный вертолет и сел на крышу медицинского центра, соседнего с садом. Б. П. не раздражился, а наоборот, подумал, что у местных людей есть сколько надо денег для помощи своим больным и раненым. Несколько зим назад его приятель-лесоруб, придавленный упавшим деревом, напрочь отморозил часть зада, пока восемь часов дожидался помощи. Конечно, напомнил себе Б. П., за эти полтора дня встречались во множестве и такие бедняки, которым можно только посоветовать встать перед автомобилем, чтобы поменять судьбу. Прямо над ним незнакомым голосом крикнула сова, а вскоре зашевелились рассветные птицы, которые приносят спящему под небом час самого крепкого сна — может быть, генетический остаток тех времен, когда хищный враг всегда был ночным и заря означала сладкий сон безопасности.

Сообразив наконец, где он находится, Бурый Пес стоял на коленях и аккуратно отряхивал и складывал мешок для мусора. В это время к нему подошли двое служащих сада, молодые мужчина и женщина, и сказали, что ему не разрешается здесь спать. "А я уже поспал", — ответил он и добавил, что место прекрасное. Они были ботаники, аспиранты, и толстенькая девушка хотела дать ему доллар, но он отказался, объяснив, что у него уже есть сорок девять. Он задал несколько вопросов о флоре, которую она охарактеризовала как "тихоокеанскую кайму" — термин новый для него, хотя он мысленно увидел черный контур берега в атласе. Еще он спросил, нет ли в окрестностях приличного леса, где можно устроить стоянку, и они сказали, что, кажется, нет, — правда, молодой человек добавил, что можно попробовать в парке имени Уилла Роджерса, дальше по бульвару Сансет. По слухам, там живет пума, прямо посередке Лос-Анджелеса, и много койотов, не говоря уже о гремучих змеях и птицах. Эти сведения убедили Б. П., что место здесь все же не такое плохое. Он спросил о местонахождении "индейской конторы" в университете, рассчитывая, что оттуда можно будет выйти на след Лона Мартена. Они сказали, что такая, наверное, должна быть, но где она, им неизвестно. Потом они попрощались и ушли со своими садовыми ножницами, и толстенькая девушка показалась ему отсюда довольно приятной. Он подумал, что можно было бы сидеть с ней голышом в прудике с рыбками возле бамбука — это было бы как в каком-нибудь старом фильме про тропический остров. По пути из сада он посмотрел на верхушку очень высокой пальмы, и ему вспомнился один из любимых фильмов Делмора "Пески Иводзимы" — самому Б. П. он не нравился из-за бесконечного кровопролития. Коварные японцы сидели на верхушках кокосовых пальм — потому, объяснил Делмор, что у них головы похожи на кокосовые орехи. У самого Делмора голова была похожа на шар для боулинга, девятый размер, на тощем маленьком теле.

Когда Б. П. вышел из сада, сердце у него застучало, и шаг ускорился. Какая удача! Прямо напротив, на той стороне Хилгард, незаконно припарковавшись, стоял пятилетний грязный коричневый "таурус"-универсал Лона Мартена, и помятый толстый мужчина пытался его открыть. Уворачиваясь от машин, Б. П. пересек улицу и, когда снова взглянул в ту сторону, позади "тауруса" с визгом затормозила патрульная машина, а толстый мужчина в отчаянии привалился к двери. Б. П. едва успел выпрыгнуть из-под колес желтого "феррари" и, пробежав несколько шагов по инерции, очутился прямо между мужчиной и полицейским. Впоследствии он дивился такому скрещению судеб. Не придумав ничего лучшего, он открыл судок, допил последнюю воду и только тут заметил, что коричневый "таурус" — не Лона Мартена. Черт, подумал он, вяло улыбаясь

толстяку и полицейскому. В эту самую минуту полдюжины студенток посыпали по тротуару с веселой песней, все одинаково загорелые, с подтянутыми задками. Пока полицейский смотрел на девушек, толстяк, исступленно подмигивая Бурому Псу, выхватил из кармана пачку денег. Полицейский раздраженно повернулся к нему, потом к Б. П.

— По-моему, ты собирался сесть за руль. Я могу тебя забрать, — сказал полицейский.

— Я ждал моего шофера Теда и доставал из машины рукопись. Ты не можешь арестовать меня по подозрению в намерении. Кроме того, меня повсюду возит Тед.

— Садись в машину и заводи, — сказал полицейский, и Б. П., взяв ключи у толстяка, сел в машину, явно не Лона Мартена, хотя кавардак здесь был еще хуже. Но в ней не пахло главным топливом Лона Мартена, индийской коноплей.

Зазвонил автомобильный телефон, первый в его жизни, и толстяк со словами: "Это с побережья" — вскочил на пассажирское место.

— Мы сами на побережье, мудозвон, — сказал полицейский, после чего потребовал у Б. П. водительское удостоверение: — Ты водитель. Где твои права?

— Да, сэр, — сказал Б. П., зная, что с полицией первым делом нужна вежливость.

Он немного гордился тем, что всегда обновляет права, хотя анкета для обновления была его единственной почтовой корреспонденцией, поскольку ни в каких организациях он не состоял и даже не имел карточки социального страхования.

Полицейский двинулся было к своей машине, чтобы проверить права, но передумал и сказал, что сам он родом из Ливонии, района в Детройте, и охотился на оленей под Кертисом, не так уж далеко от Гранд-Маре. Еще он ловил окуней в Ле-Шено и щук на Рапид-Ривер — обе породы Б. П. не уважал, но умолчал об этом. Б. П. спросил его, зачем он переехал в Лос-Анджелес, и полицейский сказал, что всю жизнь хотел стать актером. Они пожали друг другу руки, после чего полицейский наклонился к окну толстяка, говорившего в телефон: "Если ты думаешь, что я стану переписывать его барахло за сто штук, можешь пососать у республиканца".

— Боб, заткнись и слушай меня. Даже во сне не вздумай снова водить машину в этом городе. Ты лишен навсегда, Боб. Получишь минимум год, какого бы адвоката ни нанял. Только прикоснись к рулю, и триста шестьдесят пять дней будешь есть и срать с мексиканцами и черными.

— Не смей так говорить со мной, обмундированный петух. Я был морским пехотинцем, — сказал Боб, положив трубку.

— Не был ты морским пехотинцем, Боб. Мы знаем твою биографию. Ты просто писатель.

Он ушел с видом победителя, а Б. П. повернулся к Бобу, удивляясь, как он осмелился назвать полицейского "обмундированным петухом", и спросил его об этом.

— Конституция Соединенных Штатов. Кроме того, он хочет получить роль. Он пробовал меня отмазать после последнего ВНВ, но нижние чины ничего не решают. На Сан-Винсенте я въехал через бордюр на разделительную полосу — было жарко, и я хотел припарковаться под деревом.

— Что вы нарушили? — спросил Б. П.

На Верхнем полуострове, особенно в районе Маркетта и Эскanобы, за вождение в нетрезвом виде полагался большой штраф.

— Пункт двадцать третий — немного тяжелый. — Он подал знак трогаться, и они поехали по Хилгард к бульвару Сансет. — Я Боб Дулат. Куда ты хочешь?

Бурый Пес сказал: "К океану", но вопрос его озадачил — он думал, что у Боба дела или назначена встреча. А еще немного нервировало то, каким необычным образом он получил работу, и возникал вопрос, должна ли жизнь меняться так круто. Он объяснил Бобу свою теорию, почему нельзя ездить быстрее семидесяти девяти километров в час, а Боб сказал, что, если будешь так ползти на автостраде, тебе загонят глушитель в жопу. Речь Боба представлялась Бурому Псу странной смесью грубого языка лесорубов и причудливого возвышенного трепа "лесных яппи"[1], как их называли, — богатых людей, строившихся в глухих местах на севере, чтобы жить ближе к природе. Среди них часто встречались приятные люди, но выражались они мудрено. Б. П. заготавливал дрова для четы тридцатилетних, которые выписали из Миннесоты классную бригаду и построили себе замысловатый бревенчатый дом. Они переплачивали ему за дрова, и он в обмен пытался дать им оленину (добытую незаконно, не в сезон), но они были истыми вегетарианцами. Бурому Псу это представлялось очень странным: мечтой его жизни было ежедневно съедать по большому бифштексу в течение целой недели, если когда-нибудь найдутся деньги. Они даже позвали его с собой в сауну, и женщина была совершенно догола раздетая и притом обалденная. Он боялся, что возникнет эрекция, но был с похмелья, и жару они нагнали до невыносимости, "чтобы очиститься от шлаков". Угостили его вегетарианским питанием из овощей и зерен, но с приправой как бы для мяса, довольно вкусной, хотя позже вечером он все равно съел у Фрэнка фирменный полуфунтовый бургер. Между ними возникло охлаждение, когда он встретил ее перед продовольственным магазином, и она сказала: "Хорошо к себе отношусь". Б. П. просто спросил: "Почему?" — а она совершенно расслоилась, стала визжать, что он "неблагодарная свинья", прямо на улице, и местные даже подумали, что у них отношения. Увы, это было не так. Однажды, когда он привез дрова, они занимались йогой в солярии, и женщина, в одном бикини, заложив пятки за голову, помахала ему рукой. Он выгрузил и сложил дрова, целых семь кубометров бука, а они в это время упражнялись в солярии, сильно удивляя его своими вывертами.

Боб уснул в машине, наговорив разных слов, таких, как "психастеник", "говноед", "этиолированная" и "поебень". Б. П. свернул с Сансета в парк Уилла Роджерса, просто осмотреться, поскольку чувствовал, что работа эта может оказаться недолгой и может понадобиться место для ночевки. При виде природы у него буквально потекли слюнки: народу мало, и холмы без конца. А при мысли о том, что здесь где-то рыщет пума, все эти многомиллионные виллы вдалеке показались крохотными, игрушечными. У пары йогов в их "убежище", как они его называли, никогда не останавливались гости, и местные удивлялись, зачем им два туалета.

До того как Боб уснул, Б. П. услышал кое-что из его прошлого, немного путаного и отдававшего выдумками. Боб сказал, что вначале собирался стать специалистом по настоящей старой литературе из Англии, преподавал в Ашленде на севере Висконсина, потом в Висконсинском университете у себя на родине в Мадисоне. Его жена, сын и дочь, сту-

1. Яппи (от young professional) — молодые люди, в основном горожане, представители деловых и профессиональных кругов, исповедующие буржуазные ценности и ориентированные прежде всего на успех. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

дент и студентка, смертельно больны. От этого у Б. П. в горле встал ком, но через минуту Боб сказал, что сын — гимнаст в Большой десятке[1], что дочь — бегунья, заняла высокое место в Чикагском марафоне, а жена занимается декоративным садоводством, у нее своя фирма. Б. П. пытался вообразить, как они надрываются из последних сил, пораженные смертельным недугом. И хотя они преуспевают, Боб считал своей обязанностью зарабатывать деньги, чтобы обеспечить им комфорт в их беспросветном будущем. За три лета Боб написал три детективных романа, очень удачно — о профессоре со Среднего Запада, который один среди всех людей ощущает истинное и всепроникающее зло мира. Последние несколько лет Боб наездами жил в Голливуде, зарабатывая колоссальные деньги для лечения своего гимнаста, бегуньи и деловой жены. Он предложил Б. П. спросить сколько, Б. П. спросил: "Сколько?", и Боб сказал: "Больше тысячи в день" — непостижимая для Б. П. сумма. Однако именно в ней и в нынешней должности Боба — писатель — Б. П. почуял неладное. В школе у них был учитель, только что из Мичиганского университета, а не из учительских колледжей штата, как остальные, которые сильно его не любили за то, что чересчур умный. Этот молодой учитель знал, как устроено все на свете, и, главное, мог объяснить ученикам. Он снял на катушку фильм, проявил его, вставил в заводной аппарат и показал, как получается движущаяся картинка. Б. П. много лет был под впечатлением от этого показа, а учитель ни слова не сказал о том, что кто-то пишет фильм. И хотя Боб Дулат утверждал, что только придумывает истории для фильмов, пахло это подозрительно. К сожалению, любимого учителя застигли за баловством с Дебби Шварц во время лесного похода — с той самой, которая показывала за деньги. Ей тогда было пятнадцать лет, но во многих отношениях она была взрослее учителя. Ученики протестовали против его увольнения, но школьный совет был непреклонен. Бурый Пес и Дэвид Четыре Ноги приняли участие в бунте, набросав в калорифер в котельной собачьего дерьма и лимбургского сыра, после чего школу эвакуировали. Несколько лет спустя Б. П. услышал, что Дебби и любимый учитель поженились, живут в особняке под Сан-Франциско, и учитель придумал новые функции для компьютеров.

Пока они ехали к Малибу, Боб Дулат продолжал спать и даже храпел, выдувая неприятные пузыри. Б. П. подумал, что он, наверное, много работает: под глазами у него были мешки, и он дергался во сне, как дедушка после двух смен подряд — шестнадцати часов на лесопилке.

Б. П. был не совсем готов к одному из выдающихся переживаний своей жизни. Он следовал за медленно двигавшимся зеленым "крайслером", который вела дама с голубыми волосами, как вдруг после подъема перед ним открылся Тихий океан. Он съехал на узкую обочину, вылез и прислонился к капоту, сперва закрыв ладонями лицо и глядя между растопыренных пальцев — впитать такую картину открытыми глазами было не под силу. Ему стало душно, как будто под грудиной застрял кусок угля, и по всему телу возникло легкое колотье, наподобие того, что бывает за несколько минут до близости с женщиной. Если бы он знал бетховенскую "Оду к радости", то услышал бы ее — бескрайний мятый голубовато-зеленый простор манил так, что душа говорила только на языке воды, забыв все остальное. Ему не терпелось потрогать воду руками, поэтому он запрыгнул в "таурус" и рванул с места, так что Боб Дулат при-

1. Большая десятка — зд.: десять университетов Среднего Запада, чьи спортивные команды считаются сильнейшими в стране.

открыл глаз с равнодушным недоумением. Кто везет меня и какая разница? Я всю ночь не спал, надрывая то, что осталось у меня от сердца, — из-за актрисы притом. Коричневую машину ведет какой-то Бурый Пес.

В Малибу Б. П. поставил машину на почти пустой площадке перед ресторaном и спустился на берег. Он стал на колени и пощупал воду — холоднее, чем думал, как майская в озере Верхнем. Волна окатила его туфли, восхитительное чувство — ноги, не привыкшие к бетону, до сих пор горели после перехода из Кукамонги. Мимо прошла большая яхта, поручнями почти задевая воду. Б. П. помахал ей, и двое в желтых дождевиках помахали в ответ, что очень расположило его к человечеству. Он час просидел на берегу, совершенно позабыв о новой работе и наблюдая за морскими птицами, похожими на редких певчих ржанок, только покрупнее — наверняка родственники. В сознании его воцарилась мирная пустота, если не считать мысли о том, что вот он вернет себе медвежью шкуру и до того, как отправиться в Мичиган на место преступления и, возможно, наказания, а лучше к северному берегу Онтарио, родственнику Верхнего полуострова, проведет пару ночей здесь на берегу, завернувшись в медвежью шкуру, и еще пару ночей на горах, которые увидел в парке Уилла Роджерса. Конечно, там много табличек "Устраивать стоянки воспрещается", но в мире вообще развелось много табличек "воспрещается то да се", и, чтобы не задохнуться, стараешься не обращать на них внимания. На Верхнем полуострове они обычно продырявлены пулями — либо от возмущения, либо как удобные стрелковые мишени. В разгар сезона мошкары — в конце мая и в июне, когда комары и черные мухи, случается, надоедают, — Б. П. в ветреные ночи любил поспать на 25-километровой пустынной береговой полосе озера Верхнего — каждый раз в другом месте, хотя порядок действий почти не менялся. Сначала он покупал буханку домашней выпечки у старой дамы, для которой заготавливал дрова, вылавливал несколько рыб, покупал шестерку пива, разводил костер из плавника, жарил рыбу со свиным салом в старой чугунной сковородке, ел ее с хлебом, солью и табаско[1] — бутылку его, обмотанную изолентой, чтобы не звякала о карманный нож, он всегда носил в армейской куртке. Приканчивал пиво в сумерках: здесь, на севере, в период около летнего солнцестояния они наступали поздно, часов в одиннадцать; отскребал сковороду песком, потом раздевался и отскребал себя в холодных волнах. Может забрести дама (хотя такого не случалось), а нехорошо, если ты грязный.

Когда он вернулся к машине и отпер ее, Боб Дулат еще спал и обильно потел, потому что машина уже раскалилась на утреннем солнце. Б. П. тронулся, но кондиционер издавал жуткие звуки и не работал, пришлось открыть все окна. Бобу снился плохой сон, он подвывал, махал руками, хватался за лицо. Сперва Б. П. растерялся и просто хотел бежать, но вместо этого решил включить погромче приемник. К счастью, он был настроен на мексиканскую станцию, и женский голос, полный страсти, лирические рыдания, сменявшиеся прекрасными высокими нотами, гармонировали с бессловесным, молчаливым простором океана, хотя Б. П. не думал на таком языке.

— Я никогда не был таким человеком, каким был раньше, — сказал Боб, открыв глаза. Он вытер лицо платком и поглядел на воду. — Когда умру, я исчезну в море. В горячем море.

— На лодке? — спросил Б. П., с легкой грустью вспоминая толчею волн на беспокойном Верхнем озере.

1. Острый соус из испанского перца.

— Я не вправе уточнять. Выпьем пива. Эта блядская машина просто парилка. В гараже в Энсенаде какая-то сволочь украла какие-то детали кондиционера.

— Открываются только в одиннадцать, — сказал Б. П., успевший проверить дверь кафе после грез о пиве на берегу.

Он прошел за Бобом к служебному входу, где Боб забарабанил в дверь, и дал малому в грязном белом поварском костюме 20 долларов за два "текате". Б. П. с удовольствием выпил первое в жизни заграничное пиво, глядя на океан.

— Женская амброзия. Душок водорослей. Привкус сосков. И отчасти шины, — сказал Боб, пригубив вино.

— Ах ты Боб, толстый черт, — взвизгнула официантка, постукав его по котелку шариковой ручкой.

Первое пиво дало хороший разгон. Когда Боб заказал пять полных обедов с бутылками красного и белого вина, Б. П. решил, что он ждет гостей. Сам Б. П. держался мексиканского пива — отношения с вином у него оборвались в молодости, когда они с Дэвидом Четыре Ноги украли ящик "могендовида" и — не пропадать же зря — выпили целиком, отчего им стало плохо. Очень долгий обед потребовал семикратного пива — Б. П. всегда считал это идеальным числом. Боб тоже любил число семь и заметил, что заказал пять обедов, а не четыре, потому что нечетное число лучше четного. В нищенской молодости он поклялся, по его словам, никогда не есть плохого обеда, который портит настроение на весь день. Заказывая пять, ты сильно увеличиваешь шансы на то, что подадут что-нибудь приличное. Б. П. поднял вопрос о дороговизне этого обычая, и Боб ответил, что агент выторговал для него тысячу долларов в день — гроши по сравнению с тем, что получают некоторые актеры и актрисы.

— Вечером заглянем на студию. Сегодня ночные съемки. У этой актрисули тридцатиметровый трейлер с джакузи. Мажет устрицы икрой, хотя их надо есть отдельно. Гамбургер надо смолоть при ней из лучшей вырезки, иначе есть не будет. Тунца ей подавай свежевыловленного. Трусики меняет десять раз в день — все за счет студии. Я слышал, что лучший парикмахер в Беверли-Хиллз берет с нее пять сотен за бритье пипки — потому что голубой и эта работа ему не по вкусу. На меня не ссылайся — может, это и не так.

Сведения были не того рода, чтобы Б. П. стал их распространять, хотя Фрэнку они могут понравиться. Мысли его как-то застряли на том, что этот ненормальный получает тысячу в день на прожитие и прежде чем заказать еду сверяется со своим "пищевым дневником", — он объяснил Бурому Псу, что избегает есть одинаковые блюда в течение года, добавив, что с Нового года начинает с чистой страницы.

— А как же яйца? — спросил Б. П.

— Есть тысяча способов приготовить яйца, — ответил Боб и выдал сумасшедшую серию яичных рецептов, многие на французском, который Б. П. знал, потому что встречал канадских французов в Су-Сент-Мари. Ему нравилось, как они говорят, потому же, почему нравилось слушать старую традиционную речь оджибуэев (анишинабе) — например, когда Делмор говорил по телефону с другом. Делмор объяснил ему, что весь этот язык состоит из условных звуков. А теперь он слушал, как этот стебанутый писатель говорит о том, что не может два раза за год съесть одно и то же. Он лениво подумал, что сказала бы об этом его возлюбленная — антрополог Шелли. Она регулярно посещала своего мозгового

доктора для настройки, и когда Б. П. окинул взглядом массив еды перед ними, в нем тоже было что-то безумное, хотя аппетита это не отбило. Они ели дандженесских крабов, моллюсков, устрицы и рыбу трех сортов, включая ушастого окуня и желтоперого тунца.

— Можешь представить мне рекомендацию? — спросил Боб, отложив на долю секунды вилку и сделав чудовищный глоток из стакана с вином.

— Нет. Я здесь по секретному делу. Не взял никаких бумаг. — Б. П. был доволен своей выдумкой. Кто будет таскать при себе все бумаги? Хотя из бумаг он имел только упомянутые водительские права да двадцатидевятилетней давности карточку воинского учета.

— Вынужден предположить, что ты в бегах и хочешь затеряться в большом городе, — сказал Боб. — Не забывай, что я пишу детективные романы и пользуюсь уважением в кругах профессиональных криминалистов.

— Расскажи это тем, кому не насрать, — ответил Б. П., изучая изысканный панцирь дандженесского краба. Он думал, что это создание носит свой дом с собой примерно так, как старый Клод носил мешок для мусора и его учил носить. — Подумываю поехать в Орегон валить лес, а может, в Шапло, в Онтарио. Если хочешь меня колоть, сам води свою машину и с кулаком любовь крути в тюряге.

— Успокойся. Мне только сесть за компьютер, и мигом получил бы на тебя материал.

— Если б знал мое имя.

Б. П. вынул из кармана ключи от машины Боба и двинул их по столу мимо большой чашки с vongole[1], сильно приправленных чесноком. Две женщины за столиком неподалеку обедали в темных очках, что показалось ему неудобным.

— Охолони, — сказал Боб. Он толкнул ключи обратно и, намотав на вилку спагетти, украсил их сверху моллюском из чашки. — Мое происхождение тоже неизвестно, даже мне самому.

— И мое, — сказал Б. П., зачерпывая ложкой из чашки масло с чесноком.

Мало кто из туристов понимал, что еда с большим количеством чеснока полезна как репеллент, хотя сейчас он вдруг затосковал по родным комариным местам, по озерам и болотам, по бесконечным холодным дождям, снежным карманам в болотах, не тающим до конца мая, по шельфовому льду, погребенному под песком и камнями на берегу Верхнего озера и часто доживающему до июня. Покопал — и ставь туда пиво, будет стоять холодненькое.

— Я часто притворяюсь неизвестным принцем-сиротой, но, по правде, моя мать была неразборчива в связях. Тяжело примириться с тем, что твоя мама не блюла свое тело. — Боб на секунду опечалился, потом слопал несколько устриц.

— Я слышал, моя тоже, но решил, что у нее были причины. Дедушка говорил, что у нас сильные тела, и мы всегда можем заработать на харч и койку, и женщинам иногда приходится распустить подпруги, чтобы прожить. Растил-то меня он и, может, щадил мои чувства — мало ли что мне придется услышать. Ну, всякие там местные сплетни. — Сейчас устрицы занимали Б. П. больше, чем прошлое.

— Папу и старшего брата, на меня не похожего, мы оставили на ферме недалеко от Кокрейна, севернее Ла-Кросса, — сказал Боб. — Жили в О-Клэре, Фон-дю-Лаке, Ошкоше и, когда я учился уже в средней школе, остановились в Райс-Лейке — там, кстати, лучшая в мире пицца: ресто-

1. Морские черенки (съедобные моллюски) (*итал.*).

ран "У Драга". С тех пор я не большой ее любитель. Трудно снижать требования. Это все равно что вернуться к официанткам после того, как спал с красивыми актрисами и манекенщицами.

— А я всегда любил официанток. — Б. П. заметил, что кости и мясо у морских рыб плотнее — видно, им надо тяжелей трудиться в жизни, чем пресноводным. — Конечно, я мало что знаю о манекенщицах, а тем более — об актрисах. Хотя познакомился вчера с одной — она играла в фильме "Попки наголо".

— Видел его. Занимательно, но по части сюжета слабо. Почти вся наша порнуха пронизана нашим коллективным сисечным фетишизмом. Все эти деньги, что тратятся у нас на переоборудование сисек, — отдать бы их пяти миллионам американских детей, которые каждый вечер ложатся спать голодными. Я рос как беспризорник, перебивался с хлеба на воду, мотался по трущобным висконсинским городишкам, но был способным пареньком и благодаря усердию добился успеха.

— Что стало с твоей матерью? — Б. П. внимательно следил за тем, как Боб немного затрудняется с ответом, и вспомнил другую программу, которую дедушка слушал после Джека Бенни. Она называлась "Выдумщик Макги и Молли". Выдумщик много выдумывал.

— Я щедро содержу ее в шикарном доме престарелых в Милуоки. Мой старший брат и отец писали мне записки, что им не нравятся мои детективные романы. Это глубоко меня ранило. — Боб, кажется, был доволен этой деталью, полагая, что она должна повысить доверие к нему.

Б. П., сыт и пьян, отвалился от стола, удивляясь, почему Боб ни разу не взглянул на океан прямо у них за окном.

— Музыка твоя кажется мне малость заумной, мистер Боб. Может, и привыкли к ней в таких местах, которые на остальную нашу страну не похожи.

В этот напряженный момент снова возникла официантка и спросила, не надо ли им еще чего. Боб изобразил искреннее вожделение:

— Только ты, дорогая, можешь удовлетворить потребность более глубокую и более фундаментальную, чем пища. Вся эта пища, которую мы съели, — мертвая. Ты — живая пища.

— Конечно, Боб. Лижи меня и не будешь толстым и пьяным и по часу в день проводить на толчке. — Она шлепнула на стол счет и унеслась.

После ресторана они часок соснули в машине, но с открытыми окнами, и морской ветерок отгонял большинство мух от их храпящих ртов. Проснулись разом, немного обалделые и недовольные. Боб открыл бардачок и настоял на том, чтобы оба приняли по мегавитамину — капсулу величиной с лошадиную таблетку, а потом велел Б. П. ехать на юг, в Санта-Монику, где у него встреча за обедом.

— Ты опять собрался есть? — от мысли о еще одном глотке Б. П. замутило.

— Еда в своей высшей форме не имеет никакого отношения к аппетиту. — Боб вынул маленький диктофон и сказал: "Не вызови мне такси, а подгони мне такси" — с видом человека, решившего важную задачу. Затем он впервые бро́сил взгляд на океан и сказал: — Клубись, клубись, лазурный океан!

В Санта-Монике они остановились на обслуживаемой стоянке "Прибрежного плюща". Боб показал на пирс по другую сторону Оушн-авеню, велел Б. П. быть через час и взглянул на несуществующие часы, как бы озадачившись.

Б. П. был рад оказаться вне пределов досягаемости для Боба и порастрясти обед, который можно оправдать только восьмичасовой пешей прогулкой. В уме, против обыкновения, он ощущал какую-то шаткость, какое-то трепыхание, мешавшее обрести настоящие ориентиры, которые, подобно ныне популярной "ситуационной этике"[1], отнюдь не высечены на камне. Странник уязвим, и пусть он двадцать лет не заходил в церковь иначе как для того, чтобы вычерпать затопленный подвал, назревало какое-то почти религиозное чувство, толчок которому дала могучая карусельная музыка, доносившаяся из большого павильона перед пирсом. Тут стояли элегантные авто и в тени сидели кучкой опрятные шоферы. Происходил какой-то праздник у богатых мальчиков и девочек и их красивых мам. Б. П. стоял, зачарованный музыкой как раз такого рода, какую он больше всего любил, и вспоминал все многочисленные свои поездки на ярмарки Верхнего полуострова в Эсканобе, хотя сквозь фигурные окна павильона видно было, что эта — самая роскошная карусель во вселенной. И он опять заметил, что из-за зеленой швейцарской формы он просто не существует для публики, довольно плотно разместившейся на пирсе. Поблизости курили три привлекательных няни и смотрели прямо сквозь невидимого Б. П. Он был доволен, что обзавелся абсолютной маскировкой, — но если надеешься встретить чье-либо расположение в этом городе, то надо обзавестись и другими шмотками.

От карусельной музыки разбухал в груди комок ностальгии — примитивного, но безусловно религиозного чувства, в соответствии с которым родные места священны, так что, очутившись на чужих берегах, ты вспоминаешь холмы, ручьи, лощины и даже отдельные деревья, ставшие строками песни твоего существования. Чтобы побороть ностальгию, Б. П. глядел вдоль берега на север, в сторону Малибу, на зеленые холмы, сбегавшие к воде, на почти непростительную красоту морского вида. Этот край не слишком напоминал узилище, ожидавшее его дома, или тюрьму округа Алджер, где не умели приготовить яичницу, хоть ты их застрели, а шериф жульничал за картами. Неподалеку — чистая удача — проворная девушка сбросила юбку, правда, под ней оказался купальник. Он немного затянулся в щель между ягодицами, и девушка большими пальцами ловко одернула голубые тесемочные краешки. Сердце у Б. П. подпрыгнуло, когда она погладила себя по ляжкам, а сев позади нее на скамью, он увидел между ее ляжками голубой океан. Она игриво потянулась за пролетевшей совсем близко чайкой.

Созерцать это было выше его сил, и Б. П. прошел дальше по пирсу, где удили рыбу старики, но несколько раз оглядывался на девушку, уменьшавшуюся вдали, — не зная о предостережении Ницше, что, если долго смотришь в бездну, она посмотрит на тебя, но ощущая его физически по пасмурному замиранию в яичках. Недоступность выводит желание на арену тупой озадаченности, и можно почувствовать себя неопрятным до такой степени, когда хочется сесть, зарыдать и съесть свои туфли.

Несмотря на все это, он еще был способен сострадать и другим, и себе. Он резко дал задний ход, вернулся на скамью позади девушки, подобрал брошенную газету и проделал в ней дырочку посередине. Теперь можно было держать ее перед собой, как бы читая, и незаметно подглядывать в дырочку. Об этом методе контрразведки он прочел в журнале "Аргоси" из кипы, хранившейся в дровяном сарае у Делмора.

1. Ситуационная этика отрицает общие моральные принципы. Согласно ей моральное суждение следует выносить исходя из характера конкретной ситуации.

Девушка разговаривала с подругой, той же породы, но более коренастой, и обе тянули через соломинки прохладительное из пластиковых стаканов с таким звуком, который напомнил Б. П. очень грубую шутку об одной местной у них дома: говорилось, что она может засосать мяч для гольфа через садовый шланг. Он отверг эту шутку как недостойную зрелища, видимого сквозь дырку в газете, — оно уже произвело перемену в душевном состоянии, заставив его забыть о земных проблемах. Большой художник смог бы запечатлеть вид океана между ее загорелых ног, с головой далекого пловца, ныряющей в волнах. Сосредоточенность Б. П. была абсолютной, хотя не препятствовала некоей мысли об отмщении Лону Мартену. Это был только второй его день здесь, и хотя сейчас ему везло и настроение было смутно религиозное, он помнил, что единственная предыдущая встреча с большим городом, а именно с Чикаго, много лет назад, отнюдь не была сплошным праздником. Села муха, и девушка дернула ягодицей, как лошадь. Рядом на скамейку опустился голубой, но швейцарская форма отбила у него интерес. Б. П. пришлось заново сфокусировать взгляд на девушке, которая повернулась боком, положив ладонь на игривую ягодицу. Во время их долгого побега из Мичигана в Лос-Анджелес они остановились вздремнуть у реки Уинд к северу от Термополиса в Вайоминге. Б. П., растянувшись на медвежьей шкуре, завороженно глядел на реку, на гладь водоворота с ямочками там, где всплывала форель. Теперь девушка стояла лицом к нему, и сквозь дырку в газете была хорошо видна легкая припухлость венерина холмика. Внезапно на него свалились два стаканчика, полные ледышек, и голубой насмешливо сказал: “Попался, друг?”

Б. П. бросил газету и попытался улыбнуться. Девушки засмеялись и показали ему средний палец. Спасибо хоть чувство юмора есть. Он встал, отвесил глубокий поклон, ушел к концу пирса и там, на нижнем рыболовном настиле, искупил вину. У особо морщинистого старика крючок зацепился за что-то на дне, и он громко скулил, что это у него последняя леска. Б. П. живо разделся до трусов, спустился по железной лесенке и прыгнул, перед тем сказав старику, чтобы стерег его штаны и бумажник. Он с легкостью ушел вниз метров на десять вдоль натянутой лески и достиг дна. Видимость была плохая, а вода на удивление холодна, но он быстро отцепил леску старика от арматурины, торчавшей из сваи. Когда он победно вынырнул после благотворительного очищения, кучка зрителей приветствовала его аплодисментами, но среди них был и немного рассерженный Боб Дулат.

— Б. П., кретин чертов, я тебя час жду. Ты утонуть мог.

— Простите, сэр, хотел помочь несчастному старику. — Он взглянул на несуществующие часы, как перед этим Боб. — Я опытный водитель.

— Пошел ты на х... начальничек, — сказал старик Бобу.

Когда они ехали на восток по Сан-Винсенте, улице, которую Б. П. нашел исключительно красивой, Боб попросил его остановиться, чтобы показать место рокового нарушения. В самом этом месте не было ничего исключительного, если не считать своеобразной ксенофобии, окрашивающей ситуацию, когда один человек показывает какое-то место другому. По положению в жизни они едва ли могли отстоять друг от друга дальше, но Боб прибыл из северного Висконсина, а Б. П. — с Верхнего полуострова, и в каком-то иррациональном смысле оба были как бы заброшены на дикие берега Борнео.

— Так расскажи мне об этом, сынок, — сказал Боб с видом серьезной заинтересованности, может быть и не напускной.

— О чем тебе рассказать? — В Буром Псе что-то дрогнуло от властного "сынок", хотя Боб был от силы на десять лет старше.

— Расскажи, от чего ты бежишь. Уверен, что смогу помочь. Люблю иногда облегчить страдания, снять с себя шоры корысти и оказать добрую услугу.

Тут разговор пошел начистоту. Они вылезли из машины, пересекли газон широкой разделительной полосы и под тем самым деревом, где Боб был грубо закован в наручники и арестован, поговорили. В манере безжалостных следователей из своих романов Боб методично выпытал у Б. П. историю всех трех его отсидок: первая — когда он нырял к затонувшим судам и извлек покойного индейца при всех регалиях, пятьдесят лет пролежавшего на глубине 15 метров и отлично сохранившегося в ледяной воде Верхнего озера, а затем угнал рефрижератор, чтобы отвезти тело в Чикаго с целью извлечения дохода; вторая — за поджог палатки и лагерного имущества антропологов ради того, чтобы спасти от раскопок тайное индейское кладбище, единственное захоронение хопуэлловской доисторической курганной культуры на севере Среднего Запада. Так называемая подруга Б. П., антрополог Шелли, обернулась форменной Евой в Саду — выведала у него местоположение кладбища, соблазнив своим телом и телом своей подруги Тары, несколько более худым — деталь, которую Боб тоже вытянул из Б. П. для полноты картины, наряду с цветом трусиков Тары. Третьим преступлением была недавняя атака на место раскопок, где археологи и антропологи из Мичиганского университета вели подготовительные работы. Б. П. и Лон Мартен по большей части метали шутихи с безопасного расстояния, а более грубая часть операции выпала на долю Розы и группы воинов анишинабе. Тут неприятность заключалась в том, что Бурому Псу было запрещено в течение года появляться в округе Алджер, дабы университетские люди могли работать без помех.

Б. П. хотел рассказать затем о бегстве на Запад, о том, как обменяли угнанный "линкольн" на "таурус" за границей в Канаде — все по плану, родившемуся в искушенном криминальном уме Лона Мартена. Но Боб поднял ладонь и бросился к машине, чтобы позвонить. После этого, томимые жаждой, они зашли в щегольской китайский ресторан в Брентвуде, где Боба хорошо знали. Боб быстро управился с бутылкой "пулиньи-монтрате" за сто долларов, а Б. П. выпил три бутылки пива "кирин". Сколько же иностранных пив в этих местах! Он заметил Бобу, что по части баров здесь не так интересно, как в Чикаго, где на каждой, наверное, улице своя таверна, или в Висконсине, где, кажется, любой может превратить свой дом в бар. Однажды под Алвином, когда рыбачил на реке Брул, он пил пиво в таком доме и присматривал за оравой детей, пока барменша, их бабушка, жарила котлеты на всю компанию, и, больше того, четыре штуки съел бесплатно за помощь по хозяйству, в частности за то, что отнес домой городского пьяницу, взвалив на плечо как двухсотфунтовый мешок овса.

Боб не слушал. Он был сама деловитость, хотя, по наблюдению Б. П., мог разобраться с бутылкой вина так же быстро, как обыкновенный смертный с бутылкой пива. Боб побежал за своим ноутбуком IBM; Б. П. посмотрел на заметки, которые тот писал по ходу дела, но, похоже, написаны они были секретным шифром. Официантка-китаянка принесла ему еще пива и поклонилась. Он встал и поклонился в ответ, что показалось ей забавным.

— Добро пожаловать в нашу страну, — сказал Б. П. с обольстительной, как ему думалось, улыбкой. Девушка была конфетка, экзотичная, как растительность в ботаническом саду.

— Мои родные живут здесь с семидесятых годов девятнадцатого века. Мы приехали строить вам железные дороги и работать в ваших шахтах, — сказала она с лукавым блеском в глазах. На юбке у нее был разрез до половины бедра. Его швейцарская форма, кажется, не произвела на нее плохого впечатления, но это потому, наверное, что Боб — богатый клиент. При таких заработках он, поди, их столько перевидел, сколько сиденье в туалете, хотя не похоже, что это пошло ему на пользу.

— Вуаля! — гаркнул Боб, вбежав с ноутбуком, и застучал по клавишам.

На экране появилось досье, составленное детективом мичиганской полиции Шульцем на Мартена Смита, он же Лон Мартен, в прошлом — член Движения американских индейцев (исключен за растрату), специалист по добыванию денег у Национального фонда искусств для диссидентских фильмов, так никогда и не снятых; разыскивается за мошенничество с кредитными карточками, незаконное присвоение имущества; недоказанное обвинение в изготовлении кристаллического метамфетамина; собирал средства для несуществующей радикальной индейской организации под названием Уиндиго, являясь ее единственным обнаруженным членом; его главный подручный, местный дурак с сомнительным именем Бурый Пес, по имеющимся сведениям, не вооружен, но опасен, поскольку в молодости был известен как кулачный боец.

При слове "дурак" на глазах чуть не выступили слезы. Б. П. указал, что детектив Шульц был отстранен за противозаконную слежку в политических целях, которая запрещена полиции штата. Боб возразил на это, что немалую роль сыграли сексуальные фото Шульца с Розой, бывшей подругой Б. П. Инсценировка организована Лоном Мартеном.

Б. П. был поражен и возмущен тем, что для получения этой информации Бобу буквально достаточно было шевельнуть пальцем. Еще два года назад, до встречи с Шелли, он вел в полном смысле частную жизнь — главным образом потому, как теперь стало ясно, что никого не интересовал. Он затосковал по какой-нибудь далекой охотничьей хижине, чтобы сторожить ее между сезонами в обмен на бесплатное проживание. Он менял кровлю на многих таких хижинах, любил запах толя и дранки, любил смотреть на мир с птичьей высоты их крыш. И горькие слезы в самом деле навернулись, и Б. П. по-настоящему занервничал в этом городе, где конкретное чувство неопределимо.

— Крепись, малыш, — сказал Боб, знаком попросив у официантки еще бутылку вина. — Мы пригвоздим к стене этого подонка.

— Я просто хочу назад шкуру.

— Конечно, хочешь. Ты не считал Лона Мартена опасным, потому что он брат друга твоих детских лет Дэвида Четыре Ноги. Немногие из нас способны признаться себе, что наши друзья оказались негодяями или, может быть даже, что все наши друзья — негодяи, включая родителей, как, например, моя возлюбленная, но беспутная мать, и все наши пращуры мужского и женского пола вплоть до первой страницы истории человечества. Ты же знаешь Библию? Я читал гидеоновскую Библию[1] в тысяче гостиничных номеров, потому что телевидение мне противно, за исключением, скажем, мексиканского и французского, поскольку ни хрена не понимаю, что они говорят. Тогда это терпимо. Ты винишь свою бывшую антропологическую любовницу Шелли за то, что сбила тебя с праведного пути, но это не она сбила, а твоя пипка. Пипки и вагины — это сердцевина великой

1. Гидеоновская Библия — Библия, издаваемая и бесплатно распространяемая организацией "Гидеонс интернэшнл".

тайны жизни. Они наша слава и наша погибель. Некоторые видные теологи утверждали, что у Адама и Евы не было гениталий, когда они пришли в первый Сад, но мы должны отбросить это как идеологию бессильных старых пердунов, вроде тех, что сидят у нас в Конгрессе. По моему убеждению, жизнь в целом может быть гораздо меньше, чем сумма ее частей, и самое достоверное ее содержимое — зло. Где мы сидим сейчас и пьем напитки, это место можно считать сердцем Империи зла. Отсюда мы напрягаем мечты людей, и остаются им от этого только растяжки. Конечно, мы просто зарабатываем на жизнь, как все остальные, — только больше.

Неудивительно, что внимание Б. П. рассеялось, хотя он изображал сосредоточенность. Миловидная китаянка накрывала столы в дальнем конце пустого ресторана. Вопрос отчасти состоял в том, почему люди из разных чужих стран, включая Америку, так непохожи. Фрэнк говорил, что из-за климата, ссылаясь на жаркое солнце Африки, но Б. П. сомневался в этом объяснении. Никто из восточных людей, которых он встретил в свое время в Чикаго, не выглядел желтым, и эта девушка тоже. И из многих сотен знакомых коренных американцев ни один не выглядел краснокожим. Ветеринар из Шарлевоя сказал ему в таверне Фрэнка, что если бы всем собакам на свете предоставили возможность свободно сожительствовать, то со временем все они стали бы средней величины и бурыми.

Боб Дулат помахал ладонями перед лицом замечтавшегося Б. П. и нагнулся к компьютеру, чтобы разглядеть получше текст. Приятель в Лос-Анджелесском управлении полиции навел справки о Лоне Мартене, и его местное досье касалось в основном оптовой торговли украшениями навахо, изготовленными на Формозе и выдаваемыми за подлинные. Это разозлило настоящих навахо. Кроме того, как радикальный диссидент Лон Мартен находился под "мягким наблюдением" в Лос-Анджелесе, где это тоже было противозаконно. Впрочем, разве эти люди не захватили пустую тюрьму Алькатрас[1]? Сообщались телефоны и адреса, где он останавливался в районе Уэствуда, обычно у других индейских диссидентов, связанных с баскетбольной Меккой — Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Боб сказал, что у него есть хороший знакомый итальянец Винни, который может отобрать медвежью шкуру, но Б. П. сказал: нет. Он сам возьмет. Все это, на его вкус, как-то слишком резво развивалось. Лон Мартен отдаст ему шкуру, если еще не продал.

Теперь официантка принесла тарелку с ребрышками, на закуску. Боб набросился на них, а Б. П. смог одолеть всего штуки три, хотя и восхитительные. За обедом в Малибу Боб утверждал, что это он ввел практику множественных закусок — несомненно потому, что был родом со Среднего Запада, где обжорство нередко считается героизмом. Официантка вернулась и застенчиво спросила Боба, знаменитость ли Б. П.? Ее звали Уилла, и Боб ответил на ее вопрос, что точно не знаменитость. Когда их представили друг другу, Б. П. опустился на одно колено и поцеловал ей руку — как показывали в фильме.

Они нашли Бурому Псу не такую уж дешевую комнату между Уэствудом и Калвер-Сити, в "Сиаме", мотеле с умеренно ориентальным декором, который навел Б. П. на разные мысли о том, как бы пригласить в гости Уиллу. Когда выходили из ресторана, она таинственно отказалась назвать ему свое китайское имя и тем более дать телефончик. Боб объяснил: потому

1. В 1969 году группа индейцев, выдвигавшая политические требования, захватила бывшую тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско и удерживала ее почти два года.

что он не знаменитость. Они заехали в продовольственный магазин и купили Бурому Псу два ящика французской воды "эвиан" — "для твоего водяного фетиша", как сказал Боб. Когда он отвез Боба в "Уэствуд-маркиз", Боб велел ему купить шмоток и дал пятьсот долларов аванса в счет зарплаты. Сумма, хотя и громадная, не умерила беспокойства Б. П.

Прежде чем вернуться в "Сиам", он еще раз прошелся по ботаническому саду. Боб сказал, что один из главных секретов его успеха — ежедневный послеобеденный сон продолжительностью не менее четырех часов. Под сенью бамбуковой рощи Б. П. задумался, есть ли в его жизни какие-нибудь секреты или она — открытая зачитанная книжка. Сомнение в себе быстро прошло, когда он заметил, что оранжевые карпы неизменно ходят против часовой стрелки в своем затененном прудке. За карпами наблюдать было гораздо интереснее, чем за причудами конспекта собственной жизни. Как и все мы, Б. П. не знал, что́ есть вообще наша жизнь, а теперь передовой карп сделал изящный поворот на 180 градусов и медленно повел свою стайку по часовой стрелке. Это, видимо, было одним из ответов на миллионы вопросов, которых жизнь на самом деле не задает.

До того как вернуться в мотель, он купил в магазине подержанных вещей два красивых костюма — цветастые гавайские рубашки и коричневые бумажные брюки, а в дополнение к ним симпатичную, но пыльную мягкую шляпу, вроде той, что надевал дедушка на ярмарки и похороны. Боб научил его пользоваться автомобильным телефоном, и он позвонил домой Делмору, но сразу пожалел об этом. Старуха Дорис лежала в больнице в Эсканобе с сердечным приступом, а Роза сидела в тюрьме за то, что откусила полицейскому палец во время заварухи, затеянной Бурым Псом и "негодяем" Лоном Мартеном на археологических раскопках кладбища. Делмор опекал двух детей Розы — Реда и Ягоду; последняя, очаровательная на взгляд Б. П., была непослушной и умственно отсталой жертвой дородового алкогольного синдрома. Делмор нанял детям постоянную няньку, в его описании "красотку" — белую девушку, которая хотела посвятить жизнь помощи индейцам. Она даже попыталась приучить Делмора к йогурту. Итогом всего изложенного было то, что Б. П. должен немедленно вернуться и стать отцом для детей Розы. Розе предстоит отсидеть года два за откушенный палец, хотя она утверждала, что полицейский до синяков намял ей грудь. "Но как я могу вернуться?" — спросил Б. П. с неприятной дрожью где-то под ложечой. Делмор взял адвоката, и тот выясняет, действительно ли Б. П. перешел из округа Льюс в округ Алджер, когда метал шутихи. С недавним введением лазерной топографической съемки многие разделительные линии между округами оказались под вопросом — особенно в этой местности, где до ближайшего человеческого поселения километров двадцать. Б. П. твердил, что в тюрьме умрет от разрыва сердца, как те заключенные апачи, про которых рассказывал Делмор. Делмор сказал, что он может, по крайней мере, подъехать к границе Висконсина и оттуда попросить указаний. Беседа отличалась всеми недостатками телефонного разговора, когда ты еще не успел переварить информацию, как тут же обрушивается новая.

Дежурный в мотеле, миниатюрный лаосец, извинился за то, что в номере у Б. П. не работает телевизор, и когда Б. П. сказал ему: ну и слава богу, он терпеть не может телевизор, — тот долго истерически смеялся. Очень поднимает дух, когда скажешь удачную шутку, даже если сам не понимаешь, в чем она.

В номере он выпил бутылку воды, чтобы притушить докучливые остатки исполинского обеда. Это был для него во многих отношениях са-

мый мрачный час, и утешали только двадцать три бутылки воды. Он решил испытать секрет Боба и как следует вздремнуть, но прежде требовалось принять душ. Когда он собирался пустить воду, его внимание привлек легкий шум. Он проверил дверь и посмотрел из окна на залитую солнцем автостоянку. За стеной возле его кровати слышалось легкое царапанье и голос тихо напевавшей женщины. Похоже было на французских стриптизерш в канадском Су – все они приезжали из Монреаля. Как красиво, подумал он и вернулся в душ. Через пять минут по соседству хлопнула дверь, и он снова выглянул в окно: стройная девушка во всем кремовом садилась в "мерседес" с откидным верхом.

Это не способствовало сну. Терпеть далее отсутствие теплых чувств уже не было сил. Может быть, выручит новая одежда, не говоря уж о франтовской шляпе. Швейцарская форма была аккуратно сложена на комодике – на случай, если понадобится снова исчезнуть, когда будет подстерегать Лона Мартена. Все дело в том, что он чувствовал себя не на своем месте – повальная современная болезнь. Единственной знакомой частью окружения были его руки, когда он поднял их с кровати, посмотрел на них и сказал: "Руки". Душевный упадок принял форму ощутимой тяжести на груди и лбу. Дедушка говаривал, что жизнь – не тарелка с вишнями, и Б. П. это устраивало: вишню он не любил. Боб легкомысленно спросил его, не страдает ли он "dementia pugilistica", и объяснил термин: не ушиблена ли у него голова от прежних кулачных занятий. "Нет", – ответил Б. П. Ему редко попадали по лицу, вот почему он всегда побеждал. Хороший удар в лицо обезоруживает любого, кроме самых опытных. Теперь он произвел беглый обзор своего имущества. Деньги. Четыреста семьдесят долларов спрятаны для надежности в несколько карманов и один носок, – он вряд ли когда был богаче. Он надеялся купить когда-нибудь подержанный желтый пикап – сойдет простой "форд-1500". Хотелось бы завести приятную подругу, но этого, наверное, всем хочется. А в общем, все сводилось к медвежьей шкуре, его единственной ценной собственности. Делмор еще в молодые годы отказался от медвежьего талисмана в пользу черепаховых и церемониально передал шкуру Бурому Псу.

Он ерзал и ворочался на кровати и порвал ветхую простыню. Семь шкур сдерут, пожалуй, за эту простыню. Сейчас не время было, но очень хотелось вынуть из бумажника фото голой Шелли для поддержания сил. Лос-Анджелес требовал совсем других сил, а не твердого члена, наставленного на рычащего леопарда – лампу в изголовье. Да и какие силы призвать на помощь одинокому страннику перед лицом этого громадного измученного города с его тысячеслойными покровами искушенности и богатства, с его продажностью и ненавистью и миллионом красивых женщин, чей язык ему непонятен? Но что он понимал, хотя никогда не собирался с мыслями на этот счет, вопреки наставлениям Шелли, – он понимал, что плохо приспособлен к жизни вне своего медвежьего угла. Он давно сообразил, что леса готовят тебя только к другим лесам. Охота и рыболовство для прокорма учат только есть рыбу, оленину, куропаток и вальдшнепов. А конец этого дела – сытый желудок и воспоминания о чудесном дне.

В каком-то смысле не ты входишь в лес, а лес – в тебя, и присутствие его не делает тебя более толковым в других делах. До последних лет к нему наведывались биологи, чтобы узнать, где находятся волчьи логова и медвежьи берлоги, в обмен на полдюжины или, в случае волков, целый ящик пива. Он отказался от этих отношений, когда Фрэнк предупредил, что биологи хотят надеть на зверей телеметрические ошейники, чтобы без труда следить за ними – вроде звериной полиции. Другими словами,

хотя Фрэнк их не произнес, Б. П. по неведению предавал животных. Конечно, от шести банок или ящика отказаться было трудно, но раскаяние в нем было так сильно, что в дальнейшем всех биологов он встречал словами: "Пошли отсюда на х..." — и захлопывал у них перед носом дверь. И в смысле человеческой слабости он завершил курс наук, продав свое знание об индейском кладбище за секс. Пора было, наконец, вести себя благородно, но особого навыка в этом не имелось, и не факт, что благородство поможет вернуть медвежью шкуру.

Господи Иисусе, думал он, прислушиваясь к реву и гудкам на шоссе в час пик. Как они могут жить в этом блядском грохоте? Он слез с кровати, попробовал включить радио, встроенное в испорченный телевизор, и, к его радости, оно ожило. Он нашел какую-то мексиканскую музыку и прибавил громкость, чтобы заглушить шум транспорта. У пары йогов, с которой он разошелся после вопроса о том, почему женщина хорошо к себе относится, были сотни записей, их проигрывали день и ночь, заглушая голоса птиц и койотов, а то и волка. На его вкус она была чуть худовата, но, снова улегшись на кровать, он вспомнил, как приятно она выглядела, когда по их просьбе он повел их на целый день в лес. Они немного заблудились среди невысоких кряжей за болотом, откуда берет начало река Ту-Хартед, и муж, с утра раздраженный тем, что его сотовый телефон, пристегнутый к поясу, отказывается работать в этой местности, потерял всякое самообладание. Б. П. утверждал, что они не заблудились, а просто не могут найти свою машину, и сказал, что с удовольствием побродил бы еще пару дней, раз такое дело. Он хорошо ориентировался здесь в мае, до того как распустится листва, и в октябре, когда она большей частью облетает; но сейчас густая зелень и пасмурное небо, не позволившие понять истинное положение солнца, мешали определить маршрут.

На кровати, сперва отодвинув образ ее красивого зада в светло-зеленых штанах, Б. П. сообразил, почему ему пришла на ум та история. Потому что боялся рассыпаться в Лос-Анджелесе, как ее муж в лесу — среди прочего, тот нарочно отстал, чтобы сожрать последние сандвичи, предназначавшиеся всем троим, и выдул остатки воды, так что найти ручей или ключ стало важнее, чем найти машину. Пятисотдолларовые туристские ботинки превратили его ноги в малиновое желе, а к концу дня он впал в паранойю и со слезами объявил, что Б. П. и его жена сговорились убить его, чтобы стать любовниками и завладеть деньгами. И все это из-за простой десятичасовой прогулки, озадаченно подумал тогда Б. П., а еще его изумило, что жена продолжала интересоваться флорой и фауной и с середины утра делала вид, что мужа не существует. Они были в двух часах хода от машины, когда Б. П. определил их местонахождение, но не сказал этого, чтобы проучить мужика за его плохое поведение. Уже перед самым выходом из леса муж зашвырнул свой сотовый в прудик, заросший водорослями, белыми и желтыми кувшинками. "Это безобразие, милый, бросать телефон в такой красивый пруд", — сказала жена. В какой-нибудь сотне шагов от опушки мужик схватился за голову и закричал: "Я слышу рев", — а был это всего-навсего трейлер с бревнами на дороге. После он не смущался, а вел себя самодовольно, обвиняя во всем органическое слабительное, которое принял накануне, чтобы выгнать шлаки. Его жена и Б. П. с изумлением наблюдали, как он выхлебал всю оставшуюся в машине воду и слопал два энергетических батончика, не поделившись с ними. Б. П. получил поразительный урок того, как тебе не хочется вести себя в короткий свой срок на этой земле. Она высадила Б. П. у его крытой толем хижины и сунула ему в руку потную пятидесятидолларовую бумажку. Муж тем време-

нем постанывал во сне на заднем сиденье. "Спасибо за волшебный день", – сказала она, глядя прямо перед собой, словно дворник на ветровом стекле был самой интересной вещью на свете. Б. П. съел на ужин трехфунтовую банку свинины и в сумерках протопал восемь километров до города. Карбюратор его фургончика барахлил, и он немного устал, но как устоять перед соблазном таверны Фрэнка, если у тебя полсотни долларов чистыми?

Мораль воспоминания была с библейским оттенком, типа "препоясать чресла", то есть кончай дергаться и веди себя так, как будто знаешь, что делаешь. Любой может превратиться в жидкое говно, даже если ты обучен делать йогу и имеешь избу за сто тысяч с двумя туалетами. Семь дней он гопничает, две трети страны покрыл, пора бы определиться на местности. Он, конечно, не понимал, что, когда по-настоящему засадни-ло сердце от неприкаянности, это уже глубинный зуд заживления. Пятнисто-розовый потолок над ним затуманился и отплыл, и он отправился в обычно игнорируемую местность сновидений, где простой пруд с карпами в ботаническом саду Калифорнийского университета постепенно превратился в могучую реку, по которой он плыл на бревне. Негодяи в фуражках преследовали его на лодке и стреляли в него, подгоняя к колоссальному водопаду. В последний миг перед тем, как низвергнуться с грохочущей водяной стены, его тело взмыло в воздух, и он, с вытянутой вперед шеей, услышал тяжелое хлопанье и скрип своих крыльев. Он ощущал себя очень тяжелым, но удерживал высоту и летел по течению, высоко над яростным потоком. Крылья устали, отяжелели, и он стремительно пошел вниз, но как-то ухватился за белую сосну на берегу. Озадаченный неожиданным спасением, он посмотрел на свое тело и увидел, что он наполовину медведь, наполовину птица.

Зазвонил телефон на тумбочке, и трубку неуклюже сняла лапа.

– Алло, – хрипло прорычал Б. П.

– Что у тебя, на х... с голосом? Это Боб напоминает тебе, что ты заезжаешь за мной в восемь, значит, примерно через час. Ты понял?

– Конечно. Только что кончил йогу и сейчас занимаюсь прической, – сказал Б. П., откашляв голос от всех медвежьих остатков.

– Ты меня разыгрываешь. Йогой занимаешься?

– Йогу делай, йогурт пей, позабудешь про врачей, – сказал Б. П., думая о том, как Шелли и ее подруга Тара вели здоровый образ жизни, хотя имели слабость к кокаину и шампанскому.

– Кончай эту х... Чтобы был на месте. Надо ехать на площадку. Сегодня у нас ночная съемка.

– На какую площадку? – спросил Б. П., глядя на свою эрекцию и спрашивая себя, есть ли в ней медвежья сила. Медведи знамениты своей выносливостью.

– Приезжай за мной, и все, дурак чертов. – Боб был немного возбужден.

– Еще раз скажешь "дурак", и подарю твой "таурус" бедному афроамериканцу.

– Извини. Прости. В общем, выяснили, где твой Мартен завтра вечером произносит речь. Надеюсь, выяснят, где он остановился. Лучше, чтобы разборка прошла без публики.

– Спасибо, Боб. Я, пожалуй, надену смокинг.

– Ради бога, не надо смокинга.

– Ладно. – Б. П. положил трубку, все еще под впечатлением от силы и беззаботности своего сна. Кто попрет против тебя, если ты наполовину медведь, наполовину птица?

В вестибюле "Уэствуд-маркиза" постояльцы и служащие кивали и улыбались ему, бездумно предполагая, что он может быть важным рок-музыкантом — их много останавливалось в этом отеле. Б. П. же не сомневался, что причиной тому — сочетание тропической рубашки с элегантной шляпой. Боба он нашел в гостиной, Боб пил мартини из пивной кружки и, поглядев на шляпу, сказал: "Нарядно". У шляпы было еще и то преимущество, что она скрывала жесткие непослушные волосы. В детстве, когда он стригся у парикмахера за двадцать пять центов, тот ныл, что у него на четверть доллара одного бриолина уйдет, чтобы пригладить ему волосы.

Самое трудное для сельского пришельца в огромном городе — понять соотношение между тем, как человек зарабатывает на жизнь, и тем, где он живет. У себя ты проезжаешь по улице и против каждого дома можешь сказать: мясник, булочник, свечник. В Лос-Анджелесе, конечно, ты сразу отдаешься во власть ворчливого недоумения, так же как в Нью-Йорке с его вытянутыми слоистыми луковицами жизни, громоздкими склеенными ломтями отдельных реальностей, объединенными водопроводом, канализацией и хрупкими скорлупками камня. В Нью-Йорке ты можешь по крайней мере вообразить, что залез в свой детский домик на дереве, а те, кто далеко внизу, — не лесные муравьи, а вызывающие астму тараканы. Но вдруг проходит хорошенькая женщина с девятью дурацкими собачками на поводках, и мелькает мысль: эти люди знают, что делают. В Лос-Анджелесе для новичка ни о каком понимании не может быть и речи, и лишь после нескольких визитов какие-то дома, улицы и рестораны становятся успокоительными ориентирами. То же относится и к местным, которые совсем перестают замечать свое окружение, как, к примеру, жители Каспера в Вайоминге. Искушенный знаток городов скоро догадывается, что Большой Лос-Анджелес напоминает историю американской политики или саму структуру американского общества. Связь между Брентвудом и Бойл-Хайтсом[1] так же тонка, как между Конгрессом и гражданами, хотя эмоциональный склад обоих по страстности и напряженности подобен шоу Джерри Спрингера[2].

Вот почему по дороге из "Уэствуд-маркиза" к студии Сони в Калвер-Сити, проезжая мимо мотеля "Сиам", Бурый Пес радостно гаркнул уткнувшемуся в яркий экран компьютера Бобу:

— Здесь я живу.

— А, да, чудесный "Сиам". Берегись обитающей там псевдофранцуженки. Это значит, она не настоящая француженка. Она из Редондо-Бич. Настоящим француженкам невозможно получить зеленую карту — понимаешь, разрешение на работу. Я дня три был по уши влюблен в Сандрину. Познакомил ее с парой друзей из Парижа, и они были изумлены. Сочли, что Сандрина — больше француженка, чем сами француженки, и вдобавок с безупречным оверньским выговором. Когда киношникам нужна француженка на эпизод, вызывают Сандрину. Ее маневр — жалобно попросить джентльмена о помощи с получением зеленой карты. Я, конечно, попытался. Адвокат взял с меня тысячу, чтобы за десять минут выяснить детали. В иммиграционном ведомстве ему сказали, что я тридцать седьмой ходатай за Сандрину. Если познакомишься с ней, береги бумажник.

— Зачем, если деньги в носке? — отшутился Б. П.

1. Брентвуд — привилегированный район Лос-Анджелеса, Бойл-Хайтс — район бедноты с разноплеменным населением.
2. Бульварное телешоу; люди в нем ругаются, дерутся, раздеваются.

– Носок – самое очевидное хранилище для денег. Спроси любую девку в Вегасе.

– Я про носок, который на тебе. Немного прихрамываешь, чтобы не натереть деньги.

– А если хочешь купить сосиску или банку пива? – Боб закрыл ноутбук. Ум его питался пустяками.

– Держишь немного в передних карманах. Это близко к ширинке, никто не подберется. Очень чувствительная область. Моя подруга Шелли говорила, что у меня это вроде религии, но она сильно ошибалась. Мою религию я держу в секрете.

– Неплохая мысль. Я имею в виду секретность в этом городе. С актрисами рекомендую религию в качестве сексуальной наживки. Просто спрашивай их, какую конкретно цель преследовал Бог, создавая кинобизнес, – только не цинично. Будь серьезен и старайся немного возвыситься над сексом. Прощупай их сокровенные надежды и страхи и постарайся увязать с высшей целью, какова бы она ни была.

– А моя соседка Сандрина религиозная? – вернул его к делу Б. П.

– Утверждает, что она гугенотка. Это откуда взялись аркадийцы, или каджуны[1]. Но что существеннее, она не позволяет войти, почему я сперва заподозрил в ней трансвеститку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что нет. Очень любит шестьдесят девять, но, по-видимому, пользуется тонким пластиковым вкладышем для рта. Однажды, когда она была в ванной, я увидел целый пакетик в ее сумочке.

– Не может быть. – Б. П. напугала эта информация. Она отдавала "Сумеречной зоной", которую Делмор иногда смотрел за ужином. – Ты что же, залез к ней в сумочку?

– Проверил, нет ли пистолета или выкидного ножа. Мне затруднительно осуществлять половой акт, когда я чувствую угрозу. Мы растем под впечатлением от рассказов о легко доступном сексе, которые не подтверждаются. В О-Клэре слышишь, что в Ошкоше девушки дают как раз плюнуть, ты едешь на своем старом "плимуте" в Ошкош, а там говорят – это в Милуоки, а в Милуоки говорят, что студентки в Мадисоне накидываются на тебя, только свистни, но в Мадисоне тебя уверяют, что О-Клэр полон глупеньких секретарш, которые заездят тебя до беспамятства за обед из трех блюд в "Макдоналдсе".

– Ты просто ездил по кругу, – сказал Б. П., большой любитель дорожных карт. Хозяин хижины подарил ему старый атлас "Рэнд Макнэлли", и Б. П. провел над ним не один вечер.

– О чем и речь. Теперь я предлагаю девушкам скромные стипендии, что повышает уровень отношений. Да, кстати: не признавайся, что ты мой шофер. Это связано с трудовыми отношениями. Профсоюзники могут порезать мне шины.

– Кем же мне называться? – Б. П. подъехал к проходной студий "Сони", которая защищала "Трай стар" и "Колумбию" от Большого Лос-Анджелеса.

– El don Bob, – сказал мексиканец-охранник, засунув голову в окно.

– Qué pasa[2], друг? – Боб помахал рукой. – Дай моему адъютанту значок для площадки.

Б. П. пришпилил значок VIP, не очень точно помня, что это значит. Но "адъютант" казалось ступенькой выше по сравнению с "шофером",

1. Каджуны, живущие на Юге США, происходят не из Аркадии, а из *Акадии*, некогда французской колонии в Канаде.
2. Как дела? (*исп.*)

должностью, в которой он состоял при Лоне Мартене на полузаимствованном "линкольне-таун-каре", позже обменянном без барыша на коричневый "таурус"[1] с целью замести следы.

На площадке перед поддельным маленьким отелем Боба встретили режиссер с продюсером, и он вручил им листок с новой репликой. Б. П. стоял достаточно близко и услышал, как режиссер подозвал главного актера, сильно загорелого, но немного смахивавшего на раздутый земляной орех. Теперь, вместо того чтобы сказать швейцару: "Вызови мне такси", актер должен был произнести: "Подгони мне такси". Реплика изменена, объяснял Боб, потому что актер – импульсивный и обезумевший влюбленный и сейчас ему не до вежливости. Это уточнение не показалось Б. П. особенно интересным, но режиссеру и продюсеру идея пришлась по душе, и Боб просиял. Актер был не вполне убежден и сперва нахмурил брови, но потом эмоционально подготовился к новому дублю.

Б. П. изумило, что на съемке трудится сотня людей – рабочие, осветители, гримеры, секретарши, ассистенты, костюмерши и несколько важных студийных администраторов, по дороге домой заглянувших на площадку. Все здоровались с Бобом, как с важной шишкой, а Бурому Псу, двигавшемуся к буфету, улыбались так, словно значок VIP что-то значил. Непрерывно улыбавшийся Боб хлопнул его по плечу.

– Всему свой срок, – сказал он, схватив Б. П. за руку, протянувшуюся за сосиской в булочке и стаканом воды, – побереги аппетит до ужина. К тому же у нас еще дела.

Еще один пищевой психопат, черт бы их взял, подумал Б. П., когда Боб потащил его ко входу в фальшивый отель. Шелли вела себя так же: заставила съесть большую миску тибетского вареного зерна, которое надо было долго, по-коровьи пережевывать. Не ешь хот-догов, малыш, они сгноят тебе желудок.

Следующий эпизод будет сниматься в декорации гостиничного номера, объяснил Боб, перешагивая через путаницу проводов и кабелей, опасную на взгляд Б. П., который нервничал даже в таких простых случаях, когда надо было включить в штепсель настольную лампу. Виной тому было всегдашнее ворчание деда по поводу разрушительной силы электричества и автомобилей. Зато приятно было услышать, как бригадир осветителей сказал: "Замечательная шляпа", а гример крикнул: "Я в восторге от вашей шляпы, дорогой". Правда, Б. П. был немного разочарован, когда выяснилось, что актриса, занятая в предстоящей сцене, не та, которая требует, чтобы мясо для гамбургера мололи у нее на глазах и обстоятельно брили интимные части. Эту звали Туфлик, немного странно, – правда, когда-то в Негони он встречался с барменшей по фамилии Нога, и она была первый класс, хотя и великовата.

Артистка сидела на смятой постели в лифчике и нижней юбке, а на тумбочке у нее стояла бутылка виски и стакан драгоценного темно-желтого напитка. Она разговаривала с режиссером, а гримерша тем временем еще сильнее растрепывала ей светлые локоны. Она встала, чмокнула Боба в щеку, кивнула Б. П. и сказала: "У вас волшебная шляпа". Он густо покраснел и поклонился, а потом отступил к двери, за громадную камеру стоимостью в миллион долларов – такую, по крайней мере, цену назвал Боб. Боб, режиссер и Туфлик обсуждали предстоящую сцену, а потом начали ее разыгрывать. Убитая горем Туфлик стояла у окна, глядя, как ее

1. "Линкольн-таун-кар" – машина представительского класса, "форд-таурус" – машина среднего класса.

возлюбленный уезжает на такси. Потом вернулась к тумбочке, хлопнула стакан виски, крикнула: "Черт бы взял тебя, Ричард!" – и, рыдая, повалилась на кровать. Б. П. немедленно отметил про себя, что кино делается из огорчительно мелких кусочков, а кроме того, каким же тупым говнюком надо быть, чтобы уйти от такой женщины? Он сильно встревожился при виде того, как она уже на репетиции хлопнула полный стакан виски, но помощник оператора шепнул ему, что это чай. Она так красиво упала ничком на кровать и так убедительно зарыдала, что хотелось броситься к ней и утешить. Юбка задралась у нее на ногах, почти открыв зад, и у Б. П. встал комочек в горле от сознания, что красота эта не про таких, как он.

После пяти дублей (из девяти) Б. П. выбрался наружу, потому что от жара прожекторов по спине, по ногам, из-под волшебной шляпы потек пот. Снаружи по-прежнему сновали сто работников, и, когда он вышел из отеля, несколько человек спросили его, как идет сцена. Глядя на них с полуметровой высоты гостиничной лестницы, не цементной, но очень на цементную похожей, он сказал: "Отлично". О сыны и дщери человеческие под бездонным звездным небом, хотя звезд не видно, чем вы заняты здесь, когда ваши истории рассеиваются позади вас, как автомобильный выхлоп? – думал он, правда, не совсем в таких словах. Какое жалованье они получают, чтобы терпеть такую изнуриловку – хотя вид у них был не хуже, чем у большинства работяг. По крайней мере они живут с чувством, что конечный продукт окружен романтическим ореолом, а о нем вряд ли мечтает тот, кто в морозный снежный день валит третью поросль, которую смелют на фабрике и пустят, скорее всего, на газету. Может быть, эти чувствуют себя так, как рабочие на главном конвейере автозавода – от конечного продукта они далеко, но твердо знают, что получится у них "кадиллак". А если поглядеть на них в более выгодном свете, решил Б. П., то их работа в чем-то схожа с его незаконной водолазной деятельностью, когда он таскал со дна антикварное добро. Некоторые люди готовы были заплатить большой доллар за нактоуз со старой грузовой шхуны, мирно пролежавшей в пучине сотню лет.

Б. П. долго смотрел на эту суету с непонимающей внимательностью ребенка. В соответствии со здешними нравами такая неподвижность представлялась противозаконной, и многие уставились на него в свою очередь. Этот олух в самом деле важная персона? – удивлялись они. Они знали по слухам, что у сценариста Боба Дулата не все дома, что у него большие тараканы в голове; тем не менее у них хватало ума понять, что он – источник их существования. На этом производстве к сценаристам относились как к печальной необходимости, и администраторы воспринимали их как поставщиков сырья.

В конце концов к Б. П. подошел очень большой черный охранник и спросил, не нужно ли чего. "Пива, сэр," – шепнул Б. П. В стороне, но совсем неподалеку две костюмерши упражнялись со скакалкой и, не прерывая сложных атлетических занятий, улыбались Б. П. Они должны быть доступнее, чем знаменитая артистка, подумал он, вспоминая пугающую красоту женщины, которая хлебала виски-чай, а после дубля вильнула задом перед Бобом и режиссером.

Охранник вернулся с бутылкой пива в огромной лапе. Б. П. посмотрел на наклейку. "Сент-Паули гёрл", из страны Германии. Разве нельзя было привезти "геббеля" или "штроха" из Детройта? – подумал он. Наверное, можно. Он поблагодарил охранника, а тот проследил за его взглядом, устремленным на костюмерш со скакалкой.

— С этими дамами поосторожней. Они не сестры, но здесь известны как Страшные сестрички. Нет на свете змей опасней этой парочки, даже копьеголовая гадюка моей родины против них — ничто.

Из последующего разговора выяснилось, что охранник Гарольд — уроженец Белиза, и красочностью речи он обязан тому, что не был жертвой нашей системы образования. Гарольд дал Б. П. свою визитную карточку — на случай, если понадобится дополнительная "охрана" в нерабочие часы. Тут подошел Боб, промокая платком лицо, и охранник с легким поклоном удалился. Когда они пожимали руки, Б. П. пришло в голову, что Гарольд такой же большой, как федеральный полицейский, приехавший в Гранд-Маре, чтобы арестовать троих браконьеров, переправлявших выдровые шкурки за границу штата. Полицейский, тоже черный, "вылезал и вылезал" из машины, как сказал один старый финн, — в нем было два метра росту и килограммов сто сорок. У него была ковбойская шляпа и в набедренной кобуре никелированный длинноствольный пистолет калибра 11 мм. Трапперы не оказали сопротивления.

Боб помахал рукой перед лицом Б. П., чтобы привлечь его внимание, и в это же время к ним подошли костюмерши, Страшные сестрички, с вопросом, не нуждаются ли они в женском обществе после работы. Боб сказал, что он и Б. П. (который получил еще одну визитную карточку) ангажированы до конца жизни. Девицы показали ему средний палец и отошли.

— Ух ты, симпатичные, Боб. — Вдобавок к тому, что он был голоден, сестрички возбудили его просто своим приближением. На одной были мягкие хлопчатые брюки, врезавшиеся в ее природную деталь.

— Немая скорбь нам сердце разрывает, — сказал Боб. — Во мне, наверное, много изъянов, но я не мазохист и от пальчиков ног не торчу.

По дороге к клубу на бульваре Санта-Моника речь Боба приобрела маниакальный характер, и Б. П. отключился. Голодные позывы сделались так сильны, что он стал перебирать в уме все прошлые случаи голода в своей жизни, как, например, ту охоту на оленя, когда, проплутав в лесу весь пасмурный день от рассвета до темноты, он наконец добрался до своего помятого старого фургончика, где в ящике с инструментами лежала аварийная банка ветчины. Открывая ее застывшими дрожащими руками, он порезал палец и выронил содержимое на землю. Потом торопливо и безуспешно соскребал с мяса сосновые иголки, кусочки листьев и собственную кровь, прежде чем запихнуть его в рот. Хватило на три укуса, и запить было нечем, кроме остатков бананового шнапса из пыльной бутылки, подаренной ему потому, что самого покупателя воротило от напитка. Последовавшее несварение привело его к мысли, что изобретателю бананового шнапса надо всыпать горячих. Сама же ветчина была надежным и главным продуктом питания для белой швали северных лесов, как именовала этот усталый народ Шелли.

— Ты замечал, как часто наши часы показывают одиннадцать-одиннадцать? — громко спросил Боб, чтобы привлечь его внимание.

По правде, Б. П. никогда этого не замечал, но быстро сообразил, что такое бывает два раза в день, о чем и сказал Бобу.

— Важна не реальность, а наше восприятие реальности, — пояснил Боб, приканчивая шестидесятиграммовую бутылочку самолетного виски. — Когда летишь первым классом за лишнюю тысячу долларов, эти даются бесплатно. Может быть, дело в том, что в одиннадцать-одиннадцать я встаю и в одиннадцать-одиннадцать ужинаю.

Сейчас было как раз одиннадцать, и Б. П. удивлялся, почему на улице такое движение. В большинстве мест ночь и день не сильно разнятся по эмоциональному содержанию и ход вещей установлен довольно твердо. Перед клубами и кинотеатром, показывавшим что-то вроде "Трухлявые толстяки должны умереть", стояли очереди довольно молодых людей. Б. П. не знал, что сегодня вечер пятницы, — дни недели не играли никакой роли в его жизни. Мысли его вернулись к голодным ситуациям и дедушкиному изречению, что голодному и соленый крекер лакомство. Не так уж много лет ему потребовалось, чтобы понять, что дед часто несет околесицу, поедая у печки вонючий сыр "лидеркранц" и копченую колбасу со своими солеными крекерами и разглагольствуя о том, сколько конопли они выкуривали в лагерях Гражданского корпуса охраны природных ресурсов во время Великой депрессии, чтобы приберечь свою жалкую зарплату до пивных выходных. Теперь с этой коноплей ты загремел бы надолго, думал Б. П.

Остановив машину перед клубом, Б. П. спросил Боба, нельзя ли прислать ему сюда сандвич — к примеру, с ливерной колбасой, острым чеддером и толстым ломтем сырого лука, а если можно, и "будвайзер" в придачу.

— Я либеральный демократ с популистскими корнями. Ты идешь в клуб. Твое меню я уже продумал. Надеюсь, ты любишь шпинат?

— С мясными продуктами употребить могу, — пошутил Б. П., передавая ключи от грязной машины недовольному парковщику, который, однако, улыбнулся, получив от Боба двадцатку.

В клубе висел густой табачный дым — он был главной причиной существования клуба. По дороге к столу Боб быстро, хотя и громко, объяснил, что, поскольку политкорректные фашисты Калифорнии запретили курить даже в барах, некоторые мыслящие радикалы объединились и организовали клубы во имя защиты свободы. Б. П. подумал, что этот пижонский клуб мало чем напоминает вспышку радикализма в Чикаго, — впрочем, в таких вопросах он не склонен был мыслить критически. Курил он только выпив, но потому лишь, что сигареты стали слишком дороги. За всеми столиками пускали дым с большим понтом. Такой франтоватой компании, как это мятежное курящее товарищество, Б. П. еще не приходилось видеть.

Когда они подошли к своему отсеку, кровь бросилась ему в лицо. Девушка Шарон, о которой Боб упомянул днем, оказалась восьмиклассницей — по крайней мере так он решил. Шарон раскинулась на красном кожаном диванчике в коротком розовом платьице, белых носочках и черных лакированных туфельках с перепонкой — ей можно было дать самое большее тринадцать лет. Она читала роман Шермана Алекси[1] и, когда Боб подсел к ней и взял ее за зад, хлопнула его книгой. Голова у Б. П. пошла кругом: странно, Калифорния запрещает курение и позволяет такие дела. Он смущенно занял место на сцене еще одного преступления и, приглядевшись, решил, что ей, может быть, все восемнадцать, а одевается как девочка по каким-то личным причинам. Боб посмеялся над его растерянностью и сказал, что Шарон недавно окончила Рэдклифф, колледж на Атлантическом побережье, и Б. П. вообразил здание на скале над штормовой Атлантикой.

— Вам посчастливилось переехать от одного океана к другому, — сказал Б. П., с легким трепетом пожимая ее мягкую ручку.

1. Шерман Алекси (р. 1966) — современный американский прозаик и поэт, индеец.

— Мне это как-то не приходило в голову. — Шарон не могла понять, в самом деле он такой балбес или разыгрывает ее. — Боб рассказал мне о вас по телефону. Я очень сочувствую вам и невзгодам вашего народа.

— Путь и длинен и короток. В моем сердце живет надежда. — Б. П. немного смущала женщина, сидевшая за спиной у Боба и Шарон: ее чудовищные сиськи буквально вываливались из блузки. Она одарила его ослепительной улыбкой.

— Славно сказано, — подтвердил Боб. — Борьба и сегодня и далеко впереди. — Он схватил за руку проходившего мимо официанта: — Почему вы, засранцы, не несете нам выпить?

— Многие ли индейцы носят такие чудесные шляпы? — Шарон не отреагировала на гневное нетерпение Боба, поскольку не была алкоголичкой, хотя слегка подсела на золофте[1].

— Кое-кто из братьев носит, — ответил Б. П., удивляясь, зачем он порет эту чушь. Шарон, как Шелли, будто сама на это напрашивалась.

Если бы у него была ручка или карандаш, он мог бы воспользоваться старым приемом — уронил бы на пол, чтобы посмотреть оттуда вдоль ног; впрочем, хоть и хорошенькая, она была тощевата. Боб, который отошел, чтобы проследить за напитками, наверное, пытается вернуть молодость или что-то такое, а может, и в самом деле, хочет поддержать Шарон.

— Боб милый человек, — сказала она, посмотрев в сторону бара, где Боб добивался обслуживания. — Только боюсь, он доконает себя алкоголем, как мой папа. Конечно, он хороший писатель, но из тысячи писателей девятьсот девяносто девять забываются через месяц после последней книги.

— А кому надо, чтобы его помнили? — спросил Б. П. — Все мы — харч для червей.

Он почувствовал себя уютнее при виде Боба, сопровождаемого официантом, который держал на одной руке поднос с двумя бутылками вина и одним мартини, а в другой ведерко со льдом и тремя "будвайзерами".

Вечер получился не очень удачный, кроме как для Б. П. Шарон только поковыряла в своем блюде из двух устриц, двух креветок и двух молоденьких моллюсков на листьях цикория, между тем как Боб заказал себе две порции телячьих отбивных с макаронами. К счастью для Б. П., обещанный шпинат оказался шуткой — гарниром к почти килограммовой вырезке. Б. П. заметил ее в меню, но она стоила тридцать восемь долларов, поэтому он остановился на спагетти с фрикадельками, ценой всего в восемнадцать, тоже поразительной. В Айрон-Маунтине был ресторан, где это же блюдо стоило четыре доллара, а тефтеля была размером с голову младенца и дополнительные полцыпленка обходились всего в два доллара. Но вмешался Боб и настоял на бифштексе, сказав, что в Лос-Анджелесе человеку нужна энергетическая пища. Жалкое блюдо Шарон раздражило Боба до такой степени, что он стал давиться. Б. П. согласился с идеей энергетической пищи и описал ощущение благополучия, овладевшее им после того, как он съел пять оленьих сердец. Шарон невежливо заметила, что головы у них обоих набиты дерьмом.

— Только отчасти. Но и ты от него не свободна, дорогая. От рождения до смерти прямая кишка примата не бывает пуста. — Реплика Боба прозвучала громко, и две пары за столом напротив отнеслись к ней неодобрительно.

1. Золофт — антидепрессант.

Шарон хихикнула, игриво подняла ногу и потыкала Боба в пузо лакированной туфелькой. Б. П., который методически трудился над вырезкой, начав с восхитительного жирка, отметил про себя, что Шарон сообразительная девушка. У нее с Бобом завязался умный спор о том, что средства массовой информации — главное оружие массового уничтожения, поскольку непоправимо уродуют мозги народа. По мнению Шарон, телевидение, кино, газеты и почти все книги — это нервно-паралитический газ, отупляющий весь мир. Боб возражал:

— Зачем же тогда ты стремишься в кинобизнес?

Она, естественно, отвечала:

— Чтобы его улучшить.

— Вы, слабосильная нью-йоркская шушера со своим экспериментальным кинорукоделием, вы, надутые ксенофобы, думаете, что Нью-Йорк — это весь мир. Холод, копоть, все в кожаных куртках дрожат на рассвете. Видишь мост, дома, голубей. Потом опять мосты, дома, голуби. Ну, добавь еще пару собак, китайский ресторан, бездомного, ковыряющего в носу. — Боб разгорячился, но не настолько, чтобы забыть про еду.

— А вы, либеральные романисты, съезжаетесь сюда и думаете сотворить что-то качественное, и что получается? — Шарон говорила так тихо, что нельзя было жевать, иначе твои коренные заглушили бы ее голос. — Вы думаете, что свои вялые чувства можно приложить к чему угодно. И что в результате? Стрельба. Все во всех стреляют. Вы думаете, что основной закон жизни — преступление. Как за спасительную соломинку хватаетесь за свой квелый пенис, и он приобретает форму пистолета. Бах. Кончил. Бах. Кончил. — Шарон чопорно вытерла чистые губы салфеткой и, надувшись, посмотрела на Б. П., который расправился с вырезкой и теперь обожал шпинат, плававший в прованском масле с чесноком. — А вы что думаете, Благородный Дикарь?

— Я думал, что это лучший бифштекс в моей жизни и что хочу получить назад медвежью шкуру. — Он посмотрел на ее несъеденных моллюсков, и она подвинула к нему тарелку. Это был еще один новый опыт в новом мире — он никогда не ел сырых ракушек. — Я знаю, что многого лишен у себя дома, но телевизора у меня нет, кинотеатры далеко, а газет не люблю, потому что картинки в них черно-белые, а мир — цветной. — Он чувствовал себя слабым перед ее натиском.

— Но, дорогой мой, вы получаете нервно-паралитический газ от разговора с любым знакомым. — Она просунула крохотную ножку под стол и легонько пихнула его в причинное место.

В это время зазвонил сотовый Боба, и он величественно вынул его из кобуры на поясе. “Да. Нет. Да. Нет. Отлично”, — сказал он и, записав адрес в книжку, выключил телефон. Потом посмотрел на Б. П. и голосом Джо Фрайдея[1] произнес:

— Установлен адрес Лона Мартена. Едем туда.

Боб был явно навеселе и ухмылялся, радуясь обретенной цели. Он взял телячью кость и стал обгрызать упрямый хрящик.

— Лучше поехать на рассвете, — сказал Б. П., решив, что предпочтительнее осторожная тактика.

— Завтра суббота, поэтому рассвет будет в полдень, по крайней мере в Лос-Анджелесе. Будильник у Боба всегда поставлен на одиннадцать-одиннадцать.

1. Джо Фрайдей — полицейский, герой кинофильма “Бредень” и сериала с таким же названием.

Шарон повернулась к Бобу, который смотрел мутным взглядом на бар и в это время помахал какой-то паре.

– Это Сандрина со своим шишкой из Эн-би-си. Он полирует ей сапоги языком. Представляю, как это сказывается на вкусовых бугорках. Поверьте мне, вкус – это важная часть вашего будущего. Если он отказал, остальной твой сенсорный аппарат высыхает, как коровья лепешка под полуденным солнцем, где столоваться могут только червяки и личинки.

– Боб, замолчи, ради Христа, – Шарон так сильно толкнула его локтем, что только безупречное чувство равновесия в подобных ситуациях позволило ему спасти свой стакан с вином.

Пара подошла к ним.

– Сандрина де ла Редондо, это твой сосед по "Сиаму" Бурый Пес, – сказал Боб, игнорируя телевизионного начальника с его сшитым на заказ английским костюмом, тонированными желтыми очками и очень чистыми ушами.

– Êtes-vous célibataire? – спросила Сандрина, развязно положив руку на затылок Б. П.

Он глубоким взглядом уставился в ее голый пупок, наслаждаясь ароматом майской утренней сирени.

– Это значит: "Знаменитость ли ты?" – перевел Боб.

– Это значит: "Ты холостой?" – уточнила Шарон.

– Pouvez-vous venir prendre un verre chez moi ce soir? – спросила Сандрина, проведя мизинцем у него за ухом, отчего он вздрогнул.

– Она спрашивает, не хотите ли вы с ней попозже выпить. – Шарон зевнула.

– Да. Я не против. – Б. П. подумал, что, если эта женщина так сразу им заинтересовалась, с ней, наверное, что-то неладно. Интригующий вопрос – что именно? Если она хочет зеленую карту, он ей на рассвете пообещает. Он вяло помахал Сандрине, удалявшейся со своим вялым другом.

– Она хочет роль. Все хотят какую-нибудь роль. Включая меня. Я отвезу его домой. По дороге мы заедем на важную вечеринку – он познакомит меня с людьми, которые могут дать работу. – Сильными ногами – развитыми благодаря теннису или еще чему – Шарон вытолкнула Боба из их отсека. Боб только подписал счет и кинул сотенную на размякшее масло, в котором увязла одинокая муха.

Ничто пока не может быть иначе, чем есть, думал Б. П. в два часа ночи, растянувшись на своей кровати в "Сиаме". Живот, набитый как барабан, играл. Может, на ночь не стоило есть килограммовый бифштекс? По дороге домой – гулять так гулять – он купил полдюжины "гролша" за десять долларов и осаживал ужин под звуки мексиканской музыки. Ролей и рабочих мест в кино, по-видимому, меньше, чем желающих, а желающих много; впрочем, он вспомнил, что, когда посылочная служба Ю-пи-эс открывала отделение в Эсканобе, наняться хотели больше двухсот человек. Все говорили, там много *льгот*. Если ищешь физическую работу, этой дурацкой давки нет. Понадобились деньги – приходи с пилой, канистрой бензина, парой литров масла и пили на здоровье. Нужно жилье – на Верхнем полуострове сотни охотничьих домиков, пустят жить за ремонт. Благодаря другу Фрэнку из таверны на него всегда был спрос. Он ставил ловушки на дикобразов и рыжих белок, вредивших хижине, и выпускал их возле другой – например, возле этой парочки йогов, посмотреть, нравится ли зверькам дорогое жилье. В настоящем достаточно своих трудностей, так что с идеей будущего не очень-то и управишься. Он

заметил, что оно само помаленьку приходит изо дня в день. Более важная проблема в жизни — борьба между пивом и водой. Слишком много пива, понял он по многолетнему опыту, тяжело сказывается на организме. Чета йогов объяснила ему, что Элвис Пресли мог бы и не умереть, если бы потреблял больше воды. Все его боли и наркотики — результат запоров из-за неправильного питания (чизбургеры и поджаренные сандвичи с арахисовым маслом и бананом), а главное, из-за того, что мало пил воды. Б. П. забеспокоился из-за своей любви к чизбургерам Фрэнка, и йоги прописали ему по шесть стаканов воды на чизбургер. Приходилось часто вставать и писать в холодной хижине, но, к счастью, рядом с его койкой было окно. В общем, он не презирал этих лесных яппи — сейчас, например, они бы лучше его сумели приспособиться к Лос-Анджелесу. Ему трудно было избавиться от нетерпения, хотя он провел здесь всего два дня. Но третий день обещал принести плоды, как говорят библейские люди.

Сандрина постучалась к нему в три часа ночи, сопроводив это тихим французским приветствием. У Б. П. наготове было требование, чтобы она говорила по-американски. Кроме того, он рассредоточил свои четыреста семьдесят долларов по полудюжине мест, включая оба носка с полусотенными. Кто-то сказал, что надо давать понемногу и брать понемногу — одна из смутных заповедей, на которых строится жизнь. Комната у Сандрины была очень приятная, обклеена французскими постерами, на одном — величественное ущелье с рекой на юге, где могла водиться радужная форель. Мне бы сейчас рыбу удить дома, подумал он, потому что в Мичигане было шесть утра, и он вообразил, как стелется утренний туман над его любимым бобровым прудом, где он однажды вытащил полуторакилограммовую форель с мягким желтым брюхом на искусственную муху № 16, Адамс.

Основываясь на нелепом наряде и на том, что Боб не стал бы якшаться с незначительным человеком, Сандрина решила, что Б. П. — по крайней мере рок-музыкант, не из самых известных, не с обложки "Роллинг стоуна". Когда они выкурили косяк в качестве замены спиртного, Б. П. почувствовал, что будут осложнения — такой забористой травы он еще не пробовал. Он обиделся, когда Сандрина включила телевизор, но она сказала: "У стен есть уши", объяснив, что иммиграционное ведомство сидит у нее на хвосте. Во Франции она жила в шато, но в "Amerique" вынуждена скрываться от неофашистского правительства в мотеле. Совсем отказаться от своей легенды она не могла, но главным ее мотивом было получение не зеленой карты, а тысячи долларов, которые задолжал ей Боб за сексуальные услуги. Не будет ли Б. П. настолько джентльменом, чтобы покрыть долг друга бедной девушке? "Я должен подумать", — сказал он в кулак, как в микрофон. Конопляный дым уже клубился в его мозгу, и совет молодых йогов "слушай свое тело" представлялся сейчас не слишком привлекательным. У него на глазах Сандрина переоделась в более удобный наряд — мягкое полотняное платьице, доходившее до середины бедер. Говядина в животе у Б. П. забеспокоилась и стала мычать. Сандрина сняла с него шляпу и, отскочив, словно ее ткнули стрекалом, объявила, что более уродливой шевелюры на свете не найти. На его счастье, она опытный косметолог. Она отвела его в ванную, велела нагнуться над унитазом и коротко, до щетины, остригла ножницами. Ему это было безразлично, но при виде слоя волос на воде он вспомнил библейского Самсона, остриженного Далилой. Когда она спустила воду, покрытый волосами водоворот оказался похож на коровью задницу. Операция закончилась голубым ополаскивателем, и тут Б. П. вспомнил вещий сон Делмора о том, что он вернется с жуткой прической! Господи, загадочная

штука жизнь. Они обнялись перед большим зеркалом в ванной, и Сандрина выпустила из заточения его конец. Он казался чужим и далеким, тычась в ее теплое полотняное платье в поисках мишени. "Non, non, non", — шептала она, направляясь к кровати. Они улеглись по-старинному валетом, в позиции, которую она предпочитала, по словам Боба. В наркотическом тумане ему все годилось, а эта восхитительная дева, несомненно, знала свое дело. Без глухого воздействия пива, мяса и марихуаны все кончилось бы вмиг. Мир казался темным, поэтому он открыл глаза и между двумя округлостями ягодиц увидел в телевизоре Винсента Прайса. Это был очень старый фильм ужасов с парашютами, которые не раскрывались, — подходящая метафора для его жизни. Делмор жаловался, что в современных авиалайнерах не обеспечивают парашютами. Она стукалась о его подбородок, и он чувствовал, как ее руки движутся по его икрам, щиколоткам к единственному, что на нем надето, — к носкам. Пальцы добрались до ступней, как раз когда аэроплан Винсента колыхался в облаках между ее полушариями, и она пробулькала: "Подарок для Сандрины, мерси". В момент разрядки, стащив носки и отшелушив две полусотенные, она закричала: "Ах ты дармоед!" Она вскочила со слезами на глазах и затрясла жалкими купюрами, которых он ей, в сущности, не дарил. Пока он быстро одевался, она угрожала призвать мафию — он что-то смутно слышал о мафии, но сейчас, в постнаркотической паранойе, возможным представлялся любой ущерб. До сих пор, а ему уже было сильно за сорок, он не представлял себе, что половой акт может подействовать угнетающе. Когда Б. П. натягивал брюки, она полезла за бумажником, который он предусмотрительно оставил в своей комнате, и оба снова повалились на кровать. Лежа ничком, она лягалась и притворно рыдала, а он встал и решил, что это самый прелестный зад в его жизни, и настроение у него ощутимо улучшилось. Когда он подошел к двери, взялся за ручку и кинул на Сандрину последний взгляд, она умоляюще протянула руку за добавкой наличных — ничуть не менее привлекательная, чем давешняя божественная артистка на студии. У себя в комнате он выпил полтора литра из своей ценной водяной заначки и без единой мысли уснул.

Телефон зазвонил в одиннадцать-двенадцать утра. Б. П. уже лежал с открытыми глазами и думал о мудрой присказке Фрэнка: "Куда ты пришел, там ты и есть". Можно ли оспорить проницательность этого наблюдения?

— У нас рандеву с судьбой. Настроение великолепное. А у тебя? — Боб говорил так громко, что у Б. П. зазвенело в ухе. После изречения Фрэнка он стал обдумывать слова молодых йогов насчет того, что глаза и руки есть повсюду на теле и во всем теле — это значило, что у тебя большие резервы, только захоти их использовать. У этой пары изречения были в большой чести приклеены и прикноплены по всему дому.

— Б. П., ты тут? — Боб слышал его дыхание, но и только.

— Да. Я задумался.

— Ты встретился с красивой Сандриной?

— Можно сказать, да. Ты веришь в эволюцию?

— Все верят, кто видел "Планету обезьян", но что это тебя разобрало?

— Я подумал, не может ли быть так, что происходишь от медведя, а не от обезьяны?

— Не думаю, но наука не мой конек. Дело не отменяется?

— Нет. Если согласен, давай двинем на рассвете. Шарон сказала, что это в получасе езды.

— Поднимись ко мне в номер и выработаем стратегию. Я закажу завтрак.

Смыв сон с лица, Б. П. был озадачен своей стрижкой и синеватым тоном головы. Тем больше причин надеть шляпу. Сандрина та еще штучка. В носках сильно чувствовалась пустота, оставшаяся от полусотенных, и он по-новому разместил свои триста семьдесят долларов. При такой таксе минет станет недоступен простому человеку, и одна только инфляция обеспечит супружескую верность — конечно, если ты женат.

Перед тем как сесть в машину, он придумал подразнить Сандрину и сунул ей под дверь свеженький доллар, чаевые, которых ей хватит на треть чашки кофе, чтобы встретить новый день, уже подававший признаки терминального смога. В глазах и носу у него засвербело, как возле горящей свалки с автомобильными шинами; впрочем, возможно, это подходящая погода для его предприятия. Желтоватое небо глядело угрожающе, и он провел пальцем по растрескавшимся губам, вспоминая причину повреждения. Фрэнк рассказывал ему, что индейские воины перед тем, как вступить в битву, говорили: "Сегодня подходящий день, чтобы умереть", но в нынешней ситуации это было, пожалуй, чересчур. Скромное ранение вполне уместно, но замахиваться, как говорится, на большее он не хотел. Не хотел он и еще одного сеанса с красоткой брюнеткой Сандриной, по крайней мере за такую цену. С сотней долларов можно протянуть целый зимний месяц, если вести себя аккуратно. Двое ветеранов Второй мировой войны рассказали ему в таверне, что в разоренных Европе и Японии переспать можно было за шоколадный батончик, однако ему не показался справедливым такой обмен. Самое малое, надо было бы поджарить бедной девушке курицу, сделать пюре, испечь яблочный пудинг с коричневым сахаром и не пожалеть масла.

Номер Боба поразил его своим устройством: гостиная и две спальни, одна полна книг и служит кабинетом. Он не представлял себе, что такое возможно в отеле. В гостиной рядом с накрытым столом стоял телескоп на треноге, нацеленный на бассейн. Возникал вопрос: если хочешь посмотреть на дам, почему не спуститься и не посмотреть на месте, но Боб сказал: "Так безопаснее". Б. П. немного утомился от женщин и направил телескоп на цветущее дерево со стайкой зеленых попугайчиков. К его разочарованию, Боб не знал, как оно называется, и к тому же сказал, что отель хочет избавиться от этих красивых птичек, потому что они срут на головы постояльцев у бассейна.

— А как еще им быть? У птиц нет уборных. — Б. П. взяла досада. Эти птицы были красивые, как иволги.

— Управляющий считает, что они нарочно.

— Хорошо, если так. — Б. П. сел за богатый стол. От бифштекса осталось уже одно воспоминание.

— Я заказал тебе ветчину по-деревенски, яичницу по-деревенски и жареный картофель по-деревенски. В меню не сказано, по-деревенски ли тосты — может быть, по-пригородному.

— Не отказался бы от соуса, но не жалуюсь. Сойдет и кетчуп. — Б. П. вынул из кармана бутылочку табаско, но сразу выяснилось, что соус жжет потрескавшиеся губы.

Он загарпунил кусок копченой лососины Боба и нашел, что рыба недурна. В качестве шутки Боб заказал для Б. П. стакан морковного сока, который он вылил в унитаз, когда Боб ушел в спальню переодеваться. В водовороте морковный сок выглядел ничуть не привлекательнее, чем накануне его волосы. Боб благородно воздержался от насмешек над его синей прической. Сказал только: "С волками жить — по-волчьи выть".

Из спальни он вышел в стильной камуфляжной майке и итальянском спортивном пиджаке — в честь предстоящей операции.

— Шарон сказала, что мы пытаемся окрасить мир в наши цвета, хотя у него уже есть свои, — сказал Б. П.

Он еще раз посмотрел в телескоп, заметив под попугайным деревом не птичье движение. Это была женщина в белом узеньком бикини, и, подрегулировав фокус, он увидел несколько коротеньких волосков над соском одной из грандиознейших грудей на свете. Боб заглянул и сказал, что это Нина Колдбрэд, итальянский телемагнат, решила обзавестись румяной корочкой. Когда он предложил ей виллу за ее общество, она только зевнула и рыгнула — так, по крайней мере, сказал Боб. Боб приник к телескопу надолго, а Б. П. почувствовал, что уже перебрал красоты, что на просторах Севера можно всю жизнь прожить, не увидев подобной женщины, а если выпадет такое, то станет драгоценным воспоминанием. Может быть, человеку лучше бы жилось, если бы его опыт был более ограниченным и даже не включал в себя шелкового тарана, из-за которого с прошлой ночи у него саднит лицо. Может быть, этот опыт вбил ему в голову сколько-нибудь разума, а может быть, нет.

Когда Б. П. остановил машину перед охраняемыми воротами неподалеку от Бенедикт-Каньона, где, по сведениям, остановился Лон Мартен, Боб не на шутку занервничал. По алкогольно-туманным воспоминаниям, это был дом какого-то студийного главаря, грозы сценаристов, но какого именно, Боб не помнил. Он перетряхнул список названий студий, потом вспомнил "Юнивёрсал" и успокоился, потому что там мосты были и так сожжены после одного не особенно удачного проекта "Кто-то назвал это вторником" — о сексуальных авантюрах жены республиканца. Боб велел Б. П. нажать звонок, а когда голос спросил: "Что вам угодно?", крикнул: "Мы из Народа," и громадные ворота открылись как по волшебству. Боб сказал Б. П., что хозяйка дома — активная защитница гражданских прав и специализируется по индейцам. Они проехали через кирпичный туннель — последнее слово организации охраны бог знает от чего — и очутились на громадной лужайке перед домом в тюдоровском стиле. Посреди лужайки, но недалеко от дорожки, женщина в сиреневом пеньюаре и три несомненных индейца с длинными черными конскими хвостиками играли в крокет. Еще один мужчина спал под сосной. Боб усмехнулся.

— Ирония чешет в усталой заднице. Краснокожие играют в крокет.

— Не совсем так. Крокет изобрели оджибуэи, только шары выреза́ли вручную из древесины дуба, пораженного молнией. — От напряжения ум у Б. П. начал куролесить. Он понял, что человек под сосной, принявший сидячее положение, — не кто иной, как Лон Мартен.

Они вылезли из машины, и женщина кинулась к ним со словами: "Боб, Боб, Боб, добро пожаловать!" Боб вспыхнул от удовольствия — она помнит его имя, — но потом сообразил, что память у нее, наверное, не затуманена алкоголем. По обычаю этих краев они обнялись, и она поклонилась Б. П., приняв его за подшефного, но тот, сосредоточенный на своей цели, уже шагал через воротца к Лону Мартену. Очень крупный лакота[1], так, по крайней мере, значилось на его майке, преградил дорогу Б. П., поскольку Лон Мартен заверещал и полез на сосну. Б. П. осмот-

1. Самоназвание западных индейцев сиу.

рел мускулатуру лакоты, потом поглядел поверх его широкого плеча на Лона Мартена, верещавшего на дереве.

— С тобой я не ссорился, вождь. Он украл у меня медвежью шкуру. В свое время я был лучшим кулачным бойцом во многих округах. И еще не совсем разучился.

— Он украл у тебя медвежью шкуру? — Лакота повернулся и посмотрел на древесного Лона Мартена, потом опять на Б. П. — Я видел медвежью шкуру вчера. Думаю, он мог ее продать.

— Мне дал ее мой дядя Делмор. Это был его медвежий талисман, он отдал его мне, когда переехал на юг и перешел на черепаховые.

— С вами, чиппевами, мы никогда не дружили, но времена изменились. Даже в наши дни нельзя красть у человека медвежий талисман.

Лакота кивнул и отступил в сторону, но теперь за Б. П. шли к дереву уже все присутствующие. Б. П. подобрал пару крокетных шаров, взвесил на ладони и метнул один в задницу Лона Мартена, высовывавшуюся из-за сука. Боб попытался схватить Б. П. за руку, но безуспешно. Лакота и Боб объяснили ситуацию хозяйке, которая заламывала руки в ужасе перед зрелищем мужского гнева — подобное происходило и с ее супругом, но в более сдержанных формах. Она остановила руку Б. П., когда он готовился запустить вторым шаром в голову Лону Мартену.

— Лон Мартен, я могу влезть и содрать тебя с дерева, как медведь! — заорал он, правда повернувшись при этом к женщине, державшей его за руку.

— Вчера на нашем благотворительном обеде Лон Мартен продал медвежью шкуру Ллойду Бенталу. Половину вырученного он намерен пожертвовать на нашу работу. Если этого недостаточно, я могу заплатить вам за нее. — Она сняла сотовый телефон с прозрачного пояска и крикнула: — Пожалуйста, мою чековую книжку.

— Нет, не можете. — Б. П. опустился на землю и спрятал лицо в ладонях, не заметив, что при имени Ллойда Бентала Боб отпрянул и лицо его приняло окраску грязного снега.

Дело зашло в тупик. Лакота и остальные два индейца сели по ту сторону дерева, а затем к ним присоединилась и женщина, решив, что происходит некое священнодействие и ей, наверное, тоже надо участвовать. Прибежала прислуга с чековой книжкой и была отослана прочь. А Боб вернулся к машине, где, к его огорчению, нашлось только три самолетных бутылочки спиртного. При одном имени Ллойда Бентала, безусловно самого могущественного продюсера-режиссера в Голливуде, все его кровеносные сосуды сжались от страха. Если пошел поперек Ллойда, о работе в Голливуде забудь. Никто не решался подсчитать, сколько сценаристов было отправлено обратно на Восток с разжиженными мозгами и высохшими яйцами.

В конце концов Бурый Пес встал, задрал голову и сурово посмотрел на Лона Мартена, который чувствовал себя сейчас как уволенный сценарист. Впервые в жизни Лон Мартен понял, что хватил через край. Когда представилась возможность продать магнату шкуру, он догадывался, что не надо этого делать, как не надо было бедному дураку Б. П. открывать проклятым васичус[1] местонахождение кладбища. Но Ллойд Бентал пришел на благотворительный обед с двумя молодыми артистками, такими, что на Лоне Мартене задымилась кожа, не говоря уж о рулоне сотенных, от которого и свинью запрет. Белые женщины,

1. Так индейцы называют неиндейцев.

деньги, не говоря уж о дури, всегда бередили его маленькую вороватую душу.

— Лон Мартен, если ты не поможешь мне вернуть мою шкуру, я настигну тебя и вырву у тебя сердце. — После этого недвусмысленного обещания Б. П. медленно пошел к машине, утирая рукавом слезы. Женщина проводила его до машины и спросила, где он остановился; когда он сказал: "В Сиаме", она, естественно, подумала о Юле Бриннере и Анне[1]. Через окно она погладила по плечу Боба, превратившегося в серую соплю, и даже не огорчилась, когда Б. П. круто развернулся и дал газу, взрыв колесами дерн. Подлинная эмоция.

Это был его самый черный час, руки цепенели на руле. Движение на бульваре Сансет встало из-за аварии, и Б. П. остро ощутил крах цивилизации. Один знакомый, восьмидесятилетний финн, слетал сюда повидаться с сыном и предупредил Б. П., что "мир наполняется". Факт. Б. П. хотелось превратиться в черепаху, как в тот раз, когда они ехали через бесконечно уродливый Лас-Вегас и он просто поднял ворот рубашки и убрал голову в ее темное нутро, предпочтя собственный несвежий запах.

Не утешало и то, что Боба опять понесло и он без умолку болтал о Ллойде Бентале, о его семи "Оскарах", о его домах на Беверли-Хиллз, в Палм-Спрингсе, Палм-Биче, Акапулько, о каменном особняке на Манхэттене, о роскошной квартире в Париже, о доме на берегу в Ист-Хемптоне. Эти подробности немного отвлекли Б. П. от гневных размышлений, заставив задуматься о том, спускает ли мужик воду из труб, чтобы их не разорвало, пока он переезжает с места на место, и о том, как заедает арматуру в бачках туалетов, когда ими долго не пользуются. Потом зазвонил телефон, оборвав внутренний и внешний монолог Боба, но Боб как будто не слышал звонка, и ответил Б. П. Это была крокетная хозяйка, она хотела сообщить, что связалась с Ллойдом Бенталом, но он не желает отдавать свой ковер, и как раз когда она ему звонила, Ллойд лежал на нем, потому что ковер рождает в нем ощущение духовности. Кроме того, она позвонила мужу, разбудив его в Лондоне, и он позвонил начальнику бутафорского цеха на студии, и ковер из медвежьей шкуры доставят в "Сиам". Б. П. готов был послать ее в одно место, но тут у него зародилась совсем пока еще смутная идея, и он сказал только: "Спасибо вам, белая женщина, и позвольте сказать, что вы красиво выглядели в сиреневом платье". Несмотря на гнев, он отметил тогда ее привлекательность.

Тем временем Боб продолжал трещать, и суть сводилась к тому, что он больше не может помогать Б. П. в охоте за медвежьей шкурой: если он попадется и рассердит Ллойда Бентала, "ему никогда не видать работы в этом городе".

— Ты мог бы работать в Небраске, — вяло отозвался Б. П., оглядывая затор в поисках возможного объезда.

— Он и там меня достанет. Месть его скора и неотвратима. Он даже на животных отыгрывается. Несколько лет назад ему подарили полуволчицу. Она гадила на пол, как все звери. Ллойд велел ее выкрасить в розовый цвет, и она сдохла от смущения. Пожаловались в Общество защиты животных, но и оно побоялось Ллойда Бентала. Мне надо кормить семью, больную жену и двух больных ребят. Им нужны продукты и молоко. Я должен посылать домой пятьсот тысяч в год.

1. Юл Бриннер исполнял роль сиамского короля в музыкальном фильме "Король и я". Анна — английская гувернантка, с которой у короля роман.

— А твоей развратной матери? — без иронии спросил Б. П.

— И ей. Ей под семьдесят пять, но, вероятно, еще ударяет по панели. Только не думай, сердце мое — с тобой.

— А машина — нет? — Б. П. понял, что возвращается к пешей жизни. Впрочем, ходьба прочищает мозги.

— Машина — нет. Машина — мой опознавательный знак. Мою машину знают все в городе, особенно полицейские. А тебе могу взять напрокат. — Голос его перешел в блеяние.

Когда Б. П. затормозил перед отелем, Боб уже рыдал от горя и страха. На глазах у изумленного швейцара они обнялись, и Боб запихнул в карман Б. П. еще денег. Он, спотыкаясь, стал подниматься по ступенькам, а Б. П. спустился наискосок к ботаническому саду — требовалась большая порция природы, чтобы собраться с мыслями. Но приходилось довольствоваться маленькой.

В "Сиам" он притопал через час. В ботаническом саду у прудика с карпами сидел дальневосточный человек в белом костюме, но поскольку Б. П. шел с той же целью, он сел неподалеку. Полчаса они провели в молчании, после чего восточный человек улыбнулся и встал. Они разговорились, и выяснилось, что тот сосредоточивался для восьмичасовой операции на мозге маленькой девочки. Б. П. пожелал ему успеха, думая о маленькой дочке Розы Ягоде, у которой в голове все перепутано из-за того, что Роза сильно пила во время беременности, и теперь состояние девочки безнадежно. Всю дорогу до "Сиама" Б. П. чувствовал, как набухает в нем сырая тяжесть ностальгии. Ему хотелось, чтобы его грызли сейчас комары, чтобы коченел зад, как в то холодное летнее утро, когда урожай черники был под угрозой и он пошел подсобрать для оладьев. Он всегда перекладывал ягод, и оладьи получались клеклые, но все равно хорошие. А после пивом забивал сладость кленового сиропа и несколько часов гулял или удил рыбу.

В "Сиаме" он с отвращением сбросил свой пижонский голливудский наряд и принял душ. Пора было вернуться к трезвой смиренности швейцарского костюма с именем неведомого Теда на кармане. Ухом к стене, он слышал, как поет Сандрина, — несомненно, самое примечтательное из всего, с чем он встретился в этом городе, хотя рецензии были двойственные. В зрительном плане все было превосходно, несмотря на бестактно высовывавшееся между гладкими щечками суровое лицо Винсента. Едва он допил литровую бутылку дорогой воды, как в дверь постучали. Он осторожно выглянул из-за занавески — перед дверью стоял Лон Мартен, в руках коврик из медвежьей шкуры с зеленой фетровой подкладкой. Б. П. открыл дверь — коврик выглядел еще более жалко, чем в окошке: мех с коричным отливом, с изнанки какие-то резиновые штучки против скольжения. Вообразить такое трудно, но похоже было, что шкура принадлежала медведю-педерасту.

— Этот автомобиль я одолжил, он стоит сто тридцать тысяч, — сообщил Лон Мартен, показав на стоявший у него за спиной "мерседес" с откидным верхом.

— Расскажи это тому, кому не насрать, — отвечал Б. П. Он подумал, что эта сумма превзойдет его доходы за всю жизнь. — А шкура, похоже, сделана в бутафорском цеху "Юнивёрсал".

— Откуда ты знаешь? — Лон Мартен удивленно посмотрел на шкуру.

— У меня свои источники. — Он повернулся и увидел Сандрину, во все глаза глядевшую на них из соседней двери.

— Лон Мартен! — воскликнула она.

— Сандра, французская девушка! Как странно видеть тебя в этом скромном окружении, включая Б. П.

— Мое имя — Сандрина. А ты, конечно, думаешь толкнуть машину в Тихуане. Я живу здесь потому, что мне сняли. С мужчиной жить не могу, потому что вы дьявольское отродье, а то и хуже.

Выяснилось, что ее кавалер из Эн-би-си водил ее на благотворительный обед и купил там какое-то украшение из эрзац-бирюзы.

— Сандрина, дорогая, мне нужны ножницы.

Здесь, кажется, все называли друг друга "дорогими", а что ему мешает? — решил Б. П. Он внес медвежий коврик в комнату, надеясь каким-нибудь образом протащить его в дом Ллойда Бентала и подменить им свою медвежью шкуру. Свои дни он может закончить в калифорнийской тюрьме — ну и что с того? А может, его отпустят через две-три зимы, он вернется домой и услышит сладостный хруст снега под ногами.

Пока Б. П. отпарывал ножницами подкладку, Сандрина и Лон Мартен сидели на кровати и курили косяк. Лон Мартен перебирал возможные способы помочь Б. П. в возвращении шкуры, в том числе такой оригинальный, как взрыв дома при помощи тонны азотных удобрений, керосина и капсюлей. Услышав имя Бентала, Сандрина зевнула.

— Думай сильнее и имей в виду, что иначе я вырву у тебя сердце. — Б. П. закончил работу над шкурой. Видно было, что кто-то вымыл мех шампунем и приделал медведю мраморные голубые глаза. Нет предела кощунству, подумал он.

— Я хорошо знаю Ллойда Бентала, — похвасталась Сандрина, чем сразу привлекла их внимание. — Отсасывала ему несколько раз. Давать не давала, потому что он не звезда, а только режиссер и продюсер.

Договориться с Сандриной о помощи оказалось нетрудно. Лон Мартен начал с пятисот долларов, но она настояла на привычной тысяче, сердито глядя на Б. П. и напомнив ему о двух презренных полусотенных из носков. Лон Мартен вынул пачку, отсчитал десять стодолларовых бумажек, жалобно объяснив, что это благотворительные деньги для народа и теперь не хватит на починку прохудившихся вигвамов. Сандрина притворно зевнула и пошла искать номер Ллойда в своей крокодиловой, толщиной с ладонь записной книжке. Когда она вышла, Лон Мартен шепнул Б. П., что деньги фальшивые, плохой работы, куплены по двадцать долларов за тысячу, но для таких случаев полезны. Б. П. согласился. Вернулась Сандрина и сказала, что у Ллойда "окно" всего полчаса, в девять тридцать он едет на ужин, поэтому им надо поспеть точно к девяти. Это означало, что два часа им предстояло томиться в собственном соку. Сандрина проголодалась, и Лон Мартен повез ее есть, вырулив со стоянки "Сиама" с невероятной скоростью. Б. П. попросил привезти ему сандвичи из черного хлеба с ливерной колбасой, луком, чеддером и крепкой горчицей, но не очень надеялся, что они сумеют. Ничего ближе к энергетической пище его краев он не мог придумать. Для предстоящего судьбоносного вечера больше подошло бы оленье сердце или печень, но здесь их вряд ли достанешь. Охотники не раз давали ему и Фрэнку медвежатину — им нужна была только шкура. Б. П. быстро обнаружил, что с мяса старого медведя надо срезать все сало, иначе остается такой запах, как если бы смешали седельное мыло с тавотом. В крови молодых медведей, особенно самок, меньше пурина, и долгими октябрьскими вечерами на кухне у Фрэнка они пробовали готовить медвежье жаркое с большим количеством чеснока и красного вина, а иногда по другой рецептуре — с чесноком, жгучим перцем и темным ро-

мом, как готовят, по словам Фрэнка, старую козлятину на солнечных Карибских островах. Что не нравилось Бурому Псу в медвежатине — после нее всегда снились необыкновенно яркие медвежьи сны. Довольно страшно было совокупляться с медведицей даже во сне, а самцы вообще имели такой вид, что Майк Тайсон выглядел бы рядом с ними как балерина. Делмор дразнил его, говоря, что в прежние дни бывали случаи, когда человек превращался в медведя, если ел слишком много медвежатины или часто якшался с ними. Однажды вечером, когда он ловил рыбу в верховьях реки Фокс и сидел спиной к большому сосновому пню, подошла медведица и тоже села, метрах в семи от него. Соседство для обоих было интересное, и оба отвели глаза, зная, что в природном мире прямой взгляд считается по меньшей мере невежливым. Даже вороны не любят, чтобы на них глазели, и, если отведешь взгляд, они скорее останутся рядом.

Стук автомобильной дверцы вырвал Б. П. из медвежьего транса, отчего тоска по дому только усилилась. При мысли о ливерной колбасе сердце его взыграло, и, открыв дверь, он принюхался. Но это приехала в коричневом "таурусе" Шарон; рядом с ней храпел Боб. Теперь на ней была взрослая одежда, майка и джинсы, а не розовое платьице с лакированными туфельками. Она прислонилась к двери автомобиля, красиво выставив бедро, под майкой нахально торчали соски.

— Боб потребовал привезти его сюда, хотел перед вами извиниться — но вот спит.

— Не буди лиха, — неизвестно почему сказал Б. П.

— Не сердитесь на него. Он просто большой ребенок.

— Не сержусь. У него свои трудности. Тяжело, наверное, когда вся твоя семья больна, да еще мама шляется по улицам.

— А-а, ерунда все это. Наши семьи дружат бог знает сколько лет, и ничего с его женой и ребятами не происходит, если не считать обычных неврозов, наркотиков и алкоголя.

— Да что вы говорите? — Б. П. не понимал, ошеломлен он, удивлен или просто отвлекся на минуту от собственных затруднений. — Я думал, вы его подруга.

— Признаюсь, я его немного морочила. На самом деле я хочу сделать карьеру в кино и после вчерашнего приема, кажется, смогу получить работу у знаменитого Ллойда Бентала. Он напоминает грушу с губной помадой, но мне очень понравился. Читал мне стихи на пяти языках.

— Ну, поздравляю. — Теперь он, точно, был ошеломлен. Внутри этого большого города явно есть маленький город. Меньше всего ему хотелось сообщить Шарон, что он составляет заговор против разностороннего Ллойда.

— Вам когда-нибудь говорили, что вы жутко привлекательны? — Шарон оглянулась — спит ли еще Боб Дулат.

— Не могу сказать, что не слышал такого.

Они смотрели в глаза друг другу, как не принято в других частях животного мира. Б. П. поклонился и широким жестом показал на свою дверь мотеля. Шарон вошла, заметно покраснев. Немного погодя он озадаченно подумает, до чего испорчены могут быть отношения между временем и людьми. За дверью они с Шарон буквально столкнулись. Ее джинсы были полуспущены, и он тискал ее голый зад, а она грубовато дергала его за член, как будто заводила подвесной мотор старой модели. Языки их радостно сошлись, и в это время снаружи завопил Лон Мартен: "Ливерная колбаса от Нэйта и Ала". Сердце готово было разорваться — так близко, и вдруг так далеко. Несправедливостью обдало его, будто в лицо пернул

слон. Он быстро заправил своего солдата под ремень и вышел наружу, а за ним Шарон, почему-то насвистывавшая марш "Полковник Боги".

— На́ тебе, брат, с двойным мясом. — Лон Мартен вручил ему исполинский сандвич, и в тот же миг его член упал внутри брюк — в противоположность тому, что делает змея в известном индусском аттракционе. Б. П. обернулся, услышав явственное шипение. Шарон и Сандрина стояли нос к носу и ругались.

— Хочешь еще одного моего мужика увести, центровая тощая сука, — визжала Сандрина.

— Я тебе п... разорву, продажная псевдофранцузская проблядь, — вопила Шарон.

Б. П. прислонился к пассажирской двери "тауруса" и растерянно смотрел на спящего Боба. Размеры женского гнева привели его в ужас. Предвидя возможность того, что у него отнимут еду так же, как только что отняли женщину, он откусил от сандвича громадный кусок. Лон Мартен быстро встал между соперницами, и они синхронно, каждая из своих соображений, залепили ему пощечину. Шарон гордо отошла к машине, а Б. П. протянул через окно руку и потрепал Боба по голове. Боб проснулся, почуял запах протянутого сандвича и быстро откусил от него. Б. П. пришлось отпрыгнуть, когда Шарон резко сдала назад.

— Прощай, верный товарищ. — Он помахал рукой. Боб походил сейчас на морщинистого ребенка, который долго скандалил, а потом уснул.

Час Икс. Сандрина умело вела машину вверх по Беверли-Глен; транспортное средство принадлежало ее другу из Эн-би-си. Переднее сиденье было довольно узкое, и Лону Мартену пришлось сесть на колени к Б. П. Платить такие деньги всего за два сиденья, думал Б. П., отметив, что костлявый зад Лона Мартена не так очарователен, как зад Сандрины или Шарон. План заключался в том, что Сандрина войдет в дом Ллойда и до того, как приступить к делу, оставит дверь приоткрытой — если ей удастся выманить его из комнаты, где находится медвежья шкура. План был не вполне надежный, и когда Лон Мартен сказал: "Не посрамим студенческой чести", для Б. П. это было пустым звуком; вдобавок его раздражало то, что Лон Мартен и Сандрина курят в очередь еще один косяк, такой крепкий, что отработанный дым дурманил его.

— Je suis ici, — прощебетала Сандрина, нажав кнопку звонка на воротах. — Je suis la[1].

В ответ раздался мелодичный баритон: "Славно", и ворота, большие, как в кинофильмах о тюрьме, стали открываться. Б. П. и Лон Мартен сползли на пол и скрылись из виду. Сандрина шлепнула Лона Мартена, приподнявшего ее подол, чтобы посмотреть. Б. П. невольно ощутил некоторое самодовольство оттого, что близко знаком с закрытым районом Сандрины, несмотря даже на неотступно стоявший теперь перед глазами образ Винсента Прайса. Когда она остановила машину, он схватил подменную шкуру, женственную на ощупь, хотя и сухую. Сандрина вылезла, он услышал ее хрипловатый смех, потом она что-то еще сказала по-французски, и раздался бодрый смех мужчины, чем-то напомнивший телеведущего из Эсканобы в тот вечер, когда какой-то турист захотел смотреть новости в таверне Фрэнка. Б. П. не удержался и украдкой выглянул из окна. Мужчина был в коротеньком желтом халате и действительно похож на грушу с губной помадой, как описала его Шарон.

1. Я здесь... Это я. (*франц.*).

Б. П. восхитился быстротой его действий — юбка Сандрины уже была поднята выше талии. Он ощутил радостную дрожь — когда пара поднялась по широким дворцовым ступеням, Сандрина сумела оставить дверь приоткрытой. Сквозь воркотню невыключенного мотора должен был донестись ее крик: "Бабки!", если ей удастся вывести Ллойда через боковую дверь в розовый сад или увести в спальню — куда угодно на безопасное расстояние от медвежьей шкуры, в том случае, конечно, если Сандрине повезет ее увидеть. В ярком свете ртутного фонаря у них над головой Лон Мартен выглядел несколько обалделым. Потом Б. П. услышал звонкий крик "Бабки!" и вылез из машины, держа в руке коричную шкуру с голубыми глазами. Подойдя к лестнице, он обернулся и увидел, что Лон Мартен следует за ним как зомби. Б. П. схватил его, отнес обратно, закинул в машину и обмотал ему шею ремнем безопасности. Он должен сделать это сам.

Получилось все легче легкого, хотя поначалу его отвлекло великолепие дома, и он подумал, что в таком месте должен обитать царь мира. Он постарался бесшумно пробежать на цыпочках, но это не получилось; зато шкуру обнаружил быстро — как и следовало ожидать, на полу кабинета, увешанного сотнями фотографий и свидетельств хозяйского величия. Б. П. быстро сложил свою шкуру и засунул в черный мешок для мусора, предусмотрительно положенный в задний карман зеленых швейцарских брюк. Затем аккуратно разложил эрзац-шкуру и, окинув взглядом строй "Оскаров" на каминной полке, подумал, что они, возможно, из чистого золота. Был один опасный момент, когда он услышал женский голос с мексиканским акцентом: "Мистер Ллойд, это вы?" — но к тому времени Б. П. был уже в холле перед входной дверью, и тут же сам Ллойд громко простонал в саду: "Мама, мама, получилось". Б. П., сбегавший по ступенькам, на долю секунды замер. Он вспомнил, как однажды ночью в Мьюнисинге, энергично занимаясь с женой настоящего адвоката, он вдруг хлопнул себя по заду и закричал: "Скачи, ковбой!" и она сердито дернула его за ухо.

Лон Мартен, сидя, спал мертвецким сном; Б. П. повалил его, лег сверху, потом спихнул его вниз, на пол перед пассажирским сиденьем. Услышав мелодичные "au revoir" Сандрины и Ллойда, он не решился на этот раз выглянуть. Его нервировал стук собственного сердца, и он боялся, что Лон Мартен опять завопит: "Ух!", как индейцы в кинофильмах. Он пошарил по его лицу и твердо наступил ему на рот. А через минуту Сандрина была уже в машине, и мотор взревел, и он порывисто прижался лицом к ее коленям и от души поцеловал. Ее пальцы выбивали ритмичную дробь на его затылке, пока он поднимал ей юбку. Она запела короткую французскую песенку, и было что-то трогательное в том, что он не понимает слов.

Единственной причиной вернуться в мотель был полный ящик дорогой воды и еще несколько бутылок. Б. П. раздумывал, направиться ему в аэропорт или на автобусную станцию, но четыре, как минимум, дня в автобусе увеличивали вероятность того, что у него похитят трофей. Денег на самолет как будто бы хватало, по крайней мере на часть пути, но конкретно сумму он себе не представлял. Он спросил Сандрину, не одолжит ли она, если не хватит на билет, и ее "нет" было решительным.

— Я трудился над тобой всю дорогу от Беверли-Хиллз до Санта-Моники, а ты не заплатила ни цента. — Он был удручен.

— Вот тебе доллар, который ты мне подсунул под дверь, дубина. — Она улыбнулась.

В Санта-Монике они завернули в гимнастический зал Сандрины — она внесла плату из заработанных у Ллойда. Лон Мартен отошел, чтобы купить чашку кофе за пять долларов, и Б. П. подумал, не занять ли у него фальшивых, но это было рискованно. Б. П. никогда не летал — только раз на маленькой "сессне" с лесопромышленником, осматривавшим территорию, и удовольствия получил мало, если не считать того, что видел с воздуха дно озер и рек. Теперь он стоял перед открытым фасадом гимнастического зала и удивлялся. Громко играла рок-музыка, и шеренги упражнявшихся женщин повторяли движения гладкой черной инструкторши. Б. П. осмотрел тела и прикинул, что ни одна из пятнадцати женщин не нуждалась в гимнастике — и вот в одиннадцатом часу вечера они дергаются и вертятся до седьмого пота. Будет ли конец чудесам в этом городе? Он опять заметил, что прохожие на улице совершенно не замечают его в зеленой швейцарской форме. В мотеле было искушение забрать и воду, и пижонский голливудский наряд, но куда выйти в нем дома?

Когда Лон Мартен вернулся со своим литром кофе, вид у него был перевозбужденный. Б. П. давно удивлялся тому, как все, что бы ни взял этот человек в рот, немедленно оказывает на него действие. Сейчас Лон Мартен раздобыл в кофейне еще и метедрина[1] и был обижен, что спутники от него отказались. Всю дорогу до аэропорта шли споры вокруг идеи Лона Мартена толкнуть дорогую машину в Тихуане и на вырученные деньги улететь вдвоем с Сандриной на остров в Южных морях.

— Я должна жить в этом городе, — тоном праведницы произнесла Сандрина.

— Я мог бы снять тебя в документальном фильме, который буду делать для Национального фонда искусств о танцах шайеннов, — предложил Лон Мартен.

— А какая роль? — в тоне Сандрины послышалась нотка заинтересованности.

— Ты будешь миногой в парике, которая высасывает у мужчин душу через конец. — Лон Мартен захохотал.

— Кончай эту ерунду. Дама нам помогла. — Б. П. крепко взял Лона Мартена за загривок.

По телефону из машины Сандрина выяснила, что есть полуночный рейс компании "Норт-Уэст" до Миннеаполиса. Б. П. это не слишком вдохновило, но, с другой стороны, он чувствовал, что судьба начинает проявлять к нему благосклонность. Выйдя, он подошел к водительской двери и на прощание поцеловал Сандрину.

— До свидания, дорогой. Ты прелесть. Приезжай ко мне еще, — сказала она.

Приятно было, что они расстаются на такой высокой ноте.

В ожидании посадки Б. П. мысленно перебирал свои авиационные затруднения. Привлекательная женщина в билетной кассе была вместе с тем такая бодрая и чудна́я, что тоже, наверное, хотела пробиться в шоубизнес. Был День поминовения, и свободные места остались только в первом классе — на это ушли бы почти все его деньги, около девятисот долларов, включая те, что любезно сунул ему в карман Боб Дулат. И на местный рейс до Маркетта уже не останется. Или можно было рискнуть и ждать "отказа" в туристском классе, что позволило бы ему улететь и в

1. Метедрин — психостимулятор.

семь утра. Что-то противное было в слове "отказ", и он выложил весь свой помятый капитал, за вычетом одиннадцати долларов, понадеявшись на сон Делмора, где тот забирает Б. П. с его "жуткой" прической в Миннеаполисе. Ясно было, что надо попытаться исполнить сон ментора.

Неприятность похуже случилась на контроле, когда на экране монитора появилась голова медведя и черная контролерша в складненькой обтягивающей форме взвизгнула: "Что это?" Два агента отвели Б. П. в сторону, и встал вопрос о том, есть ли у него надлежащие документы на медвежью шкуру, как требует Служба рыбного и охотничьего хозяйства США. Это был настоящий тупик, но, к счастью, заступала другая смена, агентам не хотелось задерживаться, и Б. П. воспользовался легендой, придуманной Фрэнком, когда их тормознули полицейские по дороге из бара Сини домой. "Я сражался за свободу этой страны во Вьетнаме. Мое тело выглядит так, как будто над ним поработали дыроколом. Мы попали под сильный минометный обстрел в дельте Меконга, рыбалка после этого стала ни к черту". Этого хватило, и он проследовал к выходу, не догадываясь, что только самые ретивые полицейские захотят иметь дело с сумасшедшим.

Когда он позвонил из автомата Делмору, новости были двойственные, но где-то ближе к осевой линии на хорошей полосе жизни, за исключением того, что старуха Дорис все еще лежала в интенсивной терапии. К удивлению Б. П., он не разбудил Делмора, хотя на Верхнем полуострове час был поздний. Делмор болтал по любительскому радио с человеком из Уругвая и охарактеризовал последний как "страну на подъеме". Делмор потребовал, чтобы Бурый Пес немедленно ехал домой, не только для того, чтобы повидать Дорис, пока она не "спеклась", но и чтобы заняться воспитанием детей Розы, Реда и Ягоды. Белая нянька, обожавшая индейцев, продержалась всего три дня из-за проделок Ягоды, которая, например, засунула змееныша в коробку с детскими хлопьями и съела сырой гамбургер с солью и перцем. По-прежнему шел спор о том, действительно ли Б. П. зашел на территорию округа Алджер, когда обстреливали шутихами место археологических раскопок. Настоящим преступлением и все еще свежей местной новостью было то, что Роза откусила полицейскому палец, хотя из Лансинга приехала адвокатша-феминистка на помощь Розе, утверждавшей, что полицейский лапал ее за грудь. Нравится это Б. П. или нет, Делмор со своим адвокатом составил письменное заявление под присягой о том, что Б. П. является отцом детей Розы. Поскольку новый прокурор — республиканец и верит в семейные ценности, он не захочет посадить в тюрьму еще и отца, что обойдется округу в изрядную сумму. Воспитание детей имеет еще и то преимущество, что Б. П. вынужден будет "впрячься в лямку" — не очень привлекательная перспектива, но все лучше, чем сидеть за решеткой. Б. П. никогда не относил к себе слова Фрэнка о том, что все мы проводим свою жизнь в клетке. В конце концов Б. П. сказал Делмору, чтобы он садился за руль — самолет прилетает в Миннеаполис в шесть тридцать утра, а денег на билет до Маркетта не хватит. "Я говорил тебе, что так и будет, бестолочь, — прокаркал Делмор. И добавил: — Жди на тротуаре. Я не хочу платить за парковку".

Сев у окна в переднем салоне самолета, Б. П. засунул шкуру под сиденье впереди, потом снял туфли, чтобы поставить ноги в носках на мех и тем гарантировать себя от кражи. Рядом поместился важный бизнесмен из Миннеаполиса и явно не был доволен соседством. На бизнесмене был безукоризненный костюм в полоску, и Б. П. ощутил себя еще более невидимым, чем прежде, хотя физически вообразить такое трудно. Когда подошла стю-

ардесса принять заказ на напитки, Б. П. осведомился о цене и с облегчением услышал, что дают бесплатно, хотя потом сосчитал, что девять порций, употребленных им за ночь, обошлись по сотне штука. В целом он сохранял полное самообладание, утратив его на короткое время из-за немыслимой скорости разбега и чертовского воя двигателей. А вскоре кожа у него покрылась мурашками от красоты огней Лос-Анджелеса; он впитывал это зрелище некритическими глазами ребенка. Позже, когда самолет взобрался на одиннадцатикилометровую высоту, он сказал своему соседу: "Под нами одиннадцать километров, столько же, я слышал, в самой глубокой части Тихого океана". Сосед быстро закрыл глаза и притворился спящим. А еще позже далеко внизу стали появляться маленькие россыпи огней, обозначавшие города и поселки, и они сливались в красивые белые цветки.

На завтрак принесли салат с морепродуктами, и Б. П., решив, что пища уступает той, что давали в ресторане Боба Дулата в Малибу, быстро вынул свою бутылочку табаско и окрасил содержимое пластиковой тарелки в приятный розовый цвет. Сосед посмотрел на него с завистью, и Б. П. протянул ему соус.

— Вы чуткий человек, — сказал сосед.

— Не помню, чтобы кто-нибудь называл меня чутким, — ответил Б. П., наслаждаясь острой едой.

— Пошли они в жопу — вы чуткий. — Сосед расправился с третьей порцией спиртного и постепенно оттаивал.

Выяснилось, что сосед — любитель всякой причудливой охоты и рыбалки, он рад был человеку, готовому слушать его хвастливые рассказы о ловле лосося в Исландии и Норвегии, охоте на уток в Аргентине, на голубей в Мексике, где был один такой сказочный день, когда он настрелял триста белокрылых горлиц. Спустившись с небес на землю, он припомнил и заурядную охоту на куропаток под Гранд-Рапидсом в Миннесоте, где родилась Джуди Гарленд и совсем неподалеку — Боб Дилан. Он открыл свой компьютер и показал Б. П. движущиеся снимки двух своих сеттеров, и собаки даже довольно громко залаяли, заставив обернуться пассажиров, старавшихся уснуть. Поскольку мужчина есть мужчина, что бы это ни значило, он показал еще и несколько фотографий своих лос-анджелесских подруг. Он летал в Лос-Анджелес и обратно каждую неделю, и хотя был счастливо женат, о чем свидетельствовали компьютерные фото его жены и детей, шедшие непосредственно за собаками, в разъездах ощущаешь одиночество, и трудовой человек заслуживает тепла. Если бы Б. П. не задремал на несколько минут, то увидел бы фото бедной французской актрисы, которой сосед помогал получить зеленую карту. Б. П. не заметил также, что за весь четырехчасовой полет этот человек не задал ему ни одного вопроса о его жизни. Последним в калейдоскопе впечатлений был мерцающий рассвет над зеленью далеко внизу. "Это самая короткая ночь в моей жизни", — громким голосом произнес Б. П. Даже время не стоит на месте так, чтобы ты мог на него положиться.

Девять порций спиртного — солидное количество и на земле, не говоря уж о герметичном салоне, где давление соответствует полуторакилометровой высоте над уровнем моря. Высота опасная для обильных возлияний. Когда самолет приземлился, над полем стояла холодная, сырая, ветреная заря, и другие пассажиры первого класса провожали важного бизнесмена и Бурого Пса осуждающими взглядами, впрочем не произведшими впечатления. Снимая свой кейс с полки, бизнесмен огрел по голове нарядную даму, пытался поцеловать стюардессу и заорал, что едет прямо

на работу в своем новехоньком "лендровере". Второй пилот с усталой улыбкой выглянул из кабины и отчитал стюардессу за то, что слишком много давала засранцу спиртного. Даже Б. П. смутно догадывался, что время их дружбы подходит к концу, и пропустил спутника вперед, после чего пожилая женщина по ту сторону прохода сказала ему, что он "потакает".

Прижав к груди мусорный мешок со шкурой, он прошел весь длинный коридор и только в главном терминале остановился и спросил себя, почему такими непривычными показались ему земля, бесконечный ковер, а теперь и каменный пол под ногами. Он забыл туфли, но, когда повернул обратно, сообразил, что придется снова пройти контроль, а это не сулило ничего хорошего.

Он вышел наружу, сел на скамью у края тротуара, вскоре промок и замерз, но не решался уйти под крышу из боязни упустить Делмора. В конце концов он развернул медвежью шкуру и закутался в нее. Похмелье было тяжелое, но согрелся. Две гринписки, только что со студенческой скамьи, из тех, что брызжут налево, и направо, и посередке, гневно посмотрели на его шкуру с высоты своих туристских подметок, но он был спокоен, беспечен и неуязвим в этом городском отростке своей северной родины.

Наконец, через час с лишним, Делмор посигналил ему с каких-нибудь полутора метров, и Б. П. очнулся от прекрасного сна, где он и Сандрина кружась летели сквозь вселенную, хвост к носу, как кельтские собаки. Он открыл дверь машины и расстелил шкуру.

– Я вернул медвежью шкуру, – сказал Б. П. почти со слезами.

– Я не знал, что ты ее потерял. Хорошо, что ты добыл этот костюм – я забыл сказать по телефону, что тебя могут взять на место Розы ночным уборщиком в казино. Теперь помоги мне найти дорогу из этого чертова омута. – Делмор протянул Б. П. карту, но тот уже спал и ничего не слышал.

Проехав половину северного Висконсина по шоссе 8, Делмор остановил машину перед парком, примыкавшим к озеру восточнее Ледисмита. Он запасся буханкой хлеба, горчицей и банкой ветчины по случаю приезда Б. П., который продолжал спать. Солнце уже встало, и, хотя на улице было градусов восемь, Делмору было тепло и приятно оттого, что вернулся родственник, пускай этот дурень и не желал просыпаться. Делмор приготовил сандвичи, вынес сумку-холодильник с полудюжиной пива для Б. П. и холодным чаем для себя. Несколько раздосадованный, он вернулся к машине и включил на полную громкость лютеранскую воскресную службу. Б. П. зарылся еще глубже в медвежью шкуру. Тогда Делмор открыл пиво и покапал ему на губы. Б. П. ощупью нашел дверь, вылез, упал на колени, встал и взял у Делмора банку пива. Пил с жадностью, моргая смотрел на пейзаж, возил ногами в носках по мягкой зеленой траве, допил банку, вернул Делмору, потом, спотыкаясь, пошел между тополей, берез и кедров к озеру, встал на колени в илистом тростнике и сполоснул лицо холодной водой. Обратно, наверх, он шел через лес кружным путем, приплясывая среди деревьев, как цирковой медведь, еще не обучившийся своему несуразному балету; он шлепал ладонью по стволам, выкрикивал бессмысленные слоги и, приплясывая, вернулся к праздничному столу, открыл еще одну банку пива, взял сандвич с ветчиной и посмотрел на плотную пастельную зелень поздней весны с глубокой, неизъяснимой благодарностью.

Я забыл поехать в Испанию

ВЫ знаете меня, но вы меня не знаете – да и с какой стати? Я никогда не питал интереса ни к каким загадкам – отчасти поэтому и написал ровно три дюжины Биозондов, стостраничных проницающих биографий, изрядно замусоривших книжные магазины, газетные киоски и галантерейные прилавки в аэропортах – образцы моих творений я видел даже на стоянке грузовиков под Салайной, штат Канзас. Лучше всего продавались Мерилин Монро и Фидель Кастро. Хуже всего – Лайнус Полинг и Роберт Оппенгеймер. Подлинному интеллекту не до банальных занятий, из которых складывается хорошее жизнеописание.

Двадцать лет назад мой издатель брал по три доллара за мои маленькие Биозонды, а теперь они стоят целых семь – в сущности, не так уж много по меркам разгулявшегося рынка, – не говоря уж о том, что жалованье моего главного исследователя-историка выросло с двенадцати тысяч в 1979 году до ста в 1999-м. Она, исследователь, библиотекарша и тяжелая инвалидка, живет в Индиане. Я виделся с ней всего раз, и вид этой несчастной отбил у меня аппетит на несколько месяцев. Это неправда. Она довольно привлекательна в свои пятьдесят два года, и она моя сестра. Уродство же ее, метафорическое, состоит в том, что она считает себя моей совестью. Считает с тех пор, когда она была не по годам развитым десятилетним ребенком, а я – туго обучаемым тринадцатилетним. С молодых ногтей она была невыносимо резкой и такой осталась. Она оттачивает зубы, слушая Шёнберга и Стравинского и решая кроссворды на шести языках, тогда как я борюсь со своим единственным английским и запинаюсь на иностранных словах. Официально диагноз не поставлен, но всякому, кто ее знает, ясно, что у нее агорафобия. Из родительского дома она отлучается не дальше террасы, охватывающей его наполовину. Доказательств привести не могу, но она утверждает, что все необходимое получает из компьютера и от магазинных посыльных, посещающих ее ежедневно. Из-за этой машины происходили некоторые ссоры, хотя она – непосредственный источник моего существования. Есть даже искушение выразиться по-старинному – животворный источник. Я вылетел из аспирантуры в Северо-Западном университете и вынужден был нацелиться на менее трудоемкую степень магистра изящных искусств в другом учебном заведении – не называю его по причинам, которые станут ясны позже. Неудача же моя в аспирантуре объясняется близостью Эвантона к Чикаго, а конкретнее тем, что я просто был не в состоянии "работать с источниками" – и до сих пор не в состоянии, так что моя сестра заслуживает каждого цента из своего огромного жалованья, составляющего определенный процент от моего годового дохода. Так же, как жалованье нашего младшего брата Тада, как бы ведущего мои финансовые дела. Мы с сестрой Мартой тащили его на своих шеях, как обреченные моряки – альбатроса. Тад руководит нашим маленьким офисом в Чикаго, хотя гораздо удобнее было бы посадить его в Нью-Йорке, поблизости от головной конторы моего издателя, которая принадлежит – что неудивительно – магнату-немцу, такому эксцентричному, что покойный Говард Хьюз[1] по сравнению с ним выглядел бы как Мэри Поппинс. Тад обожает мотаться из Чикаго в Нью-Йорк по меньшей мере раз в неделю, хотя вполне достаточно было бы раза в месяц. Ни сестра, ни я не особенно

1. Говард Хьюз – промышленник, авиатор, владелец компаний "Хьюз тул" и "Хьюз эйркрафт", последние годы жизни провел затворником.

прижимисты, но Тад — проходимец. Кроме того, он фат, отсюда тяга к Нью-Йорку. В аэропорт он ездит на наемных лимузинах, тогда как я всегда довольствовался такси. Подобно многим, Тад создает видимость ума с помощью снисходительных манер. По уговору с сестрой секретарша Тада получает солидную ежегодную премию за то, что предупреждает нас о его финансовых эскападах. Все наши корпоративные чеки мы теперь подписываем вдвоем. Прежде для сумм меньше тысячи долларов двойная подпись не требовалась, но несколько лет назад Тад с помощью какой-то дурацкой махинации ухитрился прикарманить лишнюю сотню тысяч. Какое-то время я думал, что Тад голубой, но сестра Марта настаивает, что он просто один из ведущих мировых нарциссистов.

Почему мы терпим этого истинно современного монстра, эту занозу в мозгах и теле? Потому что, как говорится, он член семьи. Он наш младший братишка, и мы до сих пор вытираем ему нос, завязываем шнурки и довольно внятно объясняем, что не надо какать в песочнице.

Когда мне было восемнадцать, Марте пятнадцать, а Таду — всего двенадцать лет, наш отец, ботаник, погиб на маленьком исследовательском судне у Галапагосов — оно перекувырнулось из-за неправильно заполненных балластных цистерн. Шестью месяцами позже наша мать, преподававшая историю в Индианском университете, покончила с собой в твердом убеждении, что у нее злокачественная опухоль мозга и к врачу обращаться бесполезно. Вскрытие показало, что у нее действительно была смертельная опухоль. Когда опекать нас приехала ее помешанная сестра из Нью-Джерси, я быстро понял, что не смогу уехать в колледж, как планировалось. Я заканчивал школу и уже был принят в Чикагский университет, но не мог оставить сестру и брата на попечении этой женщины, во всех отношениях похожей на утенка Даффи из мультфильмов. Поэтому записался в Индианский университет у нас в городе и, вероятно, прежде времени повзрослел.

Ну вот. Я обрисовал положение — но обрисовал ли? "Не-а", как говорят некоторые. Даже самые умные среди нас на Среднем Западе представляются людям с Востока и Запада несколько провинциальными. Кому как не мне понимать истинный характер биографического надувательства? Признаюсь, аппетит у меня сейчас неважный, потому что конец апреля и я на грани привычной депрессии, хотя они бывают даже приятны, поскольку отдыхаешь от работы. В обоих моих кабинетах, в Чикаго и в Нью-Йорке, у меня агрегаты люминесцентных трубок, излучающих искусственный солнечный свет. Некоторая помощь для человека с привычной весенней хандрой — хотя не радикальная. Отец мой, сам того не ведая, тоже страдал от этого сезонного эмоционального нарушения, но еще в молодости решил, что от таких "упадков", как он их называл, помогает поездка в тропики, хотя бы на неделю. К счастью, он был ведущим ботаником в фармацевтической фирме "Илай Лилли и К°", а она не отказывалась финансировать эти поездки, потому что некоторые его открытия в области тропической ботаники приносили несомненную прибыль.

По правде говоря, недавно у меня случилась двойная неприятность, и большая. Сестра прислала мне очередной факс, на этот раз с цитатой из поэта Гэри Снайдера, где говорилось, что все наши биографии, в сущности, одинаковы, разница только в мечтах и видениях. От себя она приписала: "Ха!" Я, конечно, читал Снайдера, но было это тридцать лет назад, когда я бездумно вступил на стезю профессионального писательства. Стоило мне целую неделю почитать поэзию, как у меня обостря-

лась экзема. В 1969 году, когда я написал и опубликовал книжку, которую именую теперь "Мергатойд[1] в Сохо[2]", экзема меня почти доконала, и на презентацию книги в моей alma mater я пришел в одежде, буквально приклеенной к телу разными мазями. "МвС", если воспользоваться ее кличкой, представляла собой умеренно авангардную смесь стихов и прозы, якобы автобиографию молодого нью-йоркского самоубийцы, отвергнутого возлюбленной и бросившегося с Эмпайр-стейт-билдинга в буддийской оранжевой хламиде. Это был "succès d'estime", то есть тот случай, когда вы имеете хорошие рецензии, но не деньги. Грустно сказать, это была почти подлинная история, откуда и экзема. Мой брак с единственной женщиной, которую я действительно любил, длился всего девять дней и был аннулирован по настоянию ее родителей. Ей было восемнадцать, и она училась в колледже, а мне двадцать четыре — без пяти минут магистр в паршивой должности ассистента, я преподавал первокурсникам. Она была моей студенткой и в восемнадцать лет выглядела пятнадцатилетней. Тогда закон не запрещал жить со студентками. Я отрастил очень длинные волосы и на вечеринки приходил в бархатных клешах; сознаться в этом тяжело, но в жизни много такого содержания.

Короче говоря, вчера вечером я сидел в каджунском ресторане и заедал дюжину устриц raie au beurre noir — скатом в пережаренном масле, хотя надо сказать, что пристрастие к дарам моря в пережаренном масле объясняется в большой степени любовью к пережаренному маслу. Женщина неподалеку наклонилась на стуле, так что ее зад сместился в сторону, щель оказалась на краю сиденья, и одна половинка была сжата, а другая — на весу. Разряд в мозгу. Вилка уколола подбородок — я пронес ее мимо рта. Еще чуть-чуть, и закапали бы слезы. Это была копия попки Синди. Если бы наш брак не расторгли, мы сменили бы ей имя — оно не подходило жене художника. Это намерение было одним из пунктов, вероятно не зря озлобивших ее родителей.

Я, конечно, не мог покончить тогда с собой — кто заботился бы о Марте и Таде, моих сестре и брате? Добавлю, что мать не упомянула об этой ответственности в своей подробной прощальной записке. Бесподобная грамматика.

Женщина с грушевидной попкой встала, обдернула юбку и ушла в туалет. Ее землистый друг маслился, как куница со свежим куренком. Чтобы избежать его взгляда, я уставился на потолок, где пылал образ Синди в садовых шортах. Я познакомился с ней на занятиях, отметил ее привлекательность, но когда увидел ее над клумбой возле общежития, меня словно огрели обухом. Она возилась с цветами, стоя на коленях, и переговаривалась со стариком итальянцем, садовником колледжа и притом развратником.

Это — вторая часть моего огорчения. И первую-то — намек сестры на то, что труд моей жизни ничего не стоит, поскольку подлинным значением обладают наши мечты и видения, а не мелкие биографические подробности, — трудно было переварить, но вторая была еще горше. Накануне на утреннем рейсе "Американ эйрлайнз" (у меня налетано пятьсот тысяч Льготных Километров!) я взял журнал авиакомпании, и хлоп! Передо мной фотография Синди в статье, озаглавленной "Женщина многих цветов". Если быть точным, их у нее пятьдесят гектаров на ферме у Миссиси-

1. Пародийное упоминание. Дж. Мергайтойд — современный поэт, автор стихотворения "Небеса над унитазом".
2. Сохо — район в южном Манхэттене.

пи, к северу от Ла-Кросса, Висконсин. Ей теперь пятьдесят лет, но она еще миловидна на флоридский, курортный лад — женщина, обласканная солнцем. Несколько раз была замужем, "трижды разведенная", выражаясь журнальным жаргоном, с "двумя взрослыми детьми" неуказанного пола. Сошло ли наше девятидневное блаженство за один из этих браков? Посвятила себя сохранению редких "фамильных" цветов и вместе с помощницами объездила полмира, собирая семена цветов, вышедших из садовой моды. Покидая ресторан после неизменного шербета, я был настолько расстроен, что чуть не сказал хозяину, что мой обед был "триумфом человеческого духа" — именно это я сказал несколько недель назад Марио Батали в "Баббо", где ужинаю по средам, когда бываю в Нью-Йорке. Марио посмотрел на меня и повторил: "Триумф человеческого духа?" Таковы мелкие подробности жизни. Я, мне кажется, терпеть не могу иронию — но как же легко стать ее жертвой. Ирония — это способ загородиться от очевидных высасывающих жизнь пошлостей нашей культуры. Можно сказать, что она делает жизнь переносимее, но не лучше. Это духовный героин. "Триумф человеческого духа" — как раз то, что слетает с языка, когда ты написал три дюжины Биозондов. Если бы только в этих словах была правда. Но, при тщательном рассмотрении, ее нет или почти не бывает — в общественной жизни. Частная жизнь — другое дело, только разделить их теперь стало сложновато. Возьмите с прилавка и ощутите весомость "Нэшнл джиографик". Прочтите, скажем, статью "Греция: страна на распутье" и попробуйте вспомнить елейную муть на другой день. У вас будет чувство, что вас показывают по телевизору, потому что вас и впрямь показывают. Ваше стучащее сердечко — жертва всесварения.

Каким удовольствием было позвонить Синди — духоподъемный, отважный поступок, совершенно не запачканный иронией. Ее я, конечно, не застал. Сторожиха сказала, что сейчас весна (о чем легко забыть в городе) и что Синди в Канзасе, "трудолюбивая, как пчелка", изучает ранние полевые цветы. Почему бы и нет, подумал я, не оставив ни своего имени, ни телефона.

Отчетливо помню тот вечер в Хинсдейле, Иллинойс, когда ее отец и юный брат скинули меня с террасы их красивого дома. Я не лилипут, и это потребовало усилий. Саму ее удержала мать, так что она не могла броситься мне на помощь, если и пыталась. Они были людьми состоятельными, и я ошибочно ожидал определенной корректности. Ее отец был убежден, что я из "этих чикагских радикалов". Брат же состоял в йельской гребной команде — из тех здоровых ребят, которые ворочают веслом, покуда не превратятся в приличную гору мускулов. Никогда еще я не чувствовал себя таким сиротой, как там, растянувшись на их дворе, воткнувшись носом в клумбу, несомненно возделанную самой Синди.

По ряду причин я проснулся на заре со смехом. Для пятидесятипятилетнего мужчины это недалеко от триумфа человеческого духа. Я вспомнил сон, приснившийся мне в семнадцать лет, — что в чулане нашего старого дома на ферме в Индиане, медленно окружаемой пригородом, содержится вся моя будущая непрожитая жизнь, все, чего мне не удастся сделать. Уже тогда я подумал, что это, возможно, признак преждевременного взросления. Мои родители, конечно, были уже недалеко от смерти, но еще не добрались дотуда, так что я не мог объяснить сон их отсутствием. Содержание этой непрожитой жизни не расшифровывалось, просто она была в чулане. Вывод из этого сна, не раз вспоминавшегося мне впослед-

ствии, был такой: нас отчасти формирует то, от чего мы воздерживаемся, что мы по характеру своему исключаем раньше, чем оно могло бы случиться. Сколько-то лет назад, работая над Биозондом Барри Голдуотера[1], я встретился с девяностолетней немкой, по понятным причинам жившей с 1946 года в трейлере посреди аризонской пустыни. Мой сон указал бы на то, что ей следовало перебраться туда раньше, скажем, в 1934-м или 1935 году. Она была ботаником и по случайности знала кое-какие работы моего отца, посвященные генетике диких растений. Когда я ответил на ее вопрос о моем роде занятий, в глазах ее выразилось неприятие, как если бы я накручивал на палочки сахарную вату на провинциальных ярмарках. Но главной причиной моего смеха была долгая вечерняя прогулка от "Каджу" возле Девятнадцатой улицы до Семьдесят второй и на восток, к реке, где находится моя нью-йоркская квартира. Для сведущих, я живу недалеко от владений Джорджа Плимптона[2]. Официально мы незнакомы, но, случалось, кивали друг другу на пристани, когда любовались проходящими буксирами и другими судами. Словом, во время этой долгой прогулки я наблюдал лимузины и таун-кары, принимавшие и высаживавшие у дорогих ресторанов группки богатых бизнесменов. Не совсем понимаю, что показалось мне вдруг смешным в моем собственном "классе", в людях, получающих, скажем, три сотни тысяч в год или скорей даже зарабатывающих полмиллиона с лишним. Я имею в виду — не с унаследованного капитала, а зарабатывающих собственным трудом, в основном белых, и не включаю сюда актеров, музыкантов и профессиональных спортсменов. Верхний эшелон трудового народа — публика специфическая, но не могу сказать, что до этого дня я находил ее особенно комичной.

Любопытно, что мой брат Тад страстно желает быть одним из таких существ, но он просто не знает секрета, как посвятить этому всю жизнь. Не случайно, что уворованные у меня сто тысяч Тад ухлопал в тот же год на бирже и на 10-процентную долю гениальной кобылки в Кентукки. Этих людей, членов моей социальной страты, моих братьев по семейству псовых, даже в самом добром настроении скалящих зубы тотального своекорыстия, — описывать их пространно сил нет. Рядовой представитель вида не может четко описать изнутри свой вид. И во время долгой прогулки до дома я разглядел моих братьев с небывалой ясностью, распознать их было легче, чем дипломата в магазине подержанных вещей. Эта публика приступала к микроуправлению — правильное и безобразное слово — своими послеобеденными ветрами.

Я смеялся, когда включал кофеварку, заряженную по обыкновению накануне вечером, и смеялся над тем, что встал в девять тридцать, а не в семь, как всегда. Я не какой-то там бездушный робот, просто я не совсем знаю, что мне делать, кроме работы. За окном несколько интересных кучевых облаков, в теплое утро довольно красивых. Как они собираются в кучи, вместо того чтобы распадаться? Позвонив сестре, я немедленно получил бы информацию, но в это утро сама мысль о полезной информации вызывает у меня отнюдь не комическую дрожь. Наблюдая, как стрелка часов подходит к десяти, я спросил себя, сколько в моей прошлой жизни наберется того, что можно считать личным, но отмел этот вопрос, позвонив в мой любимый винный магазин и заказав ящик "жигонда", которому отдал должное накануне вечером, и пачку сигарет — продукта, к которому не прикасался уже лет десять. Мне надоело быть на правильной

1. Барри Голдуотер — сенатор от Аризоны, республиканский кандидат в президенты в 1964 г.
2. Джордж Плимптон — журналист, актер, издатель, основатель журнала "Пэрис ревью".

позиции по каждому вопросу, поднятому в передовицах "Нью-Йорк таймс". Я вполне владел своими чувствами, вообще говоря, вполне непокорными. Установившаяся в последние годы среди белых мода на кризис раннего, среднего и позднего возраста всегда казалась мне признаком душевной потертости, неспособности увидеть, что за углом всегда есть другой угол. У примитивных обществ — круги. У нас — углы.

Для меня было очевидно, что я знал, что попытаюсь позвонить Синди, знал до того, как это стало сознательным актом. Мой утренний смех был порцией кислорода от не такого уж простого телефонного звонка, пусть и неудавшегося. Сейчас в ходу понятие "зацикленность". Этой зимой в Чикаго я перестал встречаться с миловидной и умной женщиной, в прошлом манекенщицей, из-за того, что она постоянно употребляла подобные слова. В нашей повседневной речи десятки таких словесных говяшек, и я не собираюсь приводить примеры, хотя самое плохое — "оздоровление", к которому прибегают всякий раз после того, как дюжину школьников расстреляли из автоматической винтовки. Однажды вечером я разговаривал со знаменитым переводчиком в кафе "Селект" на Монпарнасе, и он сказал, что в современном французском тоже можно найти эти гниющие наросты, но находят их обычно люди, снедаемые глупой искренностью.

Посыльный винного магазина Рико прибыл с ящиком вина и поднял брови, выкладывая сигареты. Я знаю Рико много лет. Это настоящий кладезь сведений о странных кулинарных практиках, имеющих место в районе Нью-Йорка. Однажды февральским вечером он отвез меня на своей древней "тойоте" в африканский ресторан в Куинсе поесть жаркого из козьей головы. Перед глазами я спасовал, а Рико — нет. Рико преподавал биологию в бруклинской школе, но сломался, когда его жена ушла к футбольному тренеру. Рико считает, что, доставляя вино, он привносит в жизнь людей красоту. Я согласен. Когда имеешь дело с этими настоящими ньюйоркцами, трудно не расчувствоваться. Один из моих любимых таксистов — инуит, то есть эскимос. Рико — примерно моих лет и поддерживает хорошую форму, таская ящики с вином. Он признает, что мог бы жить на проценты от страховки, оставшейся после отца, но просто любит говорить о вине и развозить его. Мы выпили по бокальчику за кофе, как принято по утрам у французов. Он с удовольствием наблюдал за тем, как я закурил и закашлялся. И из сочувствия покашлял тоже. Перед тем как уйти, он показал мне приличное полароидное фото своей последней дамы, пухленькой, но привлекательной секретарши из Всемирного торгового центра. Она недавно прибыла в город с Адирондакских гор, он приготовил ей замысловатый тосканский обед, и это "решило дело". Я не первый год слегка завидую его сексуальной энергии, источник которой он усматривает в красном вине, чесноке, физических нагрузках, сопряженных с его работой, в чтении эротической классики, пристрастии к бразильской музыке и в том простом факте, что, в отличие от меня, избегает умственного переутомления.

После его ухода французы и сто граммов их вина навели меня на подловатую идею. Я позвонил на цветочную ферму Синди и представился Жаком Туртеном из Парижского Jardin des Plantes[1], ботаником, интересующимся возможностью получить семена некоторых диких цветов. Меня попросили подождать — через несколько минут мне отзвонят. Я занервничал, смеяться перестал и продолжал сидеть на кухне, наблюдая за ходом настенных часов. По эстетическим причинам я строго ограничиваюсь одной бутылкой вина в день. Я, пожалуй, не из тех, кто не мо-

1. Ботанический сад (*франц.*).

жет с собой совладать. Через семь минут телефон зазвонил — это Синди вызывала меня по мобильному из душистой прерии под Уичито, в Канзасе. Я заговорил с французским акцентом, но был разоблачен через несколько секунд. "Кретин", — она засмеялась. Феминистки, в прошлом называвшие нас "нуждающимися", теперь частенько именуют нас "кретинами", что подкупает.

Разговор был приятный, хотя за это время я превратился в лужу пота. Поддерживайте в кабинете температуру в пятнадцать градусов, и вы будете работать интенсивнее. Да, мои Биозонды не укрылись от ее внимания. В телефоне был слышен степной ветер, и он сообщал ее голосу такие модуляции, что я представлял себе Синди в штормовом море.

— Как, скажи мне ради бога, ты мог писать о Киссинджере? — спросила она. — Ты же был такой ужасный радикал, такой антивоенный.

— Жить-то надо, — слабо возразил я. — Книга разошлась очень хорошо. Чтобы писать о ком-то, не обязательно с ним соглашаться.

— Что за херня, — сказала Синди. Раньше она не ругалась. — Я всегда думала, что ты будешь бедным благородным поэтом и будешь жить в Испании. Твой Лайнус Полинг мне понравился, но когда увидела Ньюта Гингрича[1], я удивилась, как мог человек, которого я любила, нырнуть в этот вонючий свинарник.

— Я до сих пор содержу брата и сестру. Наследства, как ты, не получал.

— Я тоже. Отец ничего не оставил. К счастью, после последнего развода я смогла купить ферму. Да и второй развод был довольно удачным.

Не знаю, как противостоять этой странной женской логике, позволяющей им выиграть спор, даже когда они не правы. Последующий бестактный щебет перенести было легче, хотя и спрашивалось, как это я, бывший поэт и экс-прозаик, могу писать прозу, похожую на тексты теленовостей, или газеты, или — надо же — "Нэшнл джиографик". Когда-то у меня было воображение и я читал ей Дилана Томаса, Лорку, Йейтса и даже собственные милые "стишки".

— Решила оттоптать мне яйца? — сказал я.

— Извини, но с утра я застряла в грязи, а потом проколола шину. Тут под грязью острые кремни, а нужные цветы еще не распустились. Я приехала на несколько дней раньше.

Оттого, что она сослалась на ситуацию, сказанное прозвучало не менее обидно. Наступил на гвоздь и за это стреляешь кому-то в голову. Когда я спросил, нельзя ли приехать к ней в выходные — а была среда, — возникла некоторая пауза, после чего она сказала: "Почему бы и нет?" Я без нужды соврал, что все равно мне надо быть в Миннеаполисе и заеду в Ла-Кросс в пятницу к вечеру.

Принял душ — из тех бессмысленных, когда у тебя есть иллюзия, будто он действительно принесет тебе пользу, помимо того, что смоет вредные бактерии с кожи. Тяжело, когда твоя юношеская любовь принижает твою прозу и ее темы. В самом деле, биографическая проза напоминает прежних времен футбол на Среднем Западе: три ярда — и туча пыли, еще три ярда — и опять пыль. Но еще обиднее было ее представление обо мне как о бедном благородном поэте, бредущем по сельской местности в Испании с осликом, везущим мой скарб. По правде, я бредил Испанией в пору нашего девятидневного брака, но когда наконец у меня появились средства и свобода, я забыл поехать в Испанию.

1. Ньют Гингрич — спикер палаты представителей.

Из душа я вышел с подозрением, что язык, которым я себя описываю, быть может, принципиально крив. Без сомнения, могу распространить это и на язык, которым я описываю мир. Мои словесные, так сказать, орудия — холодные, аналогические, с присадкой иронии, как если бы существовал некий более доброкачественный фон, на котором я могу выписывать мои языковые деколи[1]. Метафора, например, в моих Биозондах под запретом. Метафора под запретом в любой "прибыльной" прозе средств массовой информации. Уже тогда, когда я зарабатывал свою отчаянно бесполезную магистерскую степень, метафора из нашей художественной прозы стремительно изгонялась. И теперь, листая романы в книжных магазинах, я вижу конечный результат. Если метафоре нельзя научить, значит, она, наверное, не очень важна — таков, как минимум, логический вывод. Бедняга Шекспир, он, может быть, смотрел в зеркало, когда сказал: "Всепожирающее время, притупи свои львиные когти". А, ладно.

На случай незваных гостей я держу у двери бейсбольную биту. Если они вооружены пистолетом, вы, естественно, отдадите деньги и все, что требуется, но какой-нибудь нож не потянет против увесистого луисвиллского изделия. Сейчас мне захотелось разбить что-нибудь ценное. Жаль, нет у меня вазы династии Мин. За неимением лучшего я поставил на кухонный табурет бутылку моего "жигонда" и, вмазав от души, посмотрел, как его багровые чары рассеялись по комнате в виде неправильных потеков и пятен. Пора пройтись.

К тому времени, когда я спустился на улицу, мое ребячество уже казалось не смешным; хотя почему я должен оценивать каждый свой жест? Это такая же слабость, как вопрос любовников: "Тебе было хорошо?" — после того как желание вытекло в пустоту. Пока я не начал прибираться, мне на это плевать.

День был более чем погожий, и я устремился по Первой авеню, так же твердо двигаясь к своей первой цели, как адмирал Берд к полюсу, не помню какому. Остановиться я был намерен у Шаллера и Веббера, ради долларового кружка зельца; я часто так делаю. Зельц был одной из гастрономических страстей моего отца. Еще два квартала за Восемьдесят шестой, и я достигну "Папайя кинга" ради двух сосисок с кислой капустой и горчицей. Семь месяцев каждое утро я ел овсянку, чтобы "победить" холестерин, и сейчас мне легче было бы проглотить парну́ю собачью какашку, чем увидеть еще одну тарелку с овсом. Я, конечно, помнил, что у меня свидание с моим редактором и издателем — редактором, который работал со мной тридцать лет и был теперь президентом издательской компании. Я ни разу в жизни не забыл о деловом свидании. Но на этот раз решил оставить его одного, вероятно, в баре "Четырех времен года" при стакане содовой с лимонной цедрой. Прежде он заказывал чашку горячей воды — одно время была мода на этот ядреный напиток в Ново-Обалдуеве. Я раз попробовал и решил, что он похож на кофе без кофе. Наверно, кто-то очень знаменитый запустил эту моду, хотя Гудзона она, кажется, не пересекла.

Я чуть не попал под колеса мчавшегося такси, отпрянул и сел на зад. Пожилой, хорошо одетый негр покачал головой, словно я был неосторожным ребенком. Пролетевшая смерть что-то встряхнула в моих мозгах, потому что я напрягся и вспомнил слова, якобы сказанные на одре поэтом Джеком Спайсером: "Вот что сделал со мной мой алфавит". Что-то в этом роде, и не помню точно — с той унылой магистерской моей поры минуло

1. Деколь (декалькомания) — способ перенесения на фарфор готового переводного рисунка.

тридцать лет, а я тогда слишком много пил. Я жил в старом доме с двумя другими начинающими писателями, и этикет требовал, чтобы мы много пили и сильно курили марихуану, хотя ЛСД я избегал. Словом, у одного из моих сожителей было изрядное собрание литературы битников, и он знал все сплетни о них. Он приобщил меня к поэзии Спайсера, рассказал о его безвременной смерти, вызванной алкоголем, и последних словах: "Вот что сделал со мной мой алфавит", – по крайней мере, так мне вспомнилось, когда я чудом избежал смерти от такси. В этом была значительность. Все, что он постиг, тотальность приятия мира, сгустились в этот приватный алфавит, приведший к безвременной смерти.

Черт возьми, в связи с этим я почувствовал, что мне надо срочно позавтракать в "Папайя кинге". Я устремился вперед, с некоторой осмотрительностью на переходах, забежал к Шаллеру и Вебберу за своим ломтем зельца и развернул его трясущимися руками. Когда я откусил от него, молодая, очень привлекательная прохожая нахмурилась – наверное, с любопытством, а не с отвращением. Если тебе больше пятидесяти, они обычно смотрят поверх твоей головы, словно ты швейцар и не заслуживаешь быть замеченным. Я читаю много журналов и газет, чтобы держать руку на не очень-то наполненном пульсе культуры, но о молодых женщинах за последнее время мне мало что запомнилось. Я знал всего двух и не очень хорошо. Не стану кривить душой: с одной молодой женщиной во Франции я ежегодно вижусь во время двух- или трехдневных поездок, предпринимаемых скорее ради того, чтобы нарушить монотонность (хотя обычно все дни я работаю в гостиничном номере) и ради свободы кулинарного выбора. Эта молодая женщина, двадцати пяти лет от роду и по имени Клер, любезно принимает от меня около тысячи долларов в месяц, чтобы встать на ноги как художница. Я назвал бы ее скорее интересной, чем очаровательной. Мужской пенис представляется ей "банальным", что обезоруживает. Она живет – с моей помощью – недалеко от Jardin des Plantes, почему я и назвал его, дозваниваясь до Синди. Я так привык, что мне врут, когда я беру интервью для Биозондов, что склонен врать самому себе, не говоря уж о мелком бессмысленном вранье в моих произведениях. По правде сказать, я посылаю Клер почти две тысячи в месяц. Почему бы и нет? У нее самый красивый зад из виденных лично, впрочем, любовниц у меня было не так уж много по причине занятости. Из дюжины или около того любовниц за последние тридцать лет она, точно, худшая. Я не вполне понимаю свои мотивы в отношении Клер. Может быть, ее посредственная энергия и техника в постели придают уверенности? Эта мысль освежает. Однажды, взобравшись на нее, я перехватил ее взгляд, обращенный к журналу на тумбочке. Почему секс должен быть еще одной неприятной задачей в жизни?

Как в моем возрасте поломать язык? Бейсбольная бита сделала это с бутылкой удивительно легко. В "Папайя кинге" за прилавком, обращенным к улице, привлекательная белая женщина с мокрыми глазами ест ничем не приправленный хот-дог. У нее настоящие эмоции. Мне хочется сказать: "Не может быть, чтобы так плохо", – но, возможно, так оно и есть. Она сверстница моей сестры, но сестра решительно ограничила свои сношения с чем бы то ни было, что может ее огорчить.

Зайдя в свое бюро путешествий, я сильно приблизился к Синди. Подумал: "Ведь в самом деле еду". Как я любил эту женщину – однако такая особая эмоциональная сосредоточенность с годами трансформируется во что-то другое. Трудно оценить то, что не можешь опознать иначе как

по дрожи, уколу в груди, томлению. Когда я впервые привел ее домой, моя сестра сказала: "Господи, она совсем еще ребенок".

Вот что случилось в последний, девятый день нашего брака. Мы поехали в Чикаго из Айова-Сити, чтобы объявить о женитьбе ее родителям. Когда доехали до Джолиета, ее планы изменились, и она решила, что лучше сообщит эту новость сама. Мы отправились на квартиру к многообещающему автору и преподавателю, где намерены были пожить эти дни. Он с тех пор исчез. Последнее, что я слышал о нем лет двадцать назад, — он преподавал английский на Тайване, а его единственная книжечка стихов была такой худенькой, что тоже наверняка исчезла с книжных полок нашей страны. Короче, Синди поехала оттуда к родителям на такси, и после всего восьми дней брака у меня освободился вечер для светских развлечений. В те дни мы, писатели, крепко пили, а между барами выкуривали косяк-другой. Вечер предполагался спокойный, потому что мы собирались на выступление Стивена Спендера, английского поэта, которого мой приятель якобы знал, но на небольшом приеме перед выступлением Спендер как будто бы не вспомнил моего приятеля и не обращал на него внимания. Мало того, когда приятель попытался представить меня Спендеру, поэт отвернулся к столику с бокалами хереса, сыром и крекерами и моя рука повисла в воздухе. Не могу сказать, что был сильно огорчен, поскольку меня долго мучили систематическим изучением английской литературы и меня подмывало сбежать в блюзовый клуб, послушать приехавшего в город Мадди Уотерса. Мы пробрались к выходу, а перед дверью приятель обернулся и крикнул собравшимся: "Пошли вы все в жопу!" Тогда этот возглас показался мне поэтическим, а не ребяческим.

Я стоял на углу Восемьдесят шестой улицы и Третьей авеню и восстанавливал в памяти происшествия тех суток, не столько травматические, сколько окрашенные тяжелым стыдом. Тридцати лет недостаточно, чтобы навести на них удобный глянец. Я усердно искал какого-нибудь убедительного оправдания. Самое лучшее, что можно сказать, — была весна, бродила кровь, а я давно заметил, что свет активизирует меня, как перелетных птиц. К примеру, стоя на этом оживленном перекрестке, я увидел пятерых женщин, которые добавили по крайней мере чайную ложку крови к той, что циркулировала у меня в чреслах. Вот что делает весна. В ноябре такого не случилось бы. В общем, после встречи со Стивеном Спендером мы прошлись по ирландским барам, которыми изобилует Чикаго. Приятель утверждал, что он отчасти ирландец, но, подобно многим лжеирландцам на Среднем Западе, подтвердить это мог только имитацией шотландского картавого "р" в таверне. Конечно, он был жуткий дурак, но, с другой стороны, печатал стихи в "Пэрис ревью", "Сумахе", "Три-куотерли" и еще нескольких журналах, в те годы считавшихся важными. Он был в моих глазах героем и плохо поступить не мог.

В пьяном восторге мы послушали Мадди Уотерса и Отиса Спэнна, перешли в ночное заведение, где неудачно играли в кости и были вышиблены, когда у нас кончились деньги. На рассвете мы стряпали завтрак для определенно невыдающихся женщин, которых приятель вызвал часа в три ночи. Они жили поблизости и в качестве поклонниц вращались в его чикагском литературном кругу. У всякого, не прозябающего в полной безвестности, обычно есть приверженцы, а у моего приятеля, чикагского литературного светила, в ту пору их было много, хотя этих двух женщин позвали главным образом потому, что у нас кончилось пиво, вино, виски — все на свете. В духе прошедшего вечера — уже в четыре часа утра — мой приятель снял с себя всю одежду, надеясь, что женщи-

ны последуют его примеру. Они не последовали, а одна высказалась о странном изгибе его в остальном нормального пениса, отчего он помрачнел и принялся пространно описывать все свои разнообразные жизненные невзгоды, закончив, как всегда, писательскими и свинским отношением к нему издателей. На насмешницу это так подействовало, что она сняла блузку и туфли, но про остальное, похоже, забыла, когда он перешел к гневному обличению Роберта Лоуэлла и "восточного истеблишмента", включая, конечно, англичанина Стивена Спендера.

Другая женщина, по имени Рейчел, курила громадный косяк, который извлекла из сумочки залихватским жестом. Мы с ней вылезли на пожарную лестницу и немного пообжимались, но, к счастью, я был слишком пьян, чтобы совершить измену на восьмой день после женитьбы, — по крайней мере так мне помнится. Много лет спустя, когда я столкнулся с Рейчел в чикагском книжном магазине, она вспомнила нашу "сказочную" ночь на пожарной лестнице, и я бежал. Она все еще хрустела своим "Дентином".

Проснулся я на диване в час дня, сжимая в правой руке два куска бекона, и, когда пошел в туалет, увидел через дверь спальни, что мой герой умудрился описать постель. Можно сказать, что это было в традициях Дилана Томаса и тысячи других писателей-пьяниц. Я потом долго не мог есть бекон. Натурально, похмелье было страшным, и вкус ее "Дентина" горел на моих губах печатью греха. Хорошо, что к тридцати годам я перестал сильно пить, потому что с похмелья исполнялся праведным гневом — неподходящая эмоция для первой встречи с тещей и тестем. А гневаться было на что: в застывшем яичном желтке на тарелке в кухне кайфовал таракан, на застывшем коричневом жире в сковороде написано было "Ну вас в жопу, ребята", и тут же лежала машинописная "Сюита грызунов" моего приятеля, прочитанная нам в шесть часов утра и не шедшая ни в какое сравнение с песней воробья на пожарной лестнице. Вода в душе была чуть теплая. Кофе — только растворимый. Туфли мои выглядели старыми. Мой приятель уснул, когда я пытался прочесть одно из моих стихотворений. Мне было приятно, что он споткнулся и упал по дороге к кровати. У меня был легкий понос, и я чем-то обжег язык. Я позавидовал приятелю, который встал и в хорошем настроении выпил два теплых пива, заев их декседрином и дарвоном[1], после чего назидательно заметил, что в пользу боли не верит.

Подъезжая к Хинсдейлу на своем жалком "де сото", я слегка задрожал — сообразил, что не надо было являться к ним в моих синих бархатных клешах и оранжевой рубашке в цветочек. За километр от их дома я завернул на стоянку торгового центра и запихнул в сигарету комочек гашиша, полученного от студента. Расчесал свои очень длинные волосы и почувствовал, как зелье смиряет мою дрожь. Прорепетировал ответы на несколько неизбежных вопросов, в том числе на первейший — как я намерен содержать их дочь. Этот был несложным — от отца и матери остались приличные деньги. Несколько беспокоил другой пункт: Синди было всего восемнадцать лет, и меня уже дразнили этим товарищи по магистратуре. "В Индиане многие девушки выходят замуж в восемнадцать лет" звучало слабовато.

Рассказывая себе эту мрачную историю, я шагал все быстрее. Высокие идеалы давно испарились, и на первый план вышло комическое. При переходе Пятой авеню к Центральному парку я опасливо поглядывал на

1. Декседрин — психостимулирующее средство. Дарвон — болеутоляющее.

таксомоторы и двигался довольно быстро, хотя меня обогнал мужчина лет семидесяти с лишним, скороход, орудовавший локтями наподобие чайки, и улыбнулся мне со снисходительностью профессионала, перекатывая тощий зад на вертлюгах.

И опять, под силу ли моему языку описать, как в теплый весенний денек поднимался я по ступеням просторной террасы в Хинсдейле с гулкопчелиного сиреневого двора? Мой череп гудел, мой рот пересох, как подошвы моих башмаков. Сердце стучало, как малый барабан. Дверь открылась раньше, чем я к ней подошел; бугристый брат, прибывший на весенние каникулы, смотрел на меня как на новый подвид грызунов.

Четверо сидели за длинным обеденным столом — мореный дуб, викторианский китч. Синди и ее мать выглядели так, будто только что выскочили из горящего дома: красные глаза слезятся, лица распухли от вытирания; лицо отца — розовая грозовая туча, у брата на лице патина привилегированного скучающего отвращения.

Развязка: у дошлого папы на руках два десятка фотографий моей ночной гульбы — уход со спендеровского вечера, ирландские пабы, ночной кабак, под руку с двумя дамами. И непонятным образом — с пожарной лестницы, через окно — мой друг со спущенными штанами и незначительным искривленным членом; и непонятно как — в нижнем ракурсе я сам на пожарной лестнице и голый пухлый женский зад, прижатый к железной перекладине.

Я, конечно, знал, что наше правительство шпионило за Чикагской семеркой[1], но такое персональное шпионство было из области фантастики. Я, конечно, читал Хэммета и Чандлера, но эти фото, полетевшие в меня и частью попáдавшие мне на колени, были за гранью моего кругозора. Этой люмпен-буржуазной семье они, очевидно, показывали, что я негодный свадебный материал — иллюзия, между прочим, поскольку я уже пять лет растил сестру и брата.

Начались рыдания. Синди не хотела смотреть на меня. Ее отец сказал: "Проклятый хам", хотя уже тогда, в 1969 году, "хам" звучало архаично, и, гипервентилируя, добавил: "Проклятый грязный хиппи". Брат подхватил: "Ты изнасиловал мою сестру!" — и зашел мне за спину, отчего стало еще неуютнее.

"Один из твоих дружков поимел ее, когда ей было двенадцать", — с вызовом ответил я, хотя Синди говорила мне, что пошла на это охотно, из "научного любопытства": в ней уже пробуждался биолог.

И все. Меня выдернули из кресла: брат взял меня сзади захватом за шею, а отец быстро обогнул стол и упал на задницу, пытаясь ударить меня ногой. Синди и мама издавали пронзительные, нечеловеческие крики. Меня подтащили к двери и сбросили с террасы; я приземлился частично на куст жимолости, который частично смягчил мое приземление. Вдобавок был ужален пчелой. Пока я приходил в себя, Синди, к ее чести, хотела подбежать к моему простертому телу, но отец схватил ее за руку. Или мать?

Я поехал домой в Блумингтон, Индиана, забыв о своем чемодане, оставшемся в квартире у друга-писателя. Ему понадобился целый месяц, чтобы отправить мне чемодан посылкой, хотя я трижды переводил ему на это деньги. Одно из моих стихотворений пропало, и три строчки из него позже появились в одном из его опытов, опубликованных в "Партизан ревью". А я два дня пролежал в больнице с небывалым обострением экземы.

1. Чикагская семерка — семь участников антивоенных демонстраций в Чикаго; процесс над ними состоялся в 1970 г.

По причинам, которые я раскрою позже, вся эта история была хорошей подготовкой к жизнеописанию великих и почти великих.

В детском зоопарке Центрального парка меня, как всегда, потянуло к тюленям, а также к пингвинам, убивавшим время перед фальшивым антарктическим задником. Переваливаясь, они ходили туда и сюда в ожидании корма. В зоопарках я всегда вспоминаю мысль Торо о том, что большинство живет в тихом отчаянии. В этот день у меня буквально душа болела за пингвинов. Тюлени по крайней мере как будто бы умели себя развлечь, а белого медведя я избегал: он вел себя как аутист, часами повторяя одни и те же движения, словно его дергали за невидимую проволоку.

Я пошел через парк к Уэст-Сайду — хотя от него порой разит заплесневелым самодовольством, он менее провинциален, чем Ист-Сайд с его самозванской аурой всемирного центра искусств и денег. Сосиски уже не поддерживали сил, поэтому я наскоро пообедал в знакомом китайско-кубинском ресторане. Пока я жевал восхитительные тушеные бычьи хвосты с чесноком, мне пришло в голову, что я немного приврал в этом Автобиозонде. Летаю я действительно первым классом, но за счет накопленной льготы. Для Европы вполне достаточно бизнес-класса. Клер, моя французская любовница (sic), обошлась мне за прошлый месяц в три тысячи долларов из-за необозначенных медицинских затруднений, в которых я сомневаюсь. С женщиной на пожарной лестнице я действительно переспал, отчасти потому, что был изумлен своей эрекцией при таком опьянении. На одной из фотографий это запечатлено. Как я мог пойти на это через восемь дней после женитьбы на моей любимой? Не совсем понимаю. Меня вывихнуло на разрыве чикагской ночи. "Сорокаградусный дурак", как пелось в одной деревенской песне, которую я слышал по радио. Экзема набрасывается на меня не только когда я размышляю об искусстве и литературе, но и когда я заканчиваю Биозонд. Вот. Истина сделает вас свободными, но свободными для чего? Смех напал на меня, когда я подумал о том, как понапрасну меня ждет в "Четырех временах года" мой бывший издатель. Вот кто настоящий Хам. Он был недостойной мыслью, пока я созерцал могучий Гудзон, а потом повернул к дому. Где предстояла уборка битого стекла.

По дороге домой я решил зайти в винный магазин и выяснить, какие у Рико планы насчет ужина. До отъезда к Синди оставалось всего тридцать шесть часов, и мне не хотелось бы, сидя в одиночестве, передумать. Рико очень помог мне в 1994 году, "самом удачном", когда я заработал больше девятисот тысяч долларов и перешел с дорогих бордо и бургундских на Côtes du Rhônes. Бережливость — приятное успокоительное. Траты раздражают. Моя сестра — головоломка, которая обожает придумывать головоломки, и получаются они у нее глупые и странные. Она вычислила, что капитал Билла Гейтса составит семьдесят семь тысяч гробов с плотно уложенными стодолларовыми банкнотами, причем новенькими. Она провела столько исследований по моим биогероям, включая полсотни отвергнутых по нашему с издателем взаимному согласию, что стала крайне циничной, а это в патриархальной Индиане не считается добродетелью. Иногда ее цинизм оказывает корректирующее действие. Если я чересчур отождествляю себя со своим героем, она может прислать мне факс с единственным словом "Дональдсон", имея в виду телеведущего, который полагает себя равным любому несчастному главе государства. Возможно, основной ее недостаток тот, что всякую человеческую деятельность она считает зловред-

ной. Несколько лет назад она убедила меня и моего редактора-издателя, которого я буду называть Дон, впервые написать Биозонд о литераторе, Габриэле Гарсиа Маркесе, по общему мнению великом романисте. Слово "великий" вызывает у меня аллергию, но Дон щедро рассыпает это слово по моим рукописям перед публикацией. Короче говоря, я полетел в Мехико и остановился в гостинице "Камино реаль", где в первый же вечер наблюдал двух поразительных женщин, игравших в теннис на грунтовом корте на крыше. Утром в ходе десятиминутной встречи с писателем у него на квартире я выпил чашку чудесного горячего шоколада, принесенную его величавой женой, и наблюдал, как великий человек перелистывает десятка два моих Биозондов, заранее присланных Доном. Наконец великий человек оторвался от моих произведений и с улыбкой сказал: "Не возражаете, если я пожертвую их бедным?" Я откланялся и бежал.

В винном магазине мне разрешено пользоваться служебным входом, чем я несколько горжусь. Рико и продавец разогревали разом boudin blanc и boudin noir[1], которые продавец контрабандой ввез в страну из Франции. Я попробовал и той и другой с обжигающей горчицей и запил бокалом ординарного Crozes-Hermitage. Рико намеревался ужинать с последней покоренной и позвонил ей, чтобы узнать, не захватит ли она подругу, организовав таким образом свидание и мне.

Вернувшись в квартиру после трехчасового похода, я с удовольствием осмотрел ущерб от разбитой бутылки, хотя помнил слова сестры: "Если только дашь течь, через день ты уже утонул". Это заставило поежиться, но утешили три послания от Дона, переданные через оператора. "Куда ты, к дьяволу, провалился?" — гавкнул он в последнем. Это — один из недостатков первого класса. Важные люди изъясняются приглушенным гавканьем. Секретный язык успеха — это гавканье. Раньше он включал в себя и воплн, пока первостатейный успех не стал включать в себя умеренность в питье.

Некоторые винные пятна на стене выглядели почти художественно. И это радовало, поскольку чистящий спрей и бумажные полотенца не вполне справились с делом. Там и сям виднелись еще фиолетовые роршахи[2]: речные устья, влагалища, облака, острые пальцы, сталагмиты. Стекло при подметании издавало музыкальный звон. Я отправил факс в контору Дона с сообщением, что у меня приступ малярии, и выключил телефон. Мысль о второй сигарете я отверг. Пачка стояла на кухонном прилавке одиноким часовым, как выражаются молодые писатели, — не исключено, что дальше встретится набожная белка.

В ду́ше я облаял себя на языке моего класса, небольшого класса, но четко очерченного. Насмешили меня вчера, пока я шел домой, целеустремленная походка идущих в рестораны, их небрежная важность, неуклюжие дорогие костюмы, стодолларовые галстуки и сшитые на заказ рубашки, трусоватая уверенность в своем могуществе. Полагаю — если воспользоваться устарелым марксистским жаргоном, — нас щедро оплачивают потому, что мы послушные орудия класса, стоящего еще выше, тех, у кого собственный парк. Иногда можно посочувствовать этим нередко несчастным душам, с пеленок обремененным капиталом. При такой судьбе нетрудно ощутить себя и жертвой. Мой же класс не заслуживает ни грана, ни крош-

1. Boudin blanc — белая кровяная колбаса (*франц.*); boudin noir — черная кровяная колбаса (*франц.*).
2. Стандартный набор клякс для психологического теста Роршаха (испытуемый должен ответить, какие чувства они вызывают и на что похожи); автор теста — швейцарский психиатр и психолог Герман Роршах (1884—1922).

ки, ни капли сочувствия. Мы гавкальщики, пробившиеся наверх, карликовые собачонки, первопрохвосты. Я зарычал на потное зеркало. Как оно смеет показывать мне мой возраст! Зеркало нагло наблюдало за тем, как я наношу сосновый деготь, смолистую мазь, наилучшее средство при первоначальном зуде экземы, всякий раз возникающей в районе гениталий, в паху, если быть точным. Я услышал магическое жужжание факса. "Тебе тоже можно найти замену. Твой Дон". Лающие, бывает, кусают.

Я сладко и долго дремал, проснулся только к концу дня, и был у меня короткий сон о том, как я навещал бабушку, отцовскую мать, последнюю оставшуюся в живых из старшего поколения. Было это перед самой женитьбой, и я хотел познакомить Синди со старухой Идой, перед которой преклонялся. Местная флора гораздо больше интересовала Синди, чем старая дама, и она пошла бродить у ручейка, протекавшего по маленькой ферме в южной Индиане. Я сидел на кухне с Идой, а она наблюдала за Синди через окно. "По-моему, ей еще маловато лет. Что у нее за родители?" — спросила Ида. Я не мог сознаться, что еще не знаком с ними, и сказал только: "Хорошие". Всю мою юность эта женщина была мне больше матерью, чем моя мать, под конец четвертого десятка озаботившаяся докторской степенью. Летом меня часто отлучали от фермы под Блумингтоном за "озорство", под которым подразумевалось все, что отвлекало мать от диссертации о Позолоченном веке[1]. Как ни странно, я был драчуном, а драка тянет за собой другую, потому что, если ты все время побеждаешь, каждому хочется пересчитать тебе зубы. Так было в возрасте с десяти до четырнадцати. С сестричкой моей было еще труднее — в школе она не желала дружить ни с кем, кроме черных. А маленький Тад не вынимал изо рта большой палец, так что мать постоянно жаловалась на дороговизну ортодонтии. Муж Иды, мой дед, был человек в себе, гораздо старше ее, отставной учитель-естественник, унаследовавший от родителей маленькую ферму. Единственным приятным общением с ним была ловля рыбы на озерке, в нескольких километрах от фермы. В обычной жизни он был молчалив, но на рыбалке делался разговорчивым. Пил там дешевое пиво, и мы сидели на озере, пока не налавливали рыбешки на ужин.

"Ну, не упади в яму, из которой не сможешь выбраться", — сказала Ида, когда я смотрел через окно на Синди, поднимавшуюся от ручья с какой-то вещью в руках. Синди подошла поближе, и я разглядел большую черную змею, которую она любовным поглаживанием усмирила. Я отвернулся раньше, чем она успела поймать мой взгляд из-за стекла. Ида, улыбаясь, тоже наблюдала за Синди. Она решила, что пора помолиться, мы пошли в гостиную, опустились на колени, положив руки на диван, и она попросила Бога благословить наш будущий брак. Ее молитвы и чтение Библии были частью моего отрочества, и любопытно, что я никогда не относился к ним с иронией. Меня удивило, что Джеймс Джойс отказался молиться с матерью. А почему? Пока Ида молилась, Синди позвала с террасы: "Идите посмотрите, что я принесла". Но когда мы вышли на террасу, старый толстый кот Иды Ральф уже демонстрировал самые недобрые намерения. По характеру этот кот был ближе к сторожевой собаке и сейчас, утробно завывая, расхаживал по террасе. Синди испуганно пятилась, а толстенькая змея у нее в руках проявляла активность. Ральф сделал вид, что готов прыгнуть, я хотел пнуть его и промахнулся. Синди сбежала по

1. Позолоченный век — период с конца Гражданской войны в США по 1880-е годы, отмеченный бурной спекуляцией, коррупцией и легкостью нравов.

ступенькам и кинула извивающуюся змею под кусты сирени, где Ральф картинно прижал ее к земле, словно сражался с питоном. Ральф уволок змею себе на обед, и Синди горько плакала. Ида, лютеранка, а потому не такая трезвенница, как другие обитатели библейского пояса[1], настойчиво предлагала Синди виски, чтобы успокоить нервы.

С этого началась первая ссора в нашем романе. Она ненавидела кошек, потому что они бессмысленные убийцы, а я их даже любил, хотя никогда не держал дома. Вторая наша ссора возникла из-за предполагаемого медового месяца: она хотела поехать в Англию на выставку цветов в Ковент-Гардене, а я хотел побывать в Барселоне и Севилье, не говоря уже о Гранаде, где собирался посетить место гибели великого Федерико Гарсиа Лорки.

Ральф, утаскивающий змею, тоже присутствовал в моем послеобеденном сне. Одеваясь к ужину, я сообразил, что на великого левака Гарсиа Маркеса вряд ли мог произвести впечатление мой Биозонд о Генри Киссинджере. И трудно было представить себе десяток бедных мексиканцев, сидящих в парке и читающих мои Биозонды на иностранном языке. Но нет, на самом деле беседу с великим человеком осложняло то, что я никогда не был в Испании, и неопределенное родство Мексики с Испанией изводило меня с тех пор, как я вышел из самолета. Днем, когда я вернулся в аэропорт Мехико и увидел рейсы в Мадрид и Барселону, меня буквально затрясло. Я свободный человек, почему не лечу туда?

Раздумывая над этим, я закурил вторую за день сигарету. В пятьдесят пять лет я еще способен жить опасно, но далеко не так опасно, как рядовой индианский опоссум, не научившийся узнавать свет фар.

Мы встретились на квартире у Рико в Ист-Виллидже. Когда-то место было страшное, я жил там с 1969-го до 1972 года, вскоре после полета с терасы и аналогичных переживаний во время войны с магистерской степенью. В качестве вершины бесполезных степеней магистр изящных искусств заменил бакалавра. С тех пор Ист-Виллидж несколько облагородился, и, вылезая из такси на углу авеню А и Третьей улицы, я вспомнил, как мне рассказывали о скандале вокруг стихотворения У. Х. Одена "Платонический минет", написанном здесь в 60-х годах. Это было довольно яркое стихотворение об оральном сексе у голубых, и полицейские рвались затеять процесс, но их остановила мэрия. Я пытался вспомнить те времена, когда стихотворение могло вызвать такой интерес в Америке.

Квартира у Рико просторная и немного странная – с итальянистой мебелью XIX века, которую он перевез из дома покойных родителей в Куинсе. Зато кухня у него сказочная, не хуже, чем у моей сестры в Индиане. Рико – повар традиционный, в духе Анджело Пеллегрини, всегда выискивает корни того, что считает "подлинным". Он собирает этнические кулинарные книги XIX века, и десятки кулинарных поветрий, пронесшихся за последние годы, на него никак не повлияли. У Рико бывают приступы раздражения, но теперь они чаще связаны с мэром Джулиани, которого Рико числит в четвероюродных братьях. "Giuliani ha sempre ragione", – кричит Рико, пародируя знаменитое утверждение, что Муссолини всегда прав.

Женщины уже были здесь, обе в возрасте между двадцатью пятью и тридцатью. Гретхен, секретарша из Всемирного торгового центра, довольно крепкая, полуитальянка из Троя, штат Нью-Йорк. Донна, моя па-

1. Библейский пояс – территория на Юге и Среднем Западе США, где сильны традиции протестантского фундаментализма.

ра, предельно нерасполагающая, в толстых очках и мешковатом вельветовом костюме, полностью скрывавшем форму тела. "Не выношу, когда что-то прикасается к глазам, поэтому не ношу контактных линз", — сказала она, пожимая мне руку и предваряя вопрос, которого я не собирался задавать. Я с удивлением узнал, что она второй год в аспирантуре Объединенной богословской семинарии, недалеко от Колумбийского университета, и живет в "норе" на краю Гарлема. От подобных заявлений у меня возникают опасливые мысли о деньгах. Я быстро выяснил, что они умные девушки из сравнительно бедных семей, отцы их железнодорожники. Они дружили с детского сада, но были настолько вежливы, что избегали разговаривать на особом языке давних друзей. Обе недолго были замужем. Я позабавил их, рассказав о своем девятидневном чуде, но о том, что завтра лечу к Синди, умолчал. По журнальным меркам Гретхен и Донна выглядели серенько, но именно сегодня это придавало им привлекательность. Красивых женщин, актрис и манекенщиц, я перестал фетишизировать годам к пятидесяти, и отход начался, когда я прикоснулся к фальшивой груди. Я нисколько не виню женщин за то, что они ими обзаводятся — учитывая нашу культуру, — но с ними мне как-то неуютно. Феминистка, с которой я познакомился в ресторане "У Элейн", однажды спросила меня, какие выстроятся очереди, если мужчинам станут продавать большие и деятельные пенисы? Я смугловат, и, когда краснею, не видно.

Я пошел на кухню, открывать принесенное с собой "Линч-Баж", а когда вернулся, Рико показывал Донне и Гретхен полное собрание моих Биозондов и мою первую книгу, ту, которую я именую "Мергатойд в Сохо". Меня сразу прошиб едкий пот. Гретхен повернулась ко мне и сказала: "Вы прямо гигант". Донна почувствовала, что я уязвлен, воздержалась от замечаний и, проведя пальцем по корешкам "Уильяма Пейли" и "Уоррена Баффета"[1], сняла с полки "Лайнуса Полинга". Прочла на задней обложке цитату: "Изящно написана и отлично документирована. Захватите с собой в следующую деловую поездку". Донна взяла "Мергатойда", на которого Рико наткнулся десять лет назад, сразу после нашего знакомства, в "Стрэнде", большом букинистическом магазине. Она открыла страницу, где проза прерывалась стихами и ноги у моего лирического героя тяжелеют настолько, что он не может переступить бордюрный камень, но все-таки спускается по лестнице в таверну "Лайонхед", где ему не хватает ласточек Индианы.

— Вообще поэзия мне интереснее биографий, — сказала Донна, ставя крест на моих последних тридцати годах, — то есть вы, наверное, исключение, но на меня наводит скуку вся эта фальшивая искренность, эта щедрость по отношению к знаменитым людям и мелким подробностям их личной жизни. На самом деле это просто подспорье или удобрение для современного диснеевского фашизма, вам не кажется?

— Пять баллов, — сказал Рико, — политики по большей части это двести фунтов дристни в десятифунтовом мешке. И повсюду вытекает.

Я разлил "Линч-Баж", изображая задумчивость. Искрометное bon mot не подворачивалось. Рико явно пытался помочь, но веселый вечерок явно не складывался.

— Конечно, отец говорил: не смотри сверху вниз на работягу, пока сама не уложила пяток рельсов. Я прожила в Нью-Йорке всего год и уже профессиональная придира. Здесь сотни тысяч блестящих людей, а ес-

1. Уильям С. Пейли — руководитель американского радиовещания. Уоррен Баффет — президент инвестиционной компании "Беркшир-Хэтеуэй", начал играть на бирже в 11 лет.

ли захотят подытожить свои достижения за год, скажут, что ежедневно принимали душ и читали "Таймс".

С этими словами Донна удовлетворенно присела рядом со мной на диван. По ядовитости она уступала моей сестре, но немного. Она очистила креветку из миски, которую принес Рико.

— Вы переспали бы с Джулиани за миллион долларов? — слабо пошутил я.

— Конечно, — захохотала она. — Вам бы это обошлось ровно в десять центов, но мужчины никогда не носят центов. В Нью-Йорке нет природы, и самое близкое к ней здесь — оргазм.

Она сунула креветку в рот и стала жевать, зажмурясь от удовольствия; веки за очками казались большими. Сердце у меня заболело при взгляде на ее стоптанные туфли. Рико и Гретхен сидели на стульях и раздумывали, не пора ли разрядить ситуацию. Я отлично знал, что десяти центов у меня в кармане нет. Мелочь я обыкновенно выбрасываю на тротуар для бродяг и детей. Донна быстро выпила вино, и я прикончил свое. Настенные часы тикали. Рико откашлялся и объявил, что надо отправляться на ужин. Донна встала, дружелюбно пожала мне бедро и подставила руку.

— Если вы меня не переносите, я могу пойти домой.

Я обдумал вопрос.

— Я вас обожаю. И мой христианский долг — наполнить вам желудок. Я хочу, чтобы вы шли по жизни, задавая жару таким дуракам, как я.

— Она всегда растапливает лед огнеметом, — сказала Гретхен и так сжала зад Рико, что он вздрогнул.

В итальянском ресторане на Диленси мы с Рико развили нашу "головную тему", заказав по половине телячьей головы, запеченной с чесноком. Девушки ели курицу и телятину. Я продолжал беспокоиться из-за того, что Донна живет в опасном районе, но ограничился замечанием вскользь, которое тем не менее послужило запалом. Донна подняла глаза, перестав густо намазывать хлеб маслом — впрочем, ненамного гуще, чем намазываю я в особых случаях.

— От масла умереть в двадцать раз больше шансов, чем от руки убийцы, — ехидно заметила она.

Это тоже жутковато напоминало тот род сведений, которые коллекционировала моя сестра. Я взглянул на свой бутерброд с маслом, чье особое очарование заключалось в непохожести на пистолет. Ее реплика дала начало короткому спору с Рико, усомнившимся в масляной статистике. Житель Нью-Йорка все подвергает сомнению, тогда как я привык всему верить, поскольку в сельской Индиане вымысел считается грехом.

— Ладно, закину в себя жирных кислот, — сказала Донна. Она положила жареную куриную ножку и стала рыться в сумочке. — Черт, забыла принять литий.

Пока она принимала лекарство, мы смотрели в потолок, после чего я дал знак официанту принести третью бутылку дорогого выдержанного бароло.

— Насколько лучше мы питаемся, чем Дитрих Бонхёффер в немецкой тюрьме, — съехидничал я.

Я подыскивал имя какого-нибудь богослова, кроме очевидного Пауля Тиллиха, удушенного какими-то поклонниками за то, что ухлестывал за женщинами подобно Кришнамурти[1] и чуть ли не всем другим знаме-

1. Джидду Кришнамурти (1895 или 1897—1986) — индийский религиозный мыслитель и поэт.

нитостям. После двадцати лет небрежения адюльтер сделался почти таким же увлекательным занятием, как деньги.

Наживку взяли. Донна пустилась в рассуждения о Дитрихе Бонхёффере, а также о Барте и Симоне Вайль. Рико и Гретхен заговорили о чем-то своем. Мы выпили по две граппы с кофе, и вдруг оказалось, что все четверо порядком захмелели и устали. Я попросил официанта поймать нам такси, а он сказал, что у его "кузена" в баре есть лимузин. Почему бы и нет? Я подошел к бару, расплатился и сказал комплимент шефу, который уже закончил сегодня работу и, весь потный, сидел перед исполинским стаканом виски. Я часто подумывал открыть собственный ресторан на четыре посадочных места. Кузену совсем не хотелось подъезжать к Гарлему, так что мы сошлись на ста долларах, что, по моим расчетам, было дешевле одной бутылки бароло. Когда я становлюсь экономным, меня тянет на бессмысленные сравнения.

Забросить Рико и Гретхен было минутным делом; я решил, что потом отвезу Донну и оттуда поеду домой. Джентльмен провожает даму до двери. И т. п. Поразительная ночная скорость нашего водителя нагнала на меня дремоту, но на нескольких перекрестках Уэст-Сайда раздавался оглушительный вой противоугонных сигналов; он, наверное, не хуже масла способствует коронарной недостаточности на Манхэттене. Донна продолжала болтать о Бонхёффере и Вайль, но в меньшем темпе, словно уже подействовал литий. Учитывая богословское направление разговора, я был вдвойне удивлен, когда она потянула меня за член, чтобы выяснить, не уснул ли я, — по крайней мере так она сказала. Я обнял ее одной рукой, и она прижалась ко мне. Вино творило собственные сомнительные чудеса, не говоря уж о граппе. Сестра любит повторять, что я всего лишь преуспевающий пьяница, впрочем, я легко научился мириться с этим изъяном характера.

Беда случилась сразу, как только мы подошли к комнате Донны. Впрочем, это слишком сильное слово для заурядной неприятности. Когда мы поднялись по двум маршам невероятно запущенной лестницы и Донна тремя ключами стала отпирать три замка в железной двери, мне почудилось, что на улице закричали. Я подошел к окну в ее комнате и увидел, что моя машина помчалась прочь. Может быть, она вернется, может быть, нет. Два черных парня пинали мяч — это, несомненно, и спугнуло водителя. Мои сто долларов были уже у него в кармане, так что он ничего не терял.

— Не волнуйся, я отнесу тебя домой, — пошутила Донна.

Граппа поднялась у меня в зобу. О дьявол, как мне хотелось домой, в свою постель. Комната оказалась просторнее, чем я ожидал; вся стена уставлена книгами, двухконфорочная плита, плакаты и эстампы, какие-то висящие ткани, стул и стол, заваленный папками. Короче, аскетическое жилье — унылое, если тебе больше двадцати пяти лет. Ванная была на другой стороне коридора, и, стоя над унитазом, я услышал стоны. Донна засмеялась и объяснила, что стонет малюсенький голубой парень, который обожает больших негров. Картина представилась яркая, так что я даже ощутил свой скромный геморрой. Голубой сосед, тоже студент-теолог, был ее другом. Она налила мне мятного шнапса и кинула на стол сотовый телефон, чтобы я мог разобраться со своим затруднением. Я еще не совсем осмотрелся в комнате, и сейчас у меня перехватило дух. Над ее узкой кроватью висел плакат севильской корриды. Плакат моих студенческих лет. Господи, я думал, их никто уже больше не держит.

Донна взяла халат и ночную рубашку и ушла в ванную, оставив дверь открытой, чтобы я послушал стоны из коридора и не скучал. Что может выйти у пятидесятипятилетнего мальчика, сильно оробевшего, с ненадежным источником энергии — телячьей головой в желудке — и немного сдвинутой студенткой-богословом с ее гигиеной на другой стороне коридора? Мой издатель Дон дал бы шоферу пятьдесят долларов сразу и пятьдесят по завершении. Ядовитые мысли об аграрной туповатости смешались с парами граппы. Но это все-таки еще не Косово — я собрал в кулак свое мужество и уставился на севильский плакат.

В молодые мои девятнадцать лет я разрывался в мечтах между Севильей и Барселоной. Собирался даже попроситься на ночь в тюремную камеру Мигеля Эрнандеса, где бы она ни была. Мрачные стены вдохнут в меня дух его поэзии. Самые энергичные изыскания в моей жизни посвящены были этим двум городам, и, сидя в спартанском жилище Донны, я постепенно сообразил, что и у меня был этот самый плакат с севильской корридой. Я твердо намеревался пройти по берегам Гвадалквивира от Севильи до Кордовы, не обязательно ведя под уздцы дружелюбного ослика, хотя идея эта мелькала даже в шестидесятые годы. В Севилье я непременно поселился бы в районе Триана, возможно, с красивой цыганской девушкой. В теплые весенние дни она спала бы голой, завернувшись в мантилью, с розой в волосах. Я помню, как упивался "Путешествием в Испанию" Теофиля Готье и верил каждому слову, хотя преподаватель испанского сказал мне, что все это по большей части вздор. Я мучил своих соседей по общежитию, без конца заводя испанскую классическую музыку и фламенко. Двумя голосами против одного мои музыкальные вкусы были выдворены из кухни и общей комнаты в мою.

Вернулась Донна, прервав мои грезы, и я импульсивно схватил ее сотовый телефон. Я собирался позвонить Шону или Майклу, старым знакомым, посыльным в отеле "Карлайл", чтобы они прислали машину. Я жил там несколько лет, пока не купил квартиру, и в прошлом году провел там месяц, когда квартиру ремонтировали. По роковому совпадению телефон Донны нуждался в подзарядке.

— Ты бывала в Испании? — спросил я, показав на плакат.

— Конечно. Все бывали в Испании. Я жила там в Женском армейском корпусе.

Она помассировала мне плечи и шею, от чего я немного расслабился, потом провела рукой по волосам и сказала "пушистый-душистый" — от этого я снова почувствовал напряжение в шее.

— У таких людей, как ты, не должно быть осечек, а вот случилась, — точно откомментировала она.

— Никогда не был в Испании, — пожаловался я.

— Так поезжай завтра. — Она возобновила массаж.

— Завтра мне надо в Висконсин.

— Это совсем другое место. — Она подвела меня к кровати. — Ложись спать, я немного почитаю.

Я был смущен и, снимая пиджак, галстук и туфли, чувствовал себя ребенком. Я повалился на кровать, а она села за стол и раскрыла книгу. Налила себе шнапса и сказала, что эпистемология у нее не идет — окосела. Она выключила настольную лампу, и теперь горел только слабенький ночник около плиты. Потом легла рядом и отодвинула меня к стене.

— С тобой веселья не больше, чем с заурядным трупом. Не я же удрала с твоей дурацкой машиной. Или развлекай меня, или спи.

— Могла бы покормить меня грудью, — полушутливо предложил я.

Она захохотала.

– Ты офонарел. Сколько раз ты выступал с этим номером?

– Ни разу, – честно ответил я.

Она лежала, опершись на локоть, и смотрела на меня сверху. Потом раскрыла халат, отодвинула ночную рубашку и сунула грудь мне в рот. Какая отзывчивость. Кожа ее поразила меня своей гладкостью. За ужином Донна сказала, что она чешско-ирландского происхождения, и оставалось только удивляться, потому что заезженное "атласный" было бы здесь эвфемизмом. Я неожиданно возбудился и набросился на нее с энтузиазмом, какой испытываю только при виде хороших французских блюд. У меня просто отлетели уши, у нее тоже. Какой мужчина не возгордится, сумев быстро довести женщину до бурного оргазма, даже если ободрал при этом подбородок и язык и намял нос. Такой увлеченности я не мог припомнить; потом она повернулась и стащила с меня брюки.

– Ты что, сосны насилуешь? – Она втянула носом воздух.

– Тьфу. – Я вспомнил о своей мази: – Это мазь с сосновым дегтем. Употребляю от экземы.

Я выскочил из постели и ворвался в ванную. Там уже были. Очень высокий мускулистый негр и очень маленький тощий белый мужчина стояли и смотрели на себя в зеркало. На них по крайней мере были цветные пляжные трусики. Я прикрыл эрекцию рукой.

– Я с Донной. Можно?

– В самом деле? Не сейчас. Донна, он с тобой?

– Некоторым образом, – откликнулась она, и они оставили меня смывать мазь.

Это было уже чересчур. Она сделала робкую попытку оживить мой полностью поникший орган, сдалась и быстро уснула, мягко похрапывая. Как человек, страдающий бессонницей и держащий на тумбочке записную книжку для важных заметок наподобие "С годами Кастро стал ограничивать себя в курении", я страшился долгой ночи бодрствования, но быстро отрубился.

В половине четвертого по часам, стоявшим у ночника, кто-то стал толкаться в нашу дверь.

– Пошел вон, мудак! – гаркнул я, ощутив внезапный прилив адреналина.

– Мой герой, – прошептала Донна, и мы с тихим восторгом принялись за дело.

Это не был пятнадцатираундовый матч, описанный Норманом Мейлером в пору моего студенчества, но что-то вроде трехраундового поединка за "Золотые перчатки". Лицо мое расплылось в небывало широкой улыбке. Красивый противоугонный сигнал вторил нашему обоюдному стону. По какой-то причине я промычал "Умгоу" из старинного комикса.

Пробудившись, я услышал: "a priori", потом фразу по-немецки. Донна и голубой сосед по имени Боб сидели за столом, углубившись в книги. Боб увидел, что я открыл глаза, и отдал честь. Он принес мне кофе и глазированный пончик – примерно то, на что похоже было сейчас, наверное, мое лицо.

Я выпил восхитительный кофе и съел такой же восхитительный вредный пончик. Они щебетали о "диалоге", с которым должны были выступить на семинаре по философии. Грязные, но веселые воробушки на подоконнике клевали из чашки зернышки, которые им насыпала

Донна, как новый святой Франциск. Если бы не Боб, я, может быть, сказал бы что-нибудь бессмысленное, вроде того, что эта ночь была одной из десяти лучших в моей жизни; с другой стороны, не переношу анальный фашизм списков, сопутствующих моей грешной профессии. Я стал быстро одеваться под музыку их Гегеля, Шлегеля, Хайдеггера и Лейбница. Когда я закончил, Донна встала из-за стола, вежливо чмокнула меня в щеку, а потом поцеловала в губы.

— Хочешь поехать в Испанию? — спросил я.

— Нет. А ты поезжай. Если хочешь, позвони мне, когда вернешься. — Она порылась в своих книгах и дала мне биографию Джона Мьюра[1], написанную Фредериком Тернером, по крайней мере вчетверо более длинную, чем мои продукты. — Тебе понравится, — сказала она, открывая мне дверь.

Я поймал такси на Уэст-Энд-авеню и по дороге домой заехал в транспортное агентство, чтобы перенести полет на попозже. Опыт подсказывал мне, что к середине утра эйфория пройдет и навалится похмелье. До аэропорта Ла Гвардиа надо было вздремнуть.

На кухне у меня управляющий домом оставил срочный пакет от Синди, а от себя записку: "Ваши стены попали в аварию?" Винные пятна по-прежнему не казались мне некрасивыми. В пакете от Синди была книга под названием "Гуманистическая ботаника" и письмецо с просьбой прочесть ее, чтобы не задавать потом глупых вопросов. Любезно. Домашнее задание. Я позвонил Дону, чтобы выяснить ущерб; он был снисходителен к моему приступу малярии, о котором я забыл, и напомнил мне, что Эйснера он ждет от меня через три недели. Майкл Эйснер, разумеется, президент "Диснея". Сестра предоставила, как всегда, толстую папку хорошо упорядоченных материалов, но я еще не приступал к работе. Я ни разу не опоздал к сроку и быстро прикинул, что придется делать по пять страниц в течение двадцати дней. Пустяки, если смогу сочинить первое забористое предложение. Родившись, Эйснер вскоре начал дышать. Среди прочего я выработал в себе умение точно запоминать, что говорят люди. Иногда мне помогает в этом зрительный образ. Например, во время теологических рассуждений Донны за ужином, когда я разреза́л телячий язык, она сказала, что желать надо волевым образом, не зная, чего желаешь, и смысл этого остался для меня неясным. А когда я взял в рот первый кусок с чесночным соусом, последовало продолжение в том смысле, что лучшие представители рода человеческого позволяют своим сердцам разорваться. Рико, занятый челюстью, отреагировал на это несколько испуганным взглядом.

Я подошел к окну, откуда виден был отрезок реки. Ночь представлялась мне поразительным достижением самой жизни, и я, как не вполне добровольный ее участник, спросил себя, не проще ли было бы влиться в нее, если бы я перестал мыслить о жизни в пятистраничных сегментах. Тридцать лет напряженных усилий сделать что-то только для того, чтобы заново начать то же самое. Если работаешь слишком быстро и напряженно, то что? Получаешь возможность продолжать. Я вспомнил школьный урок, где говорилось, что английское название четверга — Thursday — имеет какое-то отношение к Тору, скандинавскому богу. Стул перед моим рабочим столом в углу вполне мог быть электрическим — впрочем, жалобы на работу надо воспринимать соотносительно с тем, сколько жалобщик за

1. Джон Мьюр — американский натуралист.

нее получает. Могу ли я жаловаться? Я скорее озадачен. Писатели — это только люди, которые прежде всего пишут. Акцент здесь, почти печальный, — на "прежде всего". Я сомневаюсь, что большинство водопроводчиков прежде всего проводят воду или грузчики прежде всего грузят; можно назвать еще несколько десятков профессий. У них остается место для чего-то еще, или так мне кажется. Может быть, западне находится оправдание, когда мы называем ее искусством, после чего любой бумагомарака вправе ощутить себя причастным к таинственному миру.

От этих беспокойных мыслей у меня могла бы заболеть голова, если бы я не ощутил голода, каковой есть первейшая перед всеми потребность у людей и животных. Я наскоро приготовил омлет с сыром и вспомнил, как моя бабушка молилась, чтобы я стал лютеранским священником; но священники опять-таки никогда не перестают быть священниками, и это сходство с писателями помешало мне насладиться омлетом. Я взглянул на эйснеровскую папку и подумал: не предать ли ее погребению в реке? По данным, накопившимся у меня против моего желания, люди моего возраста тревожатся за свою работу, как я сейчас, но также о своих взрослых детях, которых у меня нет, о своем здоровье, о здоровье своих жен и по поводу близящегося финала. На утренних авиарейсах, когда впереди ожидаются встречи, разговоров об этом не слышишь, но на вечерних они превращаются в журчащий ручей или, вернее, во взбаламученную лужу. Перспектива свалиться замертво в любую минуту не обсуждается открыто, но присутствует так же зримо, как земля далеко внизу, то есть как что-то безусловно очевидное. Может быть, лучший ответ здесь: "Если можно, расскажите мне то, чего я не знаю".

Словно в доказательство моей неправоты, моим соседом в самолете оказался компьютерщик, который провел три дня в нью-йоркских музеях. Я пыхтел над своим уроком, "Гуманистической ботаникой", и завидовал лежавшей у него на коленях большой книге по искусству, пусть и безвкусной. Выяснилось, что он разведенный отец двенадцатилетней девочки, помешанной на искусстве. "Общаться" с ней на этом уровне он был не способен и поэтому за последний месяц посетил Центр Уокера у себя в Миннеаполисе, Чикагский институт искусств, а теперь "прочесал" Нью-Йорк. Подумывал о том, чтобы купить краски и "попробовать".

Это было любопытно, и мне хотелось продолжить разговор, но я дошел только до страницы 9 "Гуманистической ботаники", и оставалось еще шестьсот. "Классического комикса" по этой теме, очевидно, не существовало. Вы можете подумать, что от отца-ботаника я кое-чего набрался, но это не так. Однажды от нечего делать я раскрыл какую-то книгу из его библиотеки, и оттуда выпало вырезанное из журнала фото Авы Гарднер. Мне тогда было четырнадцать лет, и я несколько изумился, хотя Ава выглядела намного привлекательнее моей матери.

Я пытался усвоить идею, что корень, стебель и листик цветущего растения именуются "органами", но застрял на мысленной картине, где органы еще недавно играли такую большую роль, тем более что в это время очень Большой бизнесмен через проход от меня (большой физически) закрыл свой ноутбук и Большим голосом разговаривал с Большим партнером о Большом бизнесе, а Большой пилот (я его видел) объявил, что мы пролетаем южнее Большого Чикаго ("грозовой, здоровый, драчливый"). Я вспомнил, что в "Дженерал моторс" до ее Большого экономического спада высшие чиновники обычно были под метр девяносто ростом. Любовь к Большому в Детройте я ощутил еще на заре своего писательст-

ва, когда писал Биозонд Генри Форда II, носившего прозвище Хенк-двойка. Скоро мы подлетим к Большой Миссисипи. Продираясь сквозь "очередные, перистонервные листья сассафраса", я стал вспоминать, сколько раз наблюдал, как Большие румяные техасцы с действительно Большими голосами грузятся в самолет. Как-то раз один стал настаивать, чтобы я поменялся с ним местами и он мог сесть рядом с Большим другом, но, к его нескрываемому отвращению, я отстоял свое привычное 3В.

Цветы приятно отвлекали от этих мыслей. Я выпил стаканчик дешевого вязкого калифорнийского каберне, лучшего, что было, по словам стюардессы. Аромат копченого мяса и шоколада с миндалем — хорошо пошло бы с Биг-Маком.

Я пролистал всю книгу, но фотографий Авы Гарднер там не было. Стюардесса с красивой попкой наклонилась, чтобы подобрать упавшую салфетку, — кульминация всего полета. Позади плакал младенец — гораздо более приятная музыка, чем ротвейлерские голоса Больших бизнесменов. Я вдруг затосковал по маленькой Франции, по моим маленьким прогулкам, маленькому кофе, маленьким багетам, даже по маленькой Клер, требовавшей немаленьких денег. До чего редко миловидные женщины вроде Клер обладают сексуальной энергией Донны. Мне такие не встречались.

В Миннеаполисе мы приземлились к ужину, и я сообразил, что никогда тут не был, хотя в открытии этом не было эмоционального наполнения, как в случае Барселоны и Севильи. Я приготовился, как обычно, выскочить из самолета, но меня опередила женщина с двумя детьми, один из которых плакал. Она была в отчаянии и нагружена ручной кладью, поэтому я вызвался нести ребенка, которого она тащила за руку. Стюардесса с красивой попкой поблагодарила меня, и на миг во мне все потеплело, как в рассказиках из "Ридерз дайджест", читанных в детстве. Мальчонка был упитанный и весил, как мой портфель с Эйснером и мешок с костюмом, которые я нес в другой руке. У выхода я с облегчением отдал непоседу угрюмому отцу.

Был жутковатый момент, когда я сел в прокатную машину и по обыкновению повторил про себя, что́ мне предстоит сделать. Завтра в конце дня — Синди под Ла-Кроссом. Прочесть книгу. Где мне ужинать, записано — Рико сказал. Рико боялся летать, но в отпусках поездил по всей Америке. Он много раз приглашал меня с собой, и всякий раз я не мог из-за работы над очередным Биозондом. Однако его путевые дневники были неоценимым ресторанным гидом.

Повторив, что называется, "установку на игру", на этот раз оказавшуюся короткой, я обычно пытаюсь понять, как функционирует автомобиль, когда он стоит, а не едет. Ключи я держал в руке, но не мог найти зажигание. Остальные на платной стоянке резво брали с места, включая Большого бизнесмена и его Большого партнера, арендовавших вишневый "линкольн". Включить лампу в розетку — это уже испытание моих технических способностей. Я залез в бардачок и достал руководство на пяти языках, включая японский. В машине было жарко, но я не мог открыть окна и включить кондиционер, а открыть дверь мне не пришло в голову. От бессилия у меня навернулись слезы. Панель с непостижимым набором хайтековских штучек расплылась перед глазами. Пожалуй, несколько дней мне надо отдохнуть, но тогда в оставшееся время придется постепенно увеличивать эйснеровскую норму с пяти в день до шести, до семи, до тринадцати и так далее, пока не дойдет до целой сотни в последний день. Наконец, проходивший мимо черный смотритель стоянки в опрятной форме от-

крыл дверь и весьма уместно заметил: "Эти ё....е японские машинки сплошное фуфло", после чего показал мне зажигание. Я попытался дать моему спасителю двадцать долларов, но он отказался и с хохотом ушел.

В моем апартаменте была табличка, гласившая, что здесь ночевал Горбачев. Она вызвала в душе лишь самое короткое смятение, оформившееся в вопрос: чему сегодня верить? Чтобы избежать дальнейшей течи, я лег на кровать и еще глубже погрузился в "Гуманистическую ботанику". Выяснилось, что ауксины, гиббереллины и цитокинины — это гормональные и регуляторные вещества, определяющие рост клеток в растениях. Эта новость успокаивала не хуже веронала. И я уснул.

По случайному совпадению, когда я проснулся через полчаса, в коридоре послышался детский крик. Почему я не стал отцом? Растить брата и сестру с двенадцати и пятнадцати лет — этого оказалось достаточно. От сестры нашей матери помощи было мало, и через год мы ее прогнали. Она дважды была замужем, во второй раз подольше — за портовым грузчиком итальянцем, и вся ее эмоциональная жизнь, сколько ее там было, сосредоточилась на стряпне. Когда она побила Тада деревянной лопаткой по голове за то, что он ел сырое тесто, а потом на повышенных тонах обвинила его в том, что вместо уроков он онанирует над "Плейбоями" и "Пентхаусами", — чаша моего терпения переполнилась. Бедный Тад был чуть не в судорогах от смущения и расплакался. Мы все сидели на кухне, и сестра, всегда любившая ругаться, закричала: "Заткнись, старая п..." Пути назад не было, на другой день тетка уехала, и мы больше о ней не слышали, хотя я регулярно посылал ей рождественские открытки.

Я изучил гостиничную карту вин и с удовольствием заказал в номер хороший "помероль". Затем нашел название ресторана, и консьерж заказал для меня столик на последние полчаса перед закрытием. Пора навалиться на работу. Завязалась борьба между Эйснером и ботаникой, но на горизонте маячила свирепая Синди, и я выложил на стол книгу. Суровый долг зовет. Вино прибыло мгновенно, но штопор был неведомым инструментом для девушки с разинутым ртом, которая принесла его, и я открыл сам. Она поступила сюда недавно и не знала, кто такой Горбачев, поэтому я объяснил ей, сопроводив описанием родимого пятна, напоминающего винное на светлой стене. После десяти минут прилежного чтения я ощутил душевный дискомфорт и позвонил Донне, но мне сообщили, что она распорядилась не соединять ее — только в самых крайних случаях. Я вспомнил устрашающую строчку из стихотворения Пастернака в "Докторе Живаго" о том, что жизнь — это длинная дорога. Так же, как в день убийства Кеннеди, я помню, что делал тогда, когда прочел это стихотворение. Был теплый летний вечер в Индиане, и я слушал пронзительное любовное пение цикад. Отец говорил мне, что козодои едят цикад, но тогда мне это не казалось важным. А теперь почему-то показалось. Может быть, телефонный разговор с Синди и ночь с Донной открыли окно, для которого в иное время потребовался бы ломик.

Я дошел до страницы 50 "Гуманистической ботаники" с обсуждением Карла Линнея, но тут наступило время ужина, а меня пронзило воспоминание о бывшей подруге из города Рай в штате Нью-Йорк, истовой католичке и выпускнице колледжа Сары Лоуренс (диплом с отличием, когда это еще что-то значило): действительно, мои таланты не развились в должной мере из-за чрезмерно подавляемого горя и посредственного образования. Если бы были у души зубы, эта молодая женщина заставила бы их застучать. Она прервала свою докторантуру на психологическом отде-

лении Нью-Йоркского университета, чтобы редактировать у моего издателя книжки о душевном здоровье — из серии "Сделай сам". Она была тактична и психологии своей не навязывала, но присутствие последней ощущалось всегда. Почему по утрам я пью кофе только после бритья? Почему я много курю только за работой? А я знал, что она время от времени садится на героин — проблема, обсуждать которую Нью-Йорк не считает нужным, когда речь идет о его лучших умах. Она даже изучила отчеты о катастрофе, в которой погиб мой отец, между тем как сам я не нашел в себе для этого сил: капитан эквадорского судна под воздействием рома неправильно заполнил балластные цистерны. Единственные двое спасшихся, если не считать капитана, спали на палубе. Что касается матери, то было сказано только, что со времени Второй мировой войны у тех, кто родился и вырос в промышленных районах Нью-Джерси, заболеваемость раком мозга увеличилась на пятьсот процентов.

И все-таки я любил эту молодую женщину за ее шутовской, хотя и меланхолический юмор. Ее отец был актуарием[1] страховой компании, депрессивным в последней стадии, и подозреваю, что я оказался вторым по очереди среди тех, кого она хотела развеселить, потерпев неудачу с первым. Наша решающая ссора началась с того, что за ее превосходными макаронами с сыром (английским чеддером от Дина и Делуки, по двенадцать долларов за фунт) я высказал мысль, что ее психологическая серия повысит число самоубийств, а если и нет, то окажет большую услугу фармацевтическим компаниям. Она выкинула мой любимый тогда Биозонд (Лайнуса Полинга) из окна нашего дома без лифта на Западной Десятой улице.

Но как нам вскрыть лед, который, возможно, залег в наших сердцах? "Fais ce que voudras" (Делай, что захочешь)[2] — явно недостаточно. Я, бывало, составлял наборы ненужных правил — ненужных, потому что я им следовал до того, как записал. Позже одна подруга, педиатр из Чикаго, сказала, что на моем могильном камне надо высечь: "Он делал свою работу".

До ресторана, рекомендованного другом Рико ("Д'Амико кучина"), идти было недалеко, и по дороге меня позабавила мысль о том, что моя подруга-психолог презирала движение "Потенциал человека"[3] до такой степени, что сама стала его жертвой. Однажды воскресным утром она ужасно разозлилась, когда потребовала, чтобы я выбрал самое любимое свое занятие и провел за ним день вместо того, чтобы работать. Я сказал: вскапывать бабушкин сад на ферме в Индиане. Поскольку это было неосуществимо, она потребовала второго любимого занятия, и я сказал: соединиться с моей первой женой Синди по-собачьи на кукурузном поле июльским днем. Она предложила поехать за город и попробовать, но я указал, что сейчас конец мая и кукуруза еще недостаточно поднялась. Как вы догадываетесь, в ее серии по душевному здоровью, тоже издаваемой Доном, была глава о предотвращении депрессии под названием "Выберите любимые занятия и займитесь ими".

В ресторане я заказал для начала выдержанное барбареско, prosciutto[4], импортные фиги. Официант нахмурился, увидев, что я читаю книгу, и я внутренне с ним согласился. Пристальное исследование собственной

1. Актуарий — служащий страховой компании, который рассчитывает размер возвращаемого страхового взноса, дивиденды, риски и т. д. на основе статистических оценок.
2. Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль".
3. Популярное в 1960—1970-х годах направление в психологии и психотерапии, делавшее упор на "самоактуализации", удовлетворении своих желаний и импульсов в противоположность формированию личности соответственно потребностям общества.
4. Ветчина (*итал.*).

жизни тоже казалось делом нестоящим перед лицом хорошей пищи. Мне захотелось выяснить, где Миссисипи, этот водный нож, рассекающий нашу страну пополам, — дабы бросить в нее эту книгу. Я помнил, что Джон Берримен, поэт, некогда знаменитый в поэтических кругах, прыгнул с местного моста — так и для книги, может быть, это подходящая могила. На форзаце значилось: "Синди Маклоглен, 1977" — год выхода книги — с припиской: "Просьба вернуть". Вот я, пятидесятипятилетний мужчина, с парой миллионов на счете, делаю уроки. Умный человек соврал бы и сказал, что выехал в аэропорт раньше, чем принесли пакет с книгой, или что-нибудь такое.

Пока я трудился над своей pasta, немудрящей, но прекрасной puttanesca[1], меня посетило своего рода озарение. Проклятая книга на столе рядом с моим салатом radicchio[2] угнетала меня в первую очередь объемом своего содержания. После эпохи, на которую пришелся расцвет деятельности моего отца — 30-х, 40-х и 50-х годов, — мы наблюдали постепенное торжество процесса над содержанием. Например, мои Биозонды полны фактов, но они не подавляют своим количеством, а, наоборот, расслабляют, и я давно понял, что их популярность обусловлена упаковкой. Конечно, это не очень глубокое наблюдение, и сделает его любой с трехзначным показателем умственного развития, но в основе помешательства на компьютерах — процесс. Страна и ее народ просто устали учиться, поэтому обратились к процессу, как сотни преподавателей в колледжах, чьи студенты, будущие преподаватели, в большинстве своем не могут справиться ни с каким тестом, требующим основательных знаний; в результате среди двух десятков западных стран студенты нашей страны обычно оказываются последними.

Честно говоря, я плевал бы на все это, если б это не относилось ко мне самому. Однако ясно было, что содержание составляла моя сестра, я же был процессом, а брат Тад просто гонял пар над супом.

Должно быть, мои губы нервно шевелились, потому что рысцой подбежал официант. Он встревоженно посмотрел сверху на страницу 109 с изображением продольного среза верхушечной меристемы ствола ясеня. С расстояния в метр она, пожалуй, выглядела сексуально, вроде женских органов в разрезе, как у нас на уроках биологии. Он сказал, что моя телячья отбивная почти готова, а я спросил его, где тут протекает река Миссисипи, поскольку по дороге из аэропорта, мне кажется, мы пересекли реку Миннесота. Вопрос привел его в остолбенение.

— Да тут она повсюду, сэр, — сказал он, и я кивнул.

Я вернулся в гостиницу, включил телевизор и, заметив, что у многих каналов отсутствует конкретное содержание, переключился на радио с классической музыкой, передававшей чувства, которых я никогда не испытывал. В колледже мне по крайней мере казалось, что я испытываю похожие эмоции, когда слушаю великого Карлоса Монтойю[3]. Мне стало больно, но всего на минуту, от мысли, что Синди прогоняет меня через целый университетский курс ботаники за двадцать четыре часа. Прошлой ночью в это же время, учитывая разницу часовых поясов, Донна учуяла мою мазь из соснового дегтя. Я подумал о ее промежности в тени, куда не достигал свет ночника. У нашей сексуальности, конечно, есть содержание, но описыва-

1. Толстые макароны с куриной грудкой, анчоусовой пастой, лимоном и пр. (*итал.*).
2. Цикорий (*итал.*).
3. Карлос Монтойя — испанский гитарист, исполнитель фламенко.

ют ее неизменно в терминах процесса. "А потом я... а потом она..." Я обдумал это и вспомнил монолог Молли Блум, а затем голос матери, неизвестно зачем изрекающей: "Исключение подтверждает правило".

С помощью возбуждающей таблетки и кофейника я читал до пяти часов утра и прочел "Гуманистическую ботанику", хотя и наспех. Я провалился бы на простейшем зачете, но, закончив, обнял книгу и перекатился на кровати, словно мы с ней боролись. В последние годы я этого больше не практикую, но прежде, когда я относился к своей работе серьезнее, мне случалось выступать перед студентами-журналистами с лекциями о природе моего успеха. Я говорил им, что, если хочешь сделать работу, надо полностью игнорировать свои настроения. Если сложить все ваши настроения в обувную коробку и поставить на весы, они покажут только вес обувной коробки. Настроение — это просто потворство своим эмоциональным капризам и топливо для лени. Мне приходилось держать в уме эти кальвинистские глупости, дабы закончить чертову книгу и встретить зарю с умеренно торжествующей улыбкой. То, что я преподносил студентам, было самым вопиющим из всех возможных уроков счастья.

Единственным светлым событием в ту ночь был ответный звонок Донны. Разговор длился недолго, потому что она занималась, но она сказала, что хочет увидеться со мной снова. Как бы достаточно — но в этом был оттенок сексуального поддразнивания, который меня обеспокоил. Я сказал ей, что не очень гибок и не способен спать с людьми, к которым не питаю сильного чувства. Печально, но правда, думал я когда-то, но теперь не думаю. В своем сексуальном поведении я могу видеть только комическую сторону, даже если само занятие иногда бывает чудесным. Когда-то я преклонялся перед Д. Г. Лоуренсом и, может быть, опять преклонюсь, если перечитаю, однако Генри Миллер был более точен.

Честно говоря, я кое-что выдумал — ради ясности. Еще одна ложь! Неужели нельзя обойтись без цепи врак, опутывающей нас? Ты лучше знаешь, кто ты такой, когда просыпаешься, чем отходя ко сну, когда твои декоративные способности достигают пика. Автобиографическое надувательство не отличается от биографического. Донна и Рико, вино и еда — правда. Также и Синди, которую через шесть часов я увижу впервые после сиреневого сада и сигареты с гашишем в грязном "де сото". Когда человек, субъект, рассказывает мне, что он разошелся с первой женой и женился на другой, на все это наведен глянец, и выпытывать подробности было бы с моей стороны невежливо; однако же это самое серьезное событие в жизни мужчины. Видится со своими отпрысками, со своими двумя детьми, часто, потом менее часто, потом совсем не часто, и самой важной любви в его жизни, его первого брака, как не бывало. Вот где истинная энтропия. Самая большая часть эмоционального содержания его жизни канула в небытие из-за обычного накопления взаимных неудобств. Прежде говорилось даже: "Мы росли, но в разных направлениях". Оттого, что развод был необходим, предопределен, попросту неизбежен, он не становится менее значительным.

Вот опять я опасаюсь быть припертым к стене, которая находится в четырех метрах от моей кровати. Я никогда не был по-настоящему женат — так что я в этом понимаю? Девять дней, даже восемь... ни бельмеса, как сказала бы моя бабушка.

Позвольте начать сначала. Я проснулся в одиннадцать утра в поту — жаркое солнце уже било в юго-западное окно, в мозгу вертелись обрывки сна с цветами и большими густо-зелеными растениями, показываю-

щими зеленые растительные внутренности, глаза — раскаленные докрасна шары. Я выкурил полпачки сигарет, привезенных в портфеле, выпил два пива и три полубутылки вина из мини-бара под телевизором. Воспользовался телевизионным пультом, чтобы вызвать три порнофильма по девять долларов штука, но ни один меня не увлек. По ходу всего этого я продолжал не слишком внимательное чтение. Такой ночи у меня не было лет семь, с тех пор как в возрасте сорока восьми лет я поместил себя в укромную аризонскую клинику, чтобы месяцок отдохнуть. До того как притормозил там, я не мог сделать свою работу без трех-пяти бутылок вина ежедневно, хотя от кокаиновых прицепов отказался еще задолго до этого, поскольку врач сказал, что так у меня полетят клапана — имея в виду смерть. Чтобы спастись, я сделался старомодно религиозным и молился утром и вечером, как в свое время с бабушкой.

Всё — после факта. В то утро я мог только хрипеть с неуверенной эрекцией по направлению к Донне в другом часовом поясе и ощущением нарушенного суточного ритма из-за того, что поднялся в одиннадцать вместо семи. Змея сбрасывает кожу и не узнает себя. Природа сознания такова, что можно сбросить сразу несколько кож. Когда это происходит со мной, я дней десять кропаю прозу или несколько стихотворений, размышляю, после чего направляюсь к дерматологу, который не пропишет мне ничего такого простого, как черная мазь с сосновым дегтем. Ее посоветовала мне молодая женщина в "Коконат гроув", уколовшаяся о ядовитую рыбу и чуть не потерявшая палец. Ей эту мазь дал на Сен-Бартельми французский матрос, который обходился с ней "гнусно". Что это означало, бог знает. От европейцев мы, ксенофобы, привыкли ожидать продолжительного анального секса.

За пятой чашкой кофе я задремал в кресле, поставив ноги на багаж. Язык, на котором я разговариваю с собой, стал настолько персональным и ушел внутрь, что исчез. Подтянись и навались. Перепояшь чресла. Хуже всего — "не прогибайся". Мы воспитаны на целой школе "мужского разговора", игнорирующей нашу уязвимость. Очередным отчимом-извращенцем на Среднем Западе был Винс Ломбарди[1]. Замечательной нелепостью звучат слова комментатора, восхваляющего наш "добрый костоломный футбол Большой десятки"[2]. Рев стадиона был слышен у нас в Блумингтоне за несколько километров. Но более вредоносным был подразумеваемый культурный язык выдержки, храбрости, твердости, усердия, бережливости, "упертости", "раннего прихода на работу и позднего ухода". Это позволило мне скопить пару миллионов, которых отнюдь не достаточно, если верить статье в "Уолл-стрит джорнал", где говорилось, что мне нужно пять миллионов, чтобы "с приятностью уйти на покой". От этого я затосковал по настоящим деньгам, которые я зарабатывал как мальчишка-газетчик, разъезжая на моем "швинне" по ледяным февральским улицам, и по четверти доллара в час, которые зарабатывал вскапыванием садов.

В общем, я сидел и пытался вспомнить фразу, с помощью которой вызывают гостиничного посыльного, плюнул, сам снес вещи в вестибюль: в голове у меня была пустота, заполненная цветами. Я вспомнил что-то слышанное по Национальному общественному радио насчет создания "темных парков" — слабо освещенных территорий, откуда люди смогут увидеть звезды, и о том, что после землетрясения в Лос-Анджелесе мно-

1. Футбольный тренер.
2. Большая десятка — зд.: Западная футбольная ассоциация.

гис люди, оставшиеся без электричества, были смущены и встревожены Млечным Путем — туманным звездным поясом, который я обожал в молодые годы, но с тех пор редко видел.

Важные бизнесмены топ-топали по вестибюлю, возможно, с подтекающими задами. Двое из них жали друг другу руки с непомерной энергией, сделавшей нашу страну такой, какая она сегодня есть. Я был доволен, что мой безъязыкий мозг не помешал мне расплатиться за стойкой, получить указания от двух спорящих посыльных, у которых были разные идеи насчет моего маршрута. Когда парковщик подогнал мою арендованную машину, я обрадовался, что он не выключил мотор и мне не придется снова искать зажигание. Автомобили будущего станут заводиться, когда дернешь себя за конец и шепнешь: "Поехали".

Когда внутренняя негативная болтовня иссякла, я ощутил непривычную бодрость. По дороге к парковой магистрали Пойнт-Дуглас притормозил, чтобы не задавить двух очень пьяных коренных американцев, переходивших на красный свет. В мозгу сразу прокрутились целые главы из истории — сомнительный дар моей матери, чей перечень несправедливостей был так длинен, что никто не мог его дослушать. Из-за нее я избегаю думать об истории, хотя, наверное, надо было бы забыть о ее филиппиках и делать что хочется. Зачем отвергать предложенное? Пусть его наезжает. Мое ночное борение с ботаникой несомненно было нерешительной попыткой прикоснуться к профессии отца. Я невольно задумался о том, сколько раз он видел Аву Гарднер в "Босоногой графине", дурацком фильме, — но Ава там в платье шлепает босиком по мраморному полу, вызывая эхо в паху.

По дороге я миновал парк "Свиной глаз" — очаровательное название. Я надеялся самостоятельно понять, почему он так называется; зелень его с пастельными пятнами цветущих деревьев прекрасно обходилась без людей. Была какая-то отдаленная связь между зеленью и прочитанной книгой, но чтобы разобраться в ней, требовалось время.

Я проехал по первому из нескольких мостов между Миннесотой и Висконсином, могучая Миссисипи выглядела чрезмерной и неряшливой. Я завернул на пятачок для туристов, чтобы посмотреть на воду, вспомнил строку Т. С. Элиота насчет того, что эта река — "большой коричневый бог". Было обычное головокружение и треморы, но привычный мостовой вопрос "Броситься ли?" не возник. Были некоторые намеки на то, что сердце поет — словно от моего имени принимались бессознательные, но славные решения.

Въехав в Висконсин, я вспомнил, что в ходе скупого часового интервью, данного мне Эйснером, он рассказал о том, как они с женой, в ту пору еще молодожены, разбили лагерь в северном Висконсине и медведь порвал им палатку. История эта решительно не вязалась с образом человека, восседавшего в величественном кабинете и правившего оттуда громадной корпорацией, но несомненно была правдивой. Майк в ночи лицом к лицу с медведем. "Когда Генри Киссинджеру было двенадцать лет, приятель столкнул его в грязную лужу, и он решил больше никогда не выходить на улицу, а если этого нельзя будет избежать, то по крайней мере держаться от грязных луж подальше. Однажды, попивая шампанское "Кристалл" высоко над Ново-Оболдуевом, он рассказал эту историю Бобу Макнамаре[1], и

1. Роберт Макнамара — министр обороны в администрации Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, впоследствии президент Всемирного банка.

тот усмехнулся. Не правда ли, однако, добавил Генри Киссинджер, что в городе с надлежащей ливневой канализацией нет грязных луж".

Факт может быть таким, что крот разинет рот, думал я, мчась на юг по висконсинскому шоссе 35, узковатой, но восхитительно живописной дороге. "В сумерках они встали на колени перед голой азиаточкой и попросили прощения за Вьетнам". Возможно, но вряд ли. Наверное, я могу извергнуть столько глупостей, что вздуется река справа от меня, с баржами, плывущими на юг.

Недалеко от моста между Нельсоном и Уабашо я остановился в незаселенном месте, чтобы пройтись до реки или хотя бы до одного из ее рукавов. Тучами вились комары, но их отгонял полуденный ветерок. Тропинку развезло после недавнего ливня, и скоро стало ясно, что мои туфли без шнурков — обувь неподходящая. В траве проползла толстая черная змея, и мне вспомнилась несчастная змея в руках у Синди, ставшая кошачьим кормом. Щеки у Синди были мокры от слез, а рука, державшая маленький стаканчик виски, которым ее пыталась успокоить старуха Ида, дрожала. Синди иногда плакала со мной в постели — из-за того, что это "чистая радость".

Тропинка в кустарнике вывела на илистый берег. Двое мальчиков лет двенадцати удили рыбу и встревоженно оглянулись на меня, словно я мог оказаться школьным инспектором — если такие должности еще существуют. Я помахал им, улыбнулся и задал обычный вопрос: "Как клюет?" У них уже было два приличных черных окуня, и я немедленно вообразил рыб на сковородке. Из их рюкзака выглядывал каталог "Секрет Виктории"[1], но я сделал вид, что не заметил — эротика определенно более высокого качества, чем та, что была в мои школьные годы. Я направился вдоль реки, и один из них крикнул: "Не надо", но было поздно. Нога по колено погрузилась в грязь. Другая еще стояла на твердом, но позиция оказалась неудобной, и я плюхнулся на зад. Я протянул руку, ребята с трудом вытащили меня, но уже без левой туфли. Они готовы были спасать ее, но я сказал: "Туда ей и дорога", и мы все трое дружно рассмеялись.

Ковыляя к машине, я вспомнил, что остался лишь с пушистыми шлепанцами, но в Уиноне нашел магазин "военных излишков", купил пару носков и полевые ботинки морского пехотинца и узнал адрес ближайшего ресторана, где дают жареную рыбу. В Манхэттене и Чикаго трудно найти рыбу, жаренную просто, по-деревенски. Ее просто поливаешь острым тобаско и запиваешь парой пива.

Я стоял над трещиной в тротуаре, расставив ноги как морской пехотинец, поскольку был в новеньких ботинках морского пехотинца. Я вспоминал свое интервью с Колином Пауэллом для Биозонда — это было несколько лет назад — и снова, как тогда, удивлялся эволюции военных манер: лаконизм, гипервыправка, до того бодрая, что, казалось, даже перелистываемые бумаги должны радоваться. Бодрое шуршание отутюженных хаки в коридорах Пентагона, интерьер до того безобразный, что невольно спрашиваешь себя, способны ли мы выиграть хоть один международный матч по скрэббл. В то же время колонна офицеров, шагавших на обед, чем-то напоминала рассерженных шимпанзе где-нибудь в далекой Гомбе. Эти возвышенные мысли не помешали мне насторожиться при виде ресторанной вывески, гласившей просто: "Жареная рыба". Был у меня глупый случай в Канзасе, где я так и не смог выяснить, какой рыбой меня накормят. Официантка сказала: "Ну понимаете, рыба — рыба". Когда я сказал, что в океане водится много разных рыб, она ответила: "А тут — Канзас", положив конец

1. Каталог дамской одежды.

дискуссии. Зубатка была между приличной и сносной, впрочем, как говорил отец, голодный и сухарику рад. Об одном я сожалел — что отправил факс сестре в Блумингтон, что в выходные буду у Синди недалеко от Ла-Кросса, и дал ее номер. Теперь Дон мог меня выследить, хотя это маловероятно. Честно говоря, это он отправил меня тогда отдохнуть в клинике — на деньги компании. Он сказал мне, что я несу золотые яйца — не такой уж большой комплимент. Он сам несколько раз бывал в этой клинике и любит вспоминать, что мексиканская обслуга звала его El don Don. У Дона была досадная привычка повторять свои истории — раз он богат и влиятелен, это сойдет ему с рук, так же как манера отвечать на телефонные звонки, когда у тебя с ним важное совещание; "важное" — это его термин.

Я поспал в машине на ресторанной стоянке, изжарился, как цыпленок на вертеле, потом какой-то добрый старик постучал в окно, проверить, жив ли человек. Во сне я принял решение — просить месячную отсрочку на Эйснера. Непонятно было, как можно получить указания во сне, если не было сновидения. По части сроков Дон просто убийца, и однажды, когда у меня случилось нервное истощение во время работы над Дональдом Трампом[1], Дон нанял "негра", сделавшего большую часть Биозонда. По правде, я не любитель отпусков, но почувствовал, что сейчас готов для отдыха. На заре моей карьеры, хорошо заработав на первых трех Биозондах, я занялся теннисом и горными лыжами, но вскоре бросил — слишком банальными были эти занятия по сравнению с моими начальными литературными устремлениями, хотя последние быстро испарялись в пылу работы над Биозондами. Я катался на лыжах в Стоу, Вейле и Аспене, посещал дорогие теннисные школы в Калифорнии, Техасе и Флориде. Да, чуть не забыл, несколько дней занимался глубоководным ловом на Ки-Уэст. Есть что-то почти оскорбительное в обществе других отдыхающих. Долгие вечера с людьми, которые истощают мозг и тело, пытаясь купить дорогие удовольствия; танцы с женщиной, преющей в норвежском свитере ручной вязки, вычурные, дорогие и посредственные курортные трапезы, страшно пострадавшие от последних кулинарных мод, вся эта бессмысленно дорогая оснастка: лыжи за семьсот долларов и четырехсотдолларовые ракетки, когда по уровню моих талантов больше подошло бы барахло из универсама. В Аспене всегда можно было услышать за квартал рев техасцев. Однажды на Литтл-Нелл светская дама обкакалась после тяжелого падения, и ее друзья разбежались. Я одолжил ей мою парку, чтобы она повязала ее вокруг пояса, но вечером в баре она сделала вид, что не замечает меня, и парку я так и не получил обратно. Это скорее смешно, чем печально, размышлял я над эскалопом с уксусно-кислыми каперсами, а затем над размороженной малиной. Замечу, что Дон поиграл на пятидесяти "лучших гольфовых полях мира".

Жизнь — это труд, по крайней мере так я думал или "делал", поскольку приятных альтернатив не имелось. Клер была в ужасе, когда у нас случилась размолвка в Париже и я провел три дня в поезде, разъезжая между Парижем и Марселем, чтобы не прерывать работу. Поездка в один конец длилась четыре с половиной часа, а я был так раздражен, что не мог работать в отеле, платя за дорогую квартиру. Миленькая проводница приносила мне кофе, вино, крутые яйца, и я победно заполнял блокноты рентабельной прозой о Уоррене Баффете.

1. Дональд Трамп — американский бизнесмен, владелец Башни Трампа в Нью-Йорке и разнообразной недвижимости в курортном Атлантик-Сити.

Сидя на жаркой ресторанной стоянке вблизи вентилятора, выбрасывавшего густые, но неприятные запахи жареной рыбы, я думал: "К черту Дона, я беру отпуск". С визгом шин я выехал со стоянки, и на сердце было не то чтобы солнечно, но намного легче обычного.

Синди оказалась гораздо более загорелой, жилистой, мускулистой и говорила гораздо быстрее, чем в прежние дни. Мы стояли на заросшем дворе позади ее дома, наполовину недокрашенного. У дверей меня встретила коренастая молодая женщина, по голосу та же, с которой я говорил по телефону, и во двор она принесла нам по стаканчику посредственного хереса. Я уже заподозрил, что она может быть "компаньонкой" Синди, а не только помощницей, хотя часто ошибаюсь в таких вещах. К моему удовольствию, Синди вылила свой херес на траву и решила, что мой приезд заслуживает мартини, но, вылив свой, я получил выговор за то, что он попал на растение, которому херес может повредить. По крайней мере, я еще не задал глупых ботанических вопросов, хотя один уже вертелся на языке. Поле за домом разочаровывало своей несхожестью с фотографиями цветения в журнале авиалинии. Ясно. Пора цветения еще не настала (в "Гуманистической ботанике" об этом, правда, не говорилось), но самодовольства от этого соображения я не почувствовал. Поднимаясь за Синди на заднее крыльцо, я не мог не отметить, что заду ее немного не хватает содержания, он раздался с возрастом, потеряв в рельефе.

Мы посидели в ее кабинете и за два часа выпили по два мартини. Достаточную, но не аварийную дозу. Я так и не оправился после объявления, сделанного ею в самом начале, — что мне забронирован номер в ЛаКроссе, в мотеле, километров за двадцать от ее дома. Я сделал мысленную паузу, пытаясь сообразить, чего же я на самом деле ожидал. Кроме того, она отвергла мое предложение часика два поработать тяпкой — растения еще слишком маленькие, чтобы допустить к ним "непрофессионала". Был приглашен, однако, на ее июльский семинар по цветам — пять дней, семьсот долларов, включая вегетарианское питание. Она сочла забавным, что я всю ночь потратил на чтение ее книги.

— Ну так задай глупый вопрос, если ты еще способен, — сказала она.

— Почему на земле так много растений? Как будто Бог не мог решиться, — сказал я.

Она засмеялась.

— Ты набрался этой божественной ерунды от своей чудаковатой бабки.

Я почти обиделся, но вечер только начинался, кипятиться было рано, а кроме того, я не ужинал. Я попросил ее рассказать о себе, она отказалась, но довольно много выяснилось по ходу разговора. У нее было два "настоящих" брака, не считая нашего, и два покойных мужа, с чем, как можно было понять, ей повезло, поскольку оба не отличались качеством. Не были они и "родственными душами", в отличие от меня. На минуту или две от этих слов у меня на душе потеплело. Первый, за которого она вышла сразу после колледжа, был уже сорокалетним. У них родилось двое детей, теперь уже вполне преуспевающих, но когда ребятам было по десять с небольшим, а ему пошел шестой десяток, он распался во всех отношениях — уж не знаю, что это означало. Он был дипломированным аудитором, старшим партнером в чикагской фирме, но потерял работу в результате скандала, когда удостоверил бухгалтерскую отчетность полукриминальной фирмы. Он стал много пить, плохо обращался с ней и с детьми, и она его бросила. Умер в шестьдесят два года, но до этого, когда ей было под сорок, она вышла за некоего отчасти жуира и переехала в Санта-Барбару. Ему было силь-

но за сорок, когда они поженились, и за пятьдесят, когда ее дети отправились в колледжи (Норт-Уэстерн и Оберлин). Тут "увядающие гормоны" мужа толкнули его на путь сексуальных авантюр, и бедной Синди пришлось претерпеть самые разнообразные "унижения". Это меня, конечно, заинтриговало, но после нескольких тонких попыток зондирования стало ясно, что уточнять она не желает. Она закончила свою повесть словами о том, что многие мужчины после пятидесяти становятся "жалкими", и с легкой улыбкой добавила: "Исключая присутствующих".

Теперь настала моя очередь, и я не рвался рассказывать, несмотря на хмельную приподнятость. Не чувствовалось, чтобы от нее исходило тепло, как я надеялся. Я прикинулся скучающим, преуспевающим и через несколько минут сообразил, что это не так уж далеко от правды. И плел без зазрения совести, сдержанно описывая свой роман со студенткой-богословом, в которую, кажется, серьезно влюблен. Если бы Синди подарила мне хоть крошку надежды, я бы так не поступил. Пока я пространно живописал радости моей жизни, включая долгую связь со "зрелой" французской любовницей Клер, на лбу у меня выступила нервная испарина. Чтобы придать правдоподобие рассказу, я добавил мелкие детали касательно сексуальной унылости Клер и дороговизны ее содержания.

Заткнись, как говорили мы в детстве. К половине второго мартини Синди исполнилась негодования. Я забыл, что в прежние дни от одного стакана пива она делалась сверхкритичной. Как я могу выбрасывать такие деньги на "ленивую девку", когда ее некоммерческая организация по спасению редких цветов задыхается от недостатка фондов и некоторые цветы вот-вот исчезнут с лица земли, оставив настоящую брешь в мироздании. Что называется, подорвался на своей же мине. Я почти слышал, как редкие цветы жалобно блеют в американской ночи. После пяти минут обработки я обязался избавиться от Клер и передать Синди средства, соизмеримые с тем, что будет сэкономлено, — наверное, не слишком удачная мысль.

Квадратная мисс позвала нас ужинать, и по дороге к кухонному столу (стол в столовой был завален бумагами и книгами, так же как все поверхности в кабинете) мне пришло в голову, что Синди согласилась меня принять именно в расчете на инвестиции и еще, может быть, из самого праздного любопытства. Не только продолжительное мое присутствие исключалось, но возникло подозрение, что в этой жизни она не станет спать с мужчиной даже под дулом пистолета.

Вдобавок к этой сомнительной ситуации мне было подано громадное блюдо с pasta primavera[1] — ненавистной едой. Когда его поставили на розоватую пластиковую столешницу, я вообразил, какие воловьи усилия потребуются, чтобы поглотить хотя бы половину. И, словно этого было мало, дали тарелку с грубо накрошенными овощами и стакан калифорнийского вина, выдававшего свое бидонное происхождение. Вкус брюквы с кленовым сиропом, с отдушкой ольхи и тины.

Впервые за несколько десятилетий я обрадовался звонку Дона. Невольная доброта всегда удивительна. С переносным телефоном я вышел в переднюю, страдая от грубой нарезки несваримой жизни. Дон любит показать власть, звоня в неудобное время, но голос его был приятнее pasta primavera, не говоря о принесении Клер в жертву цветочной идеологии. Разговаривая с Доном, я глядел на обрамленное фото вульвообразной розы, что увеличивало мои сомнения.

1. Макароны с накрошенными овощами (*итал.*).

Смысл звонка заключался в том, что открылось окно в типографии — для более ранней и дешевой печати, и у меня на Эйснера остается шестнадцать дней вместо двадцати. Время не летит, оно скачет. Чтобы избежать спора, я сказал, что постараюсь, но "постараюсь" для Дона было мало. Он никогда не нудил и не упрашивал и тут просто сказал: "Притащи мне работу, малыш". Кем надо быть, чтобы сидеть в своем манхэттенском офисе до девяти часов вечера в пятницу? Я промямлил, что у меня семейные осложнения, и он сказал, что я вру: разыскивая меня, он только что говорил с моей сестрой и братом, и оба "в изумительном настроении". Я сказал, что нахожусь в обществе моей бывшей и единственной жены (он знал историю), и мы думаем о том, чтобы возобновить отношения. Он заметил на это, что она ждала тридцать лет и потерпит еще две недели. Затем повесил трубку. В ушах у меня звенело, я удивлялся, как можно выблевать сто фунтов своей собственной жизни. Глаза у меня заволокло и сердце трепыхалось.

Я вернулся на кухню. И чуть не вышел прямиком за дверь — решительный шаг, — но тут сообразил, что это черный ход и что в нынешнем моем состоянии я вряд ли проберусь сквозь заросли к машине, оставленной перед фасадом. Синди и квадратная смотрели на меня с нескрываемым состраданием, поскольку слышали здешнюю часть двусмысленного диалога. Я сел, пытаясь придумать остроту насчет высокооплачиваемого рабства, но побоялся, что мой голос не будет таким мужественным, как мои новые ботинки. Я воткнул вилку в pasta primavera, которая уже схватилась. Синди потянулась через стол и погладила меня по руке.

В эту секунду поднялся на крыльцо и с рассеянным видом вошел в дверь высокий перепачканный мужчина. Я решил, что это работник. Он потрепал квадратную по голове, потом нагнулся и поцеловал Синди, причем оба употребили в дело язык. До меня это дошло не сразу, хотя она вдобавок провела рукой по внутренней стороне его бедра. Он подал мне руку, я пожал ее и прикинул, что ему немного меньше сорока. Набросившись на пасту, он заговорил об ирригации и проблемах с водой. Я есть еще не начинал, и внутренности у меня стянуло от того, что я все и окончательно понял. Почему-то вспомнился Шелли, утонувший в озере Комо. Я вскочил, пробормотал, что плохо себя чувствую, и торопливо вышел в переднюю дверь.

Синди нагнала меня у машины; я стоял, ошалев от красоты сумерек, реки, лежавшей между двумя грядами гигантских зеленых холмов, на глазах черневших. Я был размокшим поросенком в пойме, чувствовал себя настолько нереально, насколько это возможно, когда тебя не уносит течением. Синди чмокнула меня в щеку и велела звонить. Я смотрел на ее лицо в сумраке и пытался мысленно охватить тридцать лет между двумя свиданиями, но их унесло.

Несмотря на романтическую печаль и растерянность, я съел огромный гамбургер в баре "Бест Уэстерн", моего мотеля у реки, которая сама по себе оказалась неожиданным утешением. Проезжие стояли на лужайке, смотрели на реку — вернее, на рукав большой Миссисипи, как сказала мне официантка. Она была низенькая, толстая и бесстыжая, но мне понравилась. Я настолько размяк, что ограничился всего парой пива. Ни к чему лить слезы над картофелем фри или оставлять утром горничной заплаканную подушку.

На заре, в начале шестого, я уже был в пути, оставив сообщения Марте и Таду — моим возлюбленным сестре и брату. В Чикаго я поспел к

обеду в одном из тадовых притонов для яппи и сделал деликатную попытку уволить его. Он чувствует, что я "в распаде", сказал Тад и напомнил мне, что его контракт с минимальной ставкой сто тысяч в год действителен еще пять лет. Я этих бумаг не читаю, доверяю читать моему адвокату, хотя никогда не слушаю внимательно моего адвоката. После гнусной куриной грудки с фруктами Тад напыщенно объявил, что является совладельцем заведения и что мне не надо платить по счету. Я сказал, что собачье дерьмо тоже бесплатное, но он этого, кажется, не услышал, любовно озирая ресторан, полный людей, говорящих о себе громче, чем в Нью-Йорке. Мы распрощались на улице; Тад, вопреки всем обыкновениям, обнял меня и сказал, что если мне понадобится совет насчет того, как быть неудачником, то позвонить ему. Удивительно было услышать от него такое, и мы оба смущенно улыбнулись. Подошла на редкость привлекательная девушка и поцеловала его. Для спутницы взрослого мужчины она выглядела чересчур молодой. Тад не потрудился представить нас друг другу, и, когда они садились в его "порше", стоявший прямо перед пожарным гидрантом, мелькнули ее голубые трусики. Это было гораздо более осязаемое свидетельство успеха, чем то, что мог предъявить я.

Река Чикаго не тянула против Миссисипи, отчего я ощутил легкий укол, ибо последняя была единственным могучим явлением природы, которое я заметил за долгое время. Столько воды стекает по земной шкуре из Миннесоты. Жаль, вода мутная, а то можно было бы пройтись в акваланге по дну, здороваясь с рыбами и днищами судов. На федеральном шоссе 65 навстречу проехал пикап того же голубого цвета, что трусики подруги Тада. Еще укол и вкус клеклой папайи на гадкой куриной грудке. Поцелуй Синди с ее работником напомнил мне слова отца о том, что реальность — это когда ты подглядываешь в замочную скважину и кто-то подходит сзади и бьет тебя ногой по яйцам. Это было в девятом классе, и он давал мне советы по поводу моих сердечных страданий. Я почти не ел и совсем не делал уроков, потому что в нашу школу приехала по обмену старшеклассница из Португалии по имени Лейла. Она пришла к нам с гитарой на урок географии и пела любовные песни своей родины. Сказать, что я был потрясен, — ничего не сказать. Я сидел во втором ряду (никто не хотел сидеть впереди, кроме хмырей обоего пола), а она — на высоком табурете в короткой юбке, что добавляло очарования. Первый опыт влюбленности был ужасающим. Между уроками я отыскивал ее и следовал за ней по коридорам, насколько мог скрытно. В столовой я бросал на нее издали говорящие взгляды, но не могу сказать, что она их замечала. Однажды я случайно прошел мимо кинотеатра на открытом воздухе: она стояла, прислонясь к новому "шевроле"-кабриолету богатого мальчика и обжималась с ним. Его руки лежали на ее заду. Я плакал. В апреле она внезапно улетела домой, потому что в семье кто-то заболел. Я впал в траур, встревоженный отец в конце концов заметил это, и я признался. К чести его, он отнесся к моей беде серьезно, хотя ничего мудрого присоветовать не мог.

Шныряя между грузовиками на моей резвой наемной машине, я напевал из "Ночей в садах Испании" Де Фальи. Конечно, Лейла была из Португалии, но на карте Португалия рядом с Испанией — как Канада и США. Вот когда все началось. На литературе мы читали любовную лирику Роберта и Элизабет Браунинг. Но как же это было жидко и жалко по сравнению с чудовищными приливами любви в моем сердце, не говоря уж о члене. Большой магазин пластинок в Блумингтоне добыл для меня

альбом португальских любовных песен, и они сводили мою семью с ума, пока мать не купила дешевый проигрыватель в мою комнату.

Родители не могли служить выдающимся примером романтической любви. Позже, когда я смотрел на Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона в "Кто боится Вирджинии Вулф?", мне было неловко. Ссорясь, родители перебрасывались маленькими бесцветными эпитетами, сложными словесными шутихами, так что рабочий человек или нормальный ребенок толком не поняли бы, из-за чего распря. Однако детям ученых несвойственно быть нормальными. Это крохотный мир, где каждому положено быть особенным, по крайней мере незаурядным. Странно, но чаще всего ученые родители не сознают, что их взаимные колкости наносят непоправимый вред — или то, что стоило бы назвать вредом в более совершенном мире. В действительном мире это может быть хорошей тренировкой, поскольку никакая ясность в нем не предполагается. Дон, например, может закрутить слово "этот" десятком способов. Дон женат в четвертый раз, и некоторые дураки думают, что по части женщин у него регресс, но я заметил, что танцевать надо от недвижимости. Третья владела приятным, но, в общем, непримечательным домом на Восточных Шестидесятых улицах, зато у четвертой дом на одной из частных улочек в Гринвиче, Коннектикут. Я был там как-то в воскресенье по редакционному делу, но на ужин меня не пригласили. Меня это вполне устроило, потому что специфическое разделение труда в конечном счете оправдывается. В начале моей карьеры у меня был агент, противная молодая женщина, но ввиду стандартности формата Биозондов агент стал не нужен, особенно после того, как у Дона была с ней короткая, но неприятная интрижка. Она была просто слишком умна для такой работы и впоследствии поднялась довольно высоко в бюрократической структуре, благодаря которой функционирует ООН. Несколько лет назад, умирая от рака груди, она прислала мне записку, где предлагала купить пистолет, прострелить Дону сердце, а потом бежать в Испанию и сделать что-то серьезное. Когда мы познакомились, я поделился с ней своими возвышенными литературными планами.

Перед Индианаполисом, почувствовав тяжесть в голове, я свернул на площадку для отдыха в Лебаноне. Мой внутренний диалог стал спотыкаться. У меня началась гипервентиляция и не было бумажного пакета, чтобы в него подышать — это первое средство. Сперва я кружил по площадке, затем стал прохаживаться вдоль ограды, за которой было вспаханное поле. Затем с ужасом вспомнил, что утром забыл принять дайнасерк, лекарство от давления, без которого не выхожу уже двадцать лет, с тех пор как у меня нашли гипертонию. Возможно, это было признаком душевного здоровья — что я забыл о таблетке, но я вернулся к машине и проглотил лекарство, запив тепловатой водой якобы из альпийского источника. Я позавидовал компании толстых дальнобойщиков, куривших перед своими махинами. Обливаясь горьким потом, я дошел до дальнего конца площадки и твердо сказал цветущей яблоне: "Все, бросаю". В машине я позволил себе один прочувствованный всхлип.

В предвечерние часы пик толкучка на шоссе под Индианаполисом была несусветная, но меня она радовала. Как и все прочие, я ехал домой с работы, только работать больше не собирался. Мне пришло в голову, что огромную энергию, которую я затрачивал на работу, можно употребить на ничегонеделание или что-нибудь другое. Не скажу, что готов был запеть "Оду к радости", но с удовольствием продвигался ползком в многокиломе-

тровых заторах и, поглядывая по сторонам, наблюдал лица, искаженные гневом и нетерпением или просто оплывшие от скуки. По сравнению с вылезшей за края городской опарой Гарлем и Бруклин выглядят пригожими.

До сестры я добрался в семь часов вечера. Когда-то Марта пожелала выкупить у нас с Тадом наши доли родительского (в двух поколениях) дома, так что теперь он ее собственность. Последний раз я ночевал здесь двадцать лет назад, приехав в Блумингтон по делу — это, как правило, несколько трудных дней, когда Марта представляет материалы для очередного Биозонда. Останавливаюсь я в мотеле или в гостевом доме моего брокера и консультанта по инвестициям Мэтью, друга школьных лет; но сейчас он проходит химио- и радиотерапию по поводу рака простаты, и Марта сказала, что у его второй жены любовник — владелец заправки, которого мы оба знаем. Это Мэтью, нарушив правила, сказал мне, что у Марты гораздо больше денег, чем у меня, потому что она умнее. Он поспешил добавить, что умнее в смысле инвестиций — она много вкладывала в технику еще до того, как начался этот десятилетний бум; я же действовал консервативно, как канзасский школьный учитель.

Проезжая по старому району Блумингтона, я немного расчувствовался — главным образом потому, что профессура не так помешана на деньгах, как остальная наша цивилизация. Тут есть чудаки, которые не смотрят телевизор и сторонятся популярной культуры. Попадая сюда, я очаровываюсь их лаконическим безразличием к текущим событиям, которые сильно занимают, в общем-то, одних обозревателей.

А почему я на самом деле не останавливаюсь у сестры — потому что она покровительница искусств. Я говорил, что она редко выходит из дому, зато у нее постоянно бывают художники, скульпторы, музыканты, поэты, молодые беллетристы, которых привлекает ее острый язычок, еда и вино. У нее две карточки размером с ладонь, зеленая и красная, они прикрепляются к входной двери в зависимости от того, принимают сегодня гостей или не принимают. Тад обрадовал меня в Чикаго, рассказав, что в последнее время она стала гулять по несколько часов вечером с этими художественными друзьями, хотя дневные часы для нее по-прежнему непереносимы. Что-то плохое случилось с ней на предпоследнем курсе Уэлсли-колледжа, когда она уехала на три месяца в Лондон. Подробностей, кроме Марты и других, вероятно, участников или участника, никто не знает. Она вернулась домой, когда я занимался в магистратуре, на том дело и кончилось.

По правде говоря, мне неуютно с ее гостями. Нет людей кичливее, чем неудачники в искусстве, а гостиная Марты изобилует ими. Когда я там — я как жаба в супнице. Все, конечно, вежливы — в меру выпитого, — но и в худшем случае нападки не принимают личного характера, а подвергаются им художественные и литературные "истеблишменты" Чикаго и Нью-Йорка и вульгарность больших сумм, достающихся низкопробным художникам и писателям. По какой-то причине местные гораздо лучше осведомлены о нью-йоркских и чикагских литературных сплетнях, чем я, тамошний житель. Не знаю, насколько верны эти сплетни, но всех более или менее успешливых валят в одно жаркое, не разбирая чинов.

К счастью, на загороженной кустами террасе была красная карточка, и машины перед домом не стояли. Марта бросила водить машину, еще когда ей не было двадцати, и с тех пор называет их "гнусными изделиями". Ее специальность — человечество, и психическое состояние любого человека для нее вполне приемлемо, лишь бы оно было интересным, поэтому она привечает самых отъявленных недоумков, которых всегда полно среди художественной публики в любой университетской среде. Единствен-

ный жупел для нее — "минималисты" любого толка, может быть потому, что сама она крупная, килограммов семьдесят семь или около того.

Только была она уже не такая крупная. Я обнял ее на террасе и подумал, что в ней осталось не больше шестидесяти трех.

— Я скучаю не видеть, как ты ешь с таким аппетитом. — Это должно было изображать речь Клер, о которой я ей рассказывал.

Через сетчатую дверь за ее спиной до меня доносился запах мастерски приготовленного к моему приезду pot au feu[1]. По моей просьбе она угостила им Рико, когда он проезжал через город, — в результате он предложил ей пожениться. Когда он попытался соблазнить ее, она несколько минут смеялась, а потом сказала, чтобы он ехал в свой мотель. В прошлом году, выпив с ней много вина, я спросил, что же все-таки случилось с ней в Англии тридцать с лишним лет назад, а она попросила меня не беспокоиться и сказала, что вполне оправится на смертном одре.

— Неси багаж. Я хочу, чтобы ты остановился у меня.

— Нет, спасибо. — Я почувствовал, что пот выступает у меня отовсюду, откуда можно.

— Тогда поезжай, проклятый трус. Я говорила с твоей малолетней невестой, и она сказала, что ты на грани. Это ее слова, не мои.

Понаблюдав с террасы за моими попытками отыскать замочную скважину в багажнике, она спустилась и помогла мне. Еще не стемнело, и, прежде чем выйти за ворота в дощатом заборе, который мы вместе красили в детстве, но без том-сойеровского нахального простодушия, она окинула внимательным взглядом всю улицу. Я никогда не понимал, почему ночные игры она считает менее опасными. Она часто говорила, что самое плохое время для нее — полдень.

— Подумываю нанять катерок и спуститься по Миссисипи, — сказал я в надежде оттянуть разговор о моем психическом здоровье в связи с багажником.

— Они замечательные, — ответила она, показав на мои морпеховские ботинки.

За восхитительным жарким, намазывая костным мозгом французский батон и щедро посыпая морской солью, я сочинял смешной рассказ о вечере с Донной. Конечно, надо было догадаться, что Марта не станет обсуждать такой банальный сюжет, как душевное здоровье. Просто, лишившись за эти годы нескольких друзей, она слегка подвинулась на самоубийстве. Проверку я прошел довольно быстро, и моя теологическая Донна очень ее развлекла.

— Куда ты поедешь и что будешь делать? — спросила она за сливками с карамелью. Это был один из немногих десертов, которые умела делать наша мать.

Я оглядел столовую, соединенную с гостиной. Если бы не картины — многие до неприятности плохие, — это вполне мог быть 1958 год. Единственными приобретениями со времен нашего детства было кресло для двоих да дубовые столики с мраморными крышками — из дома Иды. У любимого отцовского кресла по-прежнему лежали салфетки на подлокотниках. Диссонансную ноту вносил только слабый зеленый свет, просачивавшийся из кабинета Марты. Эта женщина тридцать с лишним лет, с тех пор как я выпустил свой единственный маленький роман, изощренно до-

1. Жаркое с овощами (*франц.*).

нимала меня проблемами честности и цельности и не сворачивала с курса (как любил выразиться "великий" Рейган), не сказав ни единого доброго слова ни об одном из моих тридцати шести Биозондов. Она не ведала компромиссов. Есть стоящие дела. Остальные — не стоящие.

— Знаю только, чего не буду делать, — ответил я.

— Не изображай тупицу, — сказала Марта. — К этому естественно тянет людей в твоем положении. Они берутся за фотографию или делают кашпо, и в твоем случае продукт будет такой же. Ты слишком рано стал старичком, чтобы подыскать себе что-нибудь надежно-ординарное, а обучаешься не очень быстро. Помнишь, когда ты изображал отца, я учила тебя танцевать перед школьным вечером, чтобы ты мог пригласить эту грудастую дурищу с нашей улицы? Как ее звали?

— Сильвия, — сказал я. — Ее духи пахли перезрелой дыней.

— Мог бы заняться чем-нибудь осмысленным, например выучить другой язык. — Марту всегда раздражала моя неспособность к иностранным языкам. — И зачем тратить столько денег на профурсеток, которые обращаются с тобой как с дерьмом? Мэтью рассказал мне о вашем прошлогоднем воздушном путешествии. Ему позвонил бухгалтер, а он позвонил мне, узнать, не спятил ли ты.

Вот и все по части ненавязчивой поддержки. Трудно не возмутиться, когда люди проявляют заботу о тебе. А что до прошлогоднего полета, я был в Париже и без большого удовольствия проводил время с Клер, как вдруг среди ночи ей позвонила мать — у отца пневмония. Клер устроила такую истерику, что я испугался. Нанял по телефону маленький французский самолет для бизнесменов, "фалькон", чтобы лететь в Монпелье на Средиземном море — по американским масштабам совсем недалеко от испанской границы. Действительно, когда ее брат подобрал нас в аэропорту, я увидел дорожные указатели — на Перпиньян и Барселону! Ближе к Испании, чем в тот раз, я никогда не подступал. Разумеется, это было несусветно дорогое путешествие, и ее брат весело заметил, что рейсовый самолет из Парижа прибывает через час. Кроме того, Клер настолько впечатлилась роскошью путешествия, что в полете ни разу не вспомнила о больном отце. Через два дня ее отец, директор школы, уже прекрасно ходил, пил вино и относился ко мне с добродушным цинизмом. Я жил в гостинице на берегу и ночью видел яркую россыпь огней на юго-западе. Я спросил коридорного, испанские ли это огни, а он сказал: "Нарбонн", пожал плечами и ушел. Я не знал, что значит это слово, — французский я учил три года в школе, два года в колледже да раз двадцать слетал в страну. Потом выяснилось, что Нарбонн — город на побережье. На обратном пути в Париж Клер, кажется, была недовольна тем, что мы летим обычным рейсом.

— Умные люди не во всем умные, — поддразнивала Марта, раздраженная моей задумчивостью. Потом, повеселев, спросила, что нам сделать завтра на обед. По мнению Марты, мы оба увлеклись жратвой потому, что это было одним из немногих чувственных проявлений, более или менее терпимых на Среднем Западе. Не одобряемым, но допустимым. Сколько раз приходилось слышать: "Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить". На Среднем Западе эту чушь услышишь скорее, чем где-либо еще. Во время моих визитов Марта любезно готовит блюда, которые редко получишь в ресторанах. Мы выбирали между poule au pot, простой тушеной курицей, и bollito misto, довольно сложным тосканским кушаньем из разных сортов мяса, и предпочли первое, поскольку глупо готовить bollito всего на двоих, а я не был уверен, что жажду общества.

— Тебе надо поскорее избавиться от мысли, что твоя ситуация — какая-то особенная. Наверное, половина людей в этой паршивой стране на всю жизнь впрягаются в работу, которая им не подходит, — и они знают это. Беда в том, что на свете недостаточно стоящих дел. Я просто меньше носилась со своей жизнью, чем ты. А тебе не хватило характера заниматься тем, чем ты мечтал заняться. Я окружена людьми, которые упорствуют в своих занятиях и, наверное, зря. В этом нет ничего нового, правда?

Маленькую утешительную речь Марты прервал звонок в дверь. Ей пора было на ночную прогулку, и одним из ее спутников был грустный, мрачный скульптор по металлу, с которым я уже встречался, — он презирал слова как низкосортный металл и изъяснялся многозначительными бурчаниями. Другой, как нечаянная иллюстрация к речи Марты, оказался старым знакомым и почти приятелем айовских времен, написавшим полдюжины романов о вахлаке из Миссури по имени Хоки Поки. Первая книга была хорошо встречена и продавалась умеренно, хотя лучше, чем мой первый опус того же года. Несколько лет он публиковался со скромным успехом у разных издателей, но последние два романа о Хоки Поки вышли в региональном издательстве маленьким тиражом. У него были проблемы с алкоголем, поэтому он не мог вести творческие семинары, из которых вышли бы такие же, как он. Последние лет десять он кормился уцененными путевыми очерками, за которые получаешь тысячи по две, и журнал помогает тебе выцыганить бесплатные билеты и проживание в гостиницах. Я всегда думал, что мы могли бы стать друзьями, если бы я не "одолжил" ему деньги, из-за чего он нервничает, хотя я уверяю его, что это не имеет значения. Сегодня язык у него слегка заплетался и выглядел он особенно поношенным. Еще один укол в груди, когда я распрощался с ними и они отправились в свой поход за эндорфинами[1].

Я подумал, не выпить ли стаканчик перед сном, но понял, что это неуместно. Я прошел по длинному темному коридору большого дома, некогда, до Первой мировой войны, фермерского, а теперь полностью окруженного пригородами. Родителям нравились трещины в штукатурке и общая неухоженность. Я заглянул в комнату Тада — с потолка до сих пор свисали пыльные модели самолетов. Получалось у него паршиво. Однажды я сбросил такой с высокого здания в кампусе, чтобы Тад посмотрел, как он разобьется. А однажды он наклонил назад нашу бензиновую газонокосилку и опустил на модель самолета, чтобы сымитировать "космический тайфун". Этого увлечения моделями родители не одобряли, поэтому он продолжал их строить.

Когда я выключил свет в комнате Тада, в голову пришла праздная мысль: делясь с сестрой и братом деньгами, заработанными на Биозондах, я, пожалуй, оказал им не такую уж хорошую услугу. Это была шальная и неприятная мысль. Мне вспомнился вопрос сестры: "Сумел бы ты описать человека, которого действительно знаешь?" Может быть, но это была бы чертовски трудная работа. В Биозондах мне на самом деле помогало то, что я по-настоящему не знал героя, и полагаю, что в журналистике, за исключением высших образцов, подлинное знание субъекта становится препятствием. Все, что я когда-либо читал о людях, которых хорошо знаю, было девственно невежественным, глуповатым и могло представлять интерес только для того, кто не имел ни малейшего понятия об эмоциональной жизни описываемого. А если добавить сюда фи-

1. Эндорфины — группа веществ в мозгу, повышающих болевой порог, подобно морфию. Энергичнее вырабатываются организмом при физической активности.

зический облик, как делают в телевизионных новостях, тут уж просто пиши пропало.

Черт возьми, я погружаюсь в трясину, как там, на берегу Миссисипи, только здесь с головой. Я порывисто вернулся в гостиную, нашел один из бесчисленных желтых блокнотиков Марты и написал: "Я выучу два языка, если ты снова купишь щенка". И прилепил листок к урне с прахом на каминной полке – единственному, что осталось от ее маленькой дворняжки Саш, умершей в прошлом году. Марта твердила, что ей боязно заводить другую собаку. Моя записка была просто ответом на ее добрые увещевания.

Перед визитом в свою комнату, который я оттягивал, я заглянул в спальню родителей и на секунду зажег свет. Теперь, по-видимому, это была гостевая спальня, но сомневаюсь, что Марта кого-нибудь туда пускала. Кажется, призраков порождает внезапная смерть. Жил ли в отце дух, способный выбраться из утонувшего судна? Осталось ли что-нибудь от матери после того, как она покончила с собой? Это вопрос.

Не знаю, чего я ожидал от своей комнаты, где в последний раз спал в тридцать пять лет и был так самонадеян, что – переиначивая Генри Джеймса – мир не мог достучаться до моего сознания. Человек на середине четвертого десятка, охалпевший от успеха, так же склонен к рефлексии, как поджелудочная железа, обреченная не знать, что она поджелудочная железа. Все в моей комнате воплощало комедию юношеских ожиданий, и, вопреки научной фантастике, возможно, единственная настоящая машина времени – это когда мы посещаем знаменательные места нашего далекого прошлого, которые отзываются так глубоко, что мы переносимся из сегодняшнего тела в мир эмоций, которые все еще живут здесь.

К внутренней стороне двери был приклеен единственный найденный мною наконечник стрелы. Ручеек на дедовской ферме, возле которого Синди нашла змею, стекает в болото площадью гектаров двадцать. При впадении была небольшая возвышенность, где, наверное, стояли лагерем индейцы. Когда-то я знал название племени, но, как заметили Д. Г. Лоуренс и Уильям Карлос Уильямс, это первое, что стараются забыть американцы. Короче говоря, однажды отец взял нас на ферму, чтобы на несколько дней освободить мать, и там оставил, отправившись по ботаническим делам на южную границу Индианы. Мне, пятнадцатилетнему, велено было присматривать за Мартой и Тадом, которым было двенадцать и девять, причем оба вели себя порой кошмарно, а дряхлые дед с бабкой уже не могли за ними уследить. Я сидел на бугре и пытался проникнуться поэтическим чувством, как Вейчел Линдсей. Марта нашла наконечник стрелы, и мы стали копать вокруг. В итоге Марта нашла семь, а Тад – четыре. Я нашел всего один и разозлился, потому что он пробил брешь в моем предполагаемом превосходстве. Миллионы людей находили наконечники, но тогда мне впервые открылась живая история, и она смутила меня. Все авторы книг, которые я читал, были мертвы, как изготовители наконечников.

Отвернувшись от двери и взглянув на полку, я увидел книги своей юности – по большей части испанскую и французскую поэзию девятнадцатого и двадцатого веков и романы таких людей, как Фолкнер, Мелвилл, Достоевский, Тургенев, Джойс, Шервуд Андерсон, и любопытную книгу, которую дал мне преподаватель французского, – "Поэтика пространства" Башляра. Я вытащил несколько потрепанный томик Лорки, "Поэт в Нью-Йорке", помня, что в нем лежит нелепое фото. В девятом классе я взял в школу свой фотоаппарат и на большой перемене уговорил приятеля сняться рядом с группой девочек, среди которых была

португалка Лейла. Иначе я не мог ее снять, но на фотографии она немного не в фокусе и стоит вполоборота. В томиках Ретке и в "Корнях и листьях" Роберта Данкана были спрятаны фотографии подруг из школы и колледжа, включая возбуждающий "полароид" голой Синди, но ни одна не обладала такой сногсшибательной силой, как Лейла – перед ступеньками школы, нерезкая, с поднятой к небу рукой, в солнечный, но холодный день среди зимы.

Какой же романтический олух, думал я, сидя на своей узкой кровати. Как я мог быть таким недоумком и вкладывать столько содержания в юношескую влюбленность, не имевшую содержания. Но, очевидно, имевшую.

И, может быть, эти некогда любимые книги были всего лишь драгоценными фетишами незрелого юнца, как прежде магические наконечники стрел или грязная кроличья лапка, заношенная до того, что от нее остались только кость и жилы. Комната мерцала, как в отвратительных фильмах ужасов, которые я иногда смотрю по телевизору. В книжке Хемингуэя "В наше время" лежало короткое письмо старухи Иды о библейском Лазаре – когда-то оно казалось мне очень смешным. Еще подростком я сказал Иде, что не верю в рассказ о том, как Иисус вернул Лазаря к жизни. Она была так шокирована, что сперва ничего не сказала, а через несколько дней написала мне письмо: "Молодой человек, если в Библии так сказано, значит, так оно и есть. Ида Прайс Шотсуорт". Сейчас этот спор не казался смешным. Ида "видела" Лазаря, а я не мог. У нее были другие глаза. В старших классах я стал слишком взыскателен, чтобы читать Хемингуэя. Незадолго до этого мы с двумя приятелями пошли в лесок и настреляли одиннадцать белок. Собирались поджарить их и устроить пир, но вместо этого свалили в корзину за гаражом, где они и протухли.

Комната снова заволновалась, и я выключил свет. На стене напротив моей кровати была большая карта Испании, сейчас едва различимая при свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь листья кустов и деревьев, колеблемых ночным ветром. Севилья, Кордова, Гранада мелькали из-под тени листьев. Я хотел спустить занавески, но уличный фонарь оказался луной, не закрытой небоскребами Нью-Йорка и Чикаго. Постижима ли жизнь? Непостижима ли жизнь? Или я могу записать только то, в чем немного разобрался, и упустить остальные семь восьмых или больше – насыщенную иногда пустоту, вихрящуюся вокруг нас, или обступающую тьму, выбеленную светом, или полдень, удушающий Марту? Она ненавидит безыскусную искренность. Она ненавидит искренность. Она любит искусство, и две комнаты наверху полны книг по искусству. Я сказал, что они проломят потолок в гостиной, а она ответила: хорошо, пусть попáдают книги по искусству и наставят нам шишек. Может быть, родители должны охранять детей от поэзии, а не от порнографии. Какие же разрушительные были у меня идеалы. Гильен сказал: "Твое детство нынче притча для фонтанов". Мне кажется, что он так сказал. Марта застигла Тада с грязными восьмистраничными комиксами и завопила, мать увидела их, потом показала отцу. Тад стал врать, что нашел их в моей комнате, но ему не поверили. Я сидел на траве, обдумывал свое отношение к луне и звездам. Мать и отец были на террасе, бедный Тад между ними. Мать сказала: это о чем-то сигнализирует, но она не понимает о чем. Отец сказал: я согласен. Их тянуло к вечерней рюмке – они позволяли себе только одну. Отец сказал: Тад мы сожжем их в камине. Тад сказал: ладно, я чего? Я ничего. Я что? – сказала мать. Говори правильно. Я что? Лучше бы они сожгли мое собрание поэтов. Оно было предназначено для другой культуры, уже не нашей. Ранние идеалы могут убить тебя, но они это право заслужили. Ранние идеалы

создавались в муках, веками, от Гонгоры до Селы, от Вийона до Шара и дальше, от Эмили Дикинсон до всех нас бартльби[1]. "Таймс" писал, по-моему, что в Нью-Джерси тридцать девять тысяч писателей. Трудись, богатей и увидишь расклешенную попку девушки в "Каджу". Сегодня я плакал на шоссе, а сейчас, под лунным светом, падавшим на мой голый живот, родители впервые куда-то исчезли. Мужчина в ресторане заплакал, когда проехала пожарная машина. Он не мог остановиться, и мэтрдотель попросил его уйти. Я сидел, недоумевая, почему он плачет, и испытывал легкое искушение пойти за ним и спросить. Может быть, это признак характера.

В полночь послышались шаги Марты и остановились за моей дверью. Потом медленно удалились. Я сомневался в том, что новый язык и даже два изменят алфавит моей жизни, но, с другой стороны, мне больше не надо нанизывать вымыслы, этих мутных родственников лжи. "Знаменитая Личность Боб играл яичным желтком за завтраком, рисовал ломтиком бекона на белом фаянсе будущее наций. Я мог бы быть Дали, думал он, но он был Бобом, и он смотрел на руки, распоряжавшиеся миллионами судеб, руки, которые он мыл по утрам в овечьем молоке — эту привычку привила ему мать в альпийском кантоне Швейцарии, потому что они жили высоко на горе и за водой ходить было далеко".

Луна поднялась за верхний край окна. Я слышал Донну, спящую в Нью-Йорке. Я слышал Синди, прислушивающуюся к реке в Висконсине. Я слышал свои вдохи и выдохи или выдохи и вдохи. Я поднял руку из лунного света на кровати в темноту и помахал ею перед Испанией. Я заставлял себя поверить, что я больше того, что я написал. Это было очень трудно и продолжалось до двух часов ночи, но я добился своего и уснул.

Родилось ощущение плана, но пока без деталей. Я проснулся в пять часов утра, оставил Марте умеренно прочувствованную записку, выгрузил из портфеля четыре с половиной килограмма эйснеровских заметок и полтора килограмма "Гуманистической ботаники", заменив их несколькими двуязычными антологиями поэзии с их драгоценными (серьезно) пингвиновскими колофонами[2]. Покинул дом бесшумно, как домушник-верхолаз, щеголеватый и уверенный в себе без особых на то оснований, думая, что найдется способ оградить мою жизнь.

В Индианаполис я успел к рейсу на Чикаго и удачно заказал билет на Нью-Йорк в "Клубе американских адмиралов". Мне нравилось название, хотя никогда не воображал себя адмиралом. Преследовало неприятное ощущение сытости, но не после великолепного угощения у Марты, а оттого, что слишком долго объедался миром и, с особой жадностью, — его помоями. Была потребность набросать заметки о том, как выблевать эти тридцать лет помоев, но я не хотел ничего записывать, пока окончательно не пойму, какой в этом смысл, — а это могло отнять бог знает сколько времени. Однажды по Эн-пи-ар[3] какой-то умный человек рассказывал, как можно поболтать с Богом, но космические снимки "Хаббла"[4] иссушили мою гортань. Если загробная жизнь так чудесна, зачем утруждался Иисус, возвращая Лазаря к жизни? Чтобы показать нам, что мертвые на самом деле мертвы или что мертвые на самом деле не мертвые?

1. Бартльби — герой новеллы Германа Мелвилла "Писец Бартльби".
2. "Пингвин букс" — крупное издательство, выпускающее книги в мягких обложках. Зд.: слово "колофон" означает марку издательства (в серии художественной литературы — изображение пингвина).
3. Эн-пи-ар (National Public Radio) — Национальное общественное радио.
4. "Хаббл" — орбитальный телескоп.

Откуда мне знать? Вопрос заслуживал того, чтобы позвонить Донне и заодно подержать в руках ее чудесную попку, сказочно красивую при свете ночника. Попки и Лазарь не так уж, в сущности, далеко.

Аэропорт О'Хейр — наш глупый, бездарный ад. В Библии все время рассказывают о богатых, у которых есть три коровы, два верблюда и полный зерна амбар. А кого, черт возьми, мы сегодня называем богатым? И какой нынче месяц? Начало, середина мая? В зале ожидания человек, устремившийся к своему самолету, отдает честь моим башмакам.

В такси из Ла Гвардиа я полез в портфель за блокнотом, но поймал себя за руку жестом Франкенштейна. Меньше всего на свете мне надо было сейчас писать. Когда мы проехали по мосту Куинсборо на Пятьдесят девятую улицу Манхэттена, красивого как никогда, я подумал, что надо поехать в какое-нибудь далекое экзотическое место, потом решил, что экзотика плохо подготовит меня к остатку жизни. Я спросил шофера, почему такое маленькое движение. С мелодичным вест-индским акцентом он ответил: "Потому что воскресенье, сэр" — и улыбнулся в зеркальце так, словно привык развозить по городу полоумных.

У себя в квартире я любовно посмотрел на винные пятна, как мог бы смотреть молодой человек на свое первое стихотворение. Я позвонил Донне, но ее не было. Я позвонил Рико, но его не было, хотя почему кто-то должен быть дома в погожий воскресный день? И вообще, почему кто-то должен быть дома, когда ты звонишь? Я позвонил Волшебнику Дону, как звали его секретарши, но его жена в Гринвиче сказала, что он уехал на денек в Северную Каролину поиграть в гольф. Я сказал ей, что ухожу на покой, и она ответила: "Сегодня воскресенье, но вечером я попрошу ему передать", — загадочный ответ. Я вынул портящиеся продукты из холодильника и вынес за дверь. Чуть не открыл почтовый ящик, но отказался от этого намерения. Позвонил в "Эр Франс" и сумел обменять часть моих налетанных пятисот тысяч километров на место в вечернем самолете. Собрал крепкую сумку, потом часа два проспал на кушетке сидя, свесив голову, пуская слюни на рубашку, и снилось мне, что в квартире собаки размером не больше моего кулака и они пытаются сообщить мне какой-то жизненно важный секрет. Сон был не настолько нелеп, чтобы его не обдумать по пробуждении, — впрочем, как я пойму собачий язык?

В аэропорту Кеннеди я купил полдюжины карт Испании и Франции, чтобы наполнить мой полупустой портфель чем-то важным. Никакого серьезного кризиса, кажется, не происходило, просто я долго занимался не той работой и надо было придумать другую. Я не мог торчать там без дела и разлагаться, как "бульвардье", которые ходят из бистро в бистро по расписанию, привязанному к дежурным обедам. Мне надо было избавиться от робкого выдумщика, который обвивал мой хребет, как страшная зеленая мамба. В самолете я вспомнил свой смелый, но мошеннический поступок перед самым получением сомнительной степени магистра изящных искусств. Моя "творческая диссертация" была недостаточно длинна, и я добавил десять стихотворений молодой испанской поэтессы, которую будто бы встретил в Бильбао и теперь впервые перевел на английский. Я там, конечно, не был, и она не существовала, но стихотворения выскочили из меня быстрее и легче, чем помет из гуся. Одно даже было о том, как готовить тресковые котлеты с белым чесночным соусом. Моему руководителю-профессору эти липовые переводы очень понравились, гораздо больше, чем моя более серьезная работа. Этот человек в начале пятидесятых годов считался "смелым" формалистом, но, обучая нас, "пентюхов", отупел сам. К несчастью, он попросил оригиналы, но двухдневная поезд-

ка домой и безупречный испанский Марты спасли ситуацию. Тогда она была еще не так востра и решила, что я могу быть "многоликим", как Джоанна Вудворд в известном фильме[1].

Высоко над Атлантикой у меня возникла идея, что я мог бы скромно преуспеть как поэт и даже романист, выступая под разными масками. Съевши кусок палтуса, менее впечатляющего, чем висконсинская зубатка, и выпивши две полных бутылки вина, этот новый литератор выглядел вполне изумительно. Зачем быть одной персоной, если можно быть несколькими? Меня не смущал тот очевидный факт, что романисты уже занимаются этим, поскольку мой вариант будет, несомненно, свежим и оригинальным по исполнению и это моментально даст себя знать. Имена мои могли варьироваться от Альберто Дорадо до Моник Сенегаль.

На багажном конвейере в аэропорту Де Голль случилась заминка, вызвавшая у меня легкую разгерметизацию. Первым классом летел только один еще пассажир, угрюмый нью-йоркский банкир с обвисшей кожей лица. Несмотря на наклейки "priorité"[2], наш багаж появился из черной дыры в полу последним — несомненно, проделка грузчиков, леваков, к чьим политическим сторонникам я всегда наполовину серьезно себя причислял. Во время часового ожидания я позвонил Клер и попал на Оливье, ее друга, с которым три раза встречался, молодого человека, настолько худого, что он казался сделанным из детского конструктора. Оливье провел два года в Оксфорде, отлично говорил по-английски, но имел раздражающую привычку называть меня "стариной". Выяснилось, что Оливье снял квартиру у Клер, которая последние четыре месяца живет в Праге. Несколько раз она мне звонила, но связь была балканского качества, и она не сказала, где находится. Клер не потрудилась высылать хозяину дома деньги, которые слал ей за квартиру Оливье. Таким образом, она потребляла двойную дозу денег — деньги Оливье и те, что регулярно поступали к ней с моего счета. Ну-ну. Короче, Оливье сказал, что его выгоняют и виноват в этом я. Я спросил: каким образом? Оливье видел мою подпись на договоре. Поскольку никаких договоров я не подписывал, это означало, что мою подпись подделали.

Не с этого я собирался начать новую жизнь. Это была реальность, принявшая форму пинка в яйца, в полном соответствии с папиным описанием. Одна из причин зарабатывать деньги — возможность откупиться от такой отравляющей жизнь муры. Прежде чем мы попрощались, Оливье сказал, что самый разумный выход — если я заплачу за оставшиеся шесть месяцев аренды и пересдам квартиру прямо ему, по крайней мере так предлагает хозяин дома, не желающий больше иметь никаких дел с Клер. С трясущейся головой я сказал Оливье, что скоро перезвоню. К счастью, рядом оказалась служащая "Эр Франс". Я спросил, не будет ли скоро рейса на Барселону, она сказала "да" и направила меня к другому терминалу. Благополучно погрузившись в самолет и дождавшись минуты, когда он оторвался от земли и понес меня прочь от осложнений с Клер, я ощутил слегка маниакальный прилив бодрости. К тому же на завтрак подали мелко нарезанную треску, напоминавшую котлетки из того моего давнего стихотворения. Упомянутые выше симпатии к левым породили беспокойную мысль, что если бы я не так сосредоточился на работе, приносящей большие деньги, у меня хватило бы ума не связываться с бессовестной сучкой Клер.

1. Фильм "Три лица Евы" (1957).
2. Первоочередность (*франц.*).

И еще один опасный облом ожидал меня перед началом новой жизни. Мне пришлось по вкусу легкое красное "риоха", которое щедро разносили в самолете. Не скрою, это привело к небольшому головокружению, и, сойдя с самолета, я бездумно поплелся за остальными пассажирами, сплошь европейцами. И вдруг очутился снаружи, под жарким солнцем, лицом к пальмам — не пройдя таможню, как положено американцам и прочим в отличие от европассажиров. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам о себе позаботится, сказал Иисус, поэтому я дождался такси и поехал в гостиницу, номер в которой забронировал из Де Голля.

К сожалению, после того как я взглянул с балкона на многолюдную Рамбла и улегся на кровать в своем замечательном номере, оплошность моя стала меня беспокоить. Она могла привести к осложнениям, хотя вряд ли с участием грозной Guardia Civil, которая выдернет меня из постели, потрясая над моей головой дубинками. Собранный, рассудительный американский гражданин позвонил бы в консульство и спросил совета, а я задремал. По дороге из аэропорта я не видел крестьянских поэтов, ведущих под уздцы осликов. И тем не менее был очень рад, что я здесь. Когда я задремал, мозг сыграл мне несколько любимых риффов[1] Монтойи.

Мое первое путешествие по Испании длилось всего сорок девять часов, это все же семь раз по семь, а семь — мое любимое число. К чести своей, я не обкакался и не потерял бумажник. Вечером я несколько часов гулял, покуда зуд не погнал меня обратно в номер, за дегтярной мазью. Я видел множество прекрасных черноволосых женщин и целый час провел на рынке, изучая съестные возможности. Я даже понял, что большинство людей говорит по-каталански, а не на собственно испанском. Короче, я крепко держал себя в руках, но знал, что озабоченность, привитая мне воспитанием на Среднем Западе, заставит меня вновь и вновь возвращаться к моей таможенной ошибке. Я часто замечал, что уроженцы наших Восточного и Западного побережий менее склонны представлять себе мир совершенным, а потому снисходительнее относятся к собственным ошибкам. Снова воспроизводя сцену высадки, я даже вспомнил указатели, которыми пренебрег.

Перед тем как отправиться ужинать, я принял душ, а после душа вошел из передней вместо спальни в гардероб. Гардероб был большой, и, только очутившись внутри, я понял свою ошибку. Ничего смешного в этом происшествии не было, но оно сразу помогло мне понять, что я еще не в Испании, хотя физически уже там. Настоящее пребывание в Испании займет дни и дни, а то и недели. А сейчас я, как всякий турист, был внутри сжатого аккордеона, где время кинематографически катится мимо зрителя, не позволяя переварить сцены.

Помощь явилась в виде ирландца-бармена в пабе, за несколько кварталов от гостиницы. Когда я вошел в переполненный ресторан, хозяин сказал мне, что, несмотря на зарезервированный столик, лучше будет, если я зайду через часок, и я решил переждать в полупустом баре, убедительной имитации дублинского. Выпив стаканчик, я рассказал любезному бармену о моем затруднении, и он отнесся к нему с глубокой серьезностью. Он сказал, что если бы я был просто американским туристом и поболтался здесь несколько дней, тогда никаких сложностей не было бы, но если я хочу снять квартиру и пожить здесь, то лучше всего вернуться на автобусе во

1. Рифф — в джазе многократно повторяемая короткая мелодическая фраза.

Францию, хотя бы в Нарбонн, пообедать там и снова въехать в Испанию с правильно проштемпелеванным паспортом. В Барселоне чиновники дружелюбные, но в других местах можно нарваться на недружелюбного бюрократа.

Простой обед – треска, тушенная с томатом и чесноком, и порция жареного поросенка, по совету бармена, возможно плохо информированного, – принес мне облегчение. Ошибочной информацией я был набит под завязку. Но эта последняя подействовала успокоительно. И по странному совпадению, из Монпелье я видел тогда как раз огни Нарбонна – прекрасное воспоминание, если вычесть из него Клер.

На другое утро я позорно заблудился и час тыкался в проулки, поворачивая карту то боком, то правильно, то вверх ногами в попытках определиться на местности. Единственным утешением были толпы людей, устремившихся к рабочим местам, миллионы вытянутых вперед голов. К десяти часам утра, весь потный, я все-таки нашел гостиницу, быстро привел себя в порядок и взял на день машину с шофером. И опять, действительно ли я был здесь, когда восемь часов колесил по городу в "мерседесе" с кондиционером? Отчасти, но не совсем. После того как проблема с таможней была решена с помощью отъезда и приезда, снова напомнила о себе квартира Клер, как собачье дерьмо, которое никак не можешь соскрести с подметки. Шофер, действительно по имени Педро, был превосходен во всех отношениях, но единственным зрелищем, которому удалось заслонить мою заботу, были произведения Гауди. Даже могучая сила моих разнообразных неврозов не устояла перед этим гением. Квартиру Клер Гауди заставил исчезнуть в жарком городском мареве и смоге. Ни в какое туристическое умонастроение Гауди не укладывался, ибо олицетворял самые привлекательные аспекты нашей фантазии.

Грустно сказать, город пытался увлечь меня, но ему это не вполне удалось – вина моя, а не города. Просто я должен был обернуться и разобраться со своими маленькими неприятностями – пусть это звучит буржуазно. Это соображение пришло мне в голову, когда я обжирался в баскском баре. Я очень напоминал гусей, которых видел во дворе барселонского кафедрального собора. Я был гусем среди великолепного окружения, но все равно гусем. Кроме того, я немного смутился, когда хозяин бара стал жать мне руку за то, что я так уважил его еду. Оказалось, что я съел двадцать одну закуску, тоже кратное семи, хотя грядущие восемь семерок – мои пятьдесят шесть лет – не стали от этого более понятной перспективой.

Утро еще не кончилось, а я уже был в аэропорту Де Голль и отправился прямо на квартиру Клер, разбудил Оливье, и мы вместе пошли в знаменитую кулинарию домохозяина, где тот как раз припускал лук-порей для винегрета. Это само по себе обезоруживало. Он заметил, что я напряженно смотрю на блюдо с селедкой по-бисмарковски, и живо подал мне на тарелке с луком и куском хлеба. В тесной конторе Оливье вынужден был стоять и сделался особенно похож на карамору. Мы выпили по чашке кофе и еще по бокалу белого вина для пищеварения. Белое вино сделало меня покладистым, и я живо вообразил себе, как летаю взад-вперед между Парижем и Барселоной и по неделе здесь и там учу французский и испанский. А почему бы и нет?

Между тем домохозяин показал мне договор об аренде. Моя подпись была подделана, но подделана изумительно. Минуту или две мир рушился мне на голову, и увесисто. Домохозяин стоял на той позиции, что, хотя

Клер от квартиры отказано, я все равно должен платить, если не хочу обращаться в полицию и идти в суд. Оливье изнемогал, и я уступил ему свой стул. Он сел и обхватил лицо руками. Отнюдь не исключалась возможность, что сцена отрепетирована. Я знал, что Оливье учится на врача, но сомневался, что он намерен подражать Альберту Швейцеру. Банальность ситуации грозила стать удушающей. Я вынул чековую книжку и заплатил за весь год, до конца аренды — сумму, равную пяти страницам моего Биозонда об Уильяме Пейли, который сказал под конец жизни, будучи уже неизлечимо больным: "Почему я должен умереть?" — словно для него могло быть сделано исключение. На выходе Оливье сказал: "Старина, я буду каждый месяц высылать вам чек", а я ответил: "С голой жопой не останусь".

Я нашел учительницу французского и вечером ужинал с ней в "Рекамье". Это была моя коренастая сверстница, и сперва я собирался просто выпить с ней кофе в вестибюле моей гостиницы на рю Вано — "Отель де Сюэд". Она происходила из Оверни и недолгое время была замужем за американцем, аспирантом Чикагского университета. Поужинать я пригласил ее потому, что она знала историю американской литературы, как ни один из моих знакомых. Она прямо мне сказала, что мое намерение интенсивно учить французский и испанский в одно и то же время "крайне глупо". Какими-то чертами характера она очень напоминала Донну. После ужина я посадил ее в такси. Мы договорились встретиться через восемь дней, после того как я проведу мою первую полную неделю в Испании. Глупость всей затеи вызвала у нас обоих легкую одышку, и, когда она села в такси, я учтиво поцеловал ей руку.

Я пошел в джазовый клуб на рю де Сен-Жак, где любил пропустить стаканчик на ночь. Я радовался тому, что иду один, без Клер, этой еженочерней парижской ноши. Современный джаз резок, и в нем звучит одиночество — именно то, что надо белому немолодому мужчине, разрéзавшему путы, которыми он сам себя обвязал. Музыка несколько металлическая и грустная, но это музыка. В конце концов, я не надеялся стать одним из тех, кто входит в бар, бросает шляпу и всякий раз попадает на рожок. По сути дела, ни шляп, ни рожков больше нет. Вы, может быть, удивитесь, какое отношение к чему бы то ни было имеет музыка Майлса Дэвиса ночью в Париже, — но вопрос этот возникает из наших тщетных попыток все увязать. Надеюсь, я двигался в другом направлении.

Тэд Коновер

Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг"

Фрагменты книги

Перевод Антона Ильинского

ДЛЯ нас, офицеров-новичков, "Синг-Синг" был миром адреналина и агрессии, миром, где приходилось жить в постоянном страхе, — мы боялись заключенных, каждого по отдельности и всех вместе, боялись допустить какой-нибудь промах. Мы словно находились между двух огней: сделай что-нибудь не так по отношению к персоналу — будут неприятности, сделай что-нибудь не так по отношению к заключенным — может не поздороваться.

В Академии подготовки офицеров охраны тюрьму сравнивали с деревней — эдаким обособленным мирком со своей школой, мастерскими, больницей и прочим. Но никто не говорил нам, что тюрьма — это также тоталитарное общество в миниатюре, практически идеальная модель полицейского государства. Систему субординации позаимствовали у военных: за служащими тюрьмы постоянно надзирали старшие офицеры, под чьим началом полагалось идти в бой с толпой агрессивных и злопамятных заключенных, буквально каждый шаг которых регламентировался, и мы, люди в форме, следили за тем, чтобы правила неукоснительно исполнялись. Ведь тюрьма, как ничто другое, зиждется на правилах.

Академия вдалбливала их в нас с тем же упорством, с каким религиозный фанатик, который буквально понимает все, что говорится о ростовщиках, Армагеддоне и женах, живущих лишь для того, чтобы служить мужьям, штудирует Библию. А затем мы вышли в мир, где большинство "верующих" смотрит на эти правила сквозь пальцы — и правильно делает. В конце концов, хороший полицейский не станет штрафовать тебя за превышение скорости на три мили. Хороший полицейский судит избирательно, руководствуясь здравым смыслом.

Мне запомнился один офицер-латиноамериканец, с которым я столкнулся в дежурке. Его послали на галерею в блок "А". Как и у всех нас, из нагрудного кармана у него торчала маленькая брошюрка желтого цвета под названием "Правила поведения заключенных", но на той части, что высовывалась из кармана, он печатными буквами написал: "ЧЕРТА С ДВА". Это было его личное послание заключенным, а заодно и удачное резюме самой брошюры. И я подумал, что он, должно быть, дельный офицер, остроумный, но строгий, который заставляет заключенных строго следовать правилам. Позже один из курсантов, который

© T. Conover, 2002
© А. Ильинский. Перевод, 2004

проработал неделю с этим офицером, рассказал, что каждое утро один из заключенных угощал его кофе, передавая кружку через решетку. Это заставило меня задуматься. Правилами это не запрещалось, но ведь таким образом офицер выказывал заключенному свое расположение. Да и как надо было ему доверять, чтобы пить его кофе?

Подобная размытость правил сильно контрастировала с крепостью стен "Синг-Синга" и его кажущейся незыблемостью. В течение долгого лета – с середины мая до позднего сентября – я часто думал об этом, проходя по тоннелям и коридорам тюрьмы. Я и другие курсанты-новички были занесены во вспомогательный список личного состава и работали на всей территории тюрьмы. Часто, опуская голову, я смотрел на желтую разметку на полу, нанесенную по центру почти всех коридоров, чтобы встречные потоки арестантов держались своей стороны. Возле ворот были проведены широкие перпендикулярные линии, перед которыми заключенным следовало останавливаться и ждать разрешения пройти дальше. Конечно, они не останавливались. Да и останавливались ли когда-нибудь прежде? Я подумал об этих линиях – тоскливом напоминании о прежних, более суровых временах, когда правила исполнялись буквально; память об этих временах таяла, как и о строгих уроках в Академии...

В Академии я оказался главным образом потому, что в министерстве мне отказали. Здесь, сказали они, не место для журналистов. И никаких исключений. Все. Разговор закончен. Почему же? Мне стало любопытно. О тюрьмах постоянно говорят в новостях, на них тратят огромные деньги, там сидит огромное количество людей – я всегда считал, что деятельность этого государственного института должна быть абсолютно прозрачной.

Меня давно привлекают тюрьмы. Мало что так занимает мое воображение, как застенок. В небольшом городке в Миннесоте, который я проезжал несчетное количество раз по дороге на семейные торжества, стоит тюрьма с высокой массивной кирпичной стеной и сторожевыми вышками – я постоянно думал об этом месте. Любая старая тюрьма, которую мне доводилось видеть, начиная с лондонского Тауэра и кончая огромным заброшенным "Истерн стейт пенитеншиэри" в Филадельфии, привлекала мое внимание.

Полиция – это особая, самобытная культура или субкультура, в которую невозможно проникнуть со стороны. В своих прежних книгах я пытался, сочетая журналистику и антропологию, не только описать, но и разделить жизнь с обитающими на вокзалах бомжами, нелегальными мигрантами из Мексики, дальнобойщиками – выходцами из Кении и даже высшим обществом Аспена[1] (штат Колорадо). Иногда дверь в эти миры открыта, но писатели просто не додумываются туда войти. А подчас – заперта, и чтобы проникнуть внутрь, нужно приложить немало усилий.

Мне доставляет удовольствие преодоление подобных сложностей. Это требует терпения и изобретательности. Зачастую приходится преодолевать свои страхи – как в данном случае. Наказание всегда страшно, а тюремное заключение – особенно. Однажды, когда я был в летнем лагере, старшие ребята заперли меня в одном из шкафчиков раздевалки, и я сидел там, пока друг не открыл дверцу; страх, который я тогда испытал, мне не забыть никогда. Может, именно поэтому мне становится не по себе, когда я вижу птиц в клетке, рыб в аквариуме и больших собак в маленьких квартирах. Я очень люблю истории о побегах – из "Алькатраса", нацистских концентрационных лагерей или темницы, в которой

1. Аспен – фешенебельный горнолыжный курорт. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

герой Дюма граф Монте-Кристо провел пятнадцать лет. Я всегда считал, что для похитителей, которые перевозят своих жертв в багажнике автомобиля, должен существовать особый круг ада.

Но как узнать правду о тюрьме? Заключенным становиться не очень-то хотелось, и я все думал: как же еще проникнуть в этот мир? Большинство описаний тюрем в современной публицистике принадлежат заключенным: и радикалам (Элдридж Кливер[1], Джордж Джексон[2], Мумиа Абу-Джамал[3]), и политикам (бывший нью-йоркский судья Сол Уочлер[4], политик из Бостона Джозеф Тимилти[5]), и закоренелым преступникам (Джек Генри Эббот[6] и Саника Шакур[7]). Документальные ленты (такие как замечательный фильм "Ферма"[8]) также нередко повествуют о жизни заключенных.

У тюрьмы, как мне всегда казалось, есть две стороны, два цвета униформы; это мир, где есть "мы" и есть "они". И я хотел услышать тех, чьи голоса нам обычно не слышны, людей, которых общество послало на передовую нашей тюремной системы, — надзирателей.

Большинство из нас знает о тюремных охранниках то, что видит в кино. "Хладнокровный Люк", "Брубейкер", "Побег из Шоушенка" и многие другие фильмы рисуют нам мелодраматические картины тюремной жизни, почти сплошь состоящие из клише. Так, лишь небольшая часть заключенных и в самом деле злодеи, большинство же — обычные люди, осужденные по ошибке; белые мужчины, выходцы из среднего класса, часто подвергаются в тюрьмах изнасилованиям; начальники исправительных заведений сплошь и рядом коррумпированы, а надзиратели все как один звери.

Отношение к охранникам было мне особенно интересно. Верен ли сложившийся стереотип? И если верен, то почему? Может, такая работа привлекает крутых парней, предрасположенных к насилию? Или надзиратели — нормальные люди, которые становятся агрессивными, попадая под влияние системы? А если стереотип не соответствует действительности, почему он так стоек?

Ответы на эти вопросы нужно получить, и как можно скорее, из-за кризиса американской пенитенциарной системы. Вроде бы уровень преступности падает, экономика процветает, однако в тюрьму попадает все больше и больше людей, главным образом за преступления, связанные с наркотиками. В результате расходуются огромные средства: в Калифорнии, где тюрьмы и так переполнены, каждый год приходится строить новую тюрьму, чтобы справиться с наплывом заключенных. Из-за этого не хватает денег на другие институты: здравоохранение, образование; кроме того, есть очень большие сомнения в том, что тюрьмы являются лекарством от преступлений или хотя бы сдерживающим фактором. С тех пор

1. Элдридж Кливер (1935–1998) — один из основателей экстремистской организации "Черные пантеры" в США, которая была своего рода ответом чернокожих "белому" Ку-клукс-клану.
2. Джордж Джексон (1941–1971) — борец за права чернокожих в США, сторонник насильственных методов борьбы; не раз отбывал заключение.
3. Мумиа Абу-Джамал (р. 1955) — американский чернокожий журналист. В 1982 году был обвинен в убийстве полицейского и с тех пор сидит в камере смертников.
4. Сол Уочлер (р. 1951) был осужден за шантаж и вымогательство.
5. Джозеф Тимилти — политический деятель; осужден за мошенничество (подделку документов).
6. Джек Генри Эббот (1944–2002) — осужден за вооруженное ограбление банка, а затем и за убийство другого заключенного, автор книги "В брюхе зверя", написанной в тюрьме и состоящей из писем на волю.
7. Саника Шакур (р. 1963) — осужден за убийство; автор книги об уличных бандах, в которых состоял сам.
8. "Ферма" (1998) — фильм американского режиссера Лиз Гарбус.

как в Южной Африке рухнул апартеид, США, бывший "тюремщик №1", идет ноздря в ноздрю с Россией, "самым сажающим" государством в мире. Мы отправляем в тюрьму в шесть раз больше человек из расчета на душу населения, чем, например, Англия, и в семнадцать раз больше, чем Япония. К началу 2000 года в тюрьмах США содержалось почти два миллиона человек, это значит, что каждый сто сорокой житель страны находится за решеткой. Количество заключенных за последние двадцать пять лет утроилось и все продолжает расти. В девяностые годы – годы процветания Уолл-стрит – каждый третий афроамериканец в возрасте от двадцати до двадцати девяти лет либо сидел в тюрьме, либо имел условный срок, либо был освобожден досрочно. В наши дни у молодого черного калифорнийца в пять раз больше шансов попасть в тюрьму, чем в университет. С помощью знаний, политической воли и, возможно, удачи мы укротили инфляцию и дефицит бюджета, но, борясь с преступностью, по-прежнему прибегаем к грубому и дорогостоящему инструменту, который зачастую калечит, а не перевоспитывает преступника.

Тюремное заключение – лучшее средство, до которого мы додумались, – само по себе превратилось в социальную проблему. Один из ее непредвиденных результатов – распространение так называемой тюремной культуры. Мешковатые, сползающие с бедер штаны, популярные среди городских и провинциальных подростков, – это мода, начавшаяся, как говорят, в тюрьме, где заключенным выдают одежду не по размеру, а иногда и без ремней. То же самое касается кроссовок без шнурков – таковы правила тюремного психиатрического отделения. У ребят, принадлежащих к национальным меньшинствам, которых я встречал в Нью-Йорке, старшие братья, как правило, находятся в заключении, поэтому многим из них тюрьма представляется чем-то неизбежным, каким-то своеобразным ритуалом, необходимым для вступления во взрослую жизнь.

Поначалу я не собирался становиться надзирателем. В 1992 году власти штата категорически отказали мне в просьбе поработать в тюрьме на обычных основаниях, и я связался с профсоюзом работников правоохранительных органов штата Нью-Йорк – "Советом 82". Его исполнительный директор Джо Пума поначалу был со мной осторожен, но в конце концов у нас произошло два обстоятельных разговора. Пума, бывший водитель грузовика из Бруклина, и сам служил прежде охранником. Он рассказал мне, что в семьях тюремных надзирателей больше всего разводов, они чаще других страдают сердечными заболеваниями, наркоманией и алкоголизмом; из всех государственных служащих у них самая короткая продолжительность жизни – и все из-за постоянного стресса. Они опасаются не только нападений заключенных, но и возможности заразиться СПИДом или туберкулезом на рабочем месте (один из офицеров заразил всю семью туберкулезом, подхваченным в тюрьме, другой умер от СПИДа).

Благодаря Пуме я укрепился во мнении, что это очень тяжелая работа и что в мире, где царит закон, тюремные охранники – главные исполнители этого закона. "Я бы согласился, чтобы мне урезали зарплату, лишь бы чуть больше уважали", – сказал он, не скрывая обиды на нью-йоркского губернатора Джорджа Патаки, который незадолго перед тем назвал личный состав работников тюрем не "офицерами исправительных заведений", а "тюремными надзирателями". Впрочем, так их называют почти все газеты. "Меня всегда убивало, – добавил он, – как быстро в общественном сознании преступник из плохого парня, каким он был в зале суда, превращается чуть ли не в жертву, стоит ему переступить порог тюрьмы; нам, офицерам, это отвратительно, потому что это мы хорошие парни, а не они". Он согла-

сился с моим предположением, что некоторые офицеры сами провоцируют подобное отношение: они чураются журналистов, зная, что те их часто изображают негативно. "Но мы выйдем из тени, – не успокаивался он, – мы еще расскажем о себе". Пума пообещал, что скоро мы встретимся вновь и он познакомит меня с миром, скрытым за кирпичными стенами. Затем без всяких объяснений перестал отвечать на мои звонки. Я безрезультатно выслеживал его несколько месяцев, пока, наконец, через знакомых меня не пригласили на заседание членов профсоюза. Там я познакомился с несколькими людьми, в том числе с Риком Кингсли, работавшим в исправительном заведении общего режима "Вашингтон" в городе Комсток, штат Нью-Йорк.

Мы с Кингсли поужинали неподалеку от "Куолити-инн" в Олбани. Он сказал, что много лет был владельцем молочной фермы, а потом, тринадцать лет назад, пошел в охранники – по экономическим соображениям. Его брат раньше торговал автомобилями, а сейчас тоже стал тюремным офицером; да и многие родственники жили неподалеку от тюрьмы. Он был разведен, помогал сыну закончить колледж, так как "ни один охранник ни за что на свете не позволит собственному ребенку пойти по своим стопам".

Кингсли удивил меня, сказав, что около 80 % офицеров, которых он знает, говорят всем, что работают не в тюремной охране, а кем-нибудь еще, плотниками, например, – настолько эта работа непопулярна. Конечно, в ней есть свои преимущества – хорошее жалованье, стабильность, гарантированное продвижение по службе, гибкий график: отправляясь в тюрьму рано утром, Кингсли был свободен днем, мог работать на своем участке и перестраивать свой деревянный домик. Но в основном, сказал он, работа в тюрьме сводится к ожиданию. Заключенные ждут, когда истечет их срок, а офицеры ждут пенсии. Для Рика Кингсли это было "пожизненным заключением, которое он отбывал по восемь часов в день". Он пригласил меня посетить его тюрьму и даже остановиться в его трейлере, когда приеду. Получить разрешение было очень трудно, поэтому я был в восторге от того, что наконец проник в святая святых. Через полчаса, однако, я понял, что вижу только фасад. Когда мы появились в столовой, все разговоры прекратились, а когда вышли на стоянку, офицеры, находившиеся там, тоже сразу умолкли. Я был похож на туриста в цветастой рубашке, который сходит с корабля в какой-нибудь тропической стране, чтобы обойти сувенирные лавки. Местные жители показали мне все, что хотели, через два часа я уехал, и их жизнь потекла своим чередом. Я почувствовал это острее всего, когда Рик повел меня во двор и познакомил со своими приятелями. Они рассказали мне о правилах, которых придерживаются, чтобы избежать неприятностей: не позволять заключенным собираться в группы больше шести человек, обыскивать заключенных после прогулок, запрещать заниматься боевыми искусствами, собираться на массовые богослужения (мусульмане желали молиться все вместе, повернувшись в сторону Мекки) и практиковать контактные виды спорта. Я спросил, бывают ли, несмотря на все эти меры предосторожности, какие-либо эксцессы. Они переглянулись, а потом посмотрели на Рика, чье лицо оставалось бесстрастным. Нет, ответили они не очень уверенно, по правде говоря, не бывают, однако эта пауза получилась весьма красноречивой: я понял, что постороннему никогда ничего не узнать. "Чушь собачья", – хотелось сказать, но я промолчал.

Рик рассказал об Академии, и мне показалось, что было бы интересно написать о месте, где обучают профессии тюремного охранника и дают понять, каково им быть. Он счел, что моя идея попасть в Академию, пройти весь путь от начала до конца, весьма удачна. И я попытался воплотить ее в жизнь.

Но в Управлении исправительных заведений мою идею отвергли безо всяких объяснений и даже не дали привести какие-либо доводы. Просто не разрешили. Я был раздосадован. И это еще больше подогрело мое любопытство и желание проникнуть туда, куда меня не пускают.

Я понял, что по журналистской линии у меня ничего не получится и что единственный способ попасть в Академию — подать заявление на общих основаниях. В 1994 году я это сделал — подал заявление с просьбой разрешить мне сдачу экзаменов, а потом, еще через несколько месяцев, уже сидел в большой комнате, набитой людьми, желающими, как и я, пройти тестирование и получить работу. Затем какое-то время я ждал...

Преступников раньше возили в "Синг-Синг" на пароходе из Нью-Йорка. "Вверх по реке" — около шестидесяти километров на север — до "Большого дома", вот откуда эти фразы появились в нашем языке[1]. Необычное название тюрьмы происходит от названия племени индейцев синтсинк, когда-то обитавших в этих краях. В переводе это означает "камень на камне" — именно так выглядит скалистый утес, вздымающийся на берегу Гудзона, где и была построена тюрьма.

Когда-то тут было небольшое заброшенное поселение. Сейчас "Синг-Синг" занимает пятьдесят пять акров ценной земли в провинциальном Уэстчестере — одном из самых дорогих округов Соединенных Штатов. Город, выросший вокруг тюрьмы, раньше тоже назывался Синг-Сингом, теперь же носит имя Оссининг. До шестидесятых годов тюремные служащие могли позволить себе роскошь жить в Оссининге и его пригороде, что во многом определило стиль здешней жизни. Теперь, однако, хотя городок и пообветшал (это не самое привлекательное место в Уэстчестере), цены на недвижимость заставили практически всех офицеров, работающих в тюрьмах, покинуть его. В 1995 году снять обычную квартиру с двумя спальнями в Оссининге стоило 1525 долларов в месяц, а средняя цена дома с тремя спальнями составляла 241 000 долларов. Подальше от города, в других частях Уэстчестера, такая же квартира стоила 350 долларов (например, в Даннеморе, штат Нью-Йорк, рядом с тюрьмой "Клинтон"), а такой же дом недалеко от тюрьмы "Оберн" — около 64 000 долларов. Департамент выдавал офицерам, работающим в "Синг-Синге", "дотацию на жилье", и все считали это сущим издевательством: она составляла около пятнадцати долларов в неделю.

В некоторых небольших городках тюрьма — главная достопримечательность, по крайней мере на первый взгляд: например, впечатляющие стены "Клинтона" тянутся вдоль главной улицы Даннеморы. Тюрьму же "Синг-Синг", хотя она и огромная, найти непросто. Да и найдя ее, все, что увидит человек, впервые посетивший Оссининг, — это внушительную стену высотой в семь метров. Из нее торчат более двадцати сторожевых вышек, и она глухая и непроницаемая, как лицо полицейского. Самая протяженная ее часть идет параллельно реке, струящейся в нескольких десятках метров внизу. Две более короткие части образуют угол прямо на склоне холма. Нет такого места, откуда можно окинуть взглядом всю тюрьму целиком; с улицы даже не видно ее центрального входа.

Но отправляясь "вверх по реке" ранним апрельским утром — то был мой первый день в "Синг-Синге", — я не думал о тюрьме как таковой. Я вспоминал историю, которую мне рассказывали в Академии и которая все крутилась у меня в голове. Я слышал ее трижды, каждый раз меня-

1. Фразы "вверх по реке" и "Большой дом" американцы часто употребляют, когда говорят о тюрьме.

лись детали, но не суть: офицер, окончивший Академию как раз перед нами, я знал его лично, в один из первых дней своей службы в "Синг-Синге" подошел к курившему заключенному. "Здесь нельзя курить, – сказал он, – затуши сигарету". Тот требование проигнорировал. Охранник настаивал, пока заключенный не послал его куда подальше. Тогда надзиратель сам вынул сигарету у него изо рта, в ответ заключенный то ли ударил офицера по голове, то ли сломал ему предплечье его же собственной дубинкой, то ли врезал по зубам – тут версии расходились. Парень сильно пострадал из-за какой-то сигареты.

История никак не выходила у меня из головы, потому что не давала ответа на вопрос: что делать в такой ситуации? Понятно, что вынимать сигарету изо рта у заключенного было не очень умно. Это я вроде бы уяснил. Но что именно следовало предпринять? Написать на проштрафившегося рапорт? Просто уйти, осрамившись перед всеми? Ожидают ли меня подобные опасности в стенах тюрьмы? И что мне тогда делать?..

Работая в "Синг-Синге", довольно легко забыть, что каждый находящийся в заточении оставил дома кого-то, кто по нему скучает. Ведь заключенные продолжали быть чьими-то отцами, сыновьями, братьями и мужьями – членами семей, главным образом из бедных кварталов Нью-Йорка. Конечно, попав в тюрьму, они причинили горе родным, и родные не всегда хотели их видеть. Но многие все же хотели, и каждый день эти люди приезжали сюда на автобусах, машинах, на такси и поездах. Они проходили через металлодетектор, предъявляли свои вещи для досмотра и долго ждали в очереди, чтобы провести немного времени в комнате для свиданий.

Комната для свиданий была своего рода брешью между герметичным тюремным миром и вселенной, лежащей за его пределами. Здесь заключенный мог попытаться воссоединиться с реальным миром и прежней жизнью, постараться залечить рану, которую наносило его душе тюремное заточение. Посетители гораздо острее, чем служащие тюрьмы, способны были ощутить влияние, оказываемое тюрьмой на человека, и представить себе, что́ его ждет после выхода на свободу. В комнате для свиданий встречались, наверстывали упущенное, заглядывали в будущее, это была комната женских прикосновений и детского щебета.

Я дежурил с Колтоном. Мы были в голубой униформе, обязательной для офицеров в случае, если работа предполагала контакт с людьми из внешнего мира. Мы сидели за широким столом на возвышении и следили за просторным, похожим на кафетерий помещением. У задней стены стояли автоматы по продаже напитков и закусок, а перед ними аккуратными рядами располагались столы, над каждым висела табличка с обозначавшей его буквой. Слева, за заграждением, находилась небольшая игровая для детей, за ней помещались маленькие комнатки фотографа (одного из заключенных), который "полароидом" делал снимки на память, и консультанта, помогавшего в таких делах, как, скажем, свадьба (заключенным дозволялось жениться – если не возражал директор; тогда они получали право на супружеское свидание)[1]. На стене справа от нас шел ряд окон, откуда мог бы открываться отличный вид на Гудзон, но на стекла была наклеена синяя теплоотражающая пленка, чтобы комната не перегревалась от полуденно-

1. Женатым заключенным, при условии хорошего поведения, несколько раз в год разрешаются супружеские свидания – встречи с женой, которые могут длиться несколько дней. В это время супруги живут в специальном трейлере на территории тюрьмы, где есть кухня и спальня.

го солнца. К тому же вид на реку заслоняли спиральные проволочные заграждения, установленные на тюремной стене.

Справа от нас находилась дверь, через которую входили посетители. Мы указывали им на столы с четырьмя пластмассовыми стульями или на ряд стульев вдоль стены с окнами — там можно было сесть рядом с заключенными, которые входили через другую дверь — слева от нас. Мы записывали их в журнал и указывали на соответствующего посетителя. Если посетитель ждал больше часа (что случалось нередко), мы звонили в блок, чтобы узнать причину задержки. Обычно дело было в ошибке офицеров: охранник, работающий на галерее, не мог найти заключенного, а потом забывал про него или кто-то забывал известить охранника. Но часто виноваты были сами заключенные — они могли часами мыться, бриться и причесываться, чтобы предстать перед близкими в наилучшем виде.

У Колтона было паршивое настроение, он почти не открывал рта, явно хотел поскорее отправиться домой, и в глазах у него читалась ненависть к "Синг-Сингу".

— Как тут дела? — спросил я.

— Хреново! — ответил он.

Его, похоже, совершенно не интересовали и даже внушали отвращение драмы, разворачивающиеся у нас на глазах, а я смотрел как завороженный. Если вам хотелось узнать, как живут заключенные за стенами тюрьмы, то сделать это можно было именно здесь.

Я наблюдал за молоденькой девушкой, которая нашла нужный столик, опустила голову и заснула, ожидая своего дружка. Он разбудил ее поцелуем — какая прелесть! — и мне стало интересно, всегда ли они так делают. Была еще одна пара, чья встреча началась довольно холодно. Она отстранилась от его объятий, и он был вынужден просто пожать ей руку, потом они отошли в сторону и сели на стулья возле окон. Три часа спустя я заметил, что они страстно целуются — лед растаял. У другой стены сидела пожилая чета, скорее всего пришедшая к сыну.

Почти каждая встреча начиналась с объятий, но кое-кто вел себя скованно и робко. Сын взял родителей за руки, обнимать не стал, мать удостоилась очень легкого поцелуя. Или, может, это была приемная мать? А может, мужчина — отчим?

Одного из заключенных, как только он отошел от нашего столика, облепили трое ребятишек. Они прыгали вокруг него, висли на нем, пока он пытался дотянуться до их матери — жены? сестры? — которая пыталась расчистить для него место за столом, отодвигая в сторону цветные мелки и книжки-раскраски. От такого зрелища на душе становилось тепло, но в то же время очень-очень грустно.

В комнате вместе с нами работало еще несколько офицеров. Поскольку Колтон общаться не жаждал, я начал болтать с охранником по имени Эвеллард, который, как он сам сказал, родился на Гаити. Эвелларду, лысеющему, в грязной рубашке, постоянно приходилось терпеть подначки офицеров — коренных жителей Штатов. Похоже, он был рад поговорить с любым, лишь бы над ним не смеялись. Заклеивая конверт, Эвеллард рассказал мне, что́ за письмо он отправляет. Он только что вернулся из отпуска, который провел в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, делящей остров Эспаньола с Гаити. Я сказал, что никогда не встречал человека, бывавшего в Санто-Доминго. "Непременно поезжай!" — с энтузиазмом ответил он. Там он встретил очень красивую женщину и влюбился. Эвеллард немного говорил по-испански, так что общаться кое-как было можно, но вот писать по-испански он не умел. К счастью, дежурный — он

показал в сторону молодого заключенного, убирающего "детскую площадку", — помог ему написать любовное послание по-испански.

Мы с Эвеллардом прошлись по комнате. Какой-то мальчишка хотел последовать за отцом в уборную. "Извините, не положено", — сказал мой напарник. "Надо за ними приглядывать", — пояснил он мне. Хотя посетители проходили через металлодетектор, обыскивать их не разрешалось, если на то не было серьезных причин. Поэтому в тюрьму попадало немало наркотиков. Женщина могла пронести небольшой пакетик в лифчике, затем передать заключенному, тот его глотал — и все дела. Конечно же, проносили не только наркотики, но и всякую мелочь.

— Ты знаешь, им не разрешается иметь обувь дороже пятидесяти долларов. Так вот, приходит посетитель в новеньких "Эйр Джордан"[1]. Заключенный снимает свои старые кроссовки и под столом обменивается с родственником. Может, мы заметим, когда он будет выходить, а может, и нет.

Я подумал, что теперь уж наверняка возьму на заметку заключенного в "Эйр Джордан".

Однажды был случай, когда на посетителе было две смены одежды, он снял одни брюки и свитер в туалете и оставил там. Какой-нибудь заключенный, облачившись в обычную одежду, мог попытаться в конце дня выйти из комнаты для свиданий прямиком на улицу. Конечно, в тюрьме существуют меры, предотвращающие подобное, — например, при входе посетителю на руку наклеивают ультрафиолетовую наклейку и на выходе снимают, — но все равно нужно держать ухо востро. Тем летом заключенный сбежал из комнаты для свиданий в тюрьме "Райкерс-Айленд", несмотря на все меры предосторожности.

Мы с Эвеллардом остановились у одного из столиков: девушка в красном платье уселась на колени к заключенному. "Не положено!" — цыкнул на них Эвеллард. Медленно и нехотя девушка слезла с колен мужчины. Пока каждый сидел на своем стуле и никто ни к кому не прикасался, исключая поцелуи, — мы никого не трогали. Но борьба со страстью требовала постоянного внимания: через час мне пришлось сделать замечание той же девушке, опять забравшейся на колени к своему дружку. Эвеллерад рассказал мне, что несколько месяцев назад застукал парочку, которая занималась любовью стоя. Рядом с комнатой для свиданий был небольшой дворик, куда выпускали в теплое время года; так вот, они устроились за каким-то спортивным снарядом — зрелище, надо сказать, не для детей, навещающих своих отцов.

Имелась в тюрьме также и специальная комната для неконтактных свиданий. Такие обычно показывают в кино и по телевизору — с перегородками, стеклами и телефонными трубками, где оба — и посетитель, и заключенный — страдают, так как не могут прикоснуться друг к другу. На деле, по крайней мере в "Синг-Синге", все было по-другому. Заключенного и посетителя разделяла перегородка, только если один из них просил об этом. Неделю назад, рассказал Эвеллард, женщина попросила о неконтактном свида́нии — она собиралась сообщить мужу, что подает на развод, и опасалась его реакции. Он и впрямь пришел в бешенство, и офицерам пришлось его утихомиривать.

С другой стороны, у заключенного могли быть нежные отношения не только с женой, но и с какой-нибудь другой женщиной — еще один повод для офицера быть начеку. У каждого охранника, давно работающего в исправительном заведении, есть на памяти случай, когда приехавшая

1. Дорогая модель кроссовок "Найк".

на свидание жена заключенного застает у него любовницу, или наоборот. "Разборки" гарантированы.

Эвелларда уже давно работал в комнате для свиданий, и ему это нравилось. Мне, в общем, тоже, потому что здесь я не чувствовал, что служу в тюрьме, и к тому же вместо обычных конфликтных ситуаций тут главным образом царили положительные эмоции. Но, как и многих других офицеров, Эвелларда возмущало обилие привлекательных девушек, навещавших заключенных.

— Ты видел ту, в красном платье? А на эту посмотри! — шипел мне на ухо Эвеллард. — Что она в нем нашла? Что он может ей дать? Ничего!

Меня присутствие симпатичных девушек интриговало, но не раздражало. Но Эвелларда это выводило из себя, как свидетельство женских заблуждений и божественной несправедливости.

— Видишь вон ту? — спросил он тихо, показывая на женщину, сидевшую за столом и державшую заключенного за руку. Я узнал в нем обитателя блока "В", который частенько бывал в комнате для свиданий. — Она приходит сюда после ночной смены почти каждый день. И сидит часами! Она отбывает срок за него!

Я понимал, что́ имеет в виду Эвеллард. Количество свиданий не ограничивалось, даже если заключенному был определен строгий режим или его отправили в карцер. Пока посетитель не уходил, арестант тоже мог оставаться в комнате для свиданий с 8.30 до 14.45 с понедельника по пятницу (плюс один выходной), наслаждаясь относительно приятной атмосферой.

Эвеллард указал еще на одну женщину, беременную и с маленьким ребенком; чувствовалось, что она необычайно рада видеть своего мужа.

— Видишь? Это его жена! Они познакомились семь лет назад — она пришла сюда с подругой, навещавшей другого заключенного. Сначала они поженились. Затем воспользовались возможностями ПВС (Программы воссоединения семьи, позволяющей нечастые супружеские посещения), и вот она снова беременна. Невероятно!

— Да, странно, — согласился я. — Может, ей просто нравится, когда мужа подолгу нет дома?

— Но как он может ее обеспечить? — зло спросил он.

Конечно, существуют пособия, к тому же у некоторых, сидящих здесь, имеются кое-какие средства, но все равно это оставалось загадкой. Мне было интересно, что испытывает женщина к заключенному. Романтическую любовь — желание того, чего никогда не получить? Практический интерес — возможность воспитывать детей по-своему, без чьего-либо вмешательства? Офицеры не могли этого понять, потому что заключенные никогда не смогли бы *содержать* семью, а для охранников достижение благосостояния было одной из главных целей в жизни.

Однажды я познакомился с подругой одного убийцы, когда делал о нем материал для журнала: он тайно разрабатывал и продавал программное обеспечение прямо из тюрьмы штата в Миннесоте, посещая профессиональные курсы, открывавшие для него доступ в Интернет. Эта женщина влюбилась в него еще девчонкой, задолго до того, как он сел за убийство. Ее чувство было так сильно, что, когда он освободился досрочно, отбыв в заключении семнадцать лет, она развелась с мужем (отцом двоих ее детей) и переехала к нему.

— Честно говоря, для меня это было неважно, — сказала она мне об убийстве и приговоре, которые считала недоразумением. К тому же она полагала, что человек должен быть всегда открыт для истинной любви.

Поскольку большинство женщин, приходивших в комнату для свиданий, были негритянками из гетто или просто бедных районов, отсутствие любимых, отбывавших срок, было делом обыденным, с которым приходилось мириться. В фильме "Любитель птиц из 'Алькатраса'" есть одна фраза, которая, похоже, очень точно передает суть дела. "Любителя птиц", убийцу Роберта Страуда, переводят в "Алькатрас" и разлучают с женщиной, с которой он познакомился по переписке, когда отбывал срок в тюрьме "Ливенворт". Эта женщина, на которой он женился, однажды приезжает навестить его, и Страуд, от имени всех, кто когда-либо задавался этим вопросом, требует от нее ответа, зачем она проделала такой путь.

– Затем, – говорит она, – что я живу только тобой.

Я вернулся за стол к Колтону. Мы оба устали. Но я чувствовал, что усталость окончательно превращает его в полицейского цербера, а меня, наоборот, – в добряка-полицейского. Мы закончили всю бумажную работу, и в 14.30 Колтон объявил в микрофон, что время свиданий истекло – все должны покинуть комнату к 14.45. Пока минуты таяли, маленькие девочки висели на шее у своих пап, влюбленные обнимались так, будто это последние объятия в их жизни, а пожилая женщина всплакнула. Радость свиданий омрачалась суровой правдой жизни – с течением времени тюрьма постепенно разрушает или вообще уничтожает любые отношения. Несмотря на то что мне довелось увидеть на дежурстве, я знал, что почти ни один супружеский союз не сохранится. Люди за стенами тюрьмы переезжают, влюбляются, умирают. Они продолжают жить дальше. Думал ли Колтон об этом? Когда мы поднялись, чтобы выпроводить всех за дверь, я не сдержался и спросил его:

– Ты от всего этого не тоскуешь по дому?

– О, конечно, – покривился Колтон, – все это похоже на очередную поздравительную открытку "Холлмарк"[1].

По дороге домой я заехал в автомастерскую в маленьком местечке Йонкерс, расположенную возле железной дороги, – проверить машину. Владелец мастерской Марти в тот вечер выглядел расстроенным. Сидя в приемной, я услышал, как он рассказывает одному из клиентов о своем друге:

– Гарри на пенсии, и вот, представляете, кончил он работать в церкви и идет домой со своими инструментами. А эти ребята налетели на него, избили, теперь он в больнице. И все из-за каких-то инструментов. – Марти с отвращением покачал головой.

Его слова вернули меня на землю и заставили направить свое сочувствие в другую сторону. "Я знаю этих ребят, – хотелось мне сказать Марти, – я целые дни провожу в их обществе".

Дело в пустоте. У людей, чьи любимые сидят в тюрьме, в сердце образуется пустота. Эта пустота обитает и в самой тюрьме, где нет места для любви. Но главное – и этого нельзя забывать, – пустота проникает в сердца порядочных людей, пустота, которую создают преступники в жизни своих близких, – это пустота, остающаяся от всего, что они забрали: деньги, душевный покой, здоровье, жизнь... И все потому, что они были эгоистичны, напуганы или просто нетерпеливы...

1. Крупнейшая американская фирма – производитель поздравительных открыток на все случаи жизни.

Старый удобный стул, вид — просто изумительный, я наслаждался одиночеством и был предоставлен самому себе: тут лишь я один, мое оружие, мои газеты и туалет — вот он, пост на вышке 18. Здесь бы охотно устроил засаду снайпер-одиночка — он мог бы часами раздумывать, прокручивая в голове различные варианты, кого подстрелить, каким оружием и при каких обстоятельствах. Я же получал удовольствие, потому что отдыхал от шумной и нервной работы в блоках. На старой тюремной стене было девять таких вышек; всего же их было восемнадцать, включая совсем новые, уродливые квадратные башни вокруг Таппана[1]. Я любовался архитектурой старых восьмиугольных — визитная карточка тюрьмы, они были изображены на сувенирных буклетах города, брелоках для ключей, кофейных чашках и футболках, которые предприимчивые офицеры продавали на стоянке в день выдачи зарплаты. Наверху, на каждой вышке, была площадка, к перилам которой крепились прожекторы, а внутри все напоминало уютное бунгало. Мне нравилось, как там, в комнатке, насвистывает ветер, и нравился этот привилегированный пост прямо на тюремной стене, откуда открывался отличный вид.

На каждом постоянно действующем башенном посту хранится небольшой арсенал. В стеллаже для ружей, расположенном между двумя из восьми окон, стояли дробовик "Ремингтон", штурмовая винтовка "Кольт АР-15", газовое ружье, рядом — целый ящик с патронами. На поясе у меня висела кобура с револьвером "Смит-Вессон" тридцать восьмого калибра, изготовленным по специальному заказу. В другом конце комнаты лежал специальный жилет, карманы которого были предназначены для емкостей с химическими отравляющими веществами, рядом располагались каска и мегафон — на случай бунта.

Делать было особенно нечего, и все же следовало быть настороже: в этом и заключалась вся прелесть и сложность работы на вышке. Но, по большому счету, мне такая работа была в радость — даже захотелось расцеловать сержанта Холмса, когда на разводе он назначил меня на этот пост. Новички попадали сюда нечасто, просто постоянный дежурный находился сейчас в двухнедельном отпуске...

Я проверил оружие, посчитал боеприпасы, сделал положенный звонок начальнику караула: доложил, что все в порядке. Спустил воду в туалете: унитаз представлял собой углубление в полу, прямо как в психиатрическом отделении. Видавшая виды газовая горелка и раковина тоже были явно тюремного образца, возможно, их переставили из других тюремных помещений. Я взглянул в журнал прибытия машин "скорой помощи". Похоже, "скорая" приезжала сюда в среднем каждые три-четыре дня. На доске было приколото множество памяток. Одна из них называлась: КАК ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ВЕРТОЛЕТ. Сперва, было написано там, надо стрелять по хвостовому винту. Только потом, из-за высокой вероятности взрыва, можно стрелять по кожуху двигателя. Третий пункт гласил, что после предупредительных выстрелов в воздух "вы имеете право открыть огонь по заключенным, которые попытаются приблизиться к вертолету". Это, конечно, если взорвавшийся вертолет не размазал нас всех по стенам, подумал я...

За едой я читал журнал, издаваемый Фондом офицеров охраны, организацией, жертвующей деньги и оказывающей поддержку семьям офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей (я тоже вступил

1. Таппан — старые корпуса "Синг-Синга".

в эту организацию). Самую интересную статью написал охранник из тюрьмы штата Нью-Йорк Дональд И. Премо-младший:

Что бы сказал обычный гражданин, если бы полицейским нужно было патрулировать район, населенный одними преступниками, при этом служители закона не были бы вооружены, не имели служебных автомобилей, к тому же находились в явном меньшинстве? Тюрьма, где я работаю, населена преступниками, которые нарушают законы, правила и уставы. В то или иное время дня вокруг меня их бывает двадцать, тридцать, а то и сорок человек, а я один и, вопреки распространенному мнению, работаю без личного оружия. В общем, моя жизнь в опасности каждый день, каждую минуту.

Премо прав, подумал я, но благодаря цинизму, приобретенному за пару недель работы в блоках "Синг-Синга", тотчас понял, что автор преуменьшает опасность, которой подвергается. Двадцать, тридцать, сорок человек? Загляните ко мне в блок "А" или блок "В"! Как насчет ста пятидесяти на одного?

Взглянув вниз, я увидел угол двора блока "А". В случае беспорядков охранники, работавшие на тех башнях, несли огромную ответственность. Офицеры, находившиеся там, внизу, зависели от них, а во дворе часто что-нибудь происходило. Иногда, как нам разъясняли в Академии, надзиратель может остановить драку, просто включив на полную мощность громкоговоритель и перезарядив дробовик перед микрофоном. Некоторые, не особо раздумывая, стреляли. Один из офицеров, съездивший в тюрьму "Клинтон", рассказал мне, что тамошний охранник недавно отстрелил заключенному палец, хотя, вероятно, целился в мягкое место.

Моя башня не относилась к двору блока "А", чему я был безмерно рад, потому что даже беглый взгляд в ту сторону напоминал мне о смерти Джорджа Джексона, одного из основателей "Черных пантер" и автора "Брата по одиночеству"[1] – сборника писем из тюрьмы. Джексон и еще двое "братьев" были обвинены в том, что 16 января 1970 года забили до смерти белого офицера – охранника одной из калифорнийских тюрем (за три дня до того белый надзиратель с вышки застрелил трех черных заключенных). Незадолго до начала процесса Джексона, которого перевели в тюрьму "Сан-Квентин", застрелил охранник. Власти заявили: это произошло, потому что он был вооружен и пытался сбежать. "Ни один чернокожий, – написал потом Джеймс Болдуин, – никогда не поверит, что Джордж Джексон погиб так, как нам говорят".

Я обнаружил, что мусорная корзина на площадке набита отнятыми у заключенных газетами, и это меня обрадовало – я было огорчился, что оставил в машине роман, который купил, прочитав рекламу на доске возле ворот: Кристофер Ньюмен "Убийца". В начале книги автор благодарил первого заместителя начальника тюрьмы Чарлза Грайнера (сейчас уже начальника тюрьмы), и чем дальше я читал, тем яснее мне становилось, что Грайнер, должно быть, провел небольшую экскурсию по тюрьме, порассказав немало о том, что и как здесь обычно происходит. Роман повествовал о нью-йоркском полицейском, которого преследует известный колумбийский убийца, только что сбежавший из "Синг-Синга".

Сюжет был таков: колумбиец знал, что лучше всего бежать во время поездки в больницу, находящуюся за пределами тюрьмы. По дороге на ужин он разыграл ссору с дружками из блока "А". Скрытый от глаз охраны спи-

1. "Soledad brother". Soledad (*исп.*) – одиночество; также название тюрьмы.

нами дерущихся заключенных, он ранил себя ножом в грудь, образовался открытый пневмоторакс — он добился своего. Через те самые ворота, над которыми дежурил сейчас я, его вывезли из "Синг-Синга" в больничном фургоне, вскоре похищенном его сообщниками. В фургоне была тюремная медсестра, которую бандиты заставили заботиться о раненом.

К моему удивлению, Грайнер разрешил автору раздавать автографы по соседству с дежуркой. Я думал, что начальник тюрьмы должен предать анафеме любую книгу, где описывается побег. То, что этого не произошло, ободрило меня. Может, Грайнер не рассердится, когда выйдет и моя книга?..

Я получил задание и в начале десятого отправился в блок. В то утро я должен был следить, чтобы никто не прогуливался по галереям до 10.30 — в одиннадцать часов должна была состояться перекличка. На галерее разрешалось находиться только мойщикам полов и новичкам, которых расселяли по камерам. Я расхаживал взад-вперед, проверяя, всё ли в порядке и все ли разошлись "по домам". Почти каждый раз мне приходилось останавливаться возле камеры Ларсона.

— Опять лишаешь меня общения, Коновер?

Отгонять заключенных от моего любимого арестанта было, похоже, моей главной работой. Все так и норовили прильнуть к решетке камеры R-29 и болтать, болтать, болтать... Ларсон, как я часто ему говорил, был "привлекающим источником опасности".

— Что это значит?

— Это юридический термин. Представь себе бассейн без ограждения — дети бегут и падают в воду.

— Коновер! — Ларсон прикинулся обиженным.

— Я знаю — здесь никто не утонет. Но почему все так и рвутся поболтать с тобой?

Ларсон, высокий, с покатыми плечами, длинными волосами, заплетенными в косички, сидел, как всегда, на койке. За исключением ежедневных часовых прогулок и душа по понедельникам, средам и пятницам он всегда так и сидел — согласно бумаге, которую я видел в кабинете начальника, он был на строгом режиме, и покидать камеру ему не разрешалось. Он провел тут уже семнадцать месяцев, осталось еще три — тюрьма строгого режима внутри тюрьмы строгого режима. Но вместо того чтобы злиться, как многие другие, Ларсон был невозмутим — его окружала аура блаженного спокойствия. Наркоман — подумал я, увидев впервые, как медленно он говорит, растягивая слова и рассеянно моргая. А знакомый из дисциплинарного отдела подтвердил мою догадку, сказав, что Ларсон переведен на строгий режим за неоднократное употребление марихуаны.

Но дело было не только в этом. Поначалу я подозревал Ларсона в контрабанде, потому что он все время обменивался с другими заключенными всем на свете — от журналов до шоколадок "M&M's". Возможно, то были лишь мои полицейские страхи. Но совершенно очевидно, что Ларсон был своеобразным духовным лидером, к тому же неглупым малым. Его называли Могучим, Жрецом и Колдуном.

— Они приходят, потому что... я им как семья, — сказал он мне в тот день, когда рядом остановился один из уборщиков. — У большинства этих ребят не было отца, так что я им вроде как за него.

Но дело было явно не только в этом. Я тоже общался с Ларсоном чаще, чем с другими заключенными, — мне хотелось знать о нем больше.

Наша дружба, если ее можно так назвать, началась несколькими месяцами раньше, когда он посмеялся надо мной, впрочем, я сам напросился. В тот день я отводил тех, кто был на строгом режиме, в душ, и его в том числе. Хотя на моем этаже семь кабинок (обычные отделения с душевыми распылителями и стоками), но из-за разваливающегося водопровода и слабого напора воды в блоке "В" пользоваться можно было лишь тремя-четырьмя кабинками.

– Я тут слышал одну фишку, – сказал я Ларсону, открывая дверь в его камеру, – лучше всего сегодня идти в кабинку W-36.

Надевая тапочки и доставая полотенце, Ларсон рассмеялся:

– "Слышал фишку"? Где ты это взял? Какую еще фишку? Это из той же серии, что "не парься", так?

– Чего ты хочешь, он же мальчик из большого города, – вмешался его сосед.

Я покраснел. Так же я чувствовал себя, когда услышал, как отец употребил слово "клёво" году в семидесятом.

– Ну и как же я должен был сказать, Ларсон? – спросил я, стараясь спасти репутацию. – "Прошел слух"?

Он снова рассмеялся:

– Именно, офицер, "прошел слух".

Тут он впервые взглянул на бирку с именем у меня на груди.

– Коновер, – проговорил он медленно, запоминая мою фамилию. Затем проследовал в душ, где я его запер, предоставив десять минут законного блаженства.

Достаточно было взглянуть на камеру Ларсона, чтобы понять, что он отличается от остальных. Как и у многих, на стенах у него висело с дюжину фотографий женщин, впрочем, одетых. И чернокожих, как и он сам. Была у него и стопка аудиокассет – главным образом записи хип-хопа, но стопка книг была куда внушительнее. Он рассказал, что "Энциклопедию эволюции" выменял у другого заключенного на пачку сигарет. Я заметил также несколько томов "Истории африканских народов" – такие продаются с лотков в центре Бруклина, – учебники по социологии и монографию о роли рас в истории.

Через несколько дней, когда мы уже знали друг друга получше, я остановился у его камеры и спросил, что он читает.

– Вот, – ответил он, протягивая мне книгу через решетку. – Прочитай эту страницу.

Это было исследование по физической антропологии, в указанном месте говорилось о делении гомо сапиенс на расы.

– Да, – начал я, – об этом уже много понаписано.

– Кем?

– Антропологами.

Ларсон уставился на меня.

– Расскажи о себе, Коновер, – попросил он после короткой паузы. – Ты не похож на других офицеров.

– Да? Это потому, что я не с севера штата?

– Нет, дело не в этом. А в том, как ты мыслишь и как ходишь.

Мое сердце забилось учащенно. За исключением Дитера в Академии никто – ни офицеры, ни заключенные – не проявлял ни малейшего интереса к моему прошлому. В тюрьмах полно людей, которые гораздо больше любят болтать, чем слушать, и отсутствие у них любопытства было мне на руку. Но Ларсон был умен и весьма наблюдателен.

– Ты закончил колледж? – спросил он.

– Да.

– И что изучал?

– Антропологию.

– Антропологию? Это трудная и серьезная наука, старик. Уважаю. – Несколько секунд он смотрел в стену. – А что ты делаешь здесь? Ты должен быть учителем или еще кем вроде того...

Я промолчал. Он видел меня насквозь, и мне захотелось сказать ему об этом, но я вышел из положения иначе:

– Никогда не знаешь, что преподнесет жизнь, Ларсон. Уж кому-кому, а тебе это известно. Как ты здесь оказался?

Он ответил, что это его третья ходка. Отбыв срок за вооруженное нападение в Алабаме, где он вырос, и второй – за хранение оружия, он приехал в Нью-Йорк и стал встречаться с женщиной, которая одновременно жила с офицером охраны. Однажды соперники столкнулись у нее в парадном и начали выяснять отношения. Офицер достал пистолет, но Ларсон выстрелил первым – "и не раз, а много раз". И его отправили обратно в тюрьму, дав от восьми лет до пожизненного[1].

– Коновер, когда я первый раз попал в тюрьму, я не умел ни читать, ни писать.

Ларсон рассказал, что, если не считать курсов по ликвидации безграмотности, которые посещал в тюрьме, всего остального он добился исключительно благодаря самообразованию. Вместо того чтобы посылать заключенных на прогулки, было бы гораздо целесообразнее, говорил он, снабдить каждую галерею небольшой библиотекой, дабы они могли сидеть в камерах и читать.

Я видел, как у камеры Ларсона то и дело останавливались поболтать заключенные. Иногда мне даже приходилось ждать своей очереди, пока один из уборщиков или еще кто-нибудь с ним не наговорится. Однажды я застал у него заключенного по кличке Чесотка. Прозвали его так за то, что он постоянно почесывал свой бритый череп.

– Что это за Бог, если он позволяет людям страдать? – вопрошал его Ларсон, когда я приблизился.

Чесотку, невысокого малого средних лет, осужденного за убийство, стесняло мое присутствие, поэтому он молчал.

– Он христианин, – объяснил мне Ларсон.

– Прошу прощения, что вмешиваюсь, но разве не все боги позволяют людям страдать? – спросил я и затем решился сказать, что большинство религий помогают людям переносить страдания, но не обещают счастья. – Разве есть бог, который делает всех и каждого счастливым?

– Есть – это мой Бог, – самоуверенно улыбнулся Ларсон.

– Твой Бог – это не то же самое, что бог, признанный официальной религией, – успел сказать я, прежде чем меня вызвали к воротам. Когда я подошел к камере Ларсона в следующий раз, тот выпытывал у Чесотки:

– Ну, а кто твой бог?

Я остановился. Чесотка, обычно веселый и беззаботный, сейчас разозлился, о чем я ему и сказал.

Заключенный с нижней галереи, который слушал их разговор и которого мне не было видно, подал голос:

1. В США, определяя наказание, суд часто назначает одновременно минимальный и максимальный тюремный срок; так, получив "от восьми лет до пожизненного", по окончании этих восьми лет при условии хорошего поведения заключенный может рассчитывать на досрочное освобождение.

— Он злится, потому что Могучий сказал ему правду, а он к правде не готов.

Позже я мимоходом спросил Чесотку, злится ли он по-прежнему, и тот ответил, что нет. Ему нравилось разговаривать с Ларсоном независимо от того, что говорил Могучий, потому что того "интересует история, интересует, откуда мы взялись и ради чего живем на Земле".

Однажды Ларсон, прямо-таки в духе Спасителя, сказал мне о тех, кто приходил к нему:

— Они не могут любить меня так, как я их, потому что они не любят себя. Они не знают, кто они такие.

Два эти обстоятельства, настаивал он, как и третье — отсутствие в детстве достойного образца для подражания, — вот из-за чего большинство из них пошло по кривой дорожке. Они сделали неправильный выбор, но многим с самого детства внушали, что ничего путного из них не выйдет. Его собственная мать своими словами и упреками постепенно убивала его "возможности и способности".

Конечно, я испытывал радость, оттого что встретил в тюрьме мыслящего человека, но я любил разговаривать с Ларсоном и по другой причине: мне показалось, что пропасть между заключенным и офицером можно как-то преодолеть. Однажды я ввязался в перепалку с заключенным, которого звали Карри, обитавшим на нижней галерее: тот не желал выходить из камеры, злобно огрызался, несмотря на повторяющиеся приказы. Поднялся шум, и я с удивлением услышал голос Ларсона, кричавшего:

— Антрополог! Антрополог!

В данных обстоятельствах я мог расценить это лишь как издевательство.

— Ты чего? — спросил я его на следующий день.

— А что, Коновер, ты не хочешь, чтобы об этом кто-нибудь знал?

(Ларсон, как выяснилось, уже говорил обо мне с другими заключенными; на прошлой неделе двое, с кем я прежде не заговаривал, спрашивали, правда ли, что я имею научную степень.)

— Да, не хочу. Но еще мне не понравился твой тон. Он был не очень-то... дружелюбным.

— А что, мы друзья, Коновер?

— Это ты мне скажи, Ларсон.

Он молчал. Его вопрос попал в самую точку. Но я почувствовал, что больше он не будет надо мной смеяться, и оказался прав.

Может быть, из-за двойной жизни у меня начиналась паранойя, но она вообще не была редкостью в блоке "В". Даже относительно спокойный Ларсон не избежал этой "профессиональной болезни" заключенных. Страх, что, если будешь много болтать и разводить агитацию, можешь сгинуть где-нибудь по дороге в другую тюрьму или ни с того ни с сего заразиться СПИДом, был обычным делом среди чернокожих националистов, пояснил он. Вскоре я понял, что́ он имеет в виду: власти могут избавиться от тебя, если захотят.

— Но ведь родственники заявят о твоем исчезновении? — удивился я.

— Ты слышал о новом спортзале в "Клинтоне"? — вопросом на вопрос ответил он. Я сказал, что нет.

— Когда копали яму для фундамента, нашли много тел заключенных.

— Ты хочешь сказать, там было старое кладбище? Когда-то оно было и в "Синг-Синге", возле пятнадцатой башни.

— Да нет, там были не скелеты, а *трупы*, — сказал он.

Я на секунду задумался.

— Хм, верится с трудом.

Ларсон закивал головой, будто убедился в моей наивности. А потом сказал, что я, должно быть, не встречал охранников из захолустных городков, работающих в "Аттике", "Клинтоне" или "Комстоке". Сговорившись, эти люди "могут сделать все что угодно и легко замести следы".

Но подобные тайны не так уж занимали его, больше всего он думал об искуплении. Его преследовали мысли о расе и цвете кожи. Он хотел познать суть того, что́ значит быть черным, и таким образом стереть клеймо позора, вечно лежащее на чернокожих; антропология увлекала его как наука о возникновении человеческого рода. Но кроме того, мозги его были забиты псевдонауками. Черный, говорил он, — это цвет угля, элемента, который существовал всегда и везде. И значит, все мы изначально были черными. Черный к тому же — цвет справедливости; иначе почему мантии судей черные? Он рассказал мне о статье, которую написал белый исследователь о чудесных свойствах меланина, источника пигментации человеческой кожи. Японские сверхскоростные поезда работают как раз на меланине, было написано там. В коже первобытных людей в избытке содержался этот пигмент, который способен был поглощать энергию солнечного света, а также ветра и превращать ее в калории, если не было другой пищи. Из-за этого в былые времена люди жили дольше: по сто пятьдесят-двести лет. Я сказал ему, что сомневаюсь в истинности этого умозаключения, но ощутил гордость оттого, что этот самоучка поделился со мной своими странными теориями; я знал: просто так он никому не стал бы ничего подобного рассказывать, тем более офицеру.

— Думаешь, я человек второго сорта? — спросил он.

— Чего это вдруг? Из-за того, что ты черный? Конечно нет.

— Но ведь другие офицеры так считают?

На этот вопрос мне отвечать не хотелось, поэтому я попытался отшутиться:

— Может, кто и считает, но только не чернокожие офицеры.

— Напрасно ты так в этом уверен, — ответил Ларсон. Он полагал, что даже черным, если они добились успеха в жизни, нельзя доверять. — Посмотри, как часто они женятся на белых женщинах, общаются все больше с белыми. Они пытаются что-то доказать самим себе.

— Но ты ведь не пытаешься... — заметил я.

Ларсон протянул палец сквозь прутья решетки в сторону галереи, где за проволочным ограждением болтало несколько белых офицеров.

— Нет. Этому *быдлу* я ничего доказывать не собираюсь.

Хотя страдания исказили взгляд Ларсона на некоторые вещи, когда речь шла о строительстве новых тюрем, он был совершенно прав. Он дал мне несколько отксерокопированных заметок из радикальных журналов и сказал, что осуждает правительство, которое тратит огромные деньги на места лишения свободы — 35 миллиардов долларов в год. Причем, несмотря на снижение в США количества особо тяжких преступлений, сумма эта продолжает расти. Работая над своей книгой, я натолкнулся на статью в "Атлантик мансли" на ту же тему. Начиная с 1991 года количество преступлений, связанных с насилием, снизилось на 20 %, а количество заключенных в тюрьмах выросло на 50 %. В тюрьмах Калифорнии, где самая большая в Америке сеть исправительных заведений (на 40 % превышающая соответствующую федеральную), "через полтора года (дело было в декабре 1998 года) не останется места. Чтобы сохранить

нынешний уровень – а тюрьмы переполнены вдвое, – штату придется строить по крайней мере одну новую тюрьму в год".

Неужели количество особо тяжких преступлений снизилось из-за того, что столько народу сидит за решеткой? Конечно же нет. Исследования показали, что тюрьмы пополняются главным образом за счет тех, кто связан с наркотиками. Точно не известно, но эксперты считают, что главная причина снижения числа преступлений – растущая экономика, которая дает потенциальным преступникам возможность получить работу, а также демографические изменения: с 1980 года молодых людей в Соединенных Штатах из-за снижения рождаемости становится все меньше.

Тем временем строительство тюрем в США, похоже, растет по инерции. Одна из причин такого роста – увеличение количества доходных тюрем[1]. В Нью-Йорке их пока нет – профсоюзы дали отпор, но многие штаты польстились на обещания крупных компаний взять на себя часть расходов по содержанию заключенных. Ларсон спросил, правильно ли, что компании наживаются на том, что человек находится в тюрьме. Другими словами, они зарабатывают на его несчастье. С этой точки зрения, конечно, неправильно, ответил я.

Тюремная гигантомания затронула даже богом забытый, захолустный "Синг-Синг": начальник тюрьмы заявил, что достать деньги на строительство новых больших мастерских – его первоочередная задача.

– Я бы жизнь отдал, чтобы поломать эту систему, – сказал Ларсон, немало меня удивив.

– Разве ты не хочешь, чтобы здесь стало лучше?

– Нет. Деньги надо вкладывать в бедные кварталы, в образование. Нужно искоренять причины, по которым люди попадают сюда, – он взял статьи, которые давал мне. – Ты их прочитал?

Я кивнул.

– Тогда скажи мне, Коновер, правильно ли я понял. Здесь написано, что государство планирует строить тюрьмы, которые понадобятся через ближайшие десять-двенадцать лет, так?

Я снова кивнул.

– Это неправильно.

– Что неправильного в том, чтобы планировать будущее?

– Смотри, если они планируют тюрьму, которую будут строить только через десять или пятнадцать лет, получается, они строят планы на будущее нынешних детей. Они заранее определили в тюрьму того, кто сейчас еще ребенок. Понимаешь? Они уже не верят в этого ребенка. Они уже *сегодня* не сомневаются, что он пойдет по кривой дорожке. Ясно? Но ведь можно этого избежать, можно послать этого ребенка в хорошую школу, помочь его семье не развалиться – зачем же тратить деньги на то, чтобы посадить его в тюрьму?

Я не знал, что ответить Ларсону. Неожиданно я почувствовал себя ужасно глупо в своей униформе, каким-то бездушным инструментом, выполняющим чей-то дурацкий план. Но Ларсон не возлагал вину на меня.

– Эй, – сказал он на прощание, – когда придешь в следующий раз, придумай, о чем бы нам еще поболтать...

1. С недавних пор крупные производящие компании в США стали "покупать" тюрьмы, которые работают на них. Заключенных привлекают к труду, и в результате компании получают немалые прибыли. В последнее время участились разговоры о том, что такие исправительные заведения обходятся налогоплательщикам дороже, чем обычные тюрьмы, к тому же работодателям выгодно, чтобы заключенный сидел в тюрьме дольше и приносил больше прибыли. А способов продлить срок существует множество – например, за одно попадание в карцер арестанту добавляют тридцать дней к сроку.

В тюрьме иногда встречаются старые знакомые, а иногда и родственники. Вскоре после того, как я ушел с работы охранника, в "Нью-Йорк таймс" напечатали статью о человеке по имени Баба Энг, который уже двадцать два года сидел в "Синг-Синге", отбывая пожизненное заключение за убийство. И вот однажды в тюремный душ вошел новый заключенный и уставился на него.

— Папа! — воскликнул новичок.

Попавшего сюда за вооруженное ограбление сына мистер Энг не видел с дня своего ареста.

— Это была самая страшная минута в моей жизни, — признался он. — Мой сын оказался здесь — он повторил мой путь.

У тюремной жизни своя патология. Эксперты чрезвычайно озабочены вопросом, как влияет на детей то, что их родитель находится в местах лишения свободы. С одной стороны, у ребенка преступника больше шансов стать преступником, с другой — тюрьма кажется ему чем-то неизбежным: своеобразным обрядом вхождения во взрослую жизнь, *обрядом посвящения.* Но можно ли назвать обрядом то состояние душевной опустошенности, когда вы стареете, слабеете, становитесь менее привлекательным сексуально и все более отдаляетесь от общества?

Стоун рассказывал мне, что, когда он работал в исправительном учреждении "Грин Хэйвен", там был заключенный, у которого в той же тюрьме сидели дед и сын. На галерее "W" у нас были дядя и племянник. В камере на галерее "P" сидел за убийство один из братьев-близнецов, второй брат отбывал срок в другой тюрьме. В восьмидесятых годах нас с женой ограбили на Бруклин-Хайтс; грабителя, наркомана со стажем, поймали после того, как он ограбил еще нескольких человек. Трое его братьев, как нам сказали в полиции, уже находились в местах лишения свободы.

Но истории более странной, чем история Фостер, я не знаю. Эта высокая, нервная чернокожая женщина, с которой мы вместе посещали Академию, мать-одиночка и бывший охранник из "Райкерс-Айленд", от боли плакала в голос на занятиях по самообороне, постоянно опаздывала, и даже нам доставалось из-за ее медлительности. По слухам, потом ее не раз наказывали в "Синг-Синге": то она заснет на посту, то громко болтает во время богослужения для заключенных. Она перевелась в "Бедфорд-Хилс", женскую тюрьму строгого режима в округе Уэстчестер. Там, по словам Бакнера, нашего однокурсника, которого еще раньше отправили служить в "Бедфорд-Хилс", среди арестантов была пожилая женщина, беспрестанно хвастависшаяся охранникам, что ее дочь работает тут же, в тюрьме. Бакнер и другие наши однокурсники узнали по фотографии дочь, которой эта женщина так гордилась: то была Фостер.

Стать охранником в тюрьме, где сидит твоя мать, — пожалуй, самое странное воссоединение семьи, о каком мне только приходилось слышать...

"Работу оставляйте на работе" — слышишь постоянно в исправительных заведениях. Не приносите домой, в семью, свои проблемы и стрессы, накапливающиеся на рабочем месте. В теории это, конечно, просто. В жизни же у меня все было как у одной моей подруги, которая работала на заправочной станции. Она говорила, что даже после душа ее руки все равно пахли бензином. Тюрьма въедается в кожу и даже в плоть. Если проработать здесь достаточно долго, она проникнет к вам в душу.

Я считал, что у меня, как у стороннего наблюдателя системы, выработается иммунитет к этому синдрому. В конце концов, вся моя затея сводилась к тому, чтобы одной ногой переступить порог тюрьмы, а другой – остаться снаружи, и главное – не забывать, что это всего лишь *новый опыт*, но никак не моя *жизнь*. Непосредственное участие – довольно распространенный исследовательский метод в антропологии. Каждый день, приехав домой, я тихонько проскальзывал в заднюю дверь, чтобы дети не услышали, что я вернулся, и на час усаживался за компьютер – делал кое-какие записи и возвращался в нормальное состояние. Я вдыхал запах книг на полках и считал дни до очередного уик-энда, недели до отпуска и месяцы до того, как закончится год.

Между тем временем, когда я вставал из-за компьютера и отпускал няню, и временем, когда должна была приехать жена, у меня оставалось примерно два часа. Два часа – на "выздоровление", потому что дети были чисты, а я нет. Дочь, которой исполнился годик, и трехлетний сын были счастливы, что я дома, и мы отлично проводили эти часы вместе. Но с другой стороны, это было и самое мучительное время дня, потому что я и так целый день возился с "трудными детьми".

В тот августовский вечер я отпустил няню, мы поиграли во дворе, а когда стемнело, отправились в дом и стали складывать "Лего". В одном из наборов, которые нам дал сосед, была маленькая тюрьма. К ней прилагался полицейский (со значком, в фуражке и форме) и преступник (кепка, щетина на лице, на глазах маска).

Сын спросил:

– Кого сажают в тюрьму?

– Вора, – я указал на фигурку.

– А что же тогда делает полицейский?

– Сажает его в тюрьму.

Сын выглядел озадаченным.

– Значит, он плохой.

– Что ты имеешь в виду?

– Он плохой, потому что сажает другого в тюрьму.

– Нет-нет, – начал объяснять я, – преступник должен сесть в тюрьму, потому что он совершил плохой поступок. И полицейский делает это, чтобы нам всем жилось спокойно.

– Значит, преступник плохой и полицейский тоже плохой.

– Нет, – сказал я, – только преступник плохой.

Но сын меня так и не понял. Пожалуй, не он один запутался в этой системе.

Как обычно, конструктор детям быстро надоел. Сын хотел бороться. Его сестре игра наскучила. Я искупал их. Дочка уже была готова идти спать, но сын не унимался.

– Может, лучше почитаем книжку? – предложил я.

Дочь заснула, пока я читал им про слоника Хортона, и я тихонько уложил ее в постель. Сын тоже устал, но на месте ему не сиделось: он опрокидывал вещи, взбирался на спинку кресла, хватал ножницы, хотя знал, что я не разрешаю это делать. Когда я говорил по телефону с женой, которая позвонила предупредить, что задерживается, сын объявил, что сейчас пойдет и разбудит сестру.

– Нет, не пойдешь, – сказал я.

– Пойду! – радостно воскликнул он.

– Не делай этого, – повторил я.

— Ладно! — отозвался он, однако я услышал, как он рванул по лестнице к ее комнате.

Во мне словно что-то оборвалось. Весь день на мои приказы не обращали внимания преступники; я думал, что хоть дома все будет по-другому. Я взбежал по ступенькам и схватил его за пижаму у самой двери.

— Когда я говорю "нет", изволь слушаться! — злобно прошипел я, шлепнув его по попе, чем немало удивил самого себя.

Раньше я никогда этого не делал, поэтому сын тоже был удивлен. Он расплакался. Проснулась и дочь. В бешенстве я приказал ей отправляться обратно в постель. Но она не послушалась. Дом наполнился рыданиями и всхлипываниями.

— Быстро в комнату, — приказал я сыну и, когда он "отказался подчиниться", отнес его сам.

Я понял, что применил силу по отношению к собственному сыну, уже после того, как это сделал. Конечно, все можно было уладить по-другому, но в тот момент мне показалось, что на другие методы меня не хватит. В результате я прилег к нему на кровать и предложил еще почитать; он согласился, улегся рядом и крепко прижался к моей руке. Мне захотелось расплакаться, разрыдаться у него на плече. Но я отвернулся и начал читать.

С этого вечера все изменилось. Когда-то мы с женой, видя, как другие родители часами не могут уложить детей спать, дали себе зарок, что у нас с этим будет строго: читаем им книжку, целуем, желаем спокойной ночи, выключаем свет и выходим из комнаты.

Но в тот вечер я изменил нашим принципам. Почитав сыну, я потом еще полежал с ним пару минут. Достаточно было дать слабину разок-другой, и он сам стал требовать, чтобы я побыл с ним подольше. А потом это стало обычным делом: я обнимал его, он устраивался на моей руке, и вскоре я уже слышал, как он тихонько посапывает. То были самые прекрасные минуты за день, часто я сам засыпал тут же от усталости и умиротворения...

Когда я проснулся и пришел в нашу спальню, жена, которая всегда была мягче с детьми, чем я, бросила на меня скептический взгляд.

— Знаю, знаю, — сказал я. — Я не собирался засыпать, просто очень устал.

Это была отговорка, мне не хотелось оказаться слабее и мягче ее...

Прошло уже три года с тех пор, как я ушел из "Синг-Синга", и семь месяцев как "Новичок" увидел свет. Многие читатели спрашивают, что случилось после моего ухода, как власти отреагировали на мою книгу? Какова была реакция офицеров, с которыми я работал? Как этот опыт повлиял на мою дальнейшую жизнь? И многие спрашивают, что делать с тем, что можно назвать нашей тюремной проблемой?

Как и ожидалось, Нью-Йоркское управление исправительных заведений было от книги не в восторге. Устроившись работать офицером охраны, я ловко обошел их запрет на посещение Академии и тюрем. За несколько месяцев до публикации я позвонил Чарлзу Грайнеру, который все еще был начальником "Синг-Синга", и рассказал о своем проекте. Я полагал, что он, должно быть, уже обо всем знает — ведь я рассказывал другим офицерам, — и ожидал, что он будет со мной суров. Но выяснилось, что он ничего не знал и выслушал меня, как мне показалось, с большим интересом. Единственное, о чем он спросил, — описал ли я все так, как было на самом деле, и я ответил, что очень старался. Злобы я в его голосе не почувствовал; он сказал, что с удовольствием прочитает книгу.

Вскоре после того, как "Новичок" был опубликован, я узнал, что в исправительных заведениях он запрещен: нью-йоркским офицерам не разрешалось проносить книгу в тюрьмы, а у заключенных, которым ее пересылали по почте или передавали в комнате для свиданий, ее сразу конфисковывали. Один мой знакомый, который ездил в "Синг-Синг" по делам, был вынужден оставить свой экземпляр при входе.

Через три месяца после публикации в Управлении все же решили, что заключенным можно читать книгу, но лишь после того, как соответствующий экземпляр пройдет цензуру. Другими словами, заключенный, получивший "Новичка", должен был сразу отдать его охране, иначе ему грозило взыскание: запись в личном деле о том, что он занимался контрабандой. Из тюрьмы книгу отправляли в Олбани[1], где из нее вырывали те шесть страниц, которые, по словам властей, были "потенциальным источником возникновения конфликтных ситуаций и могли закончиться вспышками насилия среди жестоких и необузданных заключенных". В пресс-релизе не было сказано, какие именно страницы предполагалось вырывать, но говорилось, что имеются в виду те места, где описывается следующее: "использование охраной химических отравляющих веществ, захваты и точки прижатия артерий, применяемые офицерами для усмирения заключенных, использование защитных средств в случае захвата заложников, действия офицеров в случае массовых беспорядков и способы их ухода из зоны конфликта, радиус поражения и использование огнестрельного оружия, а также конкретные охранные системы во дворах "Синг-Синга". В общем, все то, чему нас учили в Академии, в том числе и то, что следует делать во время всеобщей тревоги, а также как не оказаться отрезанным на прогулочных площадках тюрьмы, где система охраны была устаревшей и оттого уязвимой.

Это была моя первая книга, увидевшая свет после того, как мир узнал, что такое электронная почта; за восемь месяцев, прошедших после публикации, мне прислали отзывы более трехсот офицеров и членов их семей, причем почти все были одобрительными. Среди них было и письмо от Винни Нигро, моего инструктора из Академии, который написал: "Спасибо за мои '15 минут'[2] и за рассказ". Один мой бывший коллега, тоже новичок, купивший книгу сразу после ее выхода в свет, написал мне: "Наконец-то общественность узнает о нас. Вы пишете правду, я как будто про себя читал".

Отзывы от заключенных приходят медленнее. Почти никто из тех, кого я описал в своей книге, больше не сидит в "Синг-Синге". Ларсон написал мне, что отбывает длительное заключение в карцере одной из тюрем на севере штата; после того как я послал ему книгу, он еще не ответил: наверное, власти еще не успели выдрать соответствующие страницы. Одна женщина, которая навещает заключенного в "Синг-Синге", передала ему экземпляр во время свидания и утверждает, что в тюрьме книга пошла по рукам и пользуется большой популярностью. Когда меня спрашивают, повлияла ли она на Управление тюрем, изменилось ли что-либо после этого, я отвечаю словами заключенного, которые мне пересказала та самая женщина: "Вскоре после публикации в блоке 'B', по-видимому впервые в истории, вымыли все окна".

Может, с точки зрения Управления в этом и состоит реформа.

1. Столица штата Нью-Йорк.
2. Известный американский художник Энди Уорхол (1931–1987), "отец" поп-арта, как-то сказал, что человеку, чтобы прославиться, нужно всего 15 минут. Эта фраза стала крылатой.

Патриция Хэмпл
Чужие секреты

Перевод Анастасии Власовой

Теперь на реке тихо. Полночь, темно, я одна – сижу в лодке под парусиновым навесом, вспоминаю свои предательства. Скольких я предала? Как я предавала?

...Здесь пограничная зона: уже не земля, еще не река. Крытая лодка приседает в воде; передо мной лежит мой старый город, моя судьба: вот собор, где венчались родители (огромный позеленевший купол как жюль-верновский воздушный корабль, приземлившийся на самый высокий холм Сент-Пола); вот Разберри-Айленд, на берегу которого пожилой иммигрант из Лаоса ловит ночных карпов, отравленных промышленными отходами; а там, ближе к центру города, бронзовая статуя моего земляка Скотта Фицджеральда – на руке у него всегда, даже летом, пальто, он одиноко стоит в безлюдном Райспарке напротив неоклассического, отрезвляюще серого здания публичной библиотеки, с которой все и началось. "Тебе здесь понравится", – сказала мать; держа ее за руку, я вошла – какое счастье! – в дом, полный книг.

Итак, мать и мое первое предательство.

Все-таки здорово быть писателем. Невероятное величие, головокружительная для большинства из нас высота. "Может, лучше библиотекарем, солнышко?" Или, на худой конец, почему бы мне не получить диплом учителя? "Будет за что ухватиться в случае чего", – сказала мать, словно преподавание – костыль для тех, кому отказало писательство. Но я была против овладения определенной профессией. Осторожность подсказывала мне, что быть слишком практичной в этой жизни опасно. Четыре года я читала стихи романтиков и прозу XIX века и вышла из университета, не обремененная особыми умениями, готовая приступить к тому, что я называла "моей работой".

Десять лет я занималась чем придется. Была редактором в местной газете, ходила по городским приютам – еврейским, католическим, пресвитерианским, записывала истории жизни их обитателей. Вела на нашей радиостанции передачу. Жила в деревенской общине, ела с такими же помешавшимися на поэзии бессребрениками, как я, петрушку и макароны, встречала юрких фермерских мышей визгом городской девчонки. Два года училась на университетских курсах – опять изучала поэзию. В общем, десять лет того и сего. И вот, когда мне было тридцать два, мою первую книгу, сборник стихов, приняли к публикации. Мама ликовала. В тот июньский день, торжествуя, она написала в календаре: "Приняли первую книгу!", словно заключила с судьбой контракт на мое многотомное издание и теперь отмечала, как он выполняется. Она попросила у меня рукопись, она сияла от радости и гордости за дочь. Моя мать, мой первый читатель.

© Pushcart Press, 2001
© А. Власова. Перевод, 2004

Здесь и начинается история предательств. Сборник открывало имажистское стихотворение "Дочки-матери", в котором традиционный конфликт между вечно подавленной дочерью и эксцентричной матерью смягчался изысканной сложностью метафор. Но в конце, там, где смысловая плотность достигала предела, стихотворение, словно невзначай, сбрасывало с себя дипломатичную загадочность, обнаруживая простой и понятный факт: моя мать больна эпилепсией. Тяжелая болезнь — чем не последний аккорд? Факт личной биографии превращался в символ, и я чувствовала, как мое стихотворение уходит ввысь-вглубь-вширь.

— Это нельзя печатать, — сказала мать в трубку, без обычной театральности и нажима. В голосе жертвы предательства — тогда я услышала его в первый раз — не было грусти. Только холодное бешенство.

— Почему? — спросила я невинно-наглым тоном.

Да кто я вообще такая? Писатель, конечно. Это моя работа — выдавать тайны и потом уходить от ответственности. В книжных обозрениях и на литературных семинарах это называется "смелостью". "Автор с поразительной смелостью исследует семейные...", "Это довольно смелая книга, в которой вскрываются..."

...Мать всегда говорила, что была феминисткой еще до появления феминизма. Но тут от ее жизнерадостности свободной амазонки не осталось и следа. Когда дело касалось эпилепсии, в матери проявлялось что-то мрачно-средневековое и взывать к ее здравому смыслу (обыкновенно не такому уж здравому) становилось бесполезно. Я бунтовала против ее судорожного страха перед припадками, ведь уже много лет благодаря успешному лечению болезнь не давала о себе знать. Все это, убеждала я ее, чепуха. Неужели она не понимает?

Гробовое молчание.

Мать была в бешенстве от моего предательства. Я была в ярости от ее экзальтированной скрытности.

— Диабет ведь, — философски заметила я, — ты бы не скрывала.

— Но у меня не диабет, — сказала она мрачно. Мои медицинские доводы разбились о ее священный стыд.

Я спорила, но смутно чувствовала шаткость своих позиций. Неуступчивость матери злила меня еще и потому, что была совершенно закономерна. Я гнулась под бременем ее стыда, как тростник под буйным ветром. В том, как мать оберегала свою тайну, ощущался напор, моим стихам и не снившийся. Но я знала: поэзия — это все. Ее отчаянная боязнь разоблачения превращала меня в маленькую глупую девочку, однако писать я должна была во что бы то ни стало. По-видимому, мне самой нечего было скрывать, я не носила на себе клейма и не боялась беспечных пытливых глаз равнодушного мира.

Конечно, я постаралась убедить мать, что это она маленькая и глупая. Смешно думать, сказала я, что ее могут уволить по медицинским соображениям, особенно из прогрессивного гуманитарного колледжа, где она работает библиотекарем.

— Ты не знаешь людей, — сказала мать скорбно, скомкав мой демократический порыв.

Все оказалось сложней, чем я думала. Я изменила тактику.

— Стихи никто не читает, — заявила я на голубом глазу. — Тебе не о чем беспокоиться.

Мать пропустила это мимо ушей.

— Ты не имеешь права, — просто сказала она.

Матери конституцию не процитируешь. Я спорила впустую,

она оставалась глуха к любым моим увещеваниям.

И вот, когда казалось, что все потеряно, меня внезапно осенило.

Я просто зашла с другого конца. Я сказала матери, что, если она хочет, я исключу стихотворение из сборника. Я помедлила, давая ей возможность оценить мое великодушие.

— Подумай, — сказала я. — Я исключу его. Только...

— Что? — настороженно спросила мать, справедливо ожидая подвоха.

— Только... — Я чувствовала, как во мне просыпается коммивояжер. — Прежде чем ты примешь решение, я хочу тебе сказать: это мои лучшие стихи.

Вуаля!

Собственно говоря, это было не вдохновение. Это была игра. Почти бессознательная, конечно, и все же не без расчета. Мама любила скачки. Мамина дочка, я неосознанно поставила на фаворита. Через день она позвонила и благословила публикацию стихотворения. "Оно стоит того", — сказала она, вторя моей саморекламе. В ее голосе не было ни ярости, ни досады, только легкая усталость.

Должно быть, решила я, она прочла стихи и, как Господь в дни творения, увидела, что это хорошо. Я не допускала мысли, что она уступает мне, идет на какие-то жертвы. Для нее так будет лучше, говорила я себе, как благонамеренная медсестра, входящая к испуганному пациенту с огромным шприцем и смирительной рубашкой. Злобный демон скрытности был повержен. Я не просто победила (что было сладостно само по себе), я освободила свою мать, вызволила из подземелья, в котором так долго держал ее стыд.

Я чувствовала себя борцом с мировыми силами зла. Стихи — мои стихи! — послужили делу освобождения. Моя мать не могла преодолеть себя, и я сделала признание вместо нее. Нам обеим пришлось нелегко. Но мы проникли в суть литературы, ее величайшее благо — уничижение тайн и табу. Вот она, добытая в борьбе награда, и разве Иоанн, мой любимый апостол, не говорил, что истина дарует свободу?

***

Память обманчива, частная жизнь химерична, а поскольку писатель — это и память, и частная жизнь, игра на поле литературы чревата скандалами. Знаменитое кафкианское "Сожги все!", разрубившее гордиев узел прав личности и общества, как и само творчество Кафки, отразило самую суть литературы двадцатого века — ее противоречивость, личностность, ощущение политической анархии.

Макс Брод, которому Кафка поручил сжечь свой архив, позаботился о самооправдании — впоследствии все повторяли его доводы: даже если забыть о том, что мир понес бы неоценимую утрату в случае уничтожения писем и дневников, содержавших рассказы и неоконченные романы писателя, Брод, как хорошо знал его добрый друг Кафка, никогда не сжег бы даже клочка бумаги. Кафка просил об услуге того, кто заведомо не мог ее оказать. Мы не виним Брода в предательстве умирающего друга. Вернее, не оцениваем его поступок с точки зрения этики — кому хотелось бы, чтобы он развел огонь?

Но Макс Брод был не один. Дору Диамант, свою последнюю пламенную любовь, Кафка тоже попросил уничтожить его бумаги. И она без колебаний сожгла все что можно. Дора поймала Кафку на слове — он был еще жив, когда она исполнила его просьбу. Не жена Кафки, не вдова, она не имела прав на его наследие, но даже Брод, его литера-

турный душеприказчик, считался с Дорой, советовался с ней, подумывая в 1930 году о публикации сочинений их общего друга. Стремясь прийти к компромиссу, Дора пишет Максу Броду: "Большинство не должно знать о Франце. Его мысли и чувства никого не касаются, потому что... потому что никто не способен их понять. Я считаю — я до сих пор думаю, — что хоть сколько-нибудь понять Франца без личного с ним знакомства невозможно. Все попытки понять его обречены, пока он до тебя не дотронется, не посмотрит тебе в глаза". Дора требует молчания жестко, даже высокомерно, и ревниво. "Я только теперь почувствовала, что боюсь делить его с другими". Она спокойно признается Броду в "мелочности" этого чувства. И не притворяется, что уничтожила бумаги Кафки из высокоморальных побуждений. В данном случае мораль ей на удивление чужда.

Дора не допускала даже мысли о публикации избежавших огня материалов. Как пишет в своей книге "Кошмар разума, или Жизнь Франца Кафки" Эрнст Поуэл[1], она отрицала, что часть из них сохранилась, до тех пор пока в 1933 году в дом, где она жила с мужем, видным немецким коммунистом, не нагрянули гестаповцы и не конфисковали все, включая бумаги Кафки, судьба которых по сей день неизвестна. Дора была в отчаянии и, по словам Поуэла, "призналась в своей глупости" Броду.

Поуэл, тонкий и чуткий исследователь прозы Кафки и его взаимоотношений с людьми, озадачен намеренной скрытностью Доры. "Чувство, заставившее эту на редкость правдивую женщину упорствовать во лжи, — пишет он с явным недоумением, — возможно, трогательно, но ее сентиментальность привела к трагической утрате".

Все так и не так. Ложь, в которой упорствовала Дора, была почти невинной — она просто скрывала от друзей и издателей Кафки, что сохранила часть его бумаг. Что же касается письма Доры к Броду, написанного за три года до обыска, то оно не похоже на письмо сентиментальной женщины. Это не сентиментальность. Это отчаянное противостояние литературе. Бумаги, о которых молчала Дора и которые по зловещей иронии судьбы поглотило другое молчание: страшный смерч середины века, — были (для их хранительницы в прямом смысле слова) личными документами. В конце концов, большинство произведений Кафки писались в дневниках или являются дневниками. А дневник — самый потаенный вид творчества. Он балансирует на краю литературы, он открыто-закрыт для читателя.

То, что по просьбе Кафки Дора уничтожила, и то, что она позднее скрыла от издателей, нельзя однозначно назвать "художественной литературой". Да, это замечательная проза, но это только письма и дневники. Их владелице они казались чем-то очень личным. Если между влюбленными было решено, что дневник — территория, на которую посторонним вход воспрещен, то в желании любившей Кафку женщины сохранить его творчество в тайне нет ничего возмутительного. Оно совершенно естественно и лишь подтверждает репутацию Доры как правдивого человека.

В письме к Броду Дора дает понять, что, как бы ни была исторически значима литературная правда, ей, Доре Диамант, ведомо кое-что поважнее истины, заключенной в словах. Мирясь с пугающим отсутствием Кафки, Дора хранит верность чудесной тайне его личности — "взглядам и прикосновениям".

1. Эрнст Поуэл (р. 1920) — американский литературовед. Помимо книги о Кафке, автор монографий о Гейне, Теодоре Герцле, мемуаров. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ничего сентиментального тут нет. В Доре говорит страстная жажда точности: истинный Кафка — только сам Кафка, все прочее — лишь приближения к нему. Даже гениальная литература — обман. Она захватчица и фальшивомонетчица. Согласно радикальным взглядам Доры, она не нужна: "Большинство не должно знать о Франце". Почему? Потому что это "знание", существующее лишь благодаря его творчеству, обречено быть неполным и, следовательно, неистинным. Другими словами, оно — ложь. И с точки зрения Доры, эта ложь страшнее укрывательства литературных ценностей.

Ни один писатель с ней бы не согласился. Кроме, разумеется, Кафки. Но он, возможно, и не писатель. Возможно, правильнее называть его провидцем. Во всяком случае, кто точно не писатель, так это Дора. Она принадлежит к другой религии, она верит не в слова, а в сокровенность самого человека, в касания рук и сияние глаз. А когда оно гаснет, молча скорбит, пренебрегая тщеславным утешительством литературы, отвергая ее бессмертие, не разделяя уверенности Шекспира в том, что "пока есть люди и пока есть зренье, жив будет стих и ты, его творенье"[1].

Все древние религии запрещали произносить имя Бога. Они знали, что истина безмолвна. И Дора Диамант, окруженная жрецами литературы, в своем одиночестве знала: частная жизнь человека священна и о ней надлежит молчать. Она не должна стать тем, что мы, писатели, зовем "материалом".

***

И не любовь, как у Доры, и не предательство. Ведь я не предала мать, я спасла ее. От немоты, жизни с оглядкой, суеверной тревоги, вековой дискриминации женщин и так далее. Если Дора Диамант не верила в литературу, то я не верила ни во что, кроме литературы.

Стоп-кадр: мне не больше двенадцати. Весенний день, точнее — майский день, потому что открыты окна и даже тяжелые двери школы Святого Луки. Свежий ветер шныряет по школе, как ловкий карманник, от сквозняка бьются в окнах шторы и хлопают двери классов. Всюду цветы — пышная плакучая сирень в банках из-под кофе и каменных горшочках скрывает от глаз босые ноги гипсовых богородиц в нишах. Аве Мария, наша майская королева![1]

Мы всем классом стоим в коридоре — то ли ждем начала урока, то ли собираемся на игровую площадку или куда-то еще. Нас построили в две шеренги и велели вести себя тихо. Конечно, мы разговариваем, но шепотом. Сестра не против. Она улыбается. Ничего особенного. Школьная жизнь идет своим чередом.

И вдруг, словно гром среди ясного неба: *я должна запечатлеть это в памяти.* Я понимаю, что это только мысль, но она не похожа на мысль. Она как приказ. Это так странно и хорошо, так ярко. Сестра в глухом черном платье, весенний ветер, гуляющий в темноте коридора, дверь в класс, у которого мы стоим и где дрожит сирень рядом с босоногой Девой Марией. А может, я услышала голос; Томми Хоу шепотом говорил — не помню кому: "Ладно, ладно, пусти".

Голос Томми, улыбка сестры, проделки ветра, чахнущая сирень — это важно, потому что я здесь и я заберу это с собой.

Только и всего. Но сколько всего!

1. Заключительные строки 18-го сонета. Перев. Б. Бера.

1. Майская королева — девушка, которую, согласно обычаю, венчают цветами на празднике весны.

"Запечатлеть в памяти" — что за странные взрослые слова зажглись в ту минуту в моем сознании? Именно эти слова, я уверена; в них-то как раз и сосредоточилась вся сила откровения — помню, я едва ли не тогда же подумала, что дети так не говорят. Это были "пожилые" слова, не мои. Но я услышала их и приручила. Возможно, подобная идея естественна лишь для ребенка из католической школы пятидесятых годов. Мы все должны были помнить и поминать. Год наполняли знаменательные события: дни поминания святых, религиозные праздники, Великий пост, пятничные посты. Мы поминали остановки Христа по пути на Голгофу. Мы молились за умерших, мы молились умершим.

Сколько в этом было жизни! Наша великая бодрая религия не просто прибирала нас к рукам. Она пускала нас по следу смысла; в поисках значимого мы всматривались в дни, недели, месяцы и семестры. Помянуть — все равно что признать вещь существующей, все равно что отдать дань событию, прошедшему или текущему. В тот майский день я впервые догадалась, чем заняты писатели. Конечно, будучи католичкой, я с детства думала о своем призвании. Сестра улыбалась, платье вздувалось от весеннего ветра, а я слушала голос — возможно, не с небес, но, несомненно, из туч.

***

Вера в исключительную благотворность "поминовений" не позволяла мне увидеть в них вред. Я не просто знала, что работа писателя благословенна, я чувствовала, что она освящает переживание, бесконечно углубляет и просветляет его. Мысль о том, что писатель "празднует" жизнь, никогда мне не нравилась, казалась хвастовством и ограничением жизни, которую писатель, с моей точки зрения, должен прежде всего исследовать. Но разве можно оскорбить, отдавая должное или проявляя внимание? Кто станет против этого возражать?

Как выяснилось, многие. Мать была первой, но не последней. Мой друг сказал однажды: "Пользуйся, только не используй". Но не так-то легко провести грань между тем и другим.

— Ты ведь не воспользуешься этим, правда? — спросила меня знакомая после откровенного разговора. Внезапно в ее глазах появился ужас, как будто мы в римейке "Вторжения похитителей тел"[1] и она играет роль землянина, который вдруг узнает, что я одна из пришельцев.

...Позднее, во время мастер-класса с Известным Писателем, я подняла руку и задала вопрос:

— В интервью вы говорите, что ваша проза автобиографична, — сказала я, готовя блокнот для его ценного совета. — Что, по-вашему, можно писать о родных и близких, а чего нельзя?

— Плевать на них, — ответил он, и я задрожала дрожью похитителя: так, значит, я *обречена* стать одним из них?

Шли годы, за первой моей книгой следовали другие, а я все рассказывала историю про мать и дочь. Я расставляла в ряд своих солдатиков: свою веру в благословенность писательства, свою честную готовность вверить судьбу стихотворения матери, ее смелое решение дать мне добро на публикацию стихов, которые она поначалу рассматривала как грубое вмешательство в ее жизнь, но в которых потом увидела свою свободу. Я и она, мы вместе победили зловещее молчание. Вот что может литература!

1. Фильм американского режиссера Филипа Кауфмана (1978), вторая из трех экранизаций одноименного романа Джека Финни.

Однажды мне позвонила поэтесса, которая писала что-то об автобиографической литературе. Она была среди тех, кому я рассказывала свою историю. Раньше я часто это делала, но с некоторых пор перестала. "Это замечательный случай, – сказала она. – Я хотела бы использовать его в эссе, привести в пример того, как..."

Слова "замечательный случай" прозвучали как обвинение. Мой прежний триумф смотрел на меня, презрительно улыбаясь. Я смутилась. "Мне нужно посоветоваться с матерью", – сказала я.

Мать сняла трубку сразу же. Она все еще работала библиотекарем.

– Помнишь стихи из моего первого сборника, – спросила я, – про меня, тебя и припадок?

– Конечно.

– Помнишь, я сказала, что, если ты не хочешь, я их печатать не буду, а ты сказала: "Печатай"?

– Да.

– Так вот, я только узнать... Ты этого правда хотела? То есть ты правда думала, что эти стихи помогут тебе раскрепоститься или... – Я говорила, как встревоженный подросток, а не как писатель, который десятки раз вел семинары, где рассказывал о своем образцово-показательном случае из личной практики. – Или...

Что *или*? Какая еще могла быть причина?

– ...Или ты так поступила, потому что ты меня любишь?

– Потому что я тебя люблю, – не раздумывая ответила мать. Пауза. – Те стихи я всегда ненавидела.

***

Снова на воде, качаюсь в старой лодке между берегом и рекой. Ночная привычка; но вот, как намек на кульминацию, небо вспорола молния и прокатилась барабанная дробь грома. С летней ночи скоро смоет жару.

Неудивительно, что я люблю эту зыбь. Меня привлекает "междустихийность" писательства, безвоздушное пространство, в которое я попадаю, когда пишу. Ни печали, ни радости; ни уверенности, ни смятения; я и здесь, и там – в неизведанном, но родном краю, на земле обетованной.

Творческий процесс (именно процесс – не предвкушение творчества и не его результат) дарит зыбкое удовольствие сумеречного движения навстречу смыслу. Мой давний любимец, беспечный бродяга Уитмен знал это. "Я кочую мыслью моей!" – воскликнул он когда-то. Адептом такой ars poetica[1] стала и я, качаясь-кочуя в волнах воображения.

Те, кто пишет мемуары, не всегда зачарованы памятью. Им просто "есть что сказать", их память сколотила себе капитал за счет отца, матери, их самих, какими они были прежде, какого-нибудь события. С ними что-то случилось. Это "что-то": инцест, насилие, невероятные свершения или тяжкие испытания, жизнь в роковые периоды истории или болезненно трудное детство – и становится автобиографией, лучшим и подлинным, как иногда кажется, свидетельством происшедшего.

В этом случае память – приспешница опыта. Она просто говорит об увиденном, делая тайное явным. Порой мемуары пишутся по причине тщеславия или жалости к себе, но нередко являются важным источником фактов. Свидетельства очевидцев формируют наше знание истории. Подчас они пронзительны и неотменимы – буря ответной злобы так и не смогла за полвека заглушить голос

1. Поэтическое искусство (*лат.*).

правды, звучащий со страниц дневника девочки-подростка[1]. Подобные документы чрезвычайно значимы. Иногда это единственный доступный нам исторический материал.

И все же память не фактохранилище. Иначе ее показания не вызывали бы споров, точность ее была бы безоговорочной. Сохранение личного опыта в тайне — не право, как доказывала Максу Броду Дора Диамант или как пыталась убедить меня моя мать. Не право, но больше чем право — неизбежность, отражающая любые атаки извне. Ведь опыт человека зависит от особенностей его памяти и воображения. То, что "видит" память, она "видит" сквозь призму способности ума к созданию образов. Наконец, в слове параллельные линии памяти и воображения пересекаются, разрывая кокон таинственности, обволакивающей личный опыт.

Как ни странно, современные мемуары — расплодившиеся, вытесняющие роман со страниц книжных обозрений — берут начало не в прозе, под которую они мимикрируют, а в поэзии. Память в действии — это не плавное развитие сюжета, а набор отрывочных лирических импульсов. Она искрит полузабытыми мгновениями: вот загорелся алый огонек "Мальборо" летней ночью 1954 года на берегу озера, гладкого как стекло; вот Летучим Голландцем промчался отрывок песенки — "светлячок, свети, мерцай"; вот мелькнули побелевшие костяшки отцовской руки на ключе зажигания — минус двадцать, мотор не заводится. Осколки воспоминаний, сверкнувшие в пыли.

Это и есть материал для мемуаров, детали, похороненные в глубинах памяти и взывающие к жизни, блестки смысла, рассыпанные по ткани повествования. Они живут и в рассказе, но, будучи детьми воображения, принадлежат стихии поэзии. Именно скромная деталь пробуждает память. Страстный мемуарист Набоков понимал это. "Пестуйте деталь, — советовал он, — божественную деталь". И тогда вас накроют волны давно ушедшего мира. Он обнимет вас — яркий, призрачно-настоящий.

Кафка называл себя "ожившей памятью". Его земляк Рильке тоже считал, что воображением правит память, а не опыт. Удивительно, что Кафка и Рильке, ставшие символами писателя и поэта в нашу эпоху, оба были из Праги — разница в возрасте всего лет восемь, оба робкие сыновья суровых отцов, адепты слова, глашатаи катастрофы, которая поглотила их мир и навсегда изменила литературу. Соловьи, залетевшие в шахту истории и певшие до конца.

В "Письмах молодому поэту" — небольшой книге, которую, скорее всего, молодые поэты хорошо знают, — Рильке обращается к студенту военной академии, где сам когда-то был так отчаянно несчастен. Он пишет, без сомнения, себе самому в юности, но пишет и неизвестному студенту и поэту Францу Ксаверу Каппусу. Несмотря на то что юноше всего девятнадцать, Рильке указывает ему не на опыт, а на память как на тайник, в котором скрыто величайшее для писателя сокровище. "И если бы Вы даже были в тюрьме, чьи стены не доносили бы до Ваших чувств ни один из звуков мира, — разве тогда Вы не владели бы Вашим детством, этим неоценимым, царственным богатством, этой сокровищницей воспоминаний[1]", — говорит он в первом письме. Это не призыв к ностальг-

1. Автор имеет в виду "Дневник Анны Франк".

1. Перев. Г. Ратгауза.

гии. Ребенком Рильке глубоко страдал, был подавлен и запуган. Он не идеализирует детство. Он вводит молодого поэта в храм древней религии памяти, в обрядах которой творческое сознание находит и празднует себя. Он верит, и я не могу не верить вместе с ним в причастие воспоминанием, в чудо воскрешения опыта, в вечную жизнь слова, возвращающего нам образ утраченного мира.

***

...Много лет назад, когда я жила в общине поэтов, питаясь петрушкой и макаронами, мне приснился сон, который я никогда не забуду. Я за рулем "бьюика" (наяву представить себя водителем этой безумной отцовской махины я не могу), еду с закрытыми глазами по улицам моего детства — Линвуд-, Лексингтон-, Оксфорд- и даже Снеллинг-стрит с ее грузовиками и грохотом. Мне страшно. Я знаю, что не могу открыть глаза. И передать руль мужчине с открытыми глазами, сидящему на пассажирском сиденье рядом со мной, тоже нельзя. Если я хочу добраться до места назначения, о котором мне ничего не известно, я должна ехать вслепую. Мой спутник то и дело кричит: "Ты нас убьешь!"...

Я теряю людей. Их уносит не смерть — их отнимает моя работа. И ту, что обвинила меня в узурпации ее жизни; и того, что сказал: "Я был в ужасе!"; поэта, обиженного моим описанием его ботинок; и милого пожилого пастора, сказавшего: "Я думал, вы понимаете, что такое частная беседа". И кого-то еще и еще. Я теряю людей постоянно. Их лица не блекнут — они резко от меня отворачиваются. Что ж, это их право.

Где-то у меня есть папка с письмами; я туда никогда не заглядываю. Письма в папке разные: длинные, дающие мне возможность оправдаться, и краткие, порывающие со мной навсегда. В них весь спектр чувств, переживаемых жертвами предательства: гнев, отвращение, изумление, обида, тихий страх, холодная злость. Это письма близких и дальних, почти незнакомых людей — тех, кого я так или иначе "использовала" (плюс одно неожиданное послание, в котором автор сетует, что я о нем не упомянула).

...Я мысленно сматываю в недобрый клубок похожие фразы из писем людей, переставших со мной разговаривать. Фразы одни и те же, но я каждый раз удивляюсь. "Не могу поверить, что ты подумала...", "Возможно, с твоей точки зрения все именно так, но я..."

Однако я вновь подхожу слишком близко, слоняюсь у забора с табличкой "Частное владение", высматриваю добычу. Ну уж нет. Пусть письма хранят молчание. Ни слова, ни имени. А то, глядишь — во сне, не во сне ли, — опять кто-нибудь явится и грозным голосом почившего праведника обвинит меня в убийстве.

Алексей Цветков
На *долгом перекрестке*

Эссе

Коровы не летают, а книги по философии не попадают в списки бестселлеров – это примеры суждений, справедливость которых кажется очевидной. Впрочем, некоторые из тех, о ком я хочу рассказать, настаивали на том, что безупречных и непогрешимых истин не бывает. Из чего уже вполне понятно, что речь пойдет не о коровах, а о философии, точнее – о философах.

Накануне Гражданской войны интеллектуальная ось Соединенных Штатов проходила через Новую Англию, Бостон и его окрестности, в первую очередь – через Кембридж и его Гарвардский университет. Некоторые из тамошних жителей всерьез считали Бостон мировым законодателем мнений – ошибка, с нашей точки зрения, комическая, но вполне простительная и свойственная любой стране в период формирования культурного национализма. Некоторые из светил этой предвоенной культуры действительно получили широкую известность за пределами США, в первую очередь представители школы так называемого трансцендентализма – Ралф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо. Но, как правило, человек первой половины XIX века, ищущий знакомства с новейшими достижениями философской мысли, считал своим долгом обратиться к трудам немецких, английских и шотландских мыслителей, а о Соединенных Штатах думал в последнюю очередь.

Духовная атмосфера этой новоанглийской культуры еще в значительной степени определялась религией. На смену суровому кальвинизму массачусетских пуритан уже пришло куда более либеральное унитарианство, но в целом религия по-прежнему оставалась стержнем любого мировоззрения, цементом, гарантирующим единство мира и отражающего этот мир знания. Именно религия в конечном счете привела новоанглийскую интеллигенцию к аболиционизму, идее нравственной недопустимости рабства и необходимости активной борьбы с ним. Эта борьба вылилась в самую кровопролитную войну XIX столетия и разрушила не только рабовладельческий уклад Юга, но и духовный уклад Севера, на обломках которого плеяда замечательных мыслителей создала новое американское мировоззрение. Вот как характеризует этот период Луис Менанд, автор недавно опубликованной книги "Метафизический клуб"[1]:

> Гражданская война смела рабовладельческую цивилизацию Юга, но она смела вместе с ней и почти всю интеллектуальную культуру Севера. Соединенным Штатам понадобилось почти полвека, чтобы создать новую культуру взамен прошлой, найти комплекс идей и образ мышления, которые помогали бы людям жить в условиях современной жизни.

Эта борьба и есть предмет книги Менанда.

Сквозь эту историю пролегает немало троп. Та, которая выбрана здесь, пролегает через жизни четырех людей: Оливера Уэнделла Холмса, Уильяма Джеймса, Чарлза Пирса и Джона Дьюи. Эти люди были весьма яркими личностями, и они не всегда друг с другом соглашались, но, взятые вместе, они куда больше ответственны за продвижение американской мысли в современный мир, чем любая другая группа философов.

Луис Менанд – профессор английского факультета Нью-Йоркского городского университета, но его из-

1. Louis Menand. The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. Farrar Straus & Giroux, 2002. Книга была удостоена Пулицеровской премии в 2002 г.

© А. Цветков, 2004

вестность выходит далеко за рамки академической камеры. Уже много лет он выступает как ведущий литературный и культурный критик журналов "Нью-Йоркер" и "Нью-Йорк ревью ов букс". Книга "Метафизический клуб", над которой он работал десять лет и которую критики и читатели встретили с энтузиазмом, уникальна по своему жанру – это история возникновения первой, по-настоящему оригинальной американской философской школы – прагматизма; такой материал, казалось бы, упирается в неизбежные ограничения доступности и читательского интереса. Эти ограничения автор с триумфом преодолел, выстроив сюжет как настоящее приключение: похождения философов в кильватере исторического катаклизма – и, что главное, приключение самой философской мысли. Кроме того, материал изложен таким образом, что интеллектуальная история вековой давности приобретает неожиданно актуальное для сегодняшнего дня звучание. Но начнем по порядку – представим главных героев.

Из всей перечисленной выше четверки Оливер Уэнделл Холмс менее всего известен за пределами США и, в частности, в России – о причинах я еще скажу пару слов. Он родился в одной из самых уважаемых бостонских семей – его отец, которого тоже звали Оливер Уэнделл Холмс, впоследствии декан Медицинской школы Гарвардского университета, был вдобавок средней руки прозаиком и поэтом, знакомым и приятелем практически всех светил новоанглийской элиты и, судя по отзывам, непревзойденным застольным говоруном. Доктор Холмс придерживался конформистских убеждений, полагая рабство злом, но раскол государства – еще большим злом, и поэтому предпочитал не расшатывать устоев. Его сын был уже окончательно сформировавшимся радикалом и с юных лет связал свою судьбу с движением за отмену рабства. Когда в 1861 году разразилась война, для юного Оливера Уэнделла Холмса, в ту пору студента Гарварда, не было иного нравственного выбора, кроме как записаться в армию юнионистов добровольцем.

Он ненавидел войну, и она предстала перед ним в самом страшном обличье. В первом же сражении он стал свидетелем гибели бостонских друзей и сам получил ранение, которое было объявлено смертельным. Он выжил, но был ранен еще дважды и прошел войну до конца. Когда она закончилась, Холмс поступил в Юридическую школу Гарвардского университета, стал известным юристом и философом права, а впоследствии – членом Верховного суда США. Он прожил целую историческую эпоху и умер в 1934 году. Он растерял остатки веры и на всю жизнь сохранил ненависть к абстрактным идеям, требующим гибели на своем алтаре. Холмс был естественным кандидатом в ряды будущих прагматистов.

Происхождение Уильяма Джеймса не было столь знатным – хотя бы потому, что он родился в ирландской семье. Его отец, Генри Джеймс-старший, сын разбогатевшего иммигранта, провел бурную молодость, затем обратился в веру последователей шведского мистика Сведенборга, отвоевал в суде миллионное отцовское наследство и посвятил дальнейшую жизнь образованию своих детей. Для детей эта миллионерская прихоть – постоянные смены школ и переезды из Америки в Европу и обратно – обернулась немалой головной болью, но плоды она принесла. Уильям Джеймс стал в конечном счете одним из пионеров экспериментальной психологии в США и крупнейшим американским философом, а его брат Генри – замечательным американским прозаиком.

Отцом Чарлза Пирса был Бенджамен Пирс, профессор математики Гарвардского университета и первый американский математик с мировым именем. Сын, с самого начала пошедший по стопам отца, долгие годы пользовался его покровительством и, наверное, отчасти из-за этого не сумел сделать особой научной карьеры. Пирс-старший, помимо академической деятельности, занимал высокий пост в Береговой геодезической службе США и пристроил туда сына. Кроме того, Чарлз, судя по сохранившимся фотографиям, был мужчина весьма яркой наружности и что касается слабого пола, всегда был готов злоупотребить его слабостью. Оба этих фактора привели в конечном счете к тому, что и семейная, и науч-

ная жизнь сложились для него крайне неудачно. К тому же, при всем исключительном математическом и философском таланте, он был в принципе неспособен к организованной работе, за всю жизнь не написал ни одной книги, а все его идеи дошли до нас в коротких эссе, черновиках и пересказах современников. В результате именно Джеймс, который, по собственному признанию, многие идеи Пирса понимал лишь с большим трудом, стал лидером и ведущим представителем прагматизма.

Последняя из фигур первого плана – Джон Дьюи, человек уже нового поколения, родившийся в канун Гражданской войны. Наибольшую известность ему принесла его побочная деятельность, в первую очередь школьная реформа, которая выросла из его философских интересов. Кроме того, Дьюи известен своими прогрессивными взглядами и неутомимой общественной деятельностью – он участвовал в создании таких организаций, как Американский союз гражданских свобод, Национальная ассоциация содействия цветному населению, Нью-Йоркский профсоюз учителей и многих других. Именно Дьюи, проживший девяносто три года, оставался олицетворением идей прагматизма до конца Второй мировой войны, когда их затмила новая реальность – идеологическое противостояние "холодной войны".

Победа Севера в Гражданской войне стала не только триумфом свободы над рабством, но и датой рождения современного капиталистического общества. Отличие от предшествующего этапа заключалось в том, что до войны еще сохранялись остатки прежней идеологии, уже упомянутого пуританства с его культом честности, бережливости и трудолюбия. В новой фазе одним из главных стимулов развития стал культ потребления, ни с каким пуританством не совместимый. Парадокс и уникальность капитализма, если сравнивать его с другими системами общественной организации, заключаются в том, что, хотя он нуждается в определенной идеологической среде для своего зарождения, развитой капитализм лишен собственной идеологии и не порождает ее. Капитализм индивидуалистичен по определению, его девиз – это плюрализм, полная свобода убеждений.

Противники капитализма, которых всегда было и остается немало, привычно обличают капиталистическую идеологию, навязывая обществу, лишенному духовного надзора, собственные принципы. Но такой подход возможен лишь при условии полной слепоты: единственная идеология, которую капитализм устойчиво порождает, – это именно идеология его противников, его обличителей. В любом современном развитом постиндустриальном обществе интеллектуальная элита в подавляющей массе враждебна существующему строю и в лучшем случае относится к нему с большой настороженностью. Это конечно же прямая противоположность официальной идеологии, цель которой всегда состоит в приведении взглядов граждан к общему знаменателю и воспитании в них лояльности режиму.

В этом наблюдении, разумеется, нет ничего нового – его можно было бы назвать тривиальным, если бы его с таким упорством не игнорировали. Вот что писал об этом известный социолог Дэниел Белл в своем замечательном труде "Культурные противоречия капитализма", вышедшем четверть столетия назад и по сей день ничуть не устаревшем:

> Поразительно, что буржуазное общество утвердило в экономике радикальный индивидуализм, продемонстрировав при этом готовность разорвать в клочья все традиционные социальные отношения, и, однако, буржуазный класс боялся радикального экспериментального индивидуализма модернистской культуры. Напротив, радикальные экспериментаторы в культуре, от Бодлера до Рембо и Альфреда Жарри, были готовы к исследованию всех проявлений опыта, но люто ненавидели буржуазную жизнь. Историю этой социологической загадки, происхождения этого антагонизма еще предстоит написать.

Уильяму Джеймсу и его бостонским друзьям и соратникам не приходило в голову строить новую идеологию на месте поверженной старой, да и интересы у большинства из них были ближе к естественно-научной сфере: у Пирса – космология и мате-

матическая логика, у самого Джеймса, по крайней мере до известного периода, — физиология и психология, а одним из главных стимулов их общей работы стала публикация дарвиновского "Происхождения видов". Свою совместную задачу они, скорее, видели в построении такого способа понимания мира, при котором сосуществование и опровержимость мнений стали бы не исключением, а правилом социального и научного диалога, — речь шла о разработке плюралистического метода.

Узловым моментом этой деятельности стало создание в Кембридже в начале семидесятых годов XIX века так называемого "Метафизического клуба" — частного философского общества, члены которого собирались, чтобы познакомить друг друга с плодами своей мысли. Душой этого общества был Чонси Райт, своеобразный гений "без портфеля", страдавший патологической стеснительностью и алкоголизмом и скончавшийся в сорок пять лет от инсульта. Его собственные взгляды были, может быть, слишком радикальными для большинства будущих прагматистов и отдавали некоторым нигилизмом, но каждый брал у него столько, сколько мог и хотел унести.

Науку прежнего времени лучше всего олицетворял французский математик и астроном Пьер-Симон Лаплас, считавший Вселенную чем-то вроде огромной машины, отдельные колесики которой — причины и следствия — в строгом взаимодействии определяли ход событий на все времена вперед. Во Вселенной Лапласа нет места для свободной воли, без которой и капитализм, и демократия становятся чистым абсурдом. С точки зрения прагматистов, абсурдом была именно Вселенная Лапласа, в которой любые мнения — те же колесики, и разницы между истинным и ложным не может быть, потому что и то и другое предопределено с начала времен.

Отражением небесной механики Лапласа в философии был восходящий к Канту классический немецкий идеализм, считавший категории истины объективными и существующими вечно, а человеческий разум — просто способом открытия этих категорий. Восстание прагматистов заключалось в том, что они раз и навсегда отвергли идею истины как предвечной категории. Истина — это средство для дальнейшей жизни, орудие, которое создает сам человек для своей будущей деятельности, и именно будущее — единственный критерий истинности. Инструмент, который оправдывает себя в работе, принимается на вооружение, а непригодный — отбрасывается, каковы бы ни были умственные конструкции, придуманные в его оправдание. Сам термин "прагматизм" принадлежит, по-видимому, Пирсу, который позаимствовал его у Канта, но больше у Канта не взяли ничего. Идея истины как инструмента отразилась в названии, которое дал своему учению самый молодой из этих философов Джон Дьюи — он окрестил его инструментализмом.

В конечном счете это были очень разные люди, что лишь гарантировало универсальность их метода. Интересы Оливера Уэнделла Холмса лежали в области права, но англосаксонское право — совсем не то, что европейские кодексы, построенные на тех же идеях универсализма. Всю свою жизнь Холмс боролся с предвзятыми теориями права, возвращаясь к прецеденту и конкретным обстоятельствам юридического акта. Именно к этому восходит блистательная школа американской юридической теории, вершиной которой стала "Теория справедливости" современного философа Джона Ролса.

Уильям Джеймс, друг безбожника Холмса, заработал от него немало упреков за попытки протащить в философию проблему религиозной веры. Но эта проблема всегда была для Джеймса центральной в силу самого склада его личности, именно ради этой проблемы он оставил психологию и ушел в профессиональные философы. По мнению Джеймса, критерий веры — не догма, а все та же проверка будущим, паскалевское пари, заключенное на это будущее. Человек, верующий в воскресение Христа, делает на него ставку как на гарантию своего спасения, и правильность этой ставки проверяется только им самим, в урочный час, а не сопоставлением с церковной догмой. Именно эта идея прагматизма получила самую широкую популярность в

мире, и именно из-за нее сам термин прагматизм в первую очередь связывается с именем Джеймса.

Но реальное значение прагматизма гораздо шире и актуальней, и лучше я вновь предоставлю слово Луису Менанду:

> Холмс, Джеймс, Пирс и Дьюи хотели низвести идеи, принципы и убеждения до человеческого уровня, потому что эти мыслители стремились избежать насилия, скрытого в абстракциях. Таков был один из уроков, преподанный им Гражданской войной. Политической системой, поддержке которой должна была служить их философия, была демократия. А суть демократии, как они ее понимали, не только в том, чтобы дать высказаться "правильным" людям, — она также в том, чтобы дать высказаться "неправильным" людям. Суть в том, чтобы предоставить место взглядам меньшинств и диссидентов с тем, чтобы в конечном счете интересы большинства восторжествовали. Демократия означает, что все на равных допущены к игре, но она также означает, что никто не может выйти за пределы игры. Современная американская мысль — мысль, ассоциируемая с Холмсом, Джеймсом, Пирсом и Дьюи, — представляет собой интеллектуальный триумф юнионизма.

Иными словами, именно эти люди, выпускники кембриджского "Метафизического клуба", стали окончательными победителями в борьбе с рабовладельческим Югом.

Последним столпом прагматизма, настоящим американским социальным институтом долгое время оставался Джон Дьюи. С началом "холодной войны" общество, над совершенствованием которого он десятилетиями работал, находилось в положении идеологического противостояния и само отчасти приобрело идеологические черты. Значит ли это, что прагматизм устарел? Холмс и Джеймс были, по словам Менанда, вполне современными людьми (они не создавали, подобно немецким идеалистам, систему на века), и такой оборот дела, скорее всего, не поверг бы их в уныние. Но актуальность книги Менанда не исчерпывается просто занимательной исторической экскурсией. Сегодня, как и в середине XIX века, идеологическое устройство мира, казавшееся незыблемым, рухнуло, и перед нами вновь стоят те же проблемы, которые стояли перед тогдашними "метафизиками". Эти люди уже убедили нас однажды, что свобода возможна всегда и что она невозможна без риска. Для тех же, кто страдает ностальгией по временам идеологической несокрушимости, собственная свобода — обуза, и тем сильнее они ненавидят нашу с вами.

Луис Менанд

"Я стараюсь писать занимательно..."

Из интервью[1]

Вопрос. Такое впечатление, что в вас очень легко уживаются журналист и ученый. Когда-то вы работали в "Нью рипаблик", а теперь являетесь штатным обозревателем "Нью-Йоркера" и сотрудничаете с "Нью-Йорк ревью оф букс", но в то же самое время занимаетесь литературоведением: выпустили книгу о модернизме, составили для "Кембриджской истории литературной критики" том о модернизме и "новой критике". Расскажите, пожалуйста, как это вам удается.

Ответ. Я учился в Помона-колледже[2] в те годы, когда на кафедре английской филологии, так сказать, царила эклектика. Одни преподаватели писали стихи, другие ставили спектакли, третьи готовили академические издания, занимались историей литературы, критикой — кто чем. Среди нас, студентов, было очень модно следить за свежими публикациями современной поэзии в малотиражных журналах. Казалось, что такой и должна быть кафедра филологии: широчайший спектр самых разных подходов к литературе и к культуре слова, тесная связь с "внешним миром" — с современной литературой и искусством. Поэтому я не чувствую себя каким-то исключением из нормы. Кроме того, мне очень повезло, что я работаю в Нью-Йоркском городском университете — преподавательский состав у нас довольно пестрый. Мы все занимаемся самыми разными вещами, но не разграничиваем их на "высокое" и "низкое".

1. "Миннесота ревью", 2001 № 52–54.
2. Помона-колледж — частное учебное заведение в Калифорнии, считающееся одним из ведущих гуманитарных колледжей США. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вопрос. И все же в академической среде такой универсализм — скорее исключение. Вас можно отнести к новой породе — к так называемым "интеллектуалам-просветителям". Как вы "наводите мосты" между разными областями своей деятельности?

Ответ. Мне часто говорят, что я слишком распыляю свои силы, разрываясь между преподаванием и статьями для "Нью-Йоркера". Но это не так. Я считаю себя не ученым и не журналистом, а просто литератором. Человеком, который пишет то, что ему интересно. Я просто стараюсь, как и любой автор, писать занимательно, нескучно. Пусть люди, приобретая знания, заодно получают удовольствие. И мне абсолютно не важно, о ком писать — об Элиоте или Томе Клэнси. Я не делаю различий между своими текстами: мол, эта статья — чисто научная, а та продиктована моими политическими убеждениями. Хотя термин "интеллектуал-просветитель" такое деление предполагает. Обычно он применяется по отношению к авторитетным специалистам в какой-либо узкой области, которые чувствуют необходимость высказываться публично по поводу актуальных, глубоко их волнующих проблем. Я не стал бы отождествлять себя с интеллектуалами этого типа. Я — литератор.

Вопрос. Окончив Помона-колледж, где вы специализировались на литературном творчестве, вы поступили в магистратуру Колумбийского университета. Почему вы выбрали литературоведение?

Ответ. Почти случайно. Вначале я год проучился на юриста, потом думал поступить в школу журналистики. Но ее декан меня отговорил: "Для каких изданий вы хотели бы писать? Ах, для "Нью-Йоркера"? Тогда вам не стоит у нас учиться — только зря потратите время". Позднее я убедился в мудрости этого совета. Искать работу мне не хотелось, и я пошел в магистратуру. Обнаружил, к своему удивлению, что мне нравится преподавать. С тех пор этим и занимаюсь.

Что до литературоведения, то в основном я исследую не литературу, а критику. Иначе говоря, меня всегда больше интересовала история идей, а не литература. Вот почему, работая над "Метафизическим клубом", где литература не затрагивается вообще, я чувствовал себя в своей стихии.

Вопрос. Как ваши труды соотносятся с современной теорией литературы — например, с течением "нового историзма"? Складывается впечатление, что вы как бы "выключены" из академического, "нормального" литературоведения...

Ответ. Я не теоретик, я не пишу теоретических статей. Но, насколько могу судить, я такой же представитель эпохи постмодерна, как и все остальные. По-моему, от авторов "Нью-Йоркера" или "Нью-Йорк ревью оф букс" автоматически ждут традиционных взглядов на литературу. У меня взгляды иные, но, видимо, сам мой стиль заставляет предположить, будто я отрицаю современную теорию литературы... Ничего подобного! Я не считаю себя светилом теоретической мысли, но, кажется, и не слишком отстаю от актуальных тенденций в литературоведении.

Что до "нового историзма", то еще раз подчеркну — возможное сходство обусловлено лишь моей манерой письма. Какую бы тему я ни взял, я склонен все рассматривать под историческим углом, докапываться до глубинной сути происходящего. Я не мню себя воином, обороняющим бастионы высокой культуры, — моему самоощущению такое совершенно чуждо.

Вопрос. Теперь, когда "Метафизический клуб" — этот весьма масштабный труд — закончен, над чем вы работаете? Как-то вы говорили, что собираетесь написать книгу о 60-х...

Ответ. Поделюсь одним забавным наблюдением. Как-то я читал курс лекций о 60-х. Точнее, это был семинар для аспирантов, где 60-е рассматривались с самых разных точек зрения: мы изучали искусство и политическую мысль, философию, литературу и кино... Думаю, это был один из самых удачных моих университетских семинаров. Студенты подобрались замечательные, влюбленные в тему. Мы, так сказать, нашли друг друга. На последнем занятии я сообщил, что на основе материала, который мы обсуждали, хотел бы написать книгу. И спросил у студентов, стоит ли этим заниматься. Все хором ответили: "Нет!" Почему, я разобрался не сразу. Оказалось, что им интересно, как произошло резкое расслоение культуры на "низкую" и "высокую". Им интересно, каким образом в литературоведение и "политику пола"[1] вошло понятие "гендер". Им интересны "Золотая записная книжка"[2], Бетти Фриден, Малкольм Икс[3] и Мартин Лютер Кинг. Но в то же время молодые считают все эти явления всего лишь исходными — и даже примитивными — версиями идей и понятий, которые у них уже в зубах навязли.

На семинаре мы читали "Историю научных революций". Для меня эта книга в свое время — примерно в 1972-м — стала откровением. А для них это избитые истины, то, о чем пишут в любой газете. Идеи 60-х перестали быть провокационными. Это открытие меня обескуражило, но затем я понял, что единственный выход — написать обо всем периоде "холодной войны" в целом. Чтобы разобраться с 60-ми, нужно разобраться с 50-ми, а также с 70-ми и 80-ми, когда "радиоактивные осадки" культурного взрыва впитались в почву и революционные идеи 60-х стали частью массового сознания. Итак, я решил написать историю интеллектуальной жизни в период "холодной войны", хотя и сомневаюсь, что такой глобальный проект мне по плечу.

Перевод С. Силаковой

1. "Политика пола" — термин, введенный феминисткой "второй волны" Кейт Миллет, предложившей новый взгляд на отношения власти и общества.
2. "Золотая записная книжка" — вышедший в 1962 году роман английской писательницы Дорис Лессинг (р. 1919). Приобрел огромную популярность в среде феминисток.
3. Лидер радикального крыла в движении афроамериканцев за гражданские права.

Александра Борисенко, Виктор Сонькин

Литературные премии США – XXI век

Институт литературных премий опирается на несбыточное желание человечества найти идеальный критерий оценки искусства. Всем понятно, что такого критерия не существует, и все-таки книга, получившая престижную награду, приобретает особый статус: увеличивается тираж, появляются экранизации, писатель становится знаменитостью. Разумеется, от этого выигрывает и издательство: людям всегда приятно покупать книги, о которых достоверно известно, что они — самые лучшие (как правило, так и пишут прямо на обложке).

Процесс присуждения книжных премий в США поражает размахом и разнообразием. Награждается поэзия и проза, драматургия, публицистика, художественный перевод; не забывают иллюстраторов и фотографов. При этом решается одновременно целый ряд задач (порой противоречивых): это и честная попытка выбрать лучшее, и чисто коммерческий ход, позволяющий продавать больше книг, и привлечение внимания к различным социальным группам и проблемам.

Есть американские премии, которые вручают только американцам. Есть также премии, не имеющие национальных ограничений, — и их довольно много. Например, Национальная книжная премия общества критиков (National Book Critics Circle Award) в 2002 году была присуждена роману "Искупление" британского писателя Иэна Макьюена, который был также номинирован на Букеровскую премию у себя на родине, но не получил ее. Давно уже идет речь о том, что самую престижную британскую награду за произведение на английском языке следует присуждать и американским писателям. С ходом времени такое развитие событий становится все более вероятным, но британскую общественность возмущает подобное святотатство. Например, писатель австралийского происхождения Питер Кэри, дважды лауреат Букера, заметил, что такой шаг, по-видимому, должен означать, что и американцы в свою очередь распространят Пулицеровскую и Американскую национальную премии на всю англоязычную литературу. Конечно, оценка художественного произведения всегда субъективна. Однако проанализировав, какие именно произведения отмечены премиями, можно довольно точно проследить определенные тенденции в литературном процессе и читательском восприятии. Так, если окинуть взглядом книги, которые получили основные американские награды в этом столетии (то есть за последние три года), станет ясно, что для сегодняшней Америки актуальна "мысль семейная", заключенная в неспешное, многостраничное повествование, возвращающее нас к традиционному роману XIX века. Семейные саги составляют почти половину почетного списка; в моду вошли длинные тексты, связные сюжеты (предпочтительно с легкой детективной интригой), живые, запоминающиеся персонажи (о которых хочется знать, что́ с ними произойдет дальше) — члены большой семьи с увлекательным и запутанным прошлым и, конечно, любовь.

Перейдем к характеристике премий, во многом определяющих литературную жизнь США. Первой следует назвать **Национальную книжную пре-**

© А. Борисенко, В. Сонькин, 2004

мию в области художественной литературы (National Book Award for Fiction)[1], основанную группой издателей в 1950 году. Премию вручают по четырем номинациям: художественная литература, поэзия и детская литература, а также — вопреки названию премии — документальная литература. Победителей в каждой номинации определяет независимое жюри из пяти человек. Приз — около 10 тысяч долларов и хрустальная статуэтка. Церемония проводится в Нью-Йорке.

В XXI веке этой премии были удостоены следующие книги.

2001 год: Джонатан Франзен. *Поправки* (Jonathan Franzen. *The Corrections*. New York: Farrar Straus & Giroux).

Это история безумной семейки Ламбертов, которые пытаются собраться вместе на Рождество. У всех свои проблемы: старик-отец, страдающий болезнью Паркинсона, постепенно впадает в маразм, его жена утомлена пятьюдесятью годами службы на посту супруги и матери, дети — кто в депрессии, кто уволен с теплого университетского местечка за роман со студенткой, кто крутит любовь с женатым мужчиной. Все это, как и положено в семейной саге, происходит на обширной территории, на разных широтах и в разных странах мира, в частности в Литве. "Одни современные писатели — мастера захватывающего рассказа, другие ловко играют словами на постмодернистский манер, третьи блестяще обрисовывают сложные характеры, но мало кому удается объединить все три таланта. Франзен — один из таких счастливчиков", — пишет еженедельник "Паблишерс уикли".

2002 год: Джулия Гласс. *Три июня* (Julia Glass. *Three Junes*. New York: Pantheon Books).

Это тоже семейная сага. Роман-дебют Джулии Гласс — добротное повествование с большим количеством персонажей, неожиданным переплетением судеб, поисками счастья. Более подробно об этой книге можно узнать в этом же номере "ИЛ" в рубрике "Среди книг".

2003 год: Ширли Хаззард. *Великий пожар* (Shirley Hazzard. *The Great Fire*. New York: Farrar Straus & Giroux).

После двадцатилетнего молчания Ширли Хаззард написала роман о духовных исканиях тридцатилетнего журналиста, сына знаменитого писателя и героя Второй мировой войны, который вскоре после победы над фашизмом приезжает в Японию, чтобы собрать материал для книги о том, как отразились исторические катаклизмы на традиционной структуре японского общества. Там он знакомится с юной Хелен и ее смертельно больным братом Беном и вскоре понимает, что, несмотря на разницу в возрасте, влюбился в девушку. Хаззард пишет о том, как любовь может разрушить жизнь; по мнению критиков, это "тихий роман", но его значение выходит далеко за пределы времени и места действия.

На церемонии вручения Национальной книжной премии 2003 года произошло нечто неожиданное: медаль "За выдающийся вклад в американскую литературу" была вручена Стивену Кингу. Впервые столь престижная награда досталась представителю массовой литературы; некоторые критики поспешили выразить свое неодобрение, сочтя Кинга недостойным стоять в одном ряду с Солом Беллоу, Артуром Миллером и Тони Моррисон. Сам Кинг, приняв медаль под бурные аплодисменты собравшихся, сокрушался в благодарственной речи, что подобные почести не воздают популярным авторам чаще. Обращаясь к аудитории, он сказал: "Многие не упускают случая гордо заявить, что не читали ни строчки Джона Гришема или Тома Клэнси[1]. Вы что думаете, вам начисляют очки за то, что вы добровольно отказываетесь от связи с собственной культурой?"

Вторая важнейшая американская **премия — Пулицеровская (Pulitzer Prize)**[2] учреждена в 1917 году на деньги Йозефа Пулицера, выдающегося американского журналиста венгерского происхождения, в соответствии с его посмертной волей. Премия

1. Адрес в Интернете: http://www.nationalbook.org/nbawinners.html

1. Авторы остросюжетных романов.
2. Адрес в Интернете: http://www.pulitzer.org

распространяется на все области литературы, журналистики (в том числе и на фотожурналистику) и музыки. Решения профессиональных жюри подлежат утверждению специальным комитетом, который имеет право менять решение профессионалов. Требования к произведению, отмеченному премией в области художественной литературы, формулируются так: "За выдающееся художественное произведение американского автора, предпочтительно посвященное описанию американской жизни". Организационная работа ведется на факультете журналистики Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Лауреаты Пулицеровской премии последних трех лет.

2001 год: Майкл Чейбон. *Удивительные приключения Кавальера и Клэя* (Michael Chabon. *The Amazing Adventures of Kavalier and Clay.* New York: Random House).

Сэмюэл Клэйман и Джозеф Кавальер впервые встречаются в Нью-Йорке во время Второй мировой войны. Джозеф сбежал из захваченной фашистами Праги к американским родственникам, но вся его семья осталась в Европе. Объединив свои таланты (писателя и художника), они находят идеальную область для совместного творчества: сочинение комиксов, супергерой которых по имени Эскапист летает по всему миру и делает то, что хотели бы делать они сами, — борется с мировым злом, в том числе и с "империей зла", носящей имя Железная Цепь, и с ее фюрером Аттилой Хаксоффом. Повседневная жизнь авторов, американские реалии военного времени, зловещая тень холокоста, нависшая над родственниками Кавальера, и невероятные эскапады Эскаписта смешиваются в бурное трагикомическое повествование. Об этом романе см. также интервью с М. Чейбоном в этом номере "ИЛ".

2002 год: Ричард Руссо. *Эмпайр-Фолс* (Richard Russo. *Empire Falls.* New York: Alfred A. Knopf).

В романе перед читателем разворачивается широкая панорама современной провинциальной жизни северо-востока США (штат Мэн) и проходит целая галерея человеческих типов — книга Руссо продолжает богатую традицию американских романов о "простых людях". Более обстоятельный разбор этой семейной саги вы найдете в рецензии, опубликованной в настоящем номере "ИЛ".

2003 год: Джеффри Евгенидес. *Средний пол* (Jeffrey Eugenidis. *Middlesex.* New York: Farrar Straus & Giroux).

Семейная сага. Чтобы придать остроту повествованию, автор прибегает к радикальному средству — выбирает в герои-рассказчики гермафродита. "Мне довелось появиться на свет дважды, — начинает он(а) свой рассказ, — сначала в виде новорожденной девочки в январе 1960 года, одним детройтским утром, на удивление ясным; потом — мальчика-подростка в приемном покое больницы городка Петоски, штат Мичиган, в августе 1974-го". Каллиопа-Кэл начинает рассказ о своей семье с полумифических малайзийских предков, живших на склонах горы Олимп; потом читатель переносится в Чикаго времен сухого закона, затем — в Детройт периода расцвета его автомобильной славы, далее действие происходит на фоне расовых волнений 1967 года... "То мужчина, то женщина", — писал Вергилий о Протее, герое греческих мифов. Неудивительно, что именно писатель греческого происхождения решил использовать уроки античной культуры.

Третья по значению премия — **ПЕН/Фолкнер (PEN/Faulkner)** — присуждается за произведения художественной литературы[1]. В основу фонда ПЕН/Фолкнер легла Нобелевская премия Уильяма Фолкнера, которую писатель пожертвовал на развитие американской литературы. ПЕН/Фолкнер существует с 1981 года. За это время премия превратилась в крупнейшую денежную награду (призовой фонд — около 35 тыс. долларов, из них 15 — победителю, остальное делится поровну между четырьмя другими финалистами). Жюри из трех человек (как правило, известные писатели и критики) выбирает сначала пять лучших произведений года, затем одно, которое и получает главную награду. Церемония

1. Адрес в Интернете: http://www.penfaulkner.org

проводится в Вашингтоне (округ Колумбия).

Следующие книги удостоились внимания жюри за последние годы.

2001 год: Филип Рот. *Людское клеймо* (Philip Roth. *The Human Stain.* New York, Boston: Houghton Mifflin Co).

Перевод этого романа открывает настоящий номер журнала.

2002 год: Энн Патчетт. *Бельканто* (Ann Patchet. *Bel Canto.* New York: HarperCollins).

Фабула романа – долгая (продолжающаяся много месяцев, может быть, даже лет) история сближения террористов и заложников. Решение жюри вызывает некоторое недоумение, так как эта книга, вышедшая из печати уже после событий 11 сентября 2001 года, в корне противоречит национальной политике и гражданскому самоощущению современной Америки. В рубрике "Среди книг" этого номера "ИЛ" более подробно излагается мнение рецензентов по поводу данного произведения.

2003 год: Сабина Мюррей. *Капризы* (Sabine Murray. *The Caprices.* New York, Boston: Houghton Mifflin Co).

Это сборник рассказов, посвященных событиям Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии – в Малайзии, на Филиппинах, в Новой Гвинее. Некоторые критики сравнивают писательницу (филиппинку по происхождению) с автором "Английского пациента" Ондаатжи; другие удивляются, что такая незначительная книга – сюжет первых рассказов забывается прежде, чем вы доходите до последних, – получила столь престижную награду.

Национальная книжная премия общества критиков (National Book Critics Circle Award)[1] присуждается сообществом литературных обозревателей и критиков (их более 700 человек) в пяти номинациях. Общество критиков существует с 1974 года, премия вручается регулярно с 1981 года.

В 2001 году премию получил роман, переведенный с немецкого:

Винфрид Георг Зебальд. *Аустерлиц* (W. G. Sebald. *Austerlitz.* New York: Random House).

1. Адрес в Интернете:
http://www.bookcritics.org/awards.html

Конец 60-х годов. Безымянный рассказчик коротает время в зале ожидания на вокзале в Антверпене. Он знакомится с историком архитектуры по фамилии Аустерлиц и завязывает с ним разговор. На протяжении последующих десятилетий рассказчик мистическим образом встречается со своим знакомцем в разных уголках мира. Тема романа – странствие по дорогам послевоенной европейской истории. "Если великий роман отличается тем, что создает свой собственный мир, "Аустерлиц", возможно, первый великий роман нового века", – пишет критик Регина Марлер. Винфрид Георг Зебальд – немецкий писатель, безвременно скончавшийся в 2001 году.

2002 год: Иэн Макьюен. *Искупление* (Ian McEwan. *Atonement.* New York: Nan A. Talese).

Как ни странно, это тоже семейная сага, хотя британскому писателю Иэну Макьюену подобный жанр до недавнего времени был идейно чужд. Тринадцатилетняя Брайони Таллис случайно совершает преступление, за которое потом расплачивается всю последующую жизнь. В романе есть и сцены из жизни богатого английского поместья 1930-х годов, и сражения Второй мировой войны, и лирические отступления, и картины современности[1].

Перечисленные премии ориентированы на "литературу с большой буквы" (что бы это ни означало), тем не менее отбор литературы чрезвычайно демократичен: огромное количество премий присуждается за произведения, выражающие интересы национальных, сексуальных и прочих меньшинств. Например, **премией Коретты Скотта Кинга (Coretta Scott King Award)**[2] награждают авторов и книжных иллюстраторов афроамериканского происхождения, чьи книги посвящены осмыслению "американской мечты"; премией **Лямбда (Lambda)**[3], одна из номинаций которой – "Литература для детей и юно-

1. Подробнее об этом романе см.: Александра Борисенко. Иэн Макьюен – Фауст и фантаст. "ИЛ", 2003, № 10.
2. Адрес в Интернете:
http://www.ala.org/srrt/csking
3. Адрес в Интернете:
http://www.lamdbalit.org

шества", отмечаются литературные произведения гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов.

В США существует множество престижных наград "всемирного охвата" в области массовой литературы. Например, **Хьюго (Hugo)**[1] и **Небула (Nebula)**[2] – за выдающиеся достижения в области фантастики. "Хьюго" вручает Всемирная ассоциация научной фантастики (WSFS), которая проводит ежегодные конгрессы в разных точках мира. Премия существует с 1953 года и носит имя Хьюго Гернсбека, классика научной фантастики. Это "читательская" премия – члены ассоциации выбирают победителя путем голосования (в сущности, в голосовании могут принять участие все желающие). "Небулу" вручает Американская ассоциация писателей-фантастов (SFWA). Премия существует с 1965 года. Голосовать разрешается только членам SFWA.

Самые крупные награды за достижения в детективном жанре – это **Эдгар (Edgar)**[3], награда за лучший детектив, и **Агата (Agatha)**[4] – за лучший детектив так называемого "герметичного жанра"[5], наиболее совершенным образцом которого являются романы Агаты Кристи: это детективы без натуралистичных сцен насилия и кровопролития, с изящной логической загадкой, как правило, с участием частного сыщика. "Эдгар" вручается Ассоциацией американских авторов детективов с 1954 года и представлен многочисленными номинациями. Церемония проходит в Нью-Йорке. "Агата" присуждается с 1992 года корпорацией "Malice Domestic Ltd".

Существуют также премии за достижения в жанре фэнтези – **Уорлд фэнтези (World Fantasy Award)**, за лучший вестерн – **Спур (Spur Award)**, за лучший любовный роман – **РИТА (RITA)**, за лучшие "романы ужасов" (произведения в жанре "horror") – **премия Брэма Стокера (Bram Stoker Award)**, присуждаемая ежегодно по многим номинациям; за лучшую кулинарную книгу – **премия Фонда Джеймса Берда (James Beard Foundation Kitchen Aid Book Award),** которая была учреждена в 1966 году, и прочие.

Самую престижную награду за выдающийся вклад в американскую детскую литературу – **медаль Ньюбери (Newbery Medal)**[1] – вручает Американская библиотечная ассоциация.

Американская библиотечная ассоциация (ALA) отмечает и достижения литературы для взрослых – так, присуждается награда за **Выдающуюся книгу (Notable Books Award)**, написанную в одном из трех жанров: художественная проза, документальная проза, поэзия.

Премию **Кристи (Christy)**[2] дают за произведения христианской тематики. Она была учреждена в 1999 году группой издательств, публикующих религиозную литературу.

Начиная с 1976 года ежегодно вручается **Пушкартовская премия (Pushcart Prize)**[3] за малые формы: эссе, рассказы, стихи, опубликованные в периодических изданиях; в результате конкурса отбирают лучшие произведения, которые публикуются в ежегодном сборнике "Пушкартовская премия", что нередко помогает открывать новые литературные имена.

Стоит отметить, что в США есть целый ряд премий, присуждаемых за художественный перевод – как поэзии, так и прозы. **Премия Американской ассоциации литературных переводчиков (ALTA)** призвана повышать престиж и качество художественного перевода. Размер премии около 2 тыс. долларов.

Вот лауреаты последних лет.

2001 год: Данута Борхардт. Перевод "Фердидурке" Витольда Гомбровича.

1. Адрес в Интернете: http://worldcon.org/hugos.html
2. Адрес в Интернете: http://www.sfwa.org/awards/nebula.htm
3. Адрес в Интернете: http://www.mysterywriters.org/awards.html
4. Адрес в Интернете: http://www.malicedomestic.org/agatha.htm
5. Под герметичным детективом, как правило, подразумевается произведение, действие которого происходит в замкнутом пространстве (в доме, занесенном снегом, на корабле и т. п.), и круг подозреваемых ограничен.

1. Адрес в Интернете: http://www.ala.org/alsc/newbury.html
2. Адрес в Интернете: http://www.christyawards.com
3. Адрес в Интернете: http://www.pushcartprize.com

2002 год: Э. М. и А. М. Блэкмор. Избранные стихотворения Виктора Гюго (двуязычное издание).

Кроме того, существуют две переводческие награды **ПЕН-центра**[1]. Ежегодную премию (в 3 тыс. долларов) вручают за книгу, переведенную на английский язык в текущем году. Победители последних лет: Ричард Певир и Лариса Волохонская (новый перевод "Анны Карениной"); Тиина Нунналли (перевод трилогии Сигрид Ундсет); Ричард Зиберт (перевод "Избранного" Жерара де Нерваля); Майкл Хофман (перевод "Сказки 1002-й ночи" Йозефа Рота); Питер Константин (перевод ранних рассказов Томаса Манна). **Медалью Ральфа Манхейма** один раз в три года награждают лучшего переводчика за совокупность работ. Последним эту премию получил Дональд Кин за переводы классической и современной японской литературы.

Асоциация американских издателей (Association of American Publishers), которая ежегодно отмечает заслуги входящих в нее издательств, иногда присуждает также международные награды. Так, в 2002 году **премию ААИ (ААР)** за перевод художественной литературы, способствующей взаимопониманию между странами, получила Татьяна Алексеевна Кудрявцева, переводчица Джона Апдайка, Уильяма Стайрона, Нормана Мейлера, Гора Видала, Маргарет Митчелл и других. Здесь нельзя не упомянуть, что в ноябре 2002 года Т. А. Кудрявцевой за достижения в области перевода, способствующие сближению двух великих культур, вручили также **премию Американо-российского фонда культурного сотрудничества** (учрежденного Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном). Премия вручается один раз в два года. За десять лет существования Фонда ее лауреатами стали: Михаил Горбачев, Вэн Клайберн, Игорь Моисеев и Мстислав Ростропович.

Наконец, есть **премия Либерти (Liberty)**, учрежденная в США пять лет назад нашими бывшими соотечественниками. Эту награду присуждает за вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных связей между Россией и США независимое жюри из трех человек: художник Гриша Брускин, писатель и музыковед Соломон Волков (ему принадлежит идея создания премии) и писатель Александр Генис. В качестве спонсоров выступают "Media Group Continent USA" и Американский университет в Москве. Победитель получает диплом и денежную премию. В прошлые годы церемония награждения проходила в США, в Нью-Йорке и Вашингтоне, и лауреатами премии были деятели культуры, живущие в Америке (как выходцы из России, так и американцы). Среди награжденных — писатель Василий Аксенов, поэт Лев Лосев, художник Олег Васильев, философ Михаил Эпштейн, поэт и художник Вагрич Бахчанян, директор библиотеки конгресса Джеймс Билингтон, директор Музея Гуггенхайма Томас Кренц. Лауреаты этого года живут в России, и премию на этот раз вручали в Москве. Ее получили издатель и главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова, поэт Лев Рубинштейн и Виктор Голышев — переводчик Фолкнера, Стейнбека, Уайлдера и многих других американских писателей, не раз печатавшийся на страницах нашего журнала. В этом номере также публикуется его перевод двух повестей Джима Гаррисона.

Синклер Льюис писал в "Письме к комитету Пулицеровской премии": "Я призываю всех писателей подумать о том, что, принимая награды и одобрения этих сомнительных институций, мы тем самым признаем их авторитет, публично соглашаемся считать их непогрешимыми судьями литературного совершенства; и я спрашиваю: существует ли награда, которая стоила бы такого самоуничижения?" Безусловно, все судьи пристрастны, и нет никаких оснований считать, что Пулицеровский комитет разбирается в литературе лучше всех или лучше Синклера Льюиса. Но в конце концов литература тем и жива, что у нее не переводятся пристрастные судьи — прежде всего в лице читателей.

1. Адрес в Интернете: http://www.pen.org/translation/awards.html

Александр Генис
Две выставки

Взгляд и нечто

Шёнберг и Кандинский в Еврейском музее Нью-Йорка

2 января 1911 года в Мюнхене состоялся концерт Арнольда Шёнберга (1871–1951), который все критики признают историческим. Но это теперь, тогда он казался хулиганством. Премьера атональной музыки, лишенной привычной стабилизирующей структуры, вызвала скандал в зале. Однако среди слушателей был один, которому новая музыка открыла глаза. Им был русский художник и виолончелист-любитель Василий Кандинский. В восторге от услышанного он написал письмо потрясенному провалом композитору, с которого началась их дружба.

Этот знаменитый концерт стал отправной точкой для выставки. Рядом с фотографией музыкантов в привычно строгих фраках, рядом с очень сложной партитурой Шёнберга висит уникальный экспонат: картина Кандинского, на которой он перенес на холст свои впечатления от концерта. Это еще не абстракция. Мы узнаем схематические фигуры зрителей, обобщенный контур рояля, но главная роль на полотне отведена музыке. Две чистые цветные волны – желтая и черная – заливают зал могучими потоками. Они не создают гармонии, не перекликаются рефлексами, не объединяют картину в некую целостность. Вместо разрешения у Кандинского только диссонанс, непримиримый конфликт красок, которым он придавал символическое значение. Желтый цвет в словаре художника ассоциируется с тревогой, с пронзительным голосом труб Страшного суда, черный – цвет вечной тишины, которая наступит после него.

Мы можем не знать об этой субъективной маркировке, но, глядя на картину, не можем не увидеть разверзшейся пропасти, в которую валится старый мир. Кандинский написал тот тихий и страшный взрыв, который Шёнберг дал всем услышать.

Начав со встречи Шёнберга с Кандинским, кураторы продолжили выставку, поместив творчество обоих в богатый художественный контекст. В экспозицию попали картины мастеров, входивших в радикальную группу "Синий всадник". Прежде всего, это Франц Марк, чья жизнерадостная корова временно переехала на два квартала из соседнего музея Гуггенхайма, где она обычно хранится. Но, конечно, главная роль отведена работам самого Кандинского. Картины раннего периода соседствуют с первыми эскизами к его грандиозным "Симфониям". Такое – эволюционное – устройство выставки позволяет лучше понять революционную эстетику Кандинского, стремившегося сочетать глубоко субъективное "впечатление" с непреложным объективным законом нового – и вечного! – восприятия.

Дело в том, что Кандинский художник родился в тот момент, когда он увидел картину Клода Моне "Стог". Очарованный импрессионизмом, заманившим его в живопись, Кандинский тем не менее мечтал преодолеть его, ничего не утратив по дороге. Абстракционизм Кандинского, который считался основателем этого сакраментального направ-

© А. Генис, 2004

ления, был по-своему рациональным и даже педантичным. Каждому абстрактному полотну предшествовало множество этюдов. Те, что попали в экспозицию Еврейского музея, позволяют судить если не о смысле, то о развитии отдельных форм, вошедших позднее в канонические полотна. Так называют десять живописных "Симфоний", над которыми художник работал тридцать лет. В совокупности этот "декалог" мыслился заветом не только будущей живописи, но и будущей жизни. (Три первые "Симфонии" погибли в войну, поэтому так важны этюды к ним, представленные на выставке.) Искусствоведы создали подробный комментарий, помогающий опознать сложнейшую символику Кандинского. Хотя все они обозначены только порядковыми номерами, специалисты подобрали каждой картине условное имя. Так, первую называют "Шаман", вторую — "Всадник", четвертую — "Казаки", седьмую — лучшую — "Страшный суд". В ней, кстати сказать, можно найти те самые трубы архангелов, грозный звук которых преследовал художника еще с мюнхенских лет. Сам Кандинский, однако, отвергал любые попытки себя расшифровать. Он стремился изъять зрителя из сюжета, заставив его просто вглядываться в полотно. Краски и формы должны были зазвучать прямо в нашей душе — в обход сознания. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. В трактате "О духовном в искусстве" он писал: "Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу". Эти вибрации и должны были составить "буквы" нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, Кандинский стремился создать его словарь. В сущности, именно с такой, отдающей мегаломанией точки зрения смотрел на свое предназначение в музыке и Шёнберг. Сблизившись, Кандинский и Шёнберг шли к своей цели, помогая друг другу. Кандинский много сделал для распространения музыки Шёнберга. Так, он способствовал устройству гастролей композитора в Петербурге. Шёнберг, в свою очередь, с огромным интересом и сочувствием относился к экспериментам Кандинского. Музыка одного и живопись другого бесспорно созвучны. Впрочем, художниками они были оба.

Впервые Шёнберг выставился все в том же переломном 1911 году, когда Кандинский представил четыре его картины на выставке основанной им группы "Голубой всадник". Критики, даже сочувствующие новаторской школе, не оценили эти полотна, да и Шёнбергу скоро стало некогда заниматься живописью всерьез — начиналась трудная музыкальная слава. Но сейчас, глядя на десятки работ, любовно собранные кураторами музея по частным коллекциям, мы можем судить о том, каким незаурядным художником был этот композитор.

Сперва небольшие, неяркие, даже монотонные работы Шёнберга кажутся, особенно по соседству с великолепным буйством Кандинского, невзрачными. Им недостает как раз того, чем был знаменит их автор, — радикализма. Зрителя встречает длинная череда обычных автопортретов. Но постепенно, от картины к картине, черты расплываются, точнее — тают, уходя в мутный фон. Зато из него все резче и пронзительней выплывает одна деталь — глаза. В конце серии изображение сводится только к ним, как в самой известной, напоминающей Мунка работе — голова с налитыми кровью глазами.

Понять эту трансформацию помогает время, все та же безмерно важная в нашей духовной истории эпоха. Именно в эти годы Шёнберг вместе со всей Европой открывает для себя Фрейда. Психоанализ производит на него сокрушительное воздействие. "Подсознание, — формулирует Шёнберг в письме Кандинскому свой новый символ веры, — принадлежит искусству".

Глаза — орган, позволяющий проникнуть в потаенные слои нашей психики, заглянуть на дно личности. Оправдывая свою оптическую одержимость, Шёнберг ссылается на тривиальную аксиому "глаза — зеркало души". Однако его картины изображают нечто другое — не глаза, а взгляд, не вход, а выход. Освобож-

денное от тела зрение обладает магической притягательностью. Не мы смотрим на портреты, а они — на нас. Этот мучительно — до крови — сосредоточенный взгляд похож на немой крик. Невразумительный, нечленораздельный всхлип запертого духа, знающего, что ему никогда не вырваться из материального плена. Безнадежный призыв о помощи, которую в пустом — "обезбоженном" — мире некому оказать.

Уходя с выставки, я хотел, как всегда делаю, купить открытку с самой запомнившейся картиной, но, взглянув на нее еще раз, отказался от своего намерения. С образами Шёнберга страшно жить.

Смерть как украшение

Гренвил Уинтроп прожил долгую, богатую и несчастливую жизнь. Знатный американец, потомок двух нью-йоркских губернаторов, он получил огромное наследство, прекрасное образование в Гарварде, рано женился и так же рано — в 36 лет — овдовел. Уинтроп искал утешения в воспитании двух дочек. Но после того как одна из них сбежала с его шофером, а другая — с его электриком, миллионер, погрузившись в непреходящую меланхолию, отдался единственной страсти, которая его не разочаровала, — коллекционированию. Свой особняк (через дорогу от Метрополитен) Уинтроп превратил в частный музей, из которого почти никогда не выходил. Отгородившись от мира любимыми картинами, Уинтроп собрал одну из самых богатых в Америке коллекций. Вся она — 4000 работ — после его смерти в 1943 году перебралась в Гарвард, чтобы никогда не покидать университетского кампуса. Уинтроп хотел, чтобы собранные им картины никогда не разлучались, поэтому увидеть их можно было только в Бостоне. Но сейчас — впервые — кураторы Метрополитен-музея уговорили своих гарвардских коллег одолжить 219 лучших работ для выставки в Нью-Йорке.

Американские музеи, которым не приходится рассчитывать на помощь государства, привыкли уважать вкус тех, кому они обязаны своим существованием. В отличие от европейских музеев, предпочитающих развешивать картины в хронологическом порядке или по национальным школам, в Америке частные коллекции часто перебираются в музейный зал, не разрушая единства, созданного собирателем.

Такая, я бы сказал, благородная и благодарная система позволяет сохранить отпечаток личности коллекционера, демонстрирует его склонности, характер, прозорливость и, конечно, особый талант. Выставка приобретает второй, скрытый сюжет, рассказывающий не о художниках, а о тех, кто их любил — иногда больше, чем своих ближних.

Во всяком случае, коллекция Уинтропа такую историю рассказывает. Об этом можно судить с первого взгляда. Все выставленные в Метрополитен картины схожи и метафизическими сюжетами, и гаммой — неяркая, приглушенная, как зимой в церкви. Такая палитра отвечала темпераменту коллекционера. Он собирал многих мастеров, но дороже всего ему были те английские и французские художники XIX века, которых британцы называли прерафаэлитами, а французы — символистами. Тут у Уинтропа в Америке не было соперников — он покупал лучшее, одни шедевры.

Глядя на эти картины, которые предыдущему поколению зрителей казались старомодными и претенциозными, я думал о том, как странно художественные стили рифмуются с эпохами. Как бы дико это ни звучало, но я, например, убежден, что импрессионисты оказались созвучными нашей первой оттепели. Не скандалившие тогда абстракционисты, не первые мэтры поп-арта, а французские мастера пленэра составляли пару сырому и честному реализму "Нового мира".

Рассуждая таким образом, можно сказать, что нашему жадному до духовных откровений, пограничных состояний и метафизических экспериментов времени должны быть особенно интересны болезненно утонченные художники, которых так любил Уинтроп. Говоря сегодняшним языком, они устроили своему индустриальному веку первую примерку "New Age".

С исторической точки зрения, ситуация была симметричной. Пресыщенная прогрессом элита мечтала отступить в прошлое, чтобы найти еще не загрязненное фабричным дымом поле для чистого искусства. Тем более что царивший в те времена позитивизм базаровского образца приводили в движение пар и электричество. Такое мировоззрение не утоляло духовного голода. Машины тогда, как и сейчас, уже не казались чудом. Настоящие чудеса искали по ту сторону практического опыта. Конечно, глубоко закономерно, что именно Англия, игравшая в XIX столетии ту же роль, что сегодня Америка, стала родиной самого эфемерного, мистического, неземного искусства, которое знал позапрошлый век.

Французские ровесники британских прерафаэлитов исповедовали ту же эстетику, но претворяли ее в свое искусство несколько иначе. Разница между ними такая же, как между английским и французским парком. Последний – продукт классицистической уверенности в разуме, способном создать и объяснить свой мир. Английский парк – дитя прихотливого романтизма. Деревенские жители редко мечтают о красоте естественной природы, в лоно которой мечтают сбежать измученные прогрессом горожане.

В живописи эти различия проявили себя так же ярко. Французские символисты тяготели к аллегории. Так, на картине крупнейшего мастера этого направления Гюстава Моро запечатлена олицетворяющая Францию элегантная, но и воинственная дева, которая могла бы украсить любую мэрию страны. Даже изысканный и бесплотный Пюви де Шаванн придавал своим бестелесным, как тени, фигурам хоть и абстрактное, но общественно полезное значение. На его воздушных панно, отменно представленных на выставке, мы встречаем те же аллегории Правосудия, Мудрости и Справедливости, что и на муниципальных дворцах любого города, который может себе такое позволить.

Англичане придавали символу более глубокий – непереводимый – смысл. Прерафаэлиты пытались сделать материальное неземным, растворив плотскую тяжесть в потустороннем свете. Символ у них, как в поэзии, должен был не означать другую реальность, а быть ею.

Оскар Уайльд, который хорошо понимал, что делали его художники-соотечественники, писал об этом с осторожностью: "Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск".

Отрываясь от поверхности вещей, прерафаэлиты рисковали повиснуть в безвоздушном пространстве отвлеченного вымысла, впасть в мелодраматизм и жеманство. Именно в этом их обвинял решительный авангард, почти на целый век отвративший нас от символистов. Но сегодня, пресытившись радикальными экспериментами искусства, мы учимся заново ценить утонченную прелесть возвышенного – особенно когда его немного. Тем и хороши такие выставки, что, показывая по нескольку картин каждого мастера, они позволяют не смотреть, а дегустировать: хороший ресторан вместо супермаркета искусства.

Любимыми символами прерафаэлитов были женщины и ангелы, между которыми они не видели особой разницы. Первых лучше всех писал Данте Габриель Россетти, вторых – Эдуард Бёрн-Джонс.

Огромное полотно Россети, изображающее его умершую жену Элизабет Сиддель, – сразу и портрет, и пейзаж, и, может быть, икона. Эта картина в тяжелой, сделанной самим художником раме разделена на две неравные части. На верхней и большей – дева в раю, на нижней – автор. Между ними пробел стены, не мешающий им встретиться взглядом. Так наглядно до аттракциона Россети излагает свою версию любви как единственной силы, способной прорвать рубеж смерти и жизни. Границей между ними служит реальность, выходящая за пределы рамы. Она отрезает искусство от жизни, прокламируя платоническую истину: подлинно реальным (а значит, и живым) может быть только дух, порвавший с действительностью. Смерть у Россети – преграда непреодолимая, но

прозрачная. Художник, с печальной надеждой глядящий в небо, об этом только догадывается, но его обретшая небо жена это уже знает. И все же красота ее печальна — она обожжена смертью. Но смерть тут не только разрушает, но и творит. Преображая чувственность в духовность, она утрирует и то, и другое. Дева Россети, ангел задумчивого соблазна, охваченная, словно нимбом, золотым пламенем волос, не перестает быть женщиной и в раю.

А на соседней стене висят шедевры другого, самого знаменитого прерафаэлита — Эдуарда Бёрн-Джонса. Крупнейший мастер Викторианской Англии, он первым из художников, был похоронен в Вестминстерском аббатстве. При жизни его выставки вызывали сенсации. Именно это произошло с шестью алтарными панно "Дни творения", попавшими в коллекцию Уинтропа. Когда эти работы впервые (в 1877 году) выставили в Лондоне, двери павильона пришлось держать открытыми всю ночь. В толпе был и лучший тогда американский прозаик Генри Джеймс, оставивший восторженный отзыв. В этих полотнах, писал он, говорит религиозное чувство современного человека.

У Бёрн-Джонса оно, конечно, говорит языком прерафаэлитов. Это предельно элегантная версия библейской истории. Об этом можно судить уже по материалу, использованному художником: гуашь, акварель, золото и платина на льне. Каждый день творения представляют ангелы. Они похожи друг на друга, как дни недели, — бесполые, грустные, отрешенные символы священного календаря. Их сверхъестественную природу выдают перья сложенных крыльев. Летучие, как время, существа кажутся невесомыми: они стоят на только что созданной земле, не оставляя следа. Ветхозаветная космология здесь решена в камерном ключе. На то, что произошло в каждый из дней творения, указывают лишь скромные детали. Так, ангелы дня отделения воды от тверди (то есть от неба) стоят на льду. В день создания растений их ноги утопают в траве, в шестой день ангелы оказываются в саду Эдема.

Бёрн-Джонс не иллюстрирует Библию. Он расцвечивает ее предание своей персональной, интимной мифологией. Это не столько величественная, сколько декоративная, утонченная, акварельная история мира. Наверное, поэтому в нее хочется верить больше, чем в динозавров Спилберга.

Честно говоря, только панно Бёрн-Джонса объяснили мне, почему треть американцев до сих пор не признают теорию эволюции: библейская история мира просто красивее той, что нам рассказывали учебники природоведения.

Нью-Йорк

Пейзаж с блаженным Иеронимом (о переводах современной американской поэзии)

Имон Греннан. Стихи. Eamon Grennan. *Poems.* New York: ARS-INTERPRES, 2002

Луиза Глик. Стихи. Louise Glück. *Poems.* New York: ARS-INTERPRES, 2002

Фредерик Смок. *Стихи.* Frederick Smock. *Poems.* New York: ARS-INTERPRES, 2002

Недавно мне случилось беседовать с коллегой-филологом: мы оба живо интересуемся современной литературой, особенно поэзией, оба читаем по-английски, но мы — не американисты. Разговор же наш был о том, кого из современных американских поэтов мы представляем себе более-менее отчетливо. Мы стали перечислять имена, начиная с классиков XX века: Эзра Паунд... Фрост... Эдгар Ли Мастерс... Уоллес Стивенс... Лоуэлл... Ферлингетти... Сэндберг... Гинзберг... Тед Хьюз... Сильвия Плат... Буковски... Эшбери... Палмер... Дерек Уолкотт... "Дерек Уолкотт — не американец". — "Теперь — американец". Мы тяжело вздохнули. Кто-то из нашего списка вошел в литературу еще до войны, кто-то пишет и сейчас, но в целом он являет довольно представительный срез американской поэзии пятидесятых — шестидесятых годов XX в., немного захватывая семидесятые. Уже пейзаж семидесятых для нас туманен и невнятен, тем более восьмидесятых, не говоря о девяностых и начале нового века. А между тем там есть, есть замечательные поэты: так, совершенно случайно мне в руки попало единственное стихотворение Ага Шахида Али — и поразило настолько, что я стала его стихи искать, читать и переводить[1].

И вот — словно в ответ на наши размышления — серия поэтических книг, затеянная нью-йоркским издательством "ARS-INTERPRES" под покровительством блаженного Иеронима, патрона переводчиков; каждая книжка украшена гравюрой Дюрера, изображающей блаженного Иеронима за работой, и изречением этого переводчика Св. Писания: Non verbum de verbo, sed sensum de sensu exprimere[2] — в этом издатели серии видят лучшее определение искусства перевода. В издательском предисловии, предпосланном первой книге (о которой — чуть ниже), четко сформулирована задача серии — "познакомить российского читателя с современной американской поэзией, представив каждого поэта отдельным сборником из нескольких десятков стихотворений". Книжки эти — двуязычные, за что издателям отдельное спасибо. Особенность проекта в том, что переводчики — в основном поэты, давно живущие в Америке и не только свободно владеющие обоими языками, но и знающие реалии американской жизни. Среди переводчиков — и такие известные в России имена, как В. Гандельсман, И. Машинская, Р. Дери-

1. См. "ИЛ", 2003, № 1. С. 125–127, 129–130.
2. "Выражать не слово словом, а смысл смыслом" (*лат.*).

ева, Лиля Панн, и те, о ком мы пока знаем меньше. Серия задумана и оформлена со вкусом: книжки объемом чуть менее ста страниц, львиная доля отдана стихам, в конце — интервью с поэтом или два-три эссе, на обложке — кратчайшие био- и библиографические данные (замечу в скобках, что и биографий хотелось бы побольше, и хоть каких-то сведений о тех поэтах, чьими крошечными вступлениями открывается каждая книга, и о переводчиках; такая заметка о переводчике есть только в одной книге: стихи Фредерика Смока — монопроект Регины Дериевой, но как раз она известна здесь более других, а узнать что-то хочется про всех).

Итак, первая книга серии — "Имон Греннан. Стихи". Имон Греннан — ирландец и американец, свою литературную родословную он возводит к Джойсу и Фолкнеру; Билли Коллинз, поэт-лауреат 2002 года, во вступлении сравнивает Имона Греннана с Китсом и св. Франциском. Мы, однако, не найдем у Греннана ни кельтской мифологии, ни ирландской политики — он пишет о другом. Герои его стихов — мышь и муравей, енот и муха, мертвый кролик и сбитый машиной барсук, мыльные пузыри и солонка, семья, готовящая завтрак на кухне, родители и дети, пытающиеся понять друг друга, любовь умершая и любовь еще длящаяся... Голос Имона Греннана намеренно приглушен, взгляд его сосредоточен на как будто мелких, но ярких, выпуклых деталях, и, следуя за этим взглядом, обнаруживаешь: поэт — естествоиспытатель жизни и смерти. Вот машина остановилась у мертвого барсука, и девушка, выйдя наружу, собирает ежевику с куста:

...срывала жирные ягоды,
покуда не набралось две
полных горсти,
и ты их рассыпала на
приборной доске,
черный оникс с отливом,
с прожилками киновари, —
мы брали их по одной и клали друг
другу в рот...
...Потом
мы ехали снова. Влажный покой
изумрудной долины
еще полчаса держал нас в своих
ладонях,
и тут наконец мы нашли шоссе и
свернули на север
прямо в ливень, смывающий кровь
барсука с места нашей стоянки,
но только не память о крови, ни о
любви
в ограде шипов и ягод,
что и поныне пенится среди плодов
земли,
для меня наполняет ее ладони.

Остановка.
Перев. И. Машинской

Вот герой стихотворения "Утром" на прогулке находит тельце выдры и видит баклана и цаплю:

Ночью тебе снилась смерть
и кто-то говорил: "не бойся". Наутро
бабочка порхала над перекатами
шелковистых камней.
Я продолжал свой путь, оставляя
позади
голубой автофургон, где супруги
тянули кофе, курили; в воздухе стоял
густой аромат сигарет и свежего
кофе,
их разговор был почти неуловим.
Радиоприемник
вещал последние известия. Весь мир
будто застыл в этой теплыни, и я
чувствовал,
как солнце выходило из воды.

Перев. Г. Стариковского

Имона Греннана трудно цитировать выборочно: в его некоротких, как правило, стихах практически нет афористических, формульных строк — как нет и "проходных", неважных: смысл стихотворения выстраивается всеми сказанными в нем словами, но еще больше — тем, что не сказано, осталось за строкой, угадывается...

"Избранное" Греннана выходило дважды — в 1998 году в Аме-

рике, в 2000 году — в Ирландии. Было бы здорово, если бы однажды мы увидели его "Избранное" в России: сборник, выпущенный "ARS-INTERPRES", заставляет надеяться на это...

За книгой Имона Греннана последовали сборники Фредерика Смока и Луизы Глюк[1]. Луиза Глюк — едва ли не самый титулованный современный американский поэт: на ее счету — более десятка литературных премий, в том числе такие престижные, как Национальная премия общества критиков (National Book Critics Circle Award) за сборник "Триумф Ахилла" (1985) и Пулицеровская премия за книгу стихов "Дикий ирис" (1992), в 2003 году Луиза Глюк стала поэтом-лауреатом... Прибавьте к этому пост председателя Американской академии поэтов. И эта высокая оценка вполне заслуженна, насколько мы можем судить по "ARS-INTERPRES"овскому сборнику. Книга эта, составленная из стихов разного времени — взятых из упомянутого "Дикого ириса", из "Вечерних молитв", "Лугов" и других, — дар и радость для всех, кто любит поэзию. Это не просто "хороший поэт" — это удивительный, настоящий, сильный талант. Интонация меняется от книги к книге, но остается узнаваемым голос Луизы Глюк. В более ранних стихах поэт дерзает судиться с Богом, заявляя свои права на Него — права любящего сердца, изголодавшегося по чуду:

Когда-то я верила в Тебя. И посадила
смоковницу.
Здесь, в Вермонте,
где почти нет лета. И загадала: если
приживется,
значит, Ты есть.
Оказалось, что Тебя нет.
Ты обитаешь
только в теплых странах:
Сицилии, Мексике, Калифорнии,
где растут неправдоподобные
абрикосы
и нестойкие персики. Наверное,
в Сицилии можно увидеть Твое
лицо, а здесь
мы едва различаем подбой Твоего
покрывала[1].

Когда-то я верила в Тебя...
Перев. И. Мизрахи

Впоследствии резкость и страстность сменяются взвешенным лаконизмом, зрелый голос Луизы Глюк сдержаннее, прямое высказывание уступает место прикосновению к "вечным" темам — и поэт делает это со смелостью и свободой настоящего мастера. Так, в книге "Meadowlands" Луиза Глюк предлагает свою интерпретацию истории Одиссея, в которой истинно любящей оказывается не Пенелопа, погруженная в свои грезы, а Цирцея:

В конце концов,
как надлежит богине,
явилась в дом к твоей жене я,
на Итаку: голосом
без тела. И она
на миг оторвалась от прялки, сначала
повернувшись вправо, потом налево,
но быстро поняла, что этот звук
не мог бы исходить ни от одной
реальной вещи. Не думаю,
чтобы она вернулась к прялке, зная
то, что теперь знает. Когда
увидишь, наконец, ее, скажи, что
так прощаются богини.
И если я всечасно в ее думах,
я всегда с тобой.

Тоска Цирцеи.
Перев. И. Мизрахи

1. Единственное, против чего хочется возразить, — это против русского написания фамилии Луизы Глюк, предложенного переводчиками: "Глюк" — почтенная немецкая фамилия, а по фамилии "Глик" невозможно представить написание оригинала, и читатель дезориентирован.

1. Перевод опубликован в этом номере на с. 94.

"Возвращение" (в оригинале названное емким греческим словом "Nostos", отсылающим к древнему эпосу), единственное в этом цикле (насколько можно судить по стихам, вошедшим в "ARS-INTERPRES"овскую книжку) прямое высказывание, уподобляющее героиню стихотворения Одиссею, завершается ни больше ни меньше как отсылкой к знаменитейшим словам Шекспира:

Поле пахнет высокой скошенной
травой,
что и требуется поэту.
Мы лишь однажды мир познаем, в
детстве.
Все остальное – память[1].

Перев. Г. Стариковского

По-английски еще нагляднее: "The rest is memory".

В стихотворении "Решение Одиссея" нас поджидает сюрприз – оно начинается так:

Великий человек покинет остров.

Сперва думаешь – это переводчик (Г. Стариковский) не устоял перед обаянием Бродского ("Великий человек смотрел в окно..."). Но нет – в оригинале "The great man turns his back on the island". И сюжет обоих стихотворений до боли тот же: герой покидает страстно любящую его богиню (или царицу), его влечет море, судьба, будущее – женщина остается в прошлом. Случайное совпадение? Или Луиза Глюк могла прочитать Бродского в переводе, благо стихотворение, вспоминающееся русскоязычному читателю, вошло, в переводе Дж. Клайна, еще в "пенгвиновский" сборник Бродского, выпущенный в 1973 году, с предисловием Одена? Увлекательная тема для исследователя!

Но и Эней, герой "Дидоны и Энея", не замедлит появиться на страницах сборника – среди стихов, взятых из книги, с похвальной дерзостью названной "Vita Nova" – "Новая жизнь", отсылающее к Данте заглавие, – находим и "Царицу Карфагенскую", и "Roman Study" (не очень удачно переведенное как "Из римской истории"):

Сперва он думал,
будь его матерью Афродита, а не
Венера –
он родился бы греком.

А теперь, после греков,
больше нечего делать.
И он возненавидел свет,
на который претендовала
Эллада.

<...>

Но, разобравшись в своей
рефлексии,
он, наконец,
постиг в человеческих буднях
новый образ мышления –
честолюбивей, заземленней,
политичнее прежнего.

<...>

И он мысленно намечал
размашистую траекторию
бодрствующей своей судьбы.

Перев. Г. Стариковского

Сборник стихов Луизы Глюк хочется цитировать и цитировать, читать целиком. Наверное, это лучшая похвала поэту – и его переводчикам.

Фредерик Смок – поэт очень сдержанный, скупой на внешнее проявление эмоций. Его стихи хочется сравнить с лучшими из рассказов Хемингуэя или Карвера: история, намеренно оставленная без комментария и тем жестче врезающаяся в память. Собственно, эта ассоциация с Хемингуэем напрашивается сразу, едва открываешь "интерпрессовскую" книжку Смока: первым стихотворением идет "Ода Мухаммеду Али".

1. Перевод опубликован в этом номере на с. 96.

"Ода..." – своеобразный складень, две половинки которого помечены двумя датами-подзаголовками. Первая часть – фрагмент про 1960 год, когда, выиграв Олимпиаду, Мухаммед Али, вернувшись на родину

... Все еще с золотой медалью на
шее, в Луисвилле
забрел он в одну забегаловку, чтобы
перекусить, но ему отказали.
Вышвырнули
вон. Тлеющий уголь его сердца
воспламенился в безумии. Он
вбежал на Второй
Уличный мост и швырнул медаль
в грязную реку Огайо.

Следующий фрагмент – продолжение той же истории, развертывающееся в 1988 году:

Сына привел я на мост и рассказал
ему эту
историю. Знаменитое событие
местного разлива.
Молча выслушал он, пристально
глядя на
водоворот бурных вод...
... Возможно, теперь
золотая медаль лежит на дне
сознания
моего сына, сверкая слабо и
отдаленно...

Перев. Р. Дериевой

Главное в этом тексте происходит в зазоре между двумя частями истории – и в сознании читателя. Смок умеет таким образом создать словесную ткань стихотворения, что она оказывается способной очертить объем умолчания – так драпировка говорит о скрытом за нею предмете. Повествуя, казалось бы, о чисто внешних вещах, только о том, что "можно пощупать", ощутить, зафиксировать в виде картинки, Смок касается глубинно-сущностного. Он не навязывает читателю этого внутреннего смысла вещей, но требует от читателя усилия понимания, так что каждое стихотворение оказывается своего рода приглашением к путешествию в поисках смысла – но тем щедрее награда, ожидающая в конце. Хотя порой наградой будет и вкус горечи, как в стихотворении "Memento mori":

Там всегда была осень,
в той дряхлой квартире в переулке.

Я курил сигареты на пожарной
лестнице,
прислушиваясь к твоим
приближающимся

шагам по усыпанному листьями
тротуару.
Мы фотографировали уличных
котов,

блуждали, рука в руке, по старым
верфям,
где было полным-полно живописно

ржавеющих судов. Мы выдвинули
кровать
на середину большой комнаты

и плыли в плюшевой темноте.
Жирные ленивые пчелы, пьяные от
летнего

нектарного богатства, через окно
влетали
и вылетали. Жизнь была тем, чем
казалась.

Это стихотворение "срабатывает", когда после последней строки вспоминаешь его название: потеря, боль аккумулированы здесь в пространстве между "телом" стиха и заголовком, в пространстве не текста, но – личного опыта. И понимаешь, что Смок очень хороший – и, что еще более редко, очень "настоящий" поэт. Поэт, чьи стихи берут начало не в университетских курсах истории литературы, а в прожитой жизни, помноженной на особую внутреннюю организацию автора.

Издатели серии поставили себе цель – познакомить российского читателя с современной американской поэзией. Три книжки, выпущенные "ARS-

INTERPRES", – три несомненных "попадания" в эту цель. Остается надеяться, что будет и продолжение.

Ирина Ковалева

"Есть целомудренные чары..."

Ann Patchett. *Bel Canto.* New York: HarperCollins, 2001

Энн Патчетт. *Бельканто.* Нью-Йорк: Харпер-Коллинс, 2001

23 августа 1974 года группа террористов во главе с тридцатидвухлетним Яном-Эриком Олсоном, сбежавшим из тюрьмы, захватила в заложники четырех служащих Шведского кредитного банка в Стокгольме и несколько дней продержала их в крошечном помещении под прицелом автоматов. Кризис разрешился мирно и бескровно; этот инцидент не стал крупной вехой в истории антитеррористических операций, но его психологические последствия оказались гораздо важнее, чем можно было предположить. К изумлению тех, кто следил за развитием событий после операции, освобожденные заложники проявили лояльность и привязанность к захватчикам. Одна из женщин-служащих долго переписывалась с Олсоном, пока он отбывал тюремный срок за это преступление. Другой заложник организовал благотворительный фонд для сбора пожертвований на адвокатскую помощь Олсону и его сообщникам. Все узники испытывали сильную эмоциональную привязанность к террористам и чувство страха и недоверия по отношению к властям, которые их освободили. Этот феномен получил в психологической литературе название "стокгольмский синдром".

17 декабря 1996 года террористическая группа "Тупак Амару" захватила японское посольство в Лиме, столице Перу. Около четырехсот пятидесяти человек, собравшихся на прием, оказались заложниками. К концу первой недели террористы выпустили большинство из них, оставив только семьдесят пять; их требования включали освобождение четырехсот политических заключенных из печально знаменитых высокогорных перуанских тюрем. Кризис затянулся на несколько месяцев; за это время он успел сойти не только с первых, но и с последних страниц газет. Между тем власти Перу вели долгую подготовительную работу по освобождению заложников; в результате армия, сделав подкоп, взяла японское посольство штурмом, в ходе которого все террористы погибли, а все заложники были освобождены.

Писательница Энн Патчетт, по ее собственному признанию, обходится без телевизора, радио слушает только за завтраком и изредка читает "Нью-Йорк таймс". Но вести из Перу захватили ее полностью – настолько, что, пока кризис длился, она каждый вечер ходила в гости к друзьям, чтобы посмотреть телевизионные новости. К концу четырехмесячной осады она поняла, что ей показали сюжет ее следующего романа.

"Бельканто" – роман о стокгольмском синдроме. Читатель оказывается одним из действующих лиц в многонациональной толпе гостей, собравшихся на прием в особняке вице-президента неназванной южноамериканской страны. Прием дается в честь японского магната г-на Хосокавы – власти принимающей стороны надеются на крупные инвестиции в местную экономику от его концерна. Но г-ну Хосокаве нет дела до экономики – он приехал только потому, что ему обещали концерт Роксаны Косс,

одной из ведущих оперных сопрано мира. У г-на Хосокавы мало страстей и радостей в жизни, но любовь к опере делает его существование осмысленным; латиноамериканскому правительству удалось найти такое предложение, от которого он не мог отказаться. Сразу после концерта в особняк врываются террористы, которые намерены захватить в заложники президента страны. Однако вопреки ожиданиям президента в здании нет: он остался дома, чтобы посмотреть очередную серию своего любимого телесериала — это его тайная страсть, не менее сильная, чем любовь г-на Хосокавы к опере. В результате миссия террористов сразу же обессмысливается, и читатель оказывается вовлечен в чистый экзистенциальный эксперимент.

Подобно своим перуанским прототипам, террористы из "Бельканто" — не страшные; они никого не убивают, отпускают всех женщин, кроме Роксаны Косс, а смерть ее шведского аккомпаниатора (привет из Стокгольма) — случайная и бессмысленная, от диабетического шока. Время постепенно замедляется вплоть до полной остановки: сначала мы еще чувствуем, что проходят минуты, часы, потом они постепенно превращаются в недели и месяцы, потом восприятие теряется полностью. Патчетт говорит, что ей нужно было добиться ощущения полной остановки времени, и это ей удалось. (В одной из сцен узники смотрят в окно и невооруженным глазом видят, как растет трава.) Романистка совершенно сознательно стремилась к еще одной цели — написать роман "от третьего лица", в котором нет главного героя, но есть всезнающий автор, способный проникать в мысли и чувства каждого из персонажей, объяснять их для читателя и волшебным образом переключать наше внимание и перемещать центр повествования. И Патчетт не зря говорит, что ее целью была повествовательная структура в стиле "Анны Карениной".

В результате Патчетт манипулирует читателем так ловко, что он сам не замечает, в какой момент начинает сочувствовать террористам — не их политическим требованиям, очевидно дурацким, в которые они сами не верят, а им самим как людям; с какой готовностью он воспринимает сначала симпатию между заложниками и захватчиками (совместный просмотр мыльных опер, игра в шахматы), потом более близкие отношения (катартическая совместная игра в футбол, готовность Роксаны Косс обучать вокалу одного из юношей-террористов) и даже любовь. Проблематика противостояния снимается (в диалектическом смысле), и мы видим просто большую группу людей, волей обстоятельств оказавшихся в замкнутом пространстве и на удивление успешно в нем функционирующих. Роксана Косс каждый день устраивает импровизированный концерт (по счастью, среди заложников оказался талантливый пианист-любитель), священник-меломан организует доставку нот с "большой земли", и волшебная сила искусства делает пребывание в особняке не только выносимым, но по-своему привлекательным. В сущности, с того момента, как Роксана Косс начинает по утрам петь арии, террористы перестают быть хозяевами положения — они оказываются во власти ее голоса, они не в силах противиться этим чарам.

Когда заточение заканчивается (примерно так же, как это и случилось в Перу, с некоторыми художественными вольностями), читатель должен испытать острую тоску, негодование и гнев на несправедливое устройство мира — все ведь было так хорошо, так мирно, так гармонично. Стокгольмский синдром.

Этот феномен распространеннее, чем может показаться. Не обязательно попадать в залож-

ники к террористам — достаточно пойти на работу в какую-нибудь компанию, просто ради денег; и спустя некоторое время вы будете, изумляясь себе, с искренним жаром защищать продукцию или проекты этой компании. Достаточно уехать на пару лет в какую-нибудь страну, и скоро вы будете одновременно ругать какие-нибудь особенности местной жизни и яростно пропагандировать именно эту страну, вернувшись на родину. Синдром передается быстро — настолько быстро, что одного небольшого романа хватает, чтобы попасть к нему в лапы. Именно этим, вероятно, объясняется необычайный успех "Бельканто" — две престижные литературные премии ("Орандж" и "ПЕН/Фолкнер"), выход в финал третьей (Национальная книжная премия общества критиков), разговоры о возможной экранизации. И это при том, что государственная политика всех западных, да и не только западных держав последних лет направлена на осуждение и уничтожение терроризма во всех его формах; что любые попытки оправдать террор — по политическим причинам или же по человеческим, как это делает Патчетт, — встречают яростное сопротивление всей государственной машины США и их союзников.

Вряд ли дело в том, что художественные достоинства книги уничтожают в прах любую идеологию. Книга написана уверенной рукой, но горячее желание автора быть вездесущим демиургом вроде Толстого лишило большинство персонажей психологической убедительности — они скорее ходячие схемы, наполненные теми или иными эмоциями и представлениями, но не обладающие способностью к внутреннему развитию. Чтобы обеспечить возможность общения в разноязычной толпе, писательница вводит в книгу молодого японца Гена, переводчика г-на Хосокавы; это важный, центральный персонаж книги, но его функциональная важность берет верх над человеческой сущностью; и когда мы узнаем, что Ген в совершенстве владеет очередным языком из уже пятой по счету языковой семьи, реалистичность персонажа както тускнеет. (Некоторые защищают Патчетт, пытаясь записать ее книгу в "магический реализм", но кроме условно латиноамериканской обстановки в "Бельканто" нет решительно никакого сходства с Маркесом или Амаду.) Патчетт было бы не вредно лучше изучить то, о чем она пишет, в том числе проверить какие-то мелкие детали — тогда в тексте не проскальзывали бы досадные оплошности вроде "чехословацкого языка", а троицу русских вряд ли звали бы Федоров, Березовский и *Ледведь*. Особенно обидно невнимание к опере: писательница признается, что до начала работы над романом она знала об опере "столько же, сколько о бейсболе — то есть ничего". Это очень чувствуется: при том, что откровенных ошибок в книге нет, выбор в главные герои певицы с мировым именем и магната, посвящающего опере все свободное время, требует все-таки большего погружения в предмет.

Однако это не помешало роману Энн Патчетт очаровать критиков, жюри нескольких престижных премий и, конечно, читателей.

Виктор Сонькин

Простые люди

Richard Russo. *Empire Falls*. New York: Random House, 2001

Ричард Руссо. *Эмпайр-Фолс*. Нью-Йорк: Рэндом хаус, 2001

"Эмпайр-Фолс" — название романа Ричарда Руссо, лауреата Пулицеровской премии 2002 года, име-

ет двойной смысл. Во-первых, это имя маленького городка в штате Мэн на северо-востоке США (буквально его можно перевести как "императорские водопады"), во-вторых — "падение империи". В имперских амбициях американцев никто не сомневается — а как еще чувствовать себя жителям страны, которая осталась единственной в мире сверхдержавой? Но за фасадом самоуверенной агрессивности и за песчаной завесой всяких "бурь в пустыне" легко проглядеть многочисленные комплексы Америки — страны с короткой историей, страны, в которой легко нажить состояние, но легко и потерять его, когда колеса времени начинают крутиться в другую сторону. Роман Руссо напоминает именно об этом.

В центре эпического повествования — жизнь и судьба Майлса Роби, владельца забегаловки. Его глазами мы видим не только городок, но целую ушедшую эпоху. Когда-то Эмпайр-Фолс был процветающим промышленным городом; сейчас, как и во многих подобных местах, индустрия пришла в упадок, рубашки стало дешевле покупать в Китае, а лес — в Бразилии. На этом безрадостном фоне перед читателем проходит целая галерея ярких типажей. Семья Майлса: брат, которого подозревают в торговле марихуаной; старый отец, алкоголик, который подговаривает местного священника, такого же старого дурака, отправиться в Ки-Уэст и поучаствовать в конкурсе двойников Хемингуэя; бывшая жена, чей новый кавалер завел привычку приходить в забегаловку Майлса и вызывать его на дуэль в форме армрестлинга; наконец, его дочь Тик, ради которой Майлс готов на все — лишь бы она вырвалась из оков провинциальной, однообразной жизни. Но у Тик свои проблемы — подростковый бунт, социальная неприспособленность, сложные отношения со сверстниками, некое подобие романа с аутичным одноклассником из "плохой" семьи.

Кроме семьи Роби, мы встречаем в романе полицейских, служителей культа, завсегдатаев кафе-гриль; и над всеми ними, как и над городом, постоянно маячит призрак Франсин Уайтинг, наследницы состояния Уайтингов, которые когда-то были хозяевами жизни в этом местечке. Вдове Уайтинг и сейчас принадлежит полгорода, и все жители так или иначе подчиняются ее желаниям и капризам. Главный герой не может понять, как ему следует жить в этом удручающем мире, а природная мягкость нрава и сочувствие к любому страданию делают его положение еще более отчаянным.

Руссо получил известность как автор романов из жизни "простых людей" — его единственным отступлением от темы был предыдущий роман об академической среде (который зато назывался "Простой человек"). Наблюдательности и точности его психологических характеристик можно позавидовать, но течение книги такое же медленное, как у проходящей через Эмпайр-Фолс реки. Многие критики сокрушались, что Руссо не использовал в этом романе всех граней своего юмористического дарования. Иногда в отдельных эпизодах, в прорисовке характеров, в мимолетных замечаниях чувство юмора автора становится заметным — но роман в целом, конечно, отличается большой — возможно, даже излишней серьезностью. Видимо, у пулицеровского комитета возникла тоска по большой литературе; без сомнения, "Эмпайр-Фолс" продолжает давнюю и благородную традицию американских саг, трагедий и эпопей — от Митчелл до Вулфа и Фолкнера, — но, в сущности, не прибавляет к ней ничего нового.

Виктор Сонькин

Старые песни о главном

Julia Glass. *Three Junes.* New York: Pantheon Books, 2002

Джулия Гласс. *Три июня.* Нью-Йорк: Пантеон букс, 2002

Роман Джулии Гласс "Три июня" получил Национальную книжную премию в области художественной литературы за 2002 год. "Три июня" — дебютный роман, и это довольно поздний дебют (автору сорок шесть лет). До этого Джулия Гласс писала рассказы (которые, по ее собственным словам, никак нельзя было назвать короткими) — за рассказы ей трижды присуждалась премия Нельсона Альгрена и один раз премия Тобиаса Вульфа — и новеллы (новелла "Колли" в 1999 году получила медаль Фолкнеровского общества "За лучшую новеллу", позднее она стала первой частью романа "Три июня").

Джулия Гласс начинала как художница и собственные литературные занятия воспринимала поначалу как некое запретное удовольствие — вместо того чтобы писать картины маслом, она прокрадывалась к письменному столу, испытывая при этом неизменное чувство вины. Пока не приняла наконец дерзкое решение посвятить свою жизнь литературе. Ее первые рассказы были отвергнуты редакциями глянцевых журналов (все как положено в сказке о Золушке). Более длинные и сложные новеллы были также отклонены при первом прочтении (на этот раз более серьезными изданиями) на том основании, что из них следует сделать роман. Однако Джулия Гласс отказывалась писать роман ("с упорством беременной женщины, отказывающейся носить более просторную одежду", как она сама отметила позже).

Но роман все-таки был написан. Он вырастал постепенно: сначала был рассказ о девушке, путешествующей по Греции. Затем один из второстепенных персонажей этого рассказа, немолодой шотландец, горюющий о недавно умершей жене, зажил своей жизнью — так появилась новелла "Колли". В новелле упоминались дети шотландца — старший сын Фенно и близнецы Деннис и Дэвид. Фенно неожиданно завладел воображением Джулии Гласс настолько, что повествование не просто продолжилось, но стало вестись от первого лица — Фенно оказался весьма своеволен и занял главенствующее положение в будущем романе. Замыкая круг, роман снова пришел к девушке, Ферн, героине того, первого, рассказа — она случайно, мимолетно входит в жизнь Фенно, как когда-то вошла в жизнь его отца.

На полпути писательница обнаружила, что пишет триптих (триптих, а не трилогию — вот где сказалось ее прошлое живописца). В центре — изображение Фенно, по бокам, в профиль — его отец Пол и художница Ферн. ("В профиль", потому что повествование в обеих обрамляющих частях ведется от третьего лица.)

Место действия романа меняется — греческие острова, шотландская деревня, Гринич-Виллидж и Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Джулия Гласс говорит, что старалась выбирать места, которые часто представляются людям неким убежищем от повседневной рутины, места, от которых мы часто ждем слишком многого — ответов на вопросы, прорывов в некое романтическое пространство. Все ее герои так или иначе пытаются убежать от каких-то воспоминаний, утрат, внутренних препятствий. Выбор декораций подчеркивает это стремление персонажей, но, конечно, гармония не может быть достигнута столь прямолинейным географическим путем.

"Три июня" — очень традиционная книга, очевидна любовь автора к добротному английскому роману XIX века. Это в первую очередь повествование о семейных связях, о хитросплетении любви, ревности, старых обид, воспоминаний. Правда, Джулия Гласс уверяет, что никогда не училась писательскому ремеслу и потому, вероятно, "нарушила множество правил, даже не подозревая об этом". Но эти опасения напрасны — правила соблюдаются весьма методично, причем как старые, так и новые: в романе, наряду с конфликтом отцов и детей и другими вечными темами, затронуты и такие проблемы, как нетрадиционная сексуальная ориентация (Фенно — гомосексуалист), СПИД, искусственное оплодотворение и т. д. В сущности, книгу можно было бы назвать банальной, если бы не множество живописных, ярких деталей и тонких наблюдений. Кроме того, выручают герои романа — живые и противоречивые, они заставляют читателя сопереживать им, совершенно забывая, что они всего лишь плод буйного писательского воображения. Во время встреч с читателями Джулия Гласс постоянно отвечает на вопросы о своих персонажах, рассказывает о них увлеченно, словно о собственных детях ("не хватает только фотографий", замечает писательница). Часто ее спрашивают, напишет ли она продолжение. Видимо, тоска по "классическому", "реалистическому" роману всерьез захватила американскую публику...

Бесспорно, дебютный роман Джулии Гласс не шедевр, но если вслед за ней поверить, что "существует специальный рай для литературных героев, чья судьба волнует читателей", то не приходится сомневаться: ее герои найдут место в этом раю. А это уже немало.

Александра Борисенко

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Евгенидис Дж. *Средний пол:* Роман / Пер. с англ. М. Ланиной. — СПб.: Амфора, 2003. — 751 с. 6000 экз. (п)

За этот роман Евгенидис (автор "Девственниц-самоубийц", по которым поставлен нашумевший фильм Софии Копполы) был удостоен Пулицеровской премии (2003). Греческая семья Стефанидисов в 1922 году перебирается из Малой Азии в Америку. Только семья эта не совсем обычная — брат и сестра поженились, а затем их сын взял в жены кузину. В результате всех кровосмешений родилась главная героиня — она же главный герой. В четырнадцать лет Елена Каллиопа Стефанидис узнала, что на самом деле она мальчик...

Рашкофф Д. *Стратегия исхода* / Пер. с англ. А. Грызуновой. — М.: Иностранка, 2004. — 352 с. 3100 экз. (п)

Версия дальнейшего развития земной цивилизации, написанная американским кибер-культурологом и медиа-аналитиком Дугласом Рашкоффом. Двойное допущение: текст романа самого Рашкоффа написан якобы в 2008 году, а к нему прилагаются комментарии ученых XXIII столетия. Экономический кризис, мир опутан электронными сетями, исчезло большинство известных нам растений — и, следовательно, продуктов. Самый ужас — пива нет!

Паттон Дж. *Война, какой я ее знал* / Пер. с англ. А. Колина. — М.: АСТ, Астрель, 2003. — 349 с. — (Военно-историческая библиотека) 5000 экз. (п)

Дневники знаменитого американского генерала Джорджа Смита Паттона, командующего Третьей американской армией, который вместе со своими солдатами прошел путь от Марокко и Туниса до Парижа и Ческе-Будеёвице. Паттон знал только один вид боя — наступление, вот и дневники у него такие же наступательные, стремительные и резкие. Слуга нации, отец солдату. Американский Суворов времен Второй мировой войны. "Один солдат — это вся армия, поскольку ни одна армия не может быть лучше, чем ее солдат".

Бонанно Б. *Сплоченные честью:* История мафиози / Пер. с англ. Retired Capos Non-Profit Assosiation. — М.: Эт Сетера Паблишинг, 2003. — 312 с. 3000 экз. (о)

"Вышедший на пенсию" босс мафии Билл Бонанно вспоминает о золотом веке сицилийской организованной преступности в Америке. Отец Бонанно был прототипом Дона Корлеоне в "Крестном отце", а с него самого Марио Пьюзо списал Майкла Корлеоне. Объективности от мафиозного мемуариста не ждите, сицилийские бандиты у него просто душки. Претензии к ним у Бонанно есть, но не те, какие у остального мира. С его точки зрения, мафиози виноваты в том, что утеряли свои корни, выучили английский и превратились в честных коммерсантов. Ассимиляция — вот главный враг этнической преступности!

Паланик Ч. *Удушье:* Роман / Пер. с англ. Т. Покидаевой. — М.: АСТ, Ермак, 2003. — 318 с. — (Поколение XYZ) 3000 экз. (п)

Новый роман автора знаменитого "Бойцовского клуба". Главный

герой Виктор Манчини развлекается, посещая кружки анонимных алкоголиков, эротоманов или безнадежно больных людей. Работа у него тоже специфическая: он изображает слугу-ирландца в заповеднике, представляющем Филадельфию времен основания. А приработок еще пикантнее: Виктор симулирует удушье в дорогих ресторанах. Всегда находится добрая душа: и спасет беднягу, и счет оплатит.

Мейлер Н. *Призрак проститутки:* Роман / Пер. с англ. Т. Кудрявцевой – М.: АСТ, 2004. – 1100 с. 5100 экз. (п)

Этот роман Норман Мейлер писал целых семь лет. Проститутка – это кличка секретного агента, а книга – сага про ЦРУ, про тайные операции и грязные дела, про "людей, которых не было". Война разведок в Берлине, высадка в кубинском заливе Свиней, убийство Кеннеди – в общем, американские спецслужбы во всей красе. И совсем уж конфиденциальная информация: "Аллен Даллес вернулся из Пуэрто-Рико ранним утром в четверг с жутким приступом подагры". Их спецслужба и опасна, и трудна.

Томпсон Э. *Убийца во мне:* Роман / Пер. с англ. М. Павличевой. Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 262 с. (Нуар) 5000 экз.

Виртуозный детектив в стиле "нуар" из жизни провинциальной Америки. В маленьком тихом городке, где все друг друга знают и где никогда ничего не случается, одно за другим происходят страшные убийства. Убийца – помощник шерифа, внешне добродушный и даже слегка туповатый парень, а на самом деле – маньяк. Читатели знают это с самого начала, потому что от лица маньяка и ведется рассказ. Вся загадка в том, как и когда его разоблачат. И разоблачат ли.

Майданик К. *Эрнесто Че Гевара: его жизнь, его Америка.* – М.: Ад Маргинем, 2004. – 384 с. 1000 экз. (п)

Сборник статей известного отечественного латиноамериканиста, истинного левака с большим стажем Кивы Майданика (кстати, отца музыкального критика Артемия Троицкого) про Южную и Центральную Америку и про то, как Северная Америка поглощает своих бедных соседей. Че Гевара поставлен на обложку в основном для рекламы, про него в книге совсем чуть-чуть. Но дух Че веет с каждой страницы. Майданик с ним так сроднился, что вроде и на современный глобализм готов смотреть глазами Команданте.

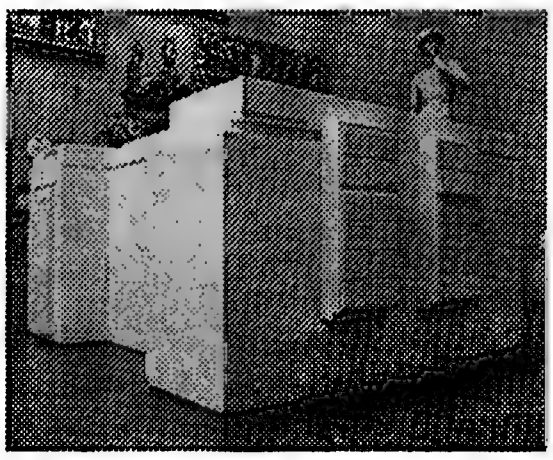
Мелисса Бэнк. *Руководство для девушек по охоте и рыбной ловле:* Роман / Пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2004. – 319 с. 7000 экз. (п)

Книга с замечательным названием, но очень скучная. Как ловить рыбу, вы из нее не узнаете. Не узнаете, пожалуй, и как охотиться на женихов, хотя это интересует героиню гораздо больше, чем охота на диких животных. Очередные переживания очередной юной американки по поводу неудавшейся личной жизни... Героиня работает в издательстве, но интеллектом не блещет. Автор, по правде говоря, тоже. Жанр – "романтическая комедия", но смешного в романе немного. Да и романтизма тут нимало не вижу я. Да что нам в нем?

Великобритания

"Комната 101" в лондонском музее

Лондонский музей Виктории и Альберта, крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства, недавно пополнился необычным экспонатом — гипсовой скульптурой, изображающей знаменитый кабинет № 101 в индийской редакции антифашистского вещания Би-би-си, где Оруэлл два года проработал во время Второй мировой войны. Большинство исследователей считают, что именно эту комнату писатель изобразил в своей антиутопии "1984" в виде камеры пыток. Идея сохранить память о помещении, ставшем для нескольких поколений читателей олицетворением того, "что хуже всего на свете", возникла в связи с генеральной реконструкцией, проведенной в здании Би-би-си, в ходе которой настоящая "комната 101" была



"Комната 101" в исполнении Рейчел Уайтред

уничтожена. Скульптуру выполнила англичанка Рейчел Уайтред, известная своим монументом жертвам фашизма, возвигнутым в Вене. В 1993 году она была удостоена премии Тернера — самой престижной английской награды в области искусства — за воссоздание интерьера лондонского дома конца XIX века.

Испания

Возвращение Пикассо

Несмотря на долгие годы, проведенные во Франции, Пабло Пикассо не переставал мечтать о том, как однажды погрузит свои работы на два грузовика и перевезет их на родину, в Испанию. Недавно его мечте суждено было осуществиться: картины и скульптуры знаменитого мастера на четырех грузовиках в сопровождении усиленной охраны были доставлены в Малагу, его родной город, чтобы занять свое место в новом музее Пикассо, открывшемся в старинном дворце XVI века, бывшей резиденции графов Буэнависта. Экспозиция занимает двенадцать залов, в которых разместилось 115 из 204 работ, переданных в дар музею Кристиной Руис-Пикассо, невесткой художника, и его внуком Бернаром. Как пояснил директор музея, картины предполагается выставлять постепенно, дабы у посетителей "голова не пошла кругом от обилия гениальных творений".

Среди самых примечательных экспонатов — портрет сестры Пикассо Лолы, написанный Пабло в тринадцатилетнем возрасте, и знаменитый портрет первой жены художника. С Ольгой Хохловой, русской балериной из дягилевской труппы, Пикассо познакомился в 1917 году. Годом позднее они поженились, а вскоре на свет появился ребенок, которого в честь отца назвали Полем.

Пикассо на фоне портрета О. Хохловой

Картина "Ольга Хохлова в мантилье" (1917) выполнена в нехарактерной для Пикассо неоклассической манере. Интересно, что Пикассо написал ее специально, чтобы подарить матери, озабоченной тем, что сын собрался жениться на иностранке.

Самое большое полотно на выставке — это изображение Жаклин Рок, второй и последней жены живописца, самое позднее — "Женщина, ребенок и мужчина" (1972) — создано, когда художнику было за 90.

Кроме того, в Малаге состоялась выставка "Самое лучшее из Пикассо", на которой были представлены творения мастера из музеев Парижа,

Барселоны, Антиба, центров изобразительных искусств Жоржа Помпиду в Париже и королевы Софии в Мадриде. На этой выставке впервые экспонировалась картина "Селестина" (1903).

Колумбия

Литературная карта страны

Что сегодня представляет собой колумбийская литература? Какова ее история? Что думают о ней сами мастера художественного слова? С такими вопросами крупнейшая испанская газета "Паис" обратилась к ведущим литераторам Колумбии. Составляя литературную карту страны, следует помнить о том, что корнями колумбийская литература уходит в далекое (по латиноамериканским меркам) прошлое. У ее истоков стоят хронисты: автор эпической поэмы "Элегии о достославных мужах Индий" Хуан де Кастельянос (1522—1607) и автор историко-бытовых хроник "Конкиста и открытие Нового королевства Гранады Западных Индий Моря-океана и основание города Санта-Фе-де-Богота..." Хуан Родригес Фрейле (1566—1638). Классикой считаются романы "Мария" (1867) писателя-романтика Хорхе Исаакса (1837—1895) и "Пучина" (1924) зачинателя так называемой "литературы зеленого ада" Хосе Эустасио Риверы (1889—1928), а также поэзия Хосе Асунсьон Сильвы (1865—1896), одного из самых ярких представителей модернизма на континенте.

Если говорить о современности, то, разумеется, тон здесь задают корифеи: Габриэль Гарсиа Маркес и Альваро Мутис. Их авторитет непререкаем, тем не менее молодые не хотят жить в их тени и стремятся прокладывать собственный путь. Какие темы они выбирают? Самая актуальная на сегодняшний день — тема преступности, ведь наркомафия уже много лет является бичом колумбийского общества. Этим отчасти продиктован интерес к публицистике. "Сегодня публицистику читают больше, чем романы, — говорит один из лучших публицистов Колумбии Уильям Оспина. — Вообще, в последнее время Колумбия напряженно размышляет о себе, открывает себя заново. То, что мы сегодня воспринимаем как великий хаос, в действительности есть открытие страны на значительно более глубоком уровне, и здесь не годятся психологические и социальные схемы, унаследованные от прошлого". Не случайно поэт и прозаик Дарио Харамильо Агудело называет Колумбию страной-подростком, страдающей всеми болезнями переходного возраста.

Что касается новых авторов, то их произведения читают с огромным интересом — даже изучают в школах. Впрочем, сами молодые писатели нередко настроены по отношению к современной словесности весьма критично: "Книг много, а литературы мало". Книг и в самом деле публикуется множество: в стране действуют 97 издательств и около 150 мелких издателей, которые выпускают почти девять тысяч книг в год общим тиражом свыше тридцати с половиной миллионов экземпляров, причем каждая вторая книга — новинка.

Лучшим современным прозаиком, получившим также международное признание, большинство критиков называет живущего в Мексике Фернандо Вальехо. В 2003 году писатель удостоился высшей литературной награды Латинской Америки — премии имени Ромуло Гальегоса.

Особую роль в колумбийской литературе играет поэзия. Сегодня в стране ежегодно публикуется около четырехсот поэтических сборников. "У нас в каждой деревне есть свой поэт", — утверждает Эктор Абад. "Это вовсе не значит, что у нас много хороших поэтов, — в заочном споре возражает ему Дарио Харамильо Агудело. — Просто таким образом люди выражают свои чувства и взгляд на мир". Любопытно, что с некоторых пор особенно популярной в Колумбии стала поэзия малых форм.

По словам Дарио Харамильо Агудело, который заведует отделом культуры при Республиканском банке, в последнее время все больше колумбийцев пользуются услугами публичных библиотек, число которых в ближайшие годы планируется довести до трехсот.

Франция

Профессия — персональный писатель

Персональный писатель — это человек, который зарабатывает на жизнь сочинением чужих мемуаров. К его помощи чаще всего прибегают люди пожилые, которые хотят сохранить историю своей жизни для потомков.

"Настоящая история творится отдельными личностями" — эти слова Юнга стали девизом Франсуа Вергриета, "специалиста по личным, семейным и коллективным воспоминаниям". Обычно писатель работает с каждым заказчиком не менее полугода: раз в неделю по два часа. Вергриет выслушивает посетителя и делает пометки, обращая внимание на ключевые события его жизни. При этом он старается учитывать то обстоятельство, что практически у каждого имеются "свои скелеты в шкафу": неприятные подробности, которые его "соавтор" желает утаить от читателей. "Я предпочитаю не касаться теневой стороны биографии, — говорит Вергриет. — Правда, если клиенты согласны, я описываю их историю без купюр".

В процессе работы над книгами Вергриет также пользуется сведениями, почерпнутыми из специальной литературы по истории и этнографии.

Каждая новая встреча с "мемуаристом" обычно начинается с того, что писатель зачитывает вслух уже обработанную часть заметок и ждет реакции клиента. Если у того создается впечатление, будто автор текста он сам, это для писателя высшая похвала.

Мир чудес: вход свободный

"Наименование: аппарат для приготовления тартинок 'Нутелла'.
Тип: пищевое оборудование. Категория: техника для осложнения жизни.
Производительность: 1 штука за 15 минут.
Эффективность: не гарантируется.
Практическая польза: нулевая".

Этот и другие экстравагантные механизмы, которые были сделаны за последние двадцать лет специально для уличных представлений, смогли увидеть посетители выставки необычного театрального оборудования "Великий репертуар", проходившей в помещении старого завода "Альстом" в Нанте. Идея организовать экспозицию принадлежала инженеру Франсуа Деларозьеру, долгие годы специализирующемуся на изготовлении подобного реквизита. Всего на выставке демонстрировалось около сотни экспонатов: прибор для битья стаканов, устройство для пускания колечек дыма, музыкальный автомат, имитирующий рев бегемота...

Некоторые приспособления совсем крошечные, другие — гигантские, более 10 метров в высоту. Одни по внешнему виду напоминают грациозных диковинных насекомых, как, например, машина для переноски люстр. Другие кажутся сюрреалистическими фантазиями.

Эти уникальные устройства сделались полноправными участниками уличных спектаклей, ставших популярными во Франции начиная с конца 70-х годов. Потому, собранные вместе, они могут поведать немало любопытного о театре и о себе, ибо каждое из них — "живая скульптура и часть истории театра".

После Нанта экспозицию планируется показать в Тулузе, а затем в Бельгии и Португалии.

По материалам информационного агентства "Би-би-си ньюс" [Великобритания], Интернет-газеты "Терра" [Испания], газет "Паис" [Испания], "Монд" [Франция].

Авторы номера

Филип Рот
Philip Roth
[р. 1933]. Прозаик и эссеист. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной книжной премии [1995], Пулицеровской премии [1998] и премии ПЕН/Фолкнер [2001].

Автор романов *Случай портного* [*Portnoy's Complaint*, 1969; рус. перев. 2001], *Моя мужская правда* [*My Life as a Man*, 1974; рус. перев. 2002], *Урок анатомии* [*The Anatomy Lesson*, 1983], *Обман* [*Deception*, 1990], *Операция "Шейлок"* [*Operation Shylock*, 1993], *Американская пастораль* [*American Pastoral*, 1997], *Я вышла замуж за коммуниста* [*I Married a Communist*, 1998], *Умирающее животное* [*The Dying Animal*, 2001] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *The Human Stain* [London: Vintage, 2001]. По роману поставлен одноименный фильм (в российском прокате "Запятнанная репутация"), реж. Р. Бенгон, в гл. ролях Энтони Хопкинс и Николь Кидман [2003].

Луиза Глик
Louise Glück
Поэт и эссеист. Лауреат Национальной книжной премии общества критиков [1985], Пулицеровской премии [1993], поэт-лауреат [2003].

Автор сборников стихов *Триумф Ахилла* [*The Triumph of Achilles*, 1985], *Дикий ирис* [*The Wild Iris*, 1992], *Луга* [*Meadowlands*, 1996], *Vita Nova* [2001], книги эссе *Доказательства и теории* [*Proofs and Theories*, 1994] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из двуязычного сборника *Стихи. Poems* [New York: ARS-INTERPRES, 2002] и других авторских сборников.

Майкл Чейбон
Michael Chabon
[р. 1963]. Прозаик. Лауреат Пулицеровской премии [2001].

Автор романов *Питтсбургские тайны* [The *Mysteries of Pittsburg*, 1988], *Чудесные мальчики* [*Wonder Boys*, 1995], *Удивительные приключения Кавальера и Клэя* [*The Amazing Adventures of Kavalier and Clay*, 2000] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Лучшие американские рассказы 2002* [*The Best American Short Stories 2002*. Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2002].

Бен Маркус
Ben Marcus
[р. 1967]. Прозаик. Лауреат Пушкартовской премии [2001].

Автор романов *Век проволоки и веревки* [*The Age of Wire and String*, 1998] и *Знаменитые американские женщины* [*Notable American Women*, 2002].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Лучшие произведения малой формы, удостоенные в 2001 г. Пушкартовской премии* [*The Pushcart Prize 2001. The Best of the Small Press*. Wainscott, New York: Pushcart Press, 2001].

Алан Даген
Alan Dugan
[1923–2003]. Поэт. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной книжной премии [2001].

Автор поэтических сборников *Стихи* [*Poems*, 1961], *Две поэтические книги* [*Poems 2*, 1963], *Три поэтические книги* [*Poems 3*, 1967], *Пять поэтических книг. Новые и избранные стихотворения* [*Poems Five: New and Collected Poems*, 1983] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из полного собрания сочинений *Семь поэтических книг: Полное собрание* [*Poems Seven: New and Complete Poetry*. New York: Seven Stories Press, 2001].

Джим Гаррисон
Jim Harrison
[р. 1937]. Поэт и прозаик.

Автор поэтических сборников *Письма Есенину* [*Letters to Yesenin*, 1973], *Возвращение на землю* [*Returning to Earth*, 1977], *Теория и практика рек* [*The Theory & Practice of Rivers*, 1986], а также романов *Фермер* [*Farmer*, 1976], *Дорога домой* [*The Road Home*, 1998] и др.
Публикуемые повести взяты из сборника *Зверь, которого забыл придумать Бог* [*The Beast God Forgot to Invent*. New York: Atlantic Monthly Press, 2000].

Тед Коновер
Ted Conover
[р. 1964]. Антрополог, журналист. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной книжной премии общества критиков [2001].

Автор книг *Койоты. Путешествие по тайному миру нелегальных иммигрантов* [*Coyotes: A Journey Through the Secret World of America's Illegal Aliens*, 1987], *Путь в никуда: странствуя с американскими бродягами* [*Rolling Nowhere: Riding the Rails with America's Hoboes*, 2001]. Публикуемые фрагменты печатаются по изданию *Newjack: Guarding Sing Sing* [New York: Vintage Books, 2001].

Патриция Хэмпл
Patricia Hampl
Писательница, лауреат Пушкартовской премии.

Автор книг воспоминаний *Романтическое воспитание* [*A Romantic Education*, 1981], *Время невинности* [*Virgin Time*, 1992] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Лучшие произведения малой формы, удостоенные в 2001 г. Пушкартовской премии* [*The Pushcart Prize 2001. The Best of the Small Press.* Wainscott, New York: Pushcart Press, 2001].

Алексей Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик. Сотрудник радиостанции *Свобода* в Праге.

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5].

Луис Менанд
Louis Menand
[р. 1952]. Культуролог, философ, социолог, преподаватель. Лауреат Пулицеровской премии 2002 года.

Автор книг *Открытие модернизма: Т. С. Элиот и его контекст* [*Discovering Modernism: T. S. Eliot and his Context*, 1987], *Метафизический клуб* [*The Metaphysical Club*, 2001], сборника эссе *Американоведение* [*American Studies*, 2002], а также многочисленных статей и рецензий, опубликованных в журналах *Нью-Йоркер*, *Нью рипаблик*, *Нью-Йорк ревью оф букс* и др.

Александра Леонидовна Борисенко
Переводчик, литературовед, кандидат филологических наук.

Автор ряда эссе и переводов, напечатанных в *ИЛ*: *О Сэлинджере с любовью и всякой мерзостью* [2001, № 10], *Песни невинности и песни опыта* [2002, № 4], *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы* (в соавторстве с Н. Демуровой) [2003, № 7], *Иэн Макьюен: Фауст и фантаст* [2003, № 10]; перевод фрагментов книги Э. Хоффман *Искусство потерь: опыт жизни в новом языке* [2003, № 1], эссе А. Картер *Элисон смеется* [2003, № 6] и др.

Виктор Валентинович Сонькин
[р. 1969]. Журналист, литературовед, переводчик с английского, сербского и словенского языков.

Автор-редактор рубрики *Чтение без разбору* в *Русском журнале*. В его переводах [совместно с А. Борисенко] в *ИЛ* публиковались публицистические произведения и эссеистика П. Остера [1996, № 10], Дж. Лондона [1992, № 2], У. Стайрона [1997, № 12], Ш. Андерсона [1999, № 7] и др.

Александр Александрович Генис
[р. 1953]. Писатель, эссеист. С 1977 г. живет в Нью-Йорке.

Автор книг *Американская азбука* [1994], *Темнота и тишина* [1998], *Довлатов и окрестности* [1999], *Иван Петрович умер* [2000], *Билет в Китай* [2001], *Пейзажи* [2002], *Сладкая жизнь* [2004]. В *ИЛ* опубликована книга *Вавилонская башня* [*ИЛ*, 1996, № 9], а также статьи и эссе.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

Переводчики

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Инолит* [1999].

В его переводе издавались произведения А. Рой, С. Рушди, У. Фолкнера, Дж. Конрада, Ф. О'Коннор, Т. О'Брайена, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Валерий Самуилович Черешня
[р. 1948]. Поэт.

Автор трех поэтических книг: *Свое время* [1996], *Пустырь* [1998], *Сдвиг* [1999], а также книги эссе *Вид из себя* [2001].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Изабелла Александровна Мизрахи
Переводчик с английского.

Переводила поэзию М. Стрэнда, Д. Уолкотта, Ш. Хини, Э. Дикинсон и др. Выпустила четыре книги переводов из американской поэзии: *Шары*, *Строки для зимы*, *Это письмо мое миру*, *Шесть поэтов*.

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник.

Переводил стихи Дж. Джойса, Э. Хекта, М. Лонгли, Д. Махуна, С. Беккета и др. В *ИЛ* публиковались его переводы Л. Арагона в подборке французских сюрреалистов [2002, № 5].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Литературовед, переводчик с английского и норвежского языков. Лауреат премии *Инолитлл* [2002].

В его переводе публиковались произведения У. Рэли, Л. Ферлингетти, С. Мерена, Э. Паунда, Дж. Донна, А. Макена, А. А. Милна, Т. Прэтчета, а также роман Т. Фишера *Философы с большой дороги*. В *ИЛ* неоднократно печатались его статьи и переводы стихов.

Олеся Леонидовна Качанова
Переводчик с английского.

В ее переводе опубликован роман Р. Сейфферт *Темная комната*, повесть Р. П. Уоррена *Цирк на чердаке* [*ИЛ*, 2001, № 5], рассказ И. Хантера и эссе Т. Капоте.

Вадим Юрьевич Михайлин
[р. 1964]. Переводчик, антрополог, литературовед.

В его переводе издавались романы Л. Даррелла, пьесы *Лир* Э. Бонда и *Козий остров* У. Бетти, проза Г. Стайн, Г. Свифта, У. Тревора, Дж. Дж. Балларда, К. Ишервуда, малая проза Д. Г. Лоуренса, У. Б. Йейтса, Дж. Барта. Г. Гессе, Л. А. Фон Арнима, М. Ауслендера, Саки и др. В *ИЛ* в его переводе напечатаны фрагменты книги И. Во *Когда не ездить было — грех* [1999, № 2], Л. Даррелла *Горькие лимоны* [2000, № 11], роман *Конец пути* Дж. Барта [1999, № 5], повесть *Тихая Лена* Г. Стайн [1999, № 7] и др.

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Башевиса Зингера *Последняя любовь* и *Страсти*. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8-9] и *Часы* [2000, № 9], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5].

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001] и *Либерти* за перевод [2003].

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюена и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6-8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *106 тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8] и др.

Антон Владимирович Ильинский
[р. 1976]. Переводчик с английского и испанского языков. Журналист, переводчик художественных фильмов.

В *ИЛ* в его переводе был опубликован рассказ А. Хемона *Слепой Йозеф Пронек* [2003, № 1], роман М. Пуига *Поцелуй женщины-паука* [2003, № 6], эссе С. Д. Ливайн и Р. Пигльи [2003, № 10] и др.

Анастасия Николаевна Власова
Переводчик с английского.

В ее переводах публиковались рассказы Т. Капоте, Б. Мальцберга, Р. П. Уоррена. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. П. Уоррена *Ежевичная зима* [2001, № 5], Гиш Чжэнь *Это я — ирландка?* [2002, № 5], эссе М. Бирбома [2002, № 11] и О. Хаксли [2004, № 1].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Делилло *Мао* II [2003, № 11—12].

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
американского художника
Ричарда Филлипса
[р. 1962]
Улыбочка [2000].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок
обращаться в отдел
распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 23.3.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 823.
Тираж 8 600 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что началась подписная кампания на 2005 год. Подписной индекс “Иностранной литературы” — 70394 в зеленом объединенном каталоге “Подписка-2004. Пресса России”. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.
Стоимость подписки на один месяц — 95 рублей плюс доставка.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию, могут оформить льготную подписку по адресу: Пятницкая улица, 41 (м. Третьяковская или м. Новокузнецкая).

Помимо этого в редакции можно приобрести отдельные номера “Иностранной литературы”. Справки по телефону: 953-51-47.

Редакция журнала заранее благодарит вас за своевременное продление подписки.

---

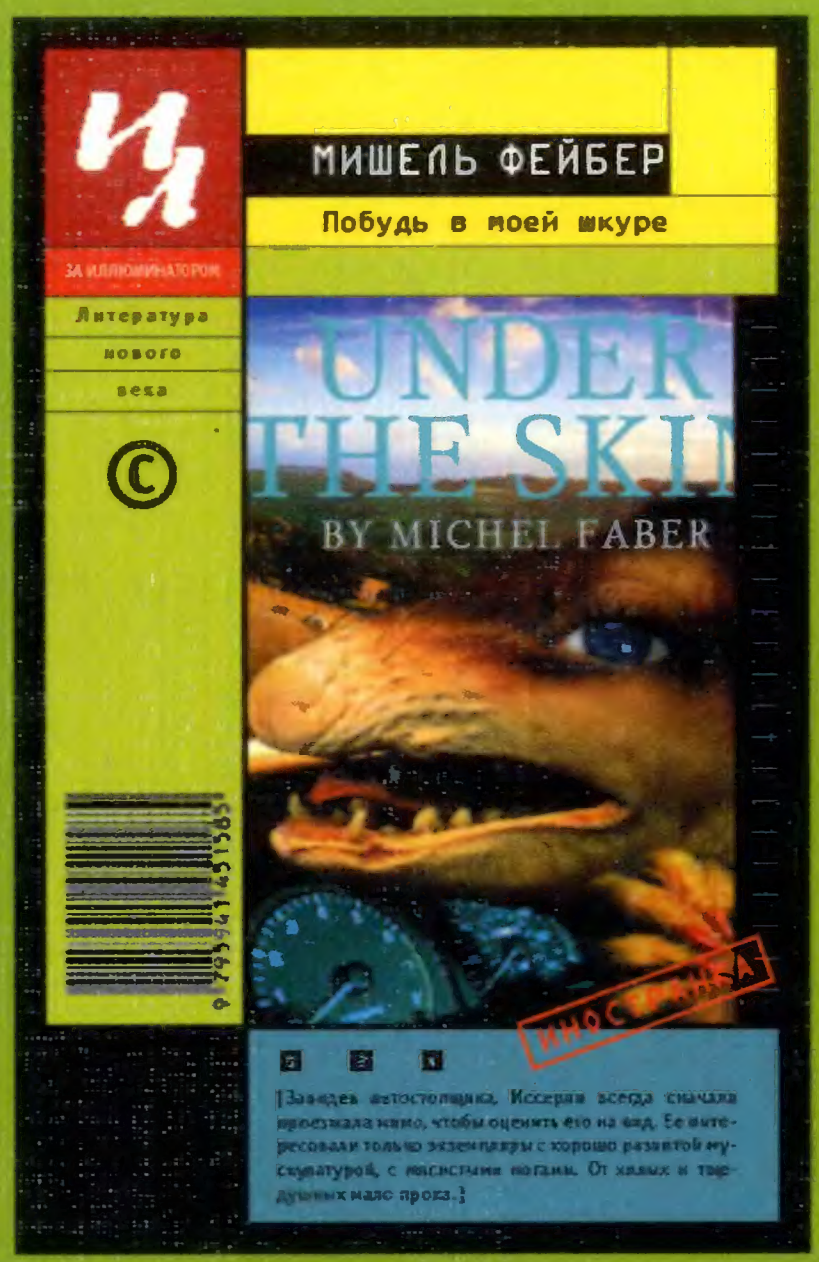
[5] 2004

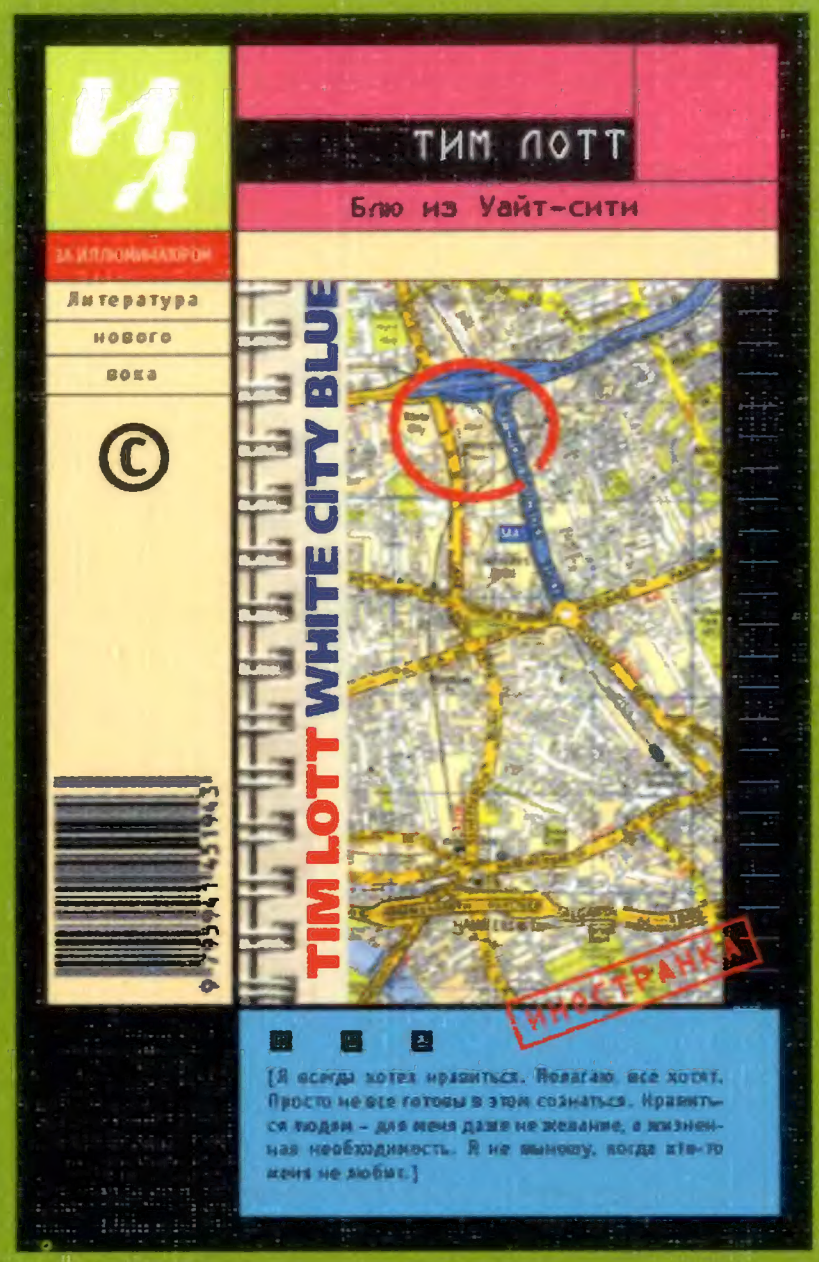
ПОВЕСТЬ ВАН МЭНА “МЕРТВЕЮЩИЕ КОРНИ САМШИТА” / СТИХИ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕРЕЗИНА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ АМАНДЫ ЛИР “ДАЛИ ГЛАЗАМИ АМАНДЫ” / СТИХИ АТТИЛЫ ЙОЖЕФА В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ ДЖ. М. КУТЗЕЕ “ОН И ЕГО СЛУГА” / ЭССЕ ЛЬВА АННИНСКОГО “ПЕРЕОБРЕТЕНИЕ СВОЙСТВ” В РУБРИКЕ “ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ”

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" НОВОГО ВЕКА





По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №4, 1-288

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРА